

LETTRE № 16 2003

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЕВРОПА



300 лет Санкт-Петербургу

INTERNATIONALE

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

Главные редакторы:

ЕЛЕНА ЧИЖОВА
АНТОНИН ЛИМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международный журнал
«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»

191011, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 23
телефон/факс: 233-91-85
e-mail: vozgreen@medport.ru

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ
ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ
ЕЛЕНА БАЕВСКАЯ
ДАНИИЛ ГРАНИН
БОРИС ДЕНИСОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ДОНДЕ
НИНА КАТЕРЛИ
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ
БЕНЕДИКТ САРНОВ
НИНА СНЕТКОВА
МИХАИЛ ЯСНОВ

Представители «Всемирного слова»:

в Риме — РИТА ДЖУЛИАНИ
в Берлине — БИРГИТ МЕНЦЕЛЬ
в Будапеште — ЛАСЛО ХАЛЛЕР,
ЧАБА ХАЙДУ
в Хельсинки — ЛИЙСА БЮКЛИНГ

Сотрудники Петербургской редакции:

Леонид Левинский —
ответственный секретарь
Наталья Русецкая —
редактор
Галина Дашцова —
художественный редактор
Ольга Назарова — корректор

Борис Денисовский —
оформление обложки

Учредитель —
Общество «Всемирное слово»

Издатель —
Петербургская редакция журнала

На четвертой странице обложки:
Петр I при Красной Горке,
зажигающий костер на берегу Невы
для подачи сигнала гибнущим судам
своим.

И.К. Айвазовский. Холст, масло. 1846 г.

Панорама города Санкт-Петербурга.
Фрагмент.

Бошеле по рис. Ж.Бернардацци.
Литография. 1853 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Феликс Лурье. Великий город великого Петра	1
Сергей Петров. Исаакиевский собор. Стихотворение	6

МИФЫ И АНТИМИФЫ

Мария Каменкович. Книга Закатов (Журнальный вариант неоконченной книги)	7
Александр Раппапорт. Санкт-Петербург: Америка или Египет?	11
Луи Дюмор. Стихотворения	18
Андрей Арьев. «Маленький человек в поисках Бога (Петербургское культурное самознание сегодня)	19

ДЕЛО ЖИЗНИ

Константин Азадовский. «Рыцарь русской литературы»	23
Ф.Ф.Фидлер. Из «Дневника»	26
Борис Егоров. Ю.М.Лотман и Петроград-Ленинград-Петербург	39

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТКАНЬ

Александр Кустарев. Петербургский паневропеец, или Русская Монархия на распутье	41
Валентин Зубов. Великий Магистр (Отрывок из книги «Царь Павел I. Человек и судьба»)	45
Сергей Петров. Храм Воскресенья на Крови. Стихотворение	49
Галина Усова. Безумное путешествие автора безумного часпития	50
Кристина Зейтуния-Белоус. Стихотворения	53
Борис Фрезинский. Серапионы: в Питере и в Европе (Сюжеты навскидку)	54

100 ЛЕТ ЛИГОВСКОМУ НАРОДНОМУ ДОМУ

Галина Глушанок. Воспоминания С.В.Паниной	64
Софья Панина. Мой город	66
Галина Глушанок. «Дело» С.В.Паниной в письмах, дневниках и документах	69
Луи Дюмор. Фонтанка. Стихотворение	81
Адель Линденмейр. Первый советский политический процесс: графиня Софья Панина перед Петроградским революционным трибуналом	82
Сергей Петров. Собор Смольного монастыря. Стихотворение	90

ГЛЯДЯ ИЗ ФРАНЦИИ

Дени Даббади. Петербург-Ленинград глазами французов	91
Мозаика XVIII—XIX вв.	92
Реймон Рекули. Царь и Дума (1906)	95
Эдуар Эррио. Из книги «Новая Россия» (1922)	97
Анри Бери. Петербург, умирающий город (1925)	98

Жорж Дюамель. Надежды и испытания (1926)	99
Андре Виолли. Одна в России (1927)	100
Люк Дюртен. Балтика (1928)	102
Люк Дюртен. Другая Европа (1928)	103
Пьер Эрбар. В СССР (1936)	105
Мишель Гордей. Виза в Москву (1951)	106

ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ

Стефано Гардзонио. Итальянские поэты в России XVIII века	107
Юрий Семенов. Сочинение для органа князя В.Ф.Одоевского — Andante grazioso памяти Й.Гайдна (1847)	113
Юрий Семенов. Приключения органа с музыкальными часами англичанина Уильяма Уинроу	115
Елена Алексеева. Золотые звездочки на фасаде театра	119

КАНВА ИСТОРИИ

Лариса Найдич. Немецкие крестьяне-колонисты под Петербургом	122
Ярмо Ниронен. Самый финский город России	130
Кристина Зейтуния-Белоус. Стихотворения	133
Нина Дьяконова. Английский язык в Петербурге	134

P. S.

Арлен Блюм. «Русская Пастушка» — первый французский роман о России (Уникальный экземпляр из петербургской коллекции «Россика»)	138
Жерар Де-Вилье. Незнакомец из Ленинграда (Отрывок из романа)	141
Сергей Петров. Стихотворения	144

Издание осуществлено при финансовой поддержке «Фонда Генриха Белля» (Германия).

Благодарим за финансовую помощь региональное отделение партии «Союз правых сил» в С.-Петербурге.

Великий город великого Петра

Феликс ЛУРЬЕ

«На земле была одна столица,
Все другое — просто города»

Георгий Адамович, 1928

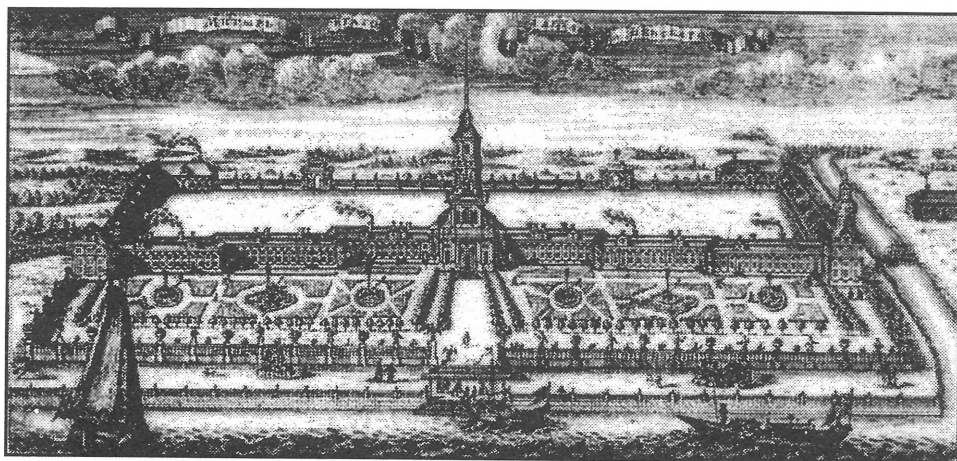
Не дожидаясь изгнания шведов с берегов Финского залива, нетерпеливый Петр Алексеевич с солдатами Семеновского полка отправился на шлюпках «для осмотра невского устья и для занятия оною от приходу неприятеля с моря». Еще тогда, вдыхая пропитанный запахами смолистых сосен и водорослей воздух, смешанный с пороховым дымом незавершенных баталлий, царь присматривал места первоочередных построек, изучал рельеф берегов, рисовал схемы, отыскивал лучшие участки и наконец объявил, где закладывать крепость, храм, порт, верфь, где прорубать просеки для дорог и «перспектив», ставить первые дома.

Быстрое воображение царя рисовало город на воде, подобный Амстердаму, растущий из воды, плывущий на островах город, с высокими соборами, стройными башнями, каменными палатами, просторными площадями и парками с фонтанами. Повсюду вода, и по ней снуют тысячи шлюпок, лодок, галер, степенно покачиваясь, шествуют корабли с заморскими товарами, вдоль бесконечных каменных набережных — сотни причалов. А по небосводу разлетаются брызги «потешных огней» — цветных фейерверков. Свежий морской воздух, просторы от горизонта до горизонта, и нет московской затхлости, оплывших физиономий с вечно осуждающими взглядами, тут — молодость, энергия, сила.

Водные преграды, заболоченность, северный климат отступали под натиском царя, строительство шло быстро. «Сие место, — писал Петр Алексеевич, — как изрядный младенец, что ни день, преимуществует». В Петербурге первые порты, дворцы, верфи появились на Большой Неве. От нее шло заселение островов, город разрастался вглубь. До основания Петербурга Нева была шире. Десятилетиями люди выравнивали берега, сглаживая изгибы. Вода отступала под натиском человека, на некоторых участках насыпная полоса суши, отвоеванной от реки, достигала ста метров и более.

Петербург — единственный в мире город, главная улица которого, основная его магистраль — быстрая полноводная река шириной почти полкилометра. Царь заложил город на равнине, лишенной возвышенностей, и развернул его лицом к Большой Неве. Очертания невской дельты придают разнообразие питерскому ландшафту, так же как другим городам холмистый рельеф. Она хороша сама по себе, без вмешательства человека, строители деликатно подправили ее контуры, не навредив вторжением.

Прямые улицы — часто параллельные, иногда расходящиеся лучами. Так можно строить по единому плану на плоской пустынной территории, где замысел ограничивается водными пре-



Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. А.Ф.Зубов. Гравюра. 1716 г.
(Возведение зданий монастыря началось в 1715 г., поэтому все, что изображено на гравюре, почерпнуто из архитектурных набросков Д.Трезини, соответствовавших первоначальному замыслу зодчего).

градами. Точнейшие линии гранитных набережных, крутые изгибы мостов через впадающие в Неву каналы, изящные спуски к причалам, неповторимые архитектурные ансамбли, величественные дворцы, гармония объемов и красок, четкий ритм колонн и окон, невские просторы, возвышающиеся в дымке храмы... Город объединен Невой, он смотрит в нее и на нее. Его отраже-

Царь задумал строить первый в России европейский город, плацдарм для проникновения на Запад, опору для возвышения России, и это ему удалось. За образец он взял Амстердам, но получился самобытный красавец — город Святого Петра, плод нежной любви к нему монархов, архитекторов, инженеров и даже подрядчиков.

Закладывая Петербург, Петр I по-

ек сохранились царский Домик Петра на Троицкой площади, Летний дворец, Кикины палаты, Меншиковский дворец, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и Духовский братский корпус Александро-Невской Свято-Троицкой лавры, несколько измененный Летний сад да следы земляных куртин Кронверка Петропавловской крепости, также запроектированного Петром I. Остальным постройкам не повезло — они или погибли, или дошли до наших дней перестроенными до неузнаваемости.

Уникальная возможность закладки города на пустом месте требовала образования системы учреждений, необходимых для осуществления его проектирования и строительства. Созданием строительных комиссий, канцелярий и контор, руководством ими и надзором в разное время занимались Кабинет его императорского величества, Кабинет министров, Главная дворцовая канцелярия, Придворная контора, Петербургская и Главная полицеймейстерские канцелярии, Министерство внутренних дел. Все они подчинялись непосредственно суверену.

В 1703 году Петр I положил начало новому для России типу учреждений, занимавшихся строительством и ремонтом царских дворцов, храмов, казенных и частных зданий и их содержанием, разбивкой садов и скверов, снабжением материалами, оформлением смет, наймом мастеров, контролем качества, наблюдением за состоянием построенных объектов. Этими учреждениями были: Канцелярия городских дел (1703—1723), Канцелярия строений (1723—1765), Канцелярия от строения домов и садов (1765—1769), Контора строения его императорского величества домов и садов (1769—1801), Гофинтендантская контора (1801—1851), Придворная контора (1851—1882), Главное дворцовое управление (1882—1891), Гофмаршальская часть Министерства императорского двора (1891—1918).

По мере необходимости этот тип учреждений создавал подчиненные ему комиссии и конторы, занимавшиеся строительством наиболее крупных и ответственных сооружений. В XVII и XIX вв. их было чрезвычайно много, например, Контора строения нового Императорского Дому (Зимний дворец), Комиссия по устройству против Зимнего дворца правильной площади, Контора строения по Неве-реке каменного берега, Комиссия по построению биржевого здания, Комиссия о восстановлении Зимнего дворца после пожара, Ко-



Санкт-Петербург.
А.Ф.Зубов. Гравюра. 1721 г.

ние, перевернутое в воде, зыбко дрожащее, остается все таким же прекрасным и дополняет явь. Закладывая город, Петр Алексеевич видел дальше других, много дальше. Его замыслы предвосхитили появление красот, окружающих нас сегодня. Он пришел на заболоченные просторы, где на огромной территории затерялись три-четыре десятка карликовых деревень.

Есть города-музеи, города-летописцы, города шумных фестивалей, карнавалов, шествий, фейерверков; есть Флоренция, Афины, Брюгге, Лондон, Париж, Толедо; есть небольшие европейские города-шедевры. Они сказочно красивы, они перенасыщены памятниками архитектуры и истории, музеями и монументами. Но есть Петербург, единственный и неповторимый, город архитектурных ансамблей и водных просторов. Нева продиктовала его планировку. Произошло соединение естественного ландшафта с человеческим гением, торжество безупречного вкуса с тайной предвидения. Петербург — не Северная Пальмира, не Венеция.

нимал, что необходимо пригласить из Европы талантливых и практичных зодчих, составить с их помощью принципиальный план города и детальные планы его частей, разработать экономичный и достойный архитектурный стиль. Принципиальные положения плана Петербурга царь сформулировал сам, им разработаны чертежи Адмиралтейства, Петропавловской и Адмиралтейской крепостей, указаны места возведения всех крупных сооружений, он участвовал в планировке Летнего сада и даже в создании нового архитектурного стиля.

Строился дерево-мазанковый город-крепость, город-гарнизон, город-порт, город-верфь. Расстояние от одного каменного строения до другого исчислялось верстами. Петербург возникал островками, фрагментами, но царь видел его законченным. Лишь после Полтавской победы отступила опасность нападения шведов, реальная тревога ушла еще позже, лишь тогда развернули строительство по-настоящему. Из законченных в петровскую эпоху постро-

миссия для устройства Нового Ладожского канала, Комиссия о построении Исаакиевского собора (Монферрана), Комитет сооружения в С.-Петербурге постоянного через Неву моста и др.

Две параллельные цепочки архитектурных и строительных учреждений блестяще справились со стоявшими перед ними задачами. В центральной части города трудно отыскать место, где хотелось бы видеть что-то другое, иначе построенное, лучше...

Два царствования, следовавшие вслед за кончиной Петра I, нанесли Петербургу ощутимый вред. Екатерина, не имея ни знаний, ни способностей, ни желаний, все дела управления Россией передала А.Д. Меншикову, сама же предалась праздной жизни. За время ее царствования в истории города произошло лишь два заметных события. Д. Трезини перестроил Зимний дворец Петра I, на планах XVIII века он назван «Старым Зимним дворцом». Позже его конструкции Дж. Кваренги включил в здание Эрмитажного театра. Ранней весной 1727 года через Большую Неву впервые навели наплавленный мост. Петр I строить мосты через Большую Неву не разрешал. Так, полагал он, можно привить петербуржцам любовь к мореплаванию. Мост соединил Адмиралтейский остров с Васильевским и назывался Исаакиевским по церкви Преподобного Исаакия Далматского, близ которой он подходил к Адмиралтейскому острову. Осенью мост разобрали, а весной заменили перевозом, — денег на его наведение не оказалось.

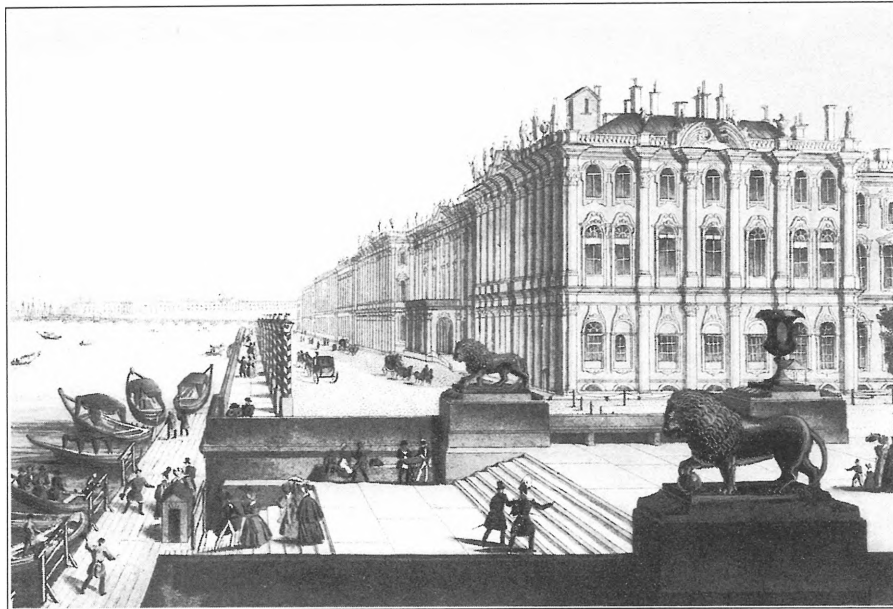
Петр II, сменивший недолго царствовавшую Екатерину I, вскоре покинул Северную столицу и во главе двора поселился в Москве. Вскоре после его отъезда Канцелярия отстроенный в отчете за 1727 год сообщала, что «ныне денежные казны налицо ничего не имеетца».

В повергнутый во мрак и запустение Петербург, в гибнувший на глазах город, новую жизнь вдохнула Анна Иоанновна. Зимой 1732 года императрица во главе правительства и двора переселилась в Петербург. Столица находится там, где живет суверен, и она возвратила городу статус столицы. Обиженная Петром I, фактически сосланная им в Курляндию и жившая там, в тоскливой затхлой провинции на подачки, Анна Иоанновна ненавидела своего царствовавшего дядюшку, но, взойдя на престол, тотчас превратилась в последовательного продолжателя

его внешней и внутренней политики. Она завершила все начатое основателем города, при ней кирпичные строения сильно потеснили мазанковые, ее стараниями военно-ремесленное поселение начало превращаться в город. Она подготовила блистательный выход Ф.Б. Растрелли на архитектурную арену.

Петербургу повезло с творцами, его строили многие выдающиеся ар-

хитектурных задач, создание планов развития столицы и ее частей, разработка мероприятий по упорядочению застройки и нормативных документов, создание и утверждение архитектурных проектов, контроль за работой зодчих, нанятых ведомствами. Для комиссии П.М. Еропкина под руководством капитан-поручика Ф. фон Зихгейма был составлен первый достоверный топогра-



Дворцовая пристань.

Л. Тюмлинг. Гравюра. 1830-е гг.

(Перед наведением в 1914—1916 гг. Дворцового моста Дворцовую пристань перенесли к восточному павильону Главного Адмиралтейства. Сорока годами раньше постаменты и вазы, мешавшие проезду по набережной, использовали при сооружении Адмиралтейской пристани).

хитекторы. Среди них можно выделить четырех величайших, это Ф.Б. Растрелли, А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин и К.И. Росси. Их трудно ранжировать, трудно выстроить по заслугам, да и надо ли... Это они сделали наш город самобытным, и им помогли в этом многие. Но первым из всех хронологически был Ф.Б. Растрелли, поэтому ему было труднее других.

В царствование Анны Иоанновны Петербург два года подряд (1736 и 1737) постигло страшнейшее бедствие — сильнейшие пожары. Только на Адмиралтейском острове выгорело две трети домов. Анна Иоанновна вместо уничтоженного пожаром центра города решила новую застройку произвести по уточненному плану, для чего 11 июля 1737 года подписала указ об образовании Комиссии о строении Петербурга. Ее архитектурной частью руководил П.М. Еропкин. Цель комиссии — решение общих и локальных градо-

фический план Петербурга с указанием существовавших в 1737 году домов. Он лег в основу разработанного под руководством П.М. Еропкина принципиального проекта застройки города.

На протяжении XVIII, XIX и начала XX века с некоторыми перерывами действовали подобные градостроительные комиссии, решавшие аналогичные задачи. Назовем наиболее важные из них. Комиссия о строении Петербурга и Москвы (1762—1796), ее архитектурной частью последовательно руководили А.В. Квасов, И.Е. Старов и И.М. Лейб. Комитет для строений и гидравлических работ в Петербурге и прикосновенных к оному местам (1816—1842), им руководили основатель русской школы инженеров-строителей, генерал-лейтенант А.А. Бетанкур, инженер, математик, генерал-лейтенант П.П. Базен и инженер-генерал А.Д. Готман, членами Комитета состояли архитекторы К.И. Росси, В.П. Стасов,

А.К.Моджо и А.А.Михайлов. Далее все градостроительные задачи решались в подразделениях Министерства внутренних дел.

Созданный П.М.Еропкиным и одобренный Анной Иоанновной план застройки центра Петербурга реализован ее преемниками с незначительными изменениями. Императрица была самой малопривлекательной из всех монархинь и членов царской

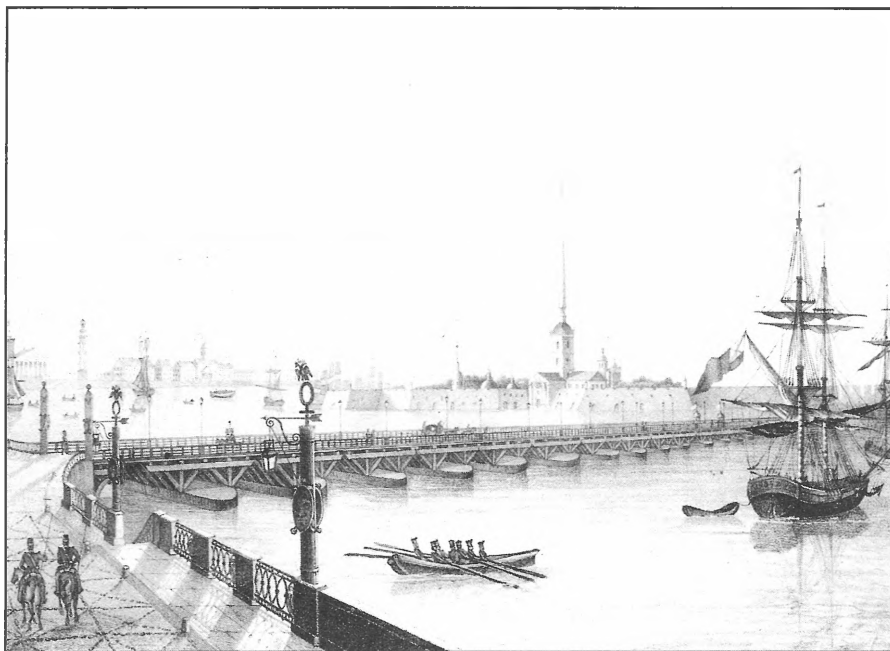
друг с другом, вытесняя невзрачные мещанские домики и казармы к окраинам. В царствование дочери основателя города молодую столицу украсили многие сооружения, в их числе Смольный монастырь и Никольский собор, Аничков и Зимний дворцы. В елизаветинскую эпоху барокко достигло наивысшего расцвета и подвело итог первому строительному периоду Петербурга. Город приоб-

митажа — крупнейшего музея, гигантской империи искусств и памятников материальной культуры. Сегодня он размещается в пяти зданиях, три из них построены по распоряжению Екатерины II. При ней город украсили многочисленные сооружения, огромная заслуга императрицы перед Северной столицей в том, что в ее царствование «оделись в гранит» стены Петропавловской крепости, набережные каналов и рек. Такого объема облицовочных работ не знает ни один город мира. Императрица рассматривала почти каждый архитектурный проект. Любимец Екатерины Алексеевны Ю.М.Фельтен писал императрице: «Я имел счастье быть участником в сооружении многих Памятников Царствования Вашего Императорского Величества, выполнив Собственные Ваши планы и имея поныне собрание Собственноручных Вашего Величества чертежей...» Екатерина II, как никто, понимала, что столица — лицо империи, и лицо это должно быть привлекательным.

Сын Екатерины II император Павел I был от природы одарен разносторонне, получил отличное образование, превосходно рисовал, по его эскизам выполнен проект Михайловского замка. Его интерьеры и отделка свидетельствуют о тонком вкусе владельца. Не случайно вот уже двести лет особенно ценятся предметы прикладного искусства, созданные в короткое царствование Павла Петровича.

Император Александр I унаследовал от прапрадеда выдающиеся способности градостроителя. Превосходное воспитание, горячая любовь к Петербургу, желание превратить его в лучший из европейских городов сделали монарха фактически главным архитектором столицы. Ни один серьезный проект не проходил, минуя его. Он выбирал архитекторов, рассматривал их предложения, вносил изменения в планировку, фасады, интерьеры, постоянно интересовался и внимательно наблюдал за ходом производимых работ. Особо яркая заслуга монарха — застройка больших территорий центральной части города, появление выдающихся архитектурных ансамблей в стиле высокого классицизма (русского ампира). Имя императора Александра I заслуживает быть названным среди творцов лучших архитектурных ансамблей Петербурга, превративших его в один из замечательнейших городов мира.

Благодаря Александру I в его царствование создали свои лучшие



Петропавловская крепость. Вид от Троицкого моста.
Ф. Мартенс. Литография. 1840-е гг.

семьи — грузна, одутловата, неряшлива, груба, необразованна. Ее смертельно боялись и ненавидели, о ней слагали небылицы, обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, многое было правдой. Но правда и то, что ее царствование было не из худших, а мы, петербуржцы, благодарны ей за спасение нашего Великого города.

Елизавета Петровна обладала безупречным врожденным вкусом. Ее заказы выполняли такие выдающиеся зодчие, как М.Г.Земцов, Ф.Б.Растрелли и С.И.Чевакинский, при ней сформировалось зрелое русское барокко, справедливо названное в ее честь елизаветинским. Придворные состязались в подражании императрице. Картину елизаветинского Петербурга запечатлел М.И.Махаев в знаменитом «Плане столичного города Санкт-Петербурга с изображением одного знатнейших проспектов, изданных трудами Академии наук и художеств». В центре столицы усадьбы вельмож сливались

рел черты европейской столицы, русская архитектура легко конкурировала с западной.

Екатерина II поощряла в архитектуре классицизм, слишком быстро и бесцеремонно вытеснивший из Петербурга барокко. Произошла смена архитектурных плеяд, вместо творцов барокко явились приверженцы классицизма Ж.-Б.Валлен-Деламот, А.Ф.Кокоринов, Ю.М.Фельтен, А.Ринальди, В.И.Баженов, И.Е.Старов, Л.Руска, Дж.Кваренги, Н.А.Львов, Е.Т.Соколов. Приглашенные императрицей европейские зодчие охотно ехали в Россию. На родине они не имели столь соблазнительных заказов — подобного размаха строительства там уже не было. Творившие в России иностранцы приспосабливались к нашим условиям и вкусам заказчиков. Попадая под влияние уже построенного, они создавали русскую архитектуру.

Екатериной II положено начало коллекции произведений искусства, явившейся впоследствии ядром Эр-

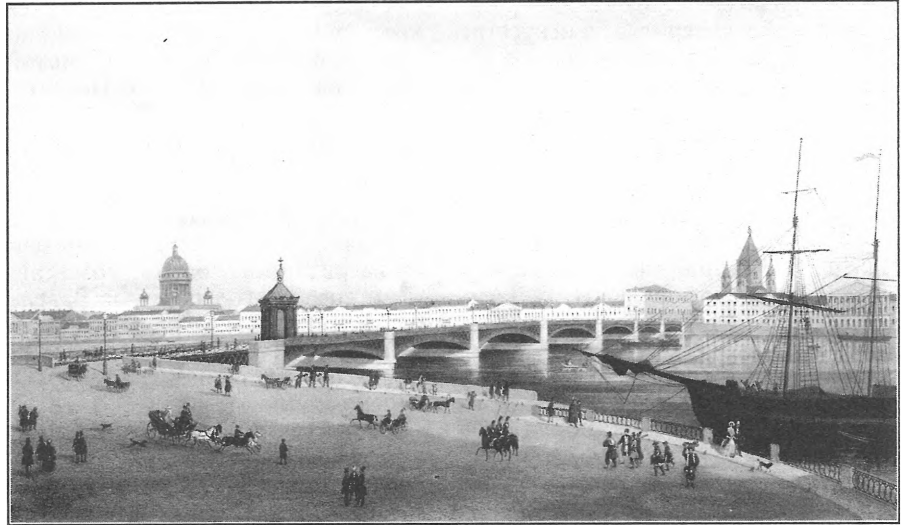
шедевры А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров и К.И.Росси. Город украсили Казанский собор и Главное адмиралтейство. После победоносной войны против Наполеона К.И.Росси приступил к перепланировке территорий, прилегающих к Аничковому дворцу и Михайловскому замку, полностью изменил ансамбль Марсова поля, на территории Третьего летнего сада разбил новую площадь и построил на ней Михайловский дворец. Таким образом, перепланировке подверглась территория от Большой Невы до Невского, а позже — за ним, от Фонтанки до Екатерининского канала. К.И.Росси, как никто, умел организовать территорию, простейшими приемами он принципиально изменял качество ее планировки, исключительно изящно создавал ансамбли, расширял задания, распространяя свои проекты на огромные территории. Так, простую перепланировку близ Аничкова дворца он распространил на Александринскую площадь, наметил Театральную улицу, место Александринского театра и круглой Чернышевой площади, создав одним махом три блистательных ансамбля. Но самой крупной работой К.И.Росси в александровскую эпоху является Дворцовая площадь. На ней он создал главный ансамбль столицы державы, победившей в Великой войне народов, памятник этой победе. Здание Главного штаба могло быть построено только победителем.

Николай I был консервативен и даже архаичен в своих взглядах и действиях, от старшего брата отличался идеалами и привязанностями; в глаза бросались различия, а не общие черты. И тем не менее Николай I привлекал К.И.Росси к строительству самых крупных сооружений. Петербург украсили здания Сената и Синода, Александринского театра, Театральная улица, оба пакгауза Биржи, завершилось формирование центральной части города. Началось вытеснение классицизма, вошедшего, по словам М.З.Гарановской, в архитектуру Петербурга сквозь арку Новой Голландии и покинувшего его через арку Сената и Синода. В архитектуре появилась эклектика. Наряду с дворцами и правительственными учреждениями строились казармы и доходные дома. Во второй половине царствования Николая I Петербург существенно изменил свое лицо, но, тем не менее, в Европе и у нас в России его называли лучшим или одним из лучших городов мира. Недостатки Северной столицы, кроме связанных с ее гео-

графическим положением, обсуждать было не принято, она привыкла к похвалам.

Начиная со второй половины XIX века постепенно прекратилось крупное государственное строительство, почти перестали возводиться дворцы. На смену им пришли промышленные сооружения, побудившие к возникновению вблизи них рабочих слобод, застроенных глав-

быйт: Ходынка, Цусима, Кровавое воскресенье, Ленский расстрел. Правительство и предприниматели плодили недовольных, и они шли в революционные сообщества. Россия переживала поразительное время, в ней боролись, но и сосуществовали несколько миров, несколько цивилизаций. Одни создавали, стремясь хоть что-то улучшить, другие расшатывали государственные устои,



Благовещенский мост.
К.К.Шульц. Литография. После 1853 г.

ном образом деревянными одноэтажными бараками. Промышленность повела наступление на архитектурные ландшафты центральной части столицы, на общий колорит города. В панораму столицы прочно вошли дымовые трубы, электрические провода. Появились литераторы, изображавшие жизнь разночинцев, униженных и оскорбленных. В районах, где они обитали, доминировали на памятники архитектуры... Слава Петербурга, его образ начали тускнеть.

До середины XIX века почти все монархи активно участвовали в создании Петербурга, внесли много личного в его планировку и облик, главным образом, весьма положительного.

Следующие три императора — Александр II, Александр III и Николай II — решению градостроительных задач не уделяли никакого внимания, да и сами задачи утратили прежнюю масштабность. Застройка становилась плотнее, старые дома наряжали в новые фасады, более современной делалась внутренняя планировка зданий.

В царствование Николая II в России произошел ряд трагических со-

пытаясь сокрушить императорскую власть. Подобное происходило и будет происходить всегда и везде — вечное противостояние созидателей и разрушителей. Важно соотношение сил, в России конца XIX — начала XX столетия они были соизмеримы. Раздираемая внутренними противоречиями, империя сотрясала от толчков приближавшейся катастрофы и одновременно испытывала необыкновенный расцвет культуры.

Короткий период от 1890-х годов до октября 1917 года Н.А.Бердяев назвал «серебряным веком, или русским культурным ренессансом». Его начало совпадает с кульминацией накопления во всех отраслях искусства, литературы, философии, публичной демонстрацией их достижений. Не следует полагать, что Россия целиком погрузилась в «серебряный век». Представим плоскость, на которой в определенном порядке и масштабе отображены все события культурной жизни, происшедшие в Петербурге с 1890-х годов до октября 1917 года. Получится пестрое лоскутное одеяло. Из общего числа лишь небольшое количество событий можно отнести к «серебряному

веку». Отголоски и осколки «серебряного века», разбившегося об октябрьский переворот, продолжали звучать и сверкать в Европе до конца 1920-х годов благодаря русской эмиграции.

Культурная жизнь столицы в XVIII — первой половине XIX столетия немыслима без сильнейшего влияния суверена. Начиная с Александра II оно сказывалось все меньше и меньше. Последний император никакого воздействия на выбор направлений в литературе и искусстве не оказывал. Единственная его заслуга заключалась в том, что он не мешал.

Никому не известный юноша, барон Н. Н. Врангель в 1902 году организовал выставку русского портрета. Возможно, эта выставка, возможно, выдающиеся труды по русскому гравированному портрету Д.А.Ровинского побудили С.П.Дягилева устроить в 1905 году грандиозную историко-художественную выставку русского исторического портрета. Из частных коллекций, имений и музеев в Таврический дворец свезли около трех тысяч портретов. (Сегодня в Русском музее выставлено около 7000 произведений живописи). Убранство залов создавало атмосферу эпохи. Ничего подобного ни до этой выставки русского портрета, ни после организовать не удалось. За выставкой в Таврическом дворце последовали не менее замечательная выставка «Ломоносов и елизаветинское время» и «Историческая выставка архитектуры». Огромное количество небольших выставок сменяли друг друга. Продолжали выставляться передвижники, их теснил «Мир искусства», десятки других обществ художников различных направлений. Кружок любителей русских изданий организовал шесть интереснейших выставок. Никогда петербуржцы не видели такого количества произведений русского искусства и не только искусства.

Голосами «серебряного века» были выходившие в Петербурге литературно-художественные и историко-искусствоведческие журналы и сборники: «Мир искусства» (1899—1904), «Художественные сокровища России» (1901—1907), «Старые годы» (1907—1916), «Аполлон» (1909—1917), «Русский библиофил» (1911—1916). Все они вошли в золотой фонд русской и мировой культуры.

Театральные постановки, выставки, журналы, сборники, альманахи и книги демонстрировали достижения многовековой и современной русской культуры. В городе возник-

ло несколько музеев, образовалось Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Оно не только вело активную деятельность по регистрации, охране и реставрации памятников искусства и старины, но и способствовало распространению художественных знаний путем организации лекций и печатных изданий.

После тусклого почти полувекового периода архитектура начала XX века подарила Петербургу такие шедевры, как Торговый дом Елисеевых, особняк М.Ф.Кшесинской, Торговые ряды «Новый Пассаж», Буддийский храм, Соборная Мечеть, здания Русского географического общества, Благородного собрания, Азово-Донского банка, гостиницы «Астория», Ортопедического института, Русского торгово-промышленного банка, компании «Зингер», Торговых домов Вавельберга и Мертенса, жилые дома на Каменноостровском проспекте. Лицо города изменилось, и не в худшую сторону.

После октябрьского переворота настала длительная эпоха, давшая городу лишь несколько интересных сооружений. Новые власти погубили большинство храмов, изуродовали множество фасадов зданий, не пожелали сохранить бесценные интерьеры дворцов. Единственная заслуга этой мрачной эпохи заключается в том, что она нанесла городу вреда меньше, чем могла.

Три столетия прошло с той поры, как Петр I отобрал у шведов Ижорскую землю и возвратил ее России. На островах невской дельты царь приказал заложить крепость, город и порт. Три столетия «стоит неколебимо» Петербург, участник и инициатор важнейших исторических событий, потрясших континенты и цивилизации. Он повелевал народами могучей державы, был пасынком московских властителей, его повергали в невзгоды и унижения. А он выстоял — великий город великого Петра.

Сергей ПЕТРОВ

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

1

Четверть баллады

Бог весть из каких-то далеких
и сказочных стран,
презрев и леса, и поля,
и неверное море,
летит к Петербургу
лихим репортером Руслан,
вися, как балласт,
на запущенном в ход Черноморе.

Опять скоморошничают
на ветру острова,
и снова, как будто нечаянно,
пролиты реки,
и так же под царственным
шлемом стоит голова,
и мнится, вот-вот приподнимет
гранитные веки.

2

Через Неву увидит всякий,
кто лишь захочет посмотреть:
из зелени валит Исакий,
как позолоченный медведь.

И хватит силищи у мишки,
чтобы орлинокрылый Рим
подмять. А о его умишке
давай потом поговорим!



МИФЫ И АНТИМИФЫ

Книга Закатов

(Журнальный вариант неоконченной книги)

Мария КАМЕНКОВИЧ

ориентируйся по кронам,
по облакам и по закатам*

Есть старая мудрость: мир — большая книга, мы живем внутри книги, сами ее дописываем и составляем внутри нее собственные, маленькие... Но при этом — принимаем ее страницы за безразличный фон собственных глубокомысленных занятий, не можем прочесть подсказок, не учены грамоте. С неграмотного что взять. Но его жизнь внутри книги — недоразумение.

С другой стороны, книга написана иероглифами, которых не проходят в школе. Древние пытались подражать этому письму, подменяя его собственными системами иероглифов, и плодили подделки. Буквенная система честнее, она оставляет нас наедине с иероглифами Большой Книги.

Что делать с этими иероглифами? Каждый из них может оказаться больше целого народа, больше человеческой ойкумены. Первый шаг — хотя бы различить некоторые из них, попытаться их назвать. Переписать на буквенный язык. Задача, слишком грандиозная для смертных: каждый день — уже иероглиф самого себя. Что же говорить об элементарных частицах судьбы (например, мелкой удаче, странном совпадении) и о линиях «иероглифа дня»: порыв ветра, отражение дерева в луже, закат... Каждый день оканчивается чувством вины — как будто ты не выучил заданного тебе урока, хотя в этом пансионе без Черной Курицы никак не обойтись. Слабая надежда: а может, эти иероглифы не для нас? Может быть, ими «ангелы глухонемые ведут беседу меж собой»? Ну, не обязательно глухонемые, а просто использующие свою особую систему коммуникации? А мы лишь толпимся у подножия этих движущихся сфинксов и текучих пирамид, запрокинув лица, и подсматриваем адресованное не нам. Впрочем, не подсматриваем: человечество в целом

решительно не питает интереса к иероглифическим речам мироздания, не пытается разгадать загадку, возьмем что-нибудь наугад, ну, скажем, формы Везувия, а если взять шире — тайну непоименованной реальности у нас за спиной... Пирамиды призваны в том числе и наглядно показать нам, что прошлое присутствует в настоящем, скрепить времена как восток гигантским скрепкосшивателем,строить нас в великий иероглиф Реальности путем простого перенесения постоянной **Z** из множества **B** в множество **A**. Назовем наш временной срез и запертых в нем нас множеством **B**. И вот мы разглядываем пирамиду... Но пирамида — это постоянная **Z**, она присутствует одновременно и здесь, и «там», в далеком прошлом, в множестве **A**. И если мы поймаемся на крючок пирамиды, мы сможем ощутить себя вместе с нею в **A** — в ее прошлом. Мне скажут: пирамида не крючковата... А посмотрите-ка на нее в разрезе... И увидите иероглиф крюка.

Но мы в любом случае разглядываем пирамиду сквозь пуленепробиваемое музейное стекло своей неграмотности, и даже следуя за собственным взглядом — утыкаемся лбом в стекло и остаемся внутри множества **B**. Там же — за стеклом — остаются и все другие иероглифы, большинство из которых куда сложнее простенькой пирамиды, и которые могли бы нас унести, перевести, перенести за пределы нашей необязательной, непринудительной темницы — в другие времена, пространства, миры, смыслы, в то, о чем написана Большая Книга.

Закат — не более чем один из иероглифов мироздания, зато один из самых заметных. Он навязывает себя, подводит итог дню, сообщает о приговоре дню, выносит этот приговор на языке той сферы, той области, над которой высвечивается. Мы не можем прочесть букв этого итога (их и нет). Не можем, — а должны. Иначе зачем мы живем под небом, а не внутри подсвеченной матовой сферы? А если попытаться? И сразу станет ясно: закаты говорят нежи-

данное — в том числе о городах и весях, над которыми разворачиваются их знамена.

Главное, что удастся понять, — то, что все закаты восходят к одному образцу, к платоновской идее Заката. Конец — и перед концом взгляд в глаза, последние слова, завещание и увещание. Повеление и просьба исполнить последнюю волю. Смерть света. «Пришедше на запад Солнца, видевше свет вечерний»... Вечер Страстной Пятницы. «Почто нисшел еси во гроб, Свете Незаходимый?» Плакальщицы, Чюрленис, мироносицы. И солнце, воскресающее и встающее не с востока, а с запада, закат наоборот, древнейший, заветнейший символ. Умиравший король Артур был взят в Аваллон, на острова Бессмертных, лежащие на западе, за океаном, и он возвратится обратно, придет с запада вновь править Британией, как Король Былого и Грядущего. Слабый отголосок Пасхи... Закат наоборот, «обращение» музыкального аккорда. Обращение заката. И в каждом закате обещание инверсии, взгляд солнца глаза в глаза, взгляд Вышнего глаза в глаза человеку (в чем тайный смысл иероглифа «золото»).

Есть места, откуда хорошо наблюдать закат. А есть места, откуда его не видно. Полуденные страны, вообще не замечающие заката.

В Царьграде на закате,
В Назарете на заре...

В. Набоков

Закат — инсигния царских городов. Недаром в Царьграде правил император Константин Багрянородный.

Один из самых «закатных» городов — Петербург. Город, претерпевающий закат иногда чуть ли не добрую половину суток. Рассветы здесь чаще всего мучительны: холод-

*Все неподписанные стихи принадлежат автору статьи.

но, темно. Мучительна «петровская заря», пробуждение в новый день российской истории, вздёргивание России на дыбы, хотя уже давно известно, что никто никуда не поскочит, а все так и замрет в претенциозной позе. Город строился на заре, на сотнях мертвецов, не переживших рассвета. Поскольку — поперек основного, закатного смысла. Ибо Петербург — окно не столько на запад, сколько в закат, в мистические просторы заката. И это окно всегда распахнуто. В Петербурге возлагается меньше надежд на День Этого мира, чем, скажем, в Москве. Потому и говорят сведущие люди: этот город построен не для жизни. Петербург смотрит за горизонт пророческими, знающими очами: в закатный отказ от здешнего, в запредельность, в преодоленность дня, в запредельность, засуетность, заночье. А тем временем ночная нечисть уже готовится как следует разгуляться с наступлением темноты.

Петербург ухитряется даже море и закат замкнуть на себя, присвоить. Вернуть против течения, отразив в волне наводнения. Петербург затоплен закатом, вместо того чтобы в него втекать.

Алая краска спустилась в небо, — прилила как кровь. Солнце появилось под размытыми облаками размытым пятном, на мгновение оставило на серой стене геометрические картины и скрылось. Это — начало действия. От скрытого в туче солнца небо обретает форму, различается само в себе, утверждается, а над крышами копится розоватое свечение — аморфное, как осадок этого формообразовательного процесса. Далеко вверху появляется строгий, неподвижный, лучезарный узор перистых облаков. Размытые тучи мгновенно принимают определенные формы, располагаются в недоступных городу областях небес многозначительно и осмысленно. Одни, как темные раковины корабликов, плывут в открывшуюся протоку, другие длинными параллельными струями втягиваются в какие-то воронки. Постепенно форма и осмысленность распространяются от центра, где спрятались солнце, на все небо. Это — ноты ангельской музыки, ангелы поют по крюкам облаков. И вот все облака ушли в воронки и протоки, и солнце — вращаясь — серебряное —

появилось наконец из-за тучи. Медленно и по-царски, уже четко очерченное. Изливая яркую милость. Постепенно серебро тяжелеет, превращается в золото. Солнце царит на небе единовластно, отражаясь во всех стеклах на земле. Как оттеняется темная скудость души! И почему мы открыты этой — иной — реальности? Почему мы вообще всё это видим и между нами и небом нет никакой границы?

Когда восстанавливаешь тот или иной закат по старым записям, достаточно вспомнить что-то одно, — и перед глазами вся картина целиком, в прежней точности и одухотворенности. И, однако, это всегда — воспоминание и уже никогда — потрясение. Небо тем и отличается от земли, что не нуждается в наших воспоминаниях, не нуждается даже в зеркале вод или зеркале стекол, хотя при случае использует их. Земля восхищенно подставляет ему эти зеркала, отлавливает для себя кусочки неба. Это нужно ей, а не заката, и нам не понять — зачем. Так имеют ли значение увиденные на небе мистерии? Стоит ли их записывать, запоминать? Ведь это — все равно что пересказывать сонату.

Что получается, когда Поэту удается изловить петербургский закат с помощью слова.

Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы...

А. Будницев

Вообще-то, как ни странно, о закатах в Петербурге писалось мало. В начале существования город воспринимался как нечто совершенно новое, ему прочили славное будущее, и естественно было петь скорее утреннюю зарю, нежели вечернюю (Вяземский: «И на рассвете зрит / Лучи златого дня» (в аллегорическом смысле)). Или же внимание стихотворцев привлекали странные, неестественные для большого каменного города белые ночи («...Что сияет от заката / В полночь полудневный свет?... Средь багряна стекляна злата...», «...Кидала ночь свой странный полусвет...», «Не сон ли чей-то смутный мь!», «...тьма — как будто тень от света, / и свет — как будто отблеск тьмы», «...Печаль о земле озарили / Моря просветлен-

ных просторов...»). Воспевая белую ночь, поэты иногда снисходят до того, чтобы заметить предшествующий ей закат, который, правда, интересен для них в этом случае только тем, что непосредственно переходит в рассвет: «...В час, когда томят нас две зари...». Мистика белой ночи никуда не зовет и не уводит — только «томит». Это — мистика «здешнего», мистика притягательного смещения тьмы и света, измененный вид «здешнего». Белая ночь открывает в обыденности какие-то неведомые измерения, иногда — жутковатые. В одном-единственном случае, у Лидии Зиновьевой-Аннибал, в стихотворении о белой ночи акцент все же перенесен на закат, — и сразу же возникает тема «инога», запредельности, некоего «там»:

Червлёный щит тонул, — не утопал,
В струях калился золотого рая...
И канул... Там, у заревого края,
В купели неугасной свет вскипал...

Река хранит чудес отображенья.
Ей расточить огонь небесный — лень...
Намеки здесь — и там лишь
достиженья.

С точки зрения обыденного смысла белые ночи для Петербурга важнее: закат — везде бывает, а белые ночи кроме Петербурга — из цивилизованных мест — только в Скандинавии. (Но скандинавы, насколько мне известно, не делают вокруг своих белых ночей такого шума, как петербуржцы — вокруг своих). Поэтому не удивительно, что в петербургской поэзии редки упоминания о закате. Но и немногие примеры, в основном у поэтов «второго ряда», очень важны. Например, у Николая Гнедича:

...Вот солнце зашло, загорелся
безоблачный запад,
С пылающим небом слясь,
загорелось море,
И пурпур и золото залили рощи
и домы.
Шпиль тверди Петровой,
возвышенный, вспыхнул над
градом,
Как огненный столп, на лазури
небесной играя.
Угас он...

Утренняя заря вызывает мысли о грядущем величии Петербурга и России. Белая ночь с ее двусмысленностями заставляет усомниться в этом бодром мироощущении. Но на закате невеста отсюда возникают совсем иные ассоциации — библейские, апокалиптические. В этом стихотворении шпиль Адмиралтейства (или Пет-

ропавловки?) уподобляется ни много ни мало огненному столпу — тому, что вел евреев через пустыню! Но огненный столп Моисея не исчезал, он пылал все ночи напролет, ука- зывая путь избранному народу. А «шпиц тверди Петровой» — «угас...». Впору случиться сердечному пере- бою. Огненный столп — и угас! Во- рота открылись — и захлопнулись прежде, чем в них хоть кто-нибудь проскользнул.

Или у Петра Ершова в «Проща- нии с Петербургом»:

...Сокрылось солнце за Невую,
Роскошно розами горя...
В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
...О, не скрывай, заря, так рано
Волшебный блеск твоих лучей
Во мгле вечернего тумана,
Во тьме безмесячных ночей!
О, дай насытить взор прощальный
Твоим живительным огнем,
Горящим в синеве хрустальной
Блестящим радужным венцом!
Но нет! Румяный блеск слабеет
Зари вечерней; вслед за ней
Печальный сумрак кладом веет
И тушит зарево огней.
Сквозь ткани ночи гробовые
На недоступных высотах
Мелькают искры золотые, —
И небо в огненных цветах...
О, не видать тебя мне боле,
Святая невская заря!..

Что поразительно в этом стихо- творении: поэт сначала прощается с вечерней зарей, которую неожида- но величает «святой», а уже потом, в следующих строфах, обращается непосредственно к городу, который покидает. И почему вдруг «невская заря» — «святая»?

* * *

Что-то выше нас, что-то выше нас
проплывает и гаснет...

И. Бродский

Закат после праздника Преобра- жения в 1985 году. Я видела этот закат из-за домов. В облаках — не- имовверное: оттенки бежевого, мо- лочно-розового, тускло-опалового, и вдруг — рядом с лазурью — мато- во-голубого. Выше — светящиеся гребешки туч. Я дожидалась трам- вая; над Тучковым мостом — ги- гантская, под острым углом, рифле- ная светло-золоченая полоса, ниже луч облака, а под ним — как бы в подполе — уже иное: красно-серое свечение, уходящее и уводящее в глу- бину. По обе стороны — невероят- ные человеко- и херувимоподобные

фигуры, возносящиеся, воскуряющие- ся, клубящиеся, а на другой стороне моста — могучая озаренная грудь гигантского облачного фронта. Всю- ду строятся арки... Юг, север — все по- дождено, ало-синее, лилово-алое, и все отражается в лужах, в Неве, сто- ит в конце проулков... Люди в трам- вае даже слегка заволновались, чего обычно не бывает, небо принято не замечать. Но перспективу заслонили дома Петроградской стороны, пасса- жиры немного успокоились — и, когда трамвай выехал на второй мост, Каменноостровский, уже на- столько пришли в себя, что не обра- тили внимания на продолжающееся Действо — или сделали вид, что не обратили. Но тут выехали на Кар- повку, к монастырю Иоанна Крон- штадтского, и — общее «ах»: в глу- бине, за куполами монастыря, мгно- венное, диковинное видение — крас- ная, рубиновая шаровая молния: провал в царский, неземной, крова- вый, горный светоцвет. Это был глаз Солнца в тучах. А под ним — три молнии вниз (как падающие от стра- ха ученики на иконах Преображе- ния) — это было уже почти: «Кто увидит, не останется жив». Молнии — три разрыва в тучах, как бы нарисо- ванные горящим кармином, три зиг- зага. Трамвае-странники и я были удостоены видеть что-то заестест- венное, хотя, с другой стороны, по- думаешь, ничего особенного, ска- жет тот, кого не было в этом трам- вае. Когда небо открылось в сле- дующий раз, ничего уже не было — только последняя солнечная искорка из тучевой глыбы, но и эта картина была полна Присутствия.

* * *

...А в России, в страшных ее
просторах,
разметались расстриженные
Престолы,
окопались ссыльные Херувимы
и пророчат впрок, непереводамы,
и с неслучной круто толкуют
тварью,
заливая ей рот расплавленной
киноварью...

Не те европейские закаты. Ника- кой разверстой хаотичности; слож- ная, многоуровневая структура, па- стель, акварель, чувство меры, спо- койствие и достоинство. В Германии даже скалы и деревья с уважением относятся к идее сакрального По- рядка... и, кажется, даже самое небо подрядилось подтверждать эту вели- кую Идею. Силы хаоса иногда спо- хватываются и высылают своих гон-

цов, громоздятся многоуровневые тучи, льется кровь, но так или иначе с приближением сумерек порыв удается укротить (или переубедить), и снова на все небо — расписной ба- рочный купол. В Регенсбурге, где я сейчас живу, в пятнадцатом веке рисовал свои полотна Альтдорфер, автор знаменитой картины «Битва Александра Македонского». На этой картине, как и на многих дру- гих кисти того же мастера, — един- ственное в своем роде закатное сол- нце: подобно страшному главному яблоку, оно сияет из образованной тучами глубокой глазницы. Кажется, что Альтдорфер списал это солнце с натуры. В Регенсбурге и вправду раз за разом повторяется эта причудли- вая игра облаков, — и солнце, как чудовищный глаз, вперется из сво- ей глазницы в украшающие мер- нущий восток многоуровневые узоры. Германия бессознательная упорядо- чивает свою обыденность и повсе- дневность; Германия вечная глядит на нее из туч недреманным оком святых и поэтов.

Совсем иное на Британских остро- вах... В одном из внушающих дове- рие пророчеств Англия названа стра- ной, над которой установлен «вели- кий небесный купол». В это легко поверить. Островной ли климат то- му виной, или духи места, но такого неба, как над Англией, нет нигде. С десяток различных организованных облачных слоев создают впечатле- ние головокружительной высоты (в Петербурге не так высоко само небо, сколько бороздящие его исполин- ские облака). Закат, лишенный стра- стности, окрашивает каждый слой по- своему. Солнце здесь — не гибнущий титан, а сосредоточенный и вдохно- венный дирижер.

Испания. Страны, которые лежат от нее к юго-востоку, смирились с про- стой картиной мира и отказались комментировать монотеизм мусуль- манского солнца, для которого все ясно: линия горизонта, горизонталь- ная радуга вдоль него, беспощадное солнце, каждый день твердящее одно и то же. В Испании садящееся солнце неизменно сопровождает эскорт из нескольких вытянутых в длину ком- ментариев — даже в самой знойной полупустыне. Над Сьеррой — зака- ты безмерной сложности, щедрости, любой из них — как монастырская гора Монсеррат, каждая сторона

света организована отдельно. Пышность и богатство — как в затерянном на просторах Ламанчи монастыре рыцарей-якобитов, где каждая комната, каждый ларчик отягощены избыточностью яркого цвета и немислимых узоров... как в соборе Гауди каждый камень — отдельный шедевр (не листайте альбомы, они не дадут о Гауди никакого понятия). Сады над Средиземным морем, солнце отсылает нас в Италию, а само продолжает беседу с Иберийским полуостровом.

Недавно покинувшие Петербург, в Италии мы, конечно, прежде всего устремимся в Рим, а петербуржцу Рим в обход умершего в нем Вячеслава Иванова, его «Света вечернего» и «Римского дневника» — не дастся. Ни Рим, ни его закаты не даются в руки «просто так», мимо всего в этом месте сказанного и происшедшего. Варварам доступа нет. Сначала нужно стать своим в библиотеке Памяти, вокруг которой строила и недостроила свою уникальную философскую систему Ольга Шор — сподвижница Иванова в его римские, закятные годы. Но зоркий варвар заметит: как бы ни *«прекрасен / Был римский золотой закат...»* и как бы ни ощупывал *«ослепший луч»* синий купол Св.Петра, который *«один, на золоте кружится»*, и хотя *«Зеркальному подобна морю слава / Огнестого небесного расплава, / Где тает диск и тонет исполин»*, везде среди чудовищных римских развалин господствует темно-красное уэллсовское свечение:

... Но с человеком изменился
И дух полуденной земли.
И мнится — воздух потемнился,
И небеса изнемогли.

И до звезд... тлеет
Темным пламенем пожар.

...А потом, конечно, в Венецию... И окажемся в развернутой к югу Венеции закатов. По сути своей она сама — бесцветный закат, но лицом (устьем канала Гранде) выходит на восток. (Остров-кладбище Сен-Микеле, где похоронен Бродский, на севере, отсюда можно смотреть в любую сторону, в том числе и на закат). Здесь нет солнца, которое спускалось бы в воды, окрашивая окна блеклых палаццо. Вот разница с Петербургом! Петербург — не «Северная Венеция»: он скорее — «Закатная Венеция», «Западная Венеция», Венеция, развернутая к западу.

* * *

Закаты будут вопрошанья и ответы,
Заглядыванья в застекленные окна
смерти

В том мистика, метафизика и скрытый смысл закатов, что они — хотя и не всегда, не механически — предоставляют себя в качестве подмошек для явления в мир Высшего Смысла. Встречи Бога с местом и временем всегда особенны, а именно: не просто подражывают наблюдателя, а ради него как раз и совершаются. (Если бывают другие разновидности таких встреч, мы об этом никогда не узнаем. За Богом без Его ведома подсматривать невозможно). Только эти точки встреч и интересны, поскольку они озаряют место и время одновременно новым и вечно одним и тем же светом, и из этих встреч расходится веер новых путей. А встречи места и времени с самими собой или с людьми наблюдать скучно. Тут ничего нового не произойдет.

Вот, для иллюстрации, раннее стихотворение Елизаветы Кузминой-Караваевой:

Смотрю на высокие стекла,
А постучаться нельзя.
Как ты замерла и поблела,
Земная стезя.

Над западом черные краны
И дока чуть видная пасть;
Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная снасть.

На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.

Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней череду.

Я знаю — живущий к закату
Не слышит священную весть,
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть.

Смотрю на горящее небо,
Разлившее свет между рам;
Какая священная треба
Так скоро исполнится там.

1916

Стихотворение обращено к Блоку, это известно, но если не знать этой конкретной биографической подробности — оно приобретает другой смысл. Кто этот «живущий к закату»? Блок. Но в ином контек-

сте — любой житель Петербурга. Почему «живущий к закату» не слышит «священную весть»? Это — противоречие: вот он, закат, он возглашает священную весть, но те, кто, казалось бы, живут прямо у порога этой вести — «к закату», не слышат ее: занятые восхвалением грядущего утра, они в лучшем случае используют закат в качестве декорации на оперных подмостках. Кузмина-Караваева настроена слышать весть — и чувствует свое одиночество. Блок — только частный случай общей глухоты. Все заняты: кто слушает «музыку революции», кто и вовсе неизвестно что — из собственных наушников. И рано прочесть им «призывное слово». Удивительное смирение поэта! Невероятно трудно, достоверно расслышав «призывное слово», удержаться и не зачитать его как можно скорее слабому на уши «тихому брату!» (Заметьте все же, что глух в стихотворении — не кто-нибудь, а Блок. Каково смирение поэта — такова и спесь его: нужна дерзость, чтобы указать гениально чуткому Блоку, что и он чего-то не слышит). Все равно что угасание огненного столпа у Гнедича, — только здесь поэт гасит «столп» своими же руками, поскольку избранный народ смотрит в другую сторону... Этот мотив предоставления свободы чужой глухоте возносит стихотворение высоко над его конкретным смыслом. «Между рам» скоро исполнится «священная треба» — для кого? Никто не хочет внимать или никто не может. Но и не пришло еще время призывать. Точная, пронзительная характеристика эпохи, но и — прощающая. Трагедия: «живущие к закату» отвернулись — и не принимают той самой вести, ради которой они именно и живут здесь. И столп угас.

Следует ли полагать, что на закате Петербурга сочинители примутся писать Книги и Поэмы Закатов, а восходы окажутся в небрежении? В таком случае город, задуманный как окно на Запад, будет затоплен закатом — вместо того чтобы в него впасть. Если не застеклит себя музейным стеклом...

Тогда закат отхлынет — и затопит весь остальной мир.

Санкт-Петербург: Америка или Египет?

Александр РАППАПОРТ

Через Неву, через Нил и Сену
мы прогремели по трем мостам.

Николай Гумилев

Ведь и держусь я одним Петербургом —
концертным, желтым, зловещим,
нахохленным, зимним.

Осип Мандельштам

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

Осип Мандельштам

Привыкнув к тому, что Санкт-Петербург — «окно», прорубленное Петром Великим в Европу, мы берем эти слова Пушкина на веру, хотя стоит, прежде чем искать ответа на вопрос: где Петербург и где желанная Европа, — задуматься над смыслом афоризма.

Ну, почему «прорубленное» — более или менее ясно. Петр орудовал топором, он и в Европу ездил с топором, обучаясь корабельному делу в Амстердаме, и по возвращении из Европы тотчас отрубил головы четырем стрельцам (видимо, не успев перейти из роли простолудина в роль царя, ибо царю ремесло палача совсем не пристало), в самом Питере срубив себе самолично деревянную избу.

Но вот почему «окно»? Ведь логичнее было бы прорубить дверь. Окно, как заметил в свое время Георг Зиммель, в отличие от двери, обладает односторонней пропускной способностью и предназначено в основном для того, чтобы смотреть изнутри наружу, в то время как дверь допускает движение в обоих направлениях. Мысль, вполне применимая к случаю с Петербургом. Петербург, во многом будучи предшественником большевистских утопическихстроек, — является прежде всего образом и образцом Нового мира, построенного в одном, отдельно взятом городе. Он был своего рода потемкинской деревней, наподобие Всеобщей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) как образа коммунизма, построенного в од-

ном, отдельно стоящем городском парке.

Критики Петербурга как города «вымышленного», неисторического, лишено корней, были во многом правы, но несправедливы, так как отказывали замыслу Петра в главном — в его проектности. Петр понимал, что строит нечто небывалое и не связанное с прошлым. Вопреки справедливой критике, прав оказался Петр, его город победил, став особым историческим существом с ним на что не похожей судьбой, совершив кажущийся невозможным скачок в эволюции.

Населению, отнюдь не отпущенному не только что в Европу, но и на волю, тут предоставлялась возможность воочию увидеть «Россию будущего», которую лишь весьма условно можно считать Европой. Да, тут строили европейские архитекторы, да, тут царило итальянское и голландское барокко, но все же Петербург весьма мало похож на европейские города. Всякий, кто бывал в Амстердаме или Венеции, знает, что эти уютные и тесные поселения трудно сравнивать с питерскими масштабами. В частности можно найти в Петербурге следы Европы, но в целом — ее тут нет. И дело не только в масштабах. Творения Растрелли в других местах, например в Митаве, хоть и хороши, ни в какое сравнение не идут с шедевром Зимнего дворца, тут само место поднимало зодчих на немыслимую высоту.

Но окно существует не только для того, чтобы обитатели выглядели на улицу, пусть даже европейскую. Окно служит еще двум, не обозначенным Зиммелем, целям — через него в комнату попадает воздух и свет. Оставим вентиляционные функции Питера в стороне, российский воздух никогда не делал граждан свободными.

Но свет был не только неповторимым питерским светом неба, но и светом знания.

В 1698 году Петр Великий побывал в Лондоне, где имел случай встретиться по крайней мере с двумя людьми, предложившими план перестрой-

ки английской столицы после пожара 1666 года по регулярному плану в духе версальских парков. Планы эти, принадлежавшие Кристоферу Рену и Джону Эвелину, остались на бумаге — не удалось преодолеть прав частного землевладения, город восстанавливался в границах прежних земельных наделов. Однако Петра не могла не поразить сама возможность строительства города «по чертежу», причем не какой-то фортеции, а огромного столичного города, метрополии. Такого до лондонских планов свет еще не видывал, и Петру эта идея, видимо, запала в душу, как все технические новинки века, сколь бы фантастичными они в России ни казались, тем более, что он, видимо уже там, смекнул, что в России частная собственность градостроительству не преграда, а можно сыскать местечко и вовсе пустое, где не с кем будет делить участки. Но все же едва ли градостроительный проект был самым сильным впечатлением Петра от Европы.

Прежде всего Петр должен был быть поражен кораблестроением. Исчезнувшее ныне с наших глаз под воду, в конце XVII века оно переживало расцвет, который можно сравнить разве что с космической техникой. Взгляните на полотна и гравюры того времени, изображающие парусники, соединяющие стихию воды, ветра, неба и неумный авантюризм. Английские и голландские верфи производили на Петра впечатление едва ли меньшее, чем на нас мог бы произвести цех сборки космических кораблей на мысе Канаверал.

В Англии и Голландии Петр уже прослышал о том, что выходцы из этих стран переплывают на этих фантастических агрегатах, шхунах и фрегатах, через Атлантический океан и на «пустом месте» собираются строить новые города и новую цивилизацию. Америка запала в душу Петра, через несколько лет он посылает датчанина Витуса Беринга проверить, нет ли у России с Америкой общего берега.

Таким образом, восторг перед чудом техники — парусными кораб-

лями, гигантским размахом планов американских колонистов и осознание необъятности собственной страны могли сложиться в сознании Петра в план начинания, выходящего за пределы прорубания «окна» в Европу. Тут скорее можно говорить о дерзком открытии Нового Света у себя под рукой.

При строительстве своей «Америки» Петр воистину стал сам себе Колумбом, и анекдотическая подставка Петра вместо Колумба в церетелиевском московском монументе получает свое историческое оправдание.

Не догонять, а перегонять хотелось Петру, как, впрочем, и всем российский инициаторам.

И надо сказать, что ему и его наследникам удалось построить нечто такое, что в действительности обогнало по тем временам не только Европу, но и Америку, ведь ей не под силу были начинания, требовавшие таких гигантских средств и концентрации усилий, которые Россия могла обеспечить благодаря своему рабству. Америка поспешила за Россией в области института рабства, но наткнулась на демократию, чего Россия могла не бояться. Россия обладала всеми преимуществами Америки как новой земли в сочетании с египетской концентрацией строительной воли, сосредоточенной в руках фараона-царя.

Петербург Петровой эпохи был еще отчасти похож на Новый Амстердам или Пенсильванию XVIII века, но уже в руках Екатерины и Александра ушел так далеко вперед, что и сегодня Вашингтон отстает от Санкт-Петербурга по всем статьям. Случилось это, однако, не только вследствие неограниченного объема средств, истраченных на строительство, но и потому, что здесь удалось с самого начала в большей степени, чем в городах Америки, овладеть Невой и ее рукавами. Сочетание водных пространств с северным небом с его предполярным светом и с камнем привнесло в петровско-екатеринские утопические планы качество, которое не добудешь никакими деньгами и рабами, — мистический синтез природы и искусства, сотворивший чудо, равного которому, может быть, до сих пор нет на земле или же таких чудес совсем немного. В какой-то мере с Санкт-Петербургом можно, наверное, сравнить Великую Китайскую стену, египетские пирамиды и сам современный Нью-Йорк.

Дельта Невы вызывает в памяти дельту (то есть увиденное греческими глазами Александра Македон-

ского устье) Нила, впрочем, слишком громадную для градостроительного охвата. Быть может, именно она заставила Гумилева перечислить эти реки через запятую в своем мимолетном пророчестве. Дельта Невы не выходит за рамки градостроительного освоения. Хотя даже по сегодняшним возможностям идея воздвигнуть город сразу на обоих берегах этой фантастической по размерам реки была бы сочтена безумием. Может быть, отсюда и идет городское безумие Питера?

Лондон, например, как и многие примыкавшие к большим рекам средневековые города, долгое время строился на одном, северном берегу Темзы и лишь значительно позднее стал распространяться на противоположный берег. Петр же задумал осваивать оба берега одновременно.

Такая затея под стать безумию большевиков, которые тоже испытывали неравнодушное отношение к рекам и стремились заковать их в плотины ГОЭЛРО, что им в известной степени удалось, впрочем как и американцам. Большевики мыслили себе коммунизм как электрификацию, Америка проводила соответствующую автомобилизацию или моторизацию, ну а Петр Великий мечтал о «канализации» всей страны. Позднее, в 1980-е годы, большевики задумали и вовсе кощунственное мероприятие — повернуть все великие сибирские реки вспять. Может быть, они и вправду мечтали оросить пустынные и залежные земли империи Тамерлана, а может быть, просто захотели показать стихиям — кто тут хозяин, но эта затея не удалась и послужила если не главной причиной, то во всяком случае одной из причин крушения их власти.

Пафос освоения природных ресурсов огромного масштаба вообще роднит Россию и Америку, и не раз Сибирь сравнивали с американским Западом. В привычной для советской идеологии самоидентификации «Новый Мир» слышен американский «Новый Свет», ибо «свет» в данном случае обозначает как раз «мир», а не оптическое явление. Однако новизна в данном контексте оказывается понятием не столько географическим или даже историческим, сколько теологическим. Новый мир противопоставляется миру ветхому.

В отличие от наименований большинства городов западной России, имеющих женский род, Петербург — звено в цепи сибирских городов с их мужскими названиями (Екатеринбург, Омск, Томск, Новосибирск, Вла-

дивосток, Петропавловск; последний как бы эхом с окраин отвечал не столько Петербургу, сколько Петропавловской крепости. Каторга отвечала тюрьме). Более женственный, хотя все же мужской Ленинград прижился в сознании отчасти потому, что привлек к городу не столько Ленина, сколько Лену — великую сибирскую реку, которая, как и Невы, — женское речное богство, что в мифологии города играет исключительно важную роль. В Петербурге мы имеем дело и с новым светом в его оптическом проявлении, так как специфический северный свет неба в этом городе отличается от света небес европейских и американских городов, а образовавшееся над Невой гигантское зеркало небесного свода дает тип освещения наподобие северного сияния, который вообще превращает образ города — в икону, без гидростанций освещающая и оживляющая этот образ. Он вызывает в сознании фаворский свет, «источник которого», по словам Ахматовой, «тайно и таинственно скрыт».

Конечно, Петр видел в городе не икону, а корабельную верфь и порт, его идеалом были машина и станок. Но в результате обрамления неких берегов в гранит и появления на набережных системы дворцов и шпиль картин получила такая, что можно говорить о механике духовных потоков, ибо икона ведь и есть не только образ, связывающий молящегося с прообразом, но и своего рода машина преобразования духовных энергий. Образ Санкт-Петербурга несомненно производит такое преобразование душевных движений в духовные, в чем, вероятно, и скрыта его таинственная магия. Хотя в то же время самый вид его, образ тоже указывает на некое сакральное содержание. Петербург, в отличие от Москвы, строился не по схеме Небесного или земного Иерусалима, его структура иная, но чувство «нездешности» присутствует в нем с большой очевидностью, усиливая эту магию духовного трансформатора энергий.

Не случайно Бердяев, говоря о призвании человека, который должен быть сам солнцем и освещать мир, ссылается на впечатление от белых ночей, столь важных для образа Петербурга:

«И магическое действие белых ночей и необычную красоту их можно объяснить тем, что в белые ночи не видно внешнего источника света (солнца, луны, лампы, свечи), что все предметы светятся как бы изнутри, из себя. Белые ночи романтически на-

поминают о нормальном внутреннем свете всех существ и вещей мира» (Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Paris. 1985. С.107).

Энергетика Невы и ее рукавов производит поистине магическое впечатление. Даже какие-нибудь, названные первооткрывателями города на скорую руку Малая Нева или Большая Невка являют собой речные божества, превосходящие силой своих темных водных масс Тибр, Арно и Сену. Заметим, что прочие реки города имеют как правило окончание «ка» (Фонтанка, Мойка, Пряжка, Славянка, Карповка, Канавка. Две последние дают даже это «ка» дважды. Но, вспоминая, что входит эта частица и в величественное понятие «река», так и хочется усмотреть в ней египетское «ка» — символ бессмертия душ усопших), как бы подчеркивая, что их место рядом с Невой подобно месту дворовых девок при барыне. Неподвластная и своевольная, оборачивающаяся наводнениями Нева безусловно может считаться водным божеством, и в силу этого ее фигура у Ростральных колонн не кажется барочной аллегорией, а действует как подлинный кумир. Сам медный Петр, поднявший на дыбы не то коня, не то всю Россию, был остановлен этой рекой и свидетельствует, что лишь гранит может сдерживать порыв, и царский и стихийный.

Несчастный пушкинский Евгений и его любовь приносятся в жертву этому языческому божеству как строительная жертва, тем самым укрепляя строй самого города. Погибшие в его более или менее легендарных болотах массы людей делают град Петров своего рода Храмом на Крови. Да и сам Пушкин, не стал ли строительной жертвой русской культуры, фундаментом, на котором покоится «наше все», пав на берегу самой ничтожной, если не считать Славянки, из петербургских рек — Черной реки. Мифологема потопа, вообще столь существенная для Петербурга, усиливается и расположением в центре города зверинца, делаая из него еще и ковчег, причем удвоенный литературным ковчегом памятника Крылову в Летнем саду.

Попытка леблондовского проекта превратить Петербург в крепость, окружив его бастионами, и в Амстердам или Венецию, изрыв каналами, — не удалась по многим причинам. Не последнее место среди них — нелепая идея рыть каналы рядом с самой Невой, умножая и без того щедрый дар природы. Но еще важнее принципиальная неподвластность Пе-

тербурга всякому его ограничению. Подобно американским городам Петербург никогда не был заключен в кольцо оборонительных сооружений. Он весь сплошная открытость и просторность, которые не дают зданиям сжать его улицы. Поэтому судьба Васильевского острова — не случайность нереализованной мечты, а историческая и мифологическая закономерность. Каналы засыпали, остался лишь остров, как промежуток между водами, томоновская Биржа воспроизводит островные храмы Эгейского моря.

Открытость Петербурга соответствует и некоторой неопределенности границ Российской империи. Границы эти то расширяются, перемалывая даже в Америку, то сужаются. Их то хранят как самую важную государственную святыню, то забывают о них и мыслят жизнь в мире без соседей «единым человеческим общением». Эта неопределенность границ на северо-востоке обусловлена природой — кто знает, что такое граница России в районе острова Врангеля. Но проявляется неопределенность российского пространства и в загадочном провале цивилизации между Москвой и Петербургом, как если бы их разделяли не сотни километров обычной земли, а космические провалы.

Вода и камень соединяются небом. Камень оказывается не только символом самого Петра, но и силой, сдерживающей эту космическую энергию. Геологическое измерение петербургской мифологии роднит город с Египтом, гранит которого столь превосходит количеством и совершенством своей обработки практические потребности, что вызывает священный ужас избыточности, отчасти сквозящий и в питерском пейзаже. Доставленные в подарок Александру Наполеоном «финские» сфинксы чувят родную стихию трансцендентных энергий и вместе с Александровским столпом образуют круговую поруку гранитных масс, в которую силой фельтеновского предвидения впоследствии вписался и Китай с его Шицзы.

Обаяние и силу камня и пирамид чувствовали почти все культуры, кроме китайской. Пирамиды возникали в греческой, римской, американской и европейской цивилизациях. Ноobelisks, выросшие у берегов Сены, завершаются луврской стеклянкой пирамидой, построенной китайским архитектором Ио Минг Пеем.

В «Арабесках» Гоголь, уловив и особый дух высокой градостроительной эклектики Петербурга, вдох-

новлялся Прианезиевой гравюрой, изображавшей улицу, на которую выходят здания всех исторических стилей, начиная со времен пирамид. Петербург, как и поэзия Пушкина, концепт мировой культуры. Но концепт — не есть ли свидетельство начала творческой карьеры? Вот почему было бы совсем не странным увидеть в нем настоящую пирамиду. Нет смысла обращаться к американским пирамидам. Они — на юге и, стало быть, слишком далеки от России. Мы говорим о севере, который, впрочем как и юг в Америке, стал прибежищем эмигрантов, Петербург — хранителем всех культур и религий, от православия до буддизма.

Правда, он, кажется, несовместим с готикой. Готический собор — дитя средневекового города с его стенами. Собор расширял пространство города до пространства мира в целом, но все же оставался зданием-иконой, не выходящей на просторы языческого ландшафта. Петербург — город языческого мироощущения, его купол и свод — небо.

Бросается в глаза специфическая неизобразимость Петербурга. Конечно, бессмертные строки Пушкина, замечательные стихи Кушнера и пронзительные описания Достоевского или Белого выразительны, но Петербург не укладывается в них, как не укладывается в пейзажи и гравюры XVIII века, замечательные эстампы Остроумовой-Лебедевой или современные фотографии. Быть может, причина в его необычайной широте. Эта горизонтальная открытость переживается не только на набережных Невы, но и в самых скромных переулках, она как-то поддерживается ветром и небом и всюду сквозит, напоминая о себе самым запахом питерского воздуха.

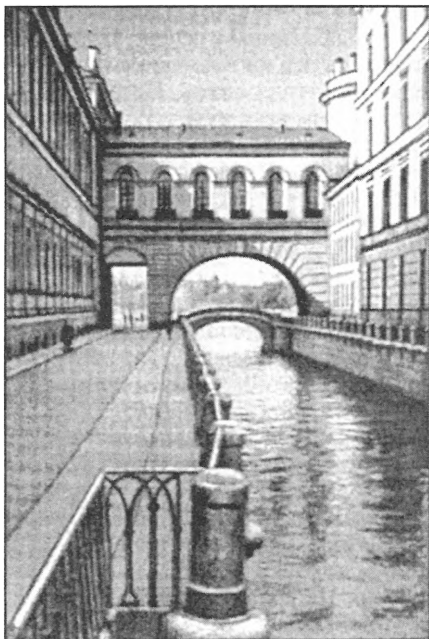
Что же до слов, то им, верно, не хватает сырости и тяжести, которые в соседстве с этой воздушностью и громадностью дают головокружительное ощущение полета.

Все это делает Петербург вещь, неспособной к тиражированию, образом и иконой, в отличие от обычных икон, магическим местом. Таковы и египетские пирамиды, Стоунхендж, великие водопады, вершины гор.

Казанова считал Неву скорее не рекой, а озером. Таковым она могла казаться в спокойную погоду или зимой, когда не заметно быстрое течение воды. С появлением мостов и ледаколов течение стало заметнее. Иосиф Бродский назвал Неву «городским морем», дав возможность увидеть в ней — «Средиземное» мо-

ре не только потому, что оно окружено сушей наподобие озера, но и потому, что оно стягивает к себе великие империи и цивилизации — египетскую, римскую, греческую и османскую, если не видеть тут и вовсе символа Атлантики, связывающего Старый и Новый Свет. Но река имеет быстрое течение, и оно создает какой-то иной энергичный заряд.

Его таинственная энергия боль-



Перспектива набережной
Зимней канавки.
Архитектор М. Е. Месмахер.
1883—1886 гг.

ше всего наводит на мысль о возможном строительстве на Неве плотины, и странно, что в советское время на месте Троицкого моста не возникла некая кипящая бурунами Днепрогэс. Но Нева не заводь, она побеждает растекание и убегание, и мосты над Невой разводятся, давая ход не только кораблям, но и взору.

Астольф де Кюстин писал, что, когда император уезжает из Петербурга, город буквально сиротеет, остается пустым. Позднее говорили о советском Петербурге — «Декорации прекрасные, но на сцене идет не та пьеса». Наблюдение отчасти точное, ощущение пустоты Петербурга — одно из основных его свойств. Но было бы неверным видеть в этой пустотности обилие «пустырей» и покушаться на их застройку, ибо в этой пустоте — сила Петербурга.

Пустота Петербурга, о которой было и пророчество, не отрицательная пустота небытия, но та философская пустота, из которой, по мнению буддистов, рождается все осталь-

ное. После того как император навсегда покинул Петербург, после того как переехали в Москву советские лидеры, город продолжал жить, кто бы им ни правил и что бы тут ни происходило. Одной красотой этот феномен не объяснить.

Петербург не связан с земными властями. Он не для них создавался, и не им его судить. Есть нечто загадочное в чуде непокорности Петербурга нацистам. Посмотрите на город с самолета, подлетающего к Пулковку, — кажется, взять такой немудрено. Конечно, есть подвиг, героизм ленинградцев, но ведь все города защищались, и все же многие пали. Тут какая-то магия. Город не дался Гитлеру.

Петербург вообще находится в каких-то странных отношениях с населяющими и окружающими его людьми. Он снисходителен и в то же время безузастен. Жители, как бы высоко мы их ни ценили, остаются в нижних ярусах его необъятной архитектуры и не могут охватить ее. Пушкин недооценивал Александрийской колонны, «церковь, а при ней школа — полезнее колонн с орлом», — писал он. Эти слова были бы куда естественнее в устах жителя Филадельфии. Пушкин полагал, что слава его как поэта поднимется выше Александрийского столпа, веря в то, что слово долговечнее камня. Но гранит египетских пирамид оказался прочнее литературных сочинений. Языки выветриваются и умирают, а камни — в том числе и розетский — их хранят, и кто знает, не окажется ли в будущем, что именно гранитный столп Дворцовой площади будет символизировать имя поэта, слившееся в изображении ангела с именем царя.

Пушкин, поэт отчасти если не египетский, то все же африканский, приветствовал революционные преобразования Петра, но не принимал демократии капиталистической Америки. Но он недооценил и трансцендентного демократизма Петербурга.

Все это, однако, не означает какой-либо заносчивости Петербурга. Он вполне демократичен и равно благодушен ко всякому, разве что кроме своих откровенных врагов. Но это не американская демократия самоуправления и не революционная демократия Парижа. Петербург демократичен тем, что уравнивает всех в своей несоизмеримости с каждым. Одних это может раздражать, так как Петербург не склонен подчиняться. Другим он дарует надежду на удачу, как покровительство.

Жорж Батай заметил, что революционные толпы испытывают осо-

бенную ненависть к архитектуре. После трагедии 11 сентября можно было бы добавить, что и террористы тоже. Но вот легендарный выстрел «Авроры», в отличие от парижской толпы, не уничтожил Зимний дворец, как толпа Бастилию, и кажется, стал даже чем-то вроде салюта в его честь, придал ему славы. Да и сам крейсер подпал под обаяние своего мифологического имени и, став техническим раритетом, превратился в колоннаду вышедших из употребления труб.

А сама революция? Разве обрела бы она свой мифологический смысл без Растрелли и Эйзенштейна, придавших октябрьскому перевороту дворцовую пышность.

Впрочем, большевики побаивались Петербурга. Город, подверженный дурным настроениям ноябрьской непогоды, мог бы с той же легкостью, с какой он посадил их на трон, с него и скинуть. Перенос столицы в Москву был вызван, как принято считать, страхом. Но думается, что не только страхом интервенции, но и страхом перед Петербургом как таковым. За стенами Московского Кремля им было спокойнее. Сталин перенес свой страх на Кирова, который мог представлять для него опасность не столько как льстивый «мальчик из Уржума», сколько как питерский лидер. Быть может, тот же страх перед Петербургом не позволил советским руководителям осуществить, казалось бы, столь естественное в бесконечной череде их переименований главное — переименовать Москву в Ленинград. Такая идея, вроде бы, даже и не возникла, хотя кажется вполне естественной — столица нового социалистического государства должна носить имя своего основателя.

Загадочная инверсия Кремля и Петропавловской крепости толкает на подозрение о какой-то мифологической каверзе. Петропавловка, будучи чем-то вроде копии Кремля, вместо того чтобы стать местом престола, стала узилищем его врагов и в силу каких-то тайных трансформаций места и времени в конце концов привела-таки к падению престола.

Москва — насколько позволяют природные и прочие условия — имитировала Петербург, но разделение ролей этих городов скрыто невыясненностью фундаментального проекта развития России в целом.

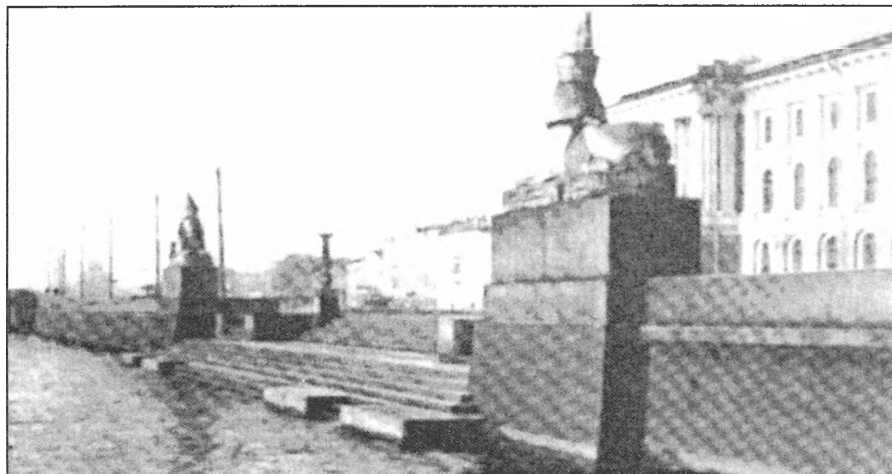
«Как клен и береза растут у порога, росли у порога Растрелли и Росси, и мы отличали ампир от барокко, как

вы в вашем возрасте ели от сосен», — писал о родном городе Александр Кушнер. Сравнение колонн с деревьями могло бы вести не столько к метафоре города как леса, идущей из XVIII века, сколько к метафоре города как дидактического пособия, в духе Бруно и Кампанеллы. Изобилие каменных стволов делает подлинный, живой лес в Петербурге удвоением сущностей. Немало радетелей подлинности исторических традиций города давно потирают руки в ожидании возможности вырубить Александровский сад перед Адмиралтейством, дабы вернуть ему горизонтальную перспективность плаца. Но все же лесная метафора — это ребяческое восприятие, в колоннадах и пилястрах фасадов, в этом лесе колонн видно другое — строгая разлинованность и пресловутый порядок, но не природный, а искусственный, берущий начало на Востоке и в Греции как своего рода образец чистого листа тетради, табула раса — символ и школьного урока, и детской души. Не случайно Кушнер усматривает в архитектуре именно дидактику. Эта вот разлинованность говорит еще раз о своеобразной пустотности города, здания не заполняют этой пустоты возможностей будущих писем, но провоцируют их. Конечно, есть в Петербурге и пустыри, которые могут быть застроены новыми сооружениями. Но пустотность его центральных пространств ни в коем случае не может быть заполнена новыми объемами, она и так полна каким-то силовым полем, насыщена своего рода духом упорядоченности, разлинованности. Случайно ли, что из-за этой разлинованности и упорядоченности города сама первая русская революция оказалась прямой противоположностью стихиям и этот далекий предок всех будущих штурмов, терактов и самоубийств принял математическую форму — карэ — этого предшественника «черного квадрата», в котором чуткое ухо не сможет не услышать отзвуков Каабы.

Тут уместно уточнить, что вода и камень не только тождественны, так как взаимно обрамляют и ограничивают друг друга, и не только схожи, так как противостоят всякому сжатию и тем самым выражают свою собственную волю к существованию, но и противоположны, причем не только как твердое — мягкому или мужское — женскому, но и как стихии неоформленная, текучая — стихии порядка, стихии геометрической.

Стихия речного потока, столь важная для Петербурга, парадоксально

связана с его морской судьбой. Город так и не вышел к морю. И хотя в качестве причин можно назвать прежде всего застроенность морского фронта города портовыми и промышленными сооружениями, тут и иная проблема. Петербург, в отличие от Нью-Йорка, — город речной цивилизации. Море с ноябрьскими ветрами несет городу гибель, но спокойное море, быть может, нанесло бы го-



Пристань со сфинксами у здания Академии художеств.
Архитектор Т.А. Тон. 1832—1834 гг.

роду иной, внешне незаметный, но глубинный мифологический урон. Тема реки и моря в Петербурге, вероятно, одна из самых увлекательных и непредсказуемых.

Впрочем, парадокс можно усмотреть и в том, что бурное течение Невы никуда, в сущности, не ведет. Гигантская протока впадает в Маркизову лужу, поросшую осокой заводь. Гигантская машина духа, предназначенная строить Новый мир, оказалась усыхающей, бездетной.

Петербург — машина без материала. Дело без поприща, он напоминает самолет, зарастающий лианами в джунглях Амазонки.

Полагают, что Петербургу «светит» туристический бум. Вот расширят аэропорт, проведут дороги — и покатит в Петербург мировой глобтроттер и будет фланировать по набережным и коридорам Эрмитажа. Потечет в город золотая река.

Или говорят: восстановят заводы — и начнет Петербург производить. Все это как-то не для Петербурга. Он ждет, подобно Илье Муромцу, до поры до времени иного дела, а покидая пребывает в сонной задумчивости. Отчасти эта бездеятельность внушается самой топографией. Подумать только, в самом центре города — не кипение жизни, а

тихая заводь, пустынные площади и плацы, какой-то захолустный двор Петропавловской крепости, невинный пляж, Летний сад, в котором давно уже царит лебединый покой, и, наконец, — самое главное государственное «уединение» — Эрмитаж.

Это безмятежное состояние столь склонной к мятежам реки, однако, отнюдь не сон и фимиам. Бездеятельность тут срывается в мятеж, быть мо-

жет, именно потому, что не находит выхода накопленной подспудно энергии. Прислушайтесь к гулу Петербурга, стоя у Невских ворот Петропавловской крепости, взгляните в корявые водовороты течения с Троицкого моста (особенно впечатляющие в дни ледохода), и вы почувствуете, сколь явственно дремлют здесь силы жизни и сколь неотвратимо призывают они к делу, неспешному, но большому. А что это за дело — не говорят.

Попробуйте, стоя на берегу Невы, представить себе Петербург Манхэттеном или лондонским Сити с их банками и биржами. Трудно представить себе и исключительно промышленный или торговый Петербург, хотя тут есть и заводы, и гостиные дворы. Но напрасно считать этот город — музеем. Несмотря на огромное количество произведений искусства и памятников культуры, музейная жизнь Петербурга не может исчерпать его амплуа.

Показателен недавний эпизод с проектом реконструкции Мариинского театра (на Западе его все еще числят Кировским, возможно, улавливая в названии отзвуки великой персидской империи) и реконструкции Новой Голландии. Тут опять перекличка континентов. Новая Голлан-

дия — на языке аллегорий XVIII столетия — безусловно Америка, а Мосс — калифорниец. Он и представил проект, вполне пригодный для Калифорнии. Петербургская общественность не приняла его по мотивам несоответствия историческому характеру застройки города, ссылаясь на то, что строительство такого рода сооружений может лишить город статуса «исторического» памятника. Сторонники проекта настаивали на том, что Петербургу нельзя погружаться в музейное оцепенение и нужно жить живой жизнью века. Вопрос, однако, в том — является ли калифорнийская архитектура подлинной жизнью века. Удивительно, что историческая архитектура Петербурга не становится «антиком», напротив, как бы молодеет, да и среди построек советского конструктивизма или «сталинского ампира» есть немало замечательных зданий.

Однако несоответствие высотных конструкций Мосса Петербургу лежит глубже. Не музейная ансамблевость противоречит этим вертикалям, а общий горизонтальный дух города, в котором сквозит имперское центробежное начало, стремление вдаль. Роль главной вертикали «третьего Рима» естественно играет вариант собора Святого Петра, римский прототип которого тут как бы раздвоился на Казанский собор, татаро-монгольское имя, след позапрошлой империи, и Исаакий с его иудейским именем, неожиданно окликающим американского Авраама (тут не хватает Моисея, но, быть может, и он скрывается в египетских ассоциациях Мандельштама). Только Исаакий оставляет за собой право быть его подлинной главой, а не Александрийский столп (впрочем, при Пушкине Исаакия еще не было). Но вокруг раскинулись городские проспекты, «перспективы», линии, как и водные пути уводящие из города вдаль. Да и сама Нева в центре города напоминает некое всевидящее око Посейдона в ресницах своих мостов.

Проспекты Петербурга по самому своему понятию — орудия оптического рода, они способствуют дальнорзости и охватывают мир по горизонтали. Не исключено, что именно они дали повод Иеремии Бентому изобрести свой знаменитый «паноптикон» — проект тюрьмы, обеспечивающей круговой обзор из единого центра, ведь сочинил он этот проект, живя именно в Петербурге, в гостях у работавшего в России брата.

Но Петербург — не тюрьма наро-

дов, и Петропавловская крепость, долгое время бывшая узилищем свободолюбия, утратив эту свою функцию, подчеркнула скорее демократический характер имперского духа России.

В Петербурге можно видеть образец особого «российского» космополитизма. Тут и архитектура и архитекторы разных стран, культур и вероисповеданий, составляющие подлинно интернациональную бригаду, — Трезини, Растрелли, Ринальди, Тома де Томон, Кленце, Шлутер, Захаров, Воронихин. Так что город стал, конечно, не только «окном». Петербург стал и дверью, через которую в Россию хлынул поток западных спцов. Большая часть их так и осталась в Питере. Тут и ученые, и ремесленники, корабельщики и врачи. Их имена до сих пор звучат в названиях городских улиц, институтов. Их прах все еще покоится на Смоленском лютеранском кладбище, ставшем за последние годы своего рода образцово-показательным местом мерзости запустения. Покойников не воскресить, но придать кладбищу подобающий некрополю вид — долг их потомков.

Конечно, и туризм, и возрождение промышленности — на благо, но для подлинного воскрешения Петербурга нужно нечто, что было бы под стать его внутренней сути, его исторической миссии.

Спрашивается, что же это за миссия и есть ли в Петербурге силы для нее?

Ленинградцы, дети мои...

Джамбул

Петербург тяготеет к трансцендентному, в этом у него больше сходства с Египтом, чем с Америкой. Америка измеряет свои планы их доступностью. Петербургу больше подошли бы несоизмеримые планы. Такие несоизмеримые планы должны существовать, ибо без них мир не выживет. Вот эти планы и эти инициативы нашли бы в Петербурге адекватную среду и идеальную почву для развития. Но это должны быть вистину трансцендентные планы, а не проекты, рассчитанные на местный успех или международный эпатаж.

Если Санкт-Петербург и можно сравнить с иконой, то следует оговорить, что никак не с той, что зовет к смирению и укрощению гордыни. Напротив, в Петербурге слышна вели-

чайшая гордость духа, настолько превышающая обычную ее меру, что никакая буржуазность не уживается с ним, это подлинно аристократический город, город аристократии духа. И в этой его гордости и несмирности он, пожалуй, сродни и Нью-Йорку, и египетским пирамидам.

Какое же дело могло бы быть ему под стать? Столичная власть, министерства и ведомства с их чиновничьей чехардой? Так многие думали о Петербурге прошлого, так полагают и сегодняшние власти. Но нет, чиновники с их делами, на мой взгляд, мало трогают Петербург.

Писатели, художники, ученые, студенты ему ближе даже тогда, когда они тут прозябают и нищенствуют. Случайно ли, что выпускники школ и институтов после бала выходят на берега Невы, как бы к родному божеству, чтобы поклониться и отдать ему дань утраты своей невинности. Пока что в этом видна лишь обрядовость тихой провинции.

Специфика Петербурга не только в его неповторимой природной магии и не только в уникальном единстве камня, воды и света, но и в искусстве, соединившем архитектуру с этим ландшафтом. В этом синтезе природы и искусства Петербург выбивается из ряда исторических и урбанистических категорий. Он не феодальный и не капиталистический, не рабовладельческий и не социалистический город. В нем нет знаменитого социального «гемайншафта», но нет и «гезелльшафта». Его окно в Европу было окончательно забито досками немецкой блокады, ибо Гитлера в Питере победил не Сталин московских царей, а фараон трансцендентной жизни пустоты.

Конечно, речь идет не о возвращении к заупокойному культу, тайна и урок Египта и Америки лежит, вероятно, в иной плоскости — плоскости столкновения движения и покоя. Почему не удалось аналогичные проекты создания новой столицы в Бразилии в 50-е годы или реформы Эхнатона, которого сравнивают и с Петром, и с большевиками. Что тут общего?

Быть может, ответ на этот вопрос кроется в диалектике и драме движения и покоя, кочевого и оседлого типов цивилизаций. Наследуя европейскому Возрождению, Петр, вероятно, оказался и продолжателем татаро-монгольского динамизма, с его жестокой решимостью к «перемемест», от которой сумма слагаемых все же изменилась. Здесь нет места для углубления в темную историю взаимодействия кочевых и оседлых

народов Евразии в Средние века, но думается, что Петербург — одна из страниц этого процесса, и, может быть, далеко не последняя.

Египетская культура создана в период начала земледелия и культа зерна, культа посева и погребения. Египет России, конечно, не пример. Но можно помыслить противоположный вектор — начало нового культа антроподинамики, рождения «антропотоков», в ситуации, когда динамика уже не противостоит стабильности и они соединяются столь же мистически, как загробная и живая жизнь соединяются в египетской геометрии камня.

Динамика водных потоков в таком случае не что иное, как предметное, материальное воплощение этого молодого движения, этой юной крови, бередящей сознание России уже на первую сотню лет. Отцы, постоянно уступающие детям, и дети, превращающиеся в новых консервативных отцов до того, как успеют сказать свое слово, — одна из граней этой новой проблематики, которая ни в коем случае Россией не ограничивается. Повсеместный на Западе дух движения, номадичности на самом деле не более как субститут глубокой динамики, постоянное обновление внешних форм быта — мода, не что иное, как новое вопрошание о движении вне времени поколений и сезонов. И Санкт-Петербург, быть может, дает какой-то туманный намек и ответ на скрытую тут загадку смены времен и поколений, сохраняя свою холодную молодость, вопреки тяготам и ударам судьбы.

Америка дает нам один из вариантов этого синтеза нового кочевья и новой оседлости, итогом этого синтеза становятся демократическая община и закон, организующий ее жизнь, выражающуюся прежде всего в накоплении. Тем не менее именно на американской почве возникают трансцендентальная философия и поэзия, возвращающие эту промышленную республику к культуре природы. Египет дает пример одной из первых форм перехода кочевья к оседлости: культ земледелия и зерна, вырастающий в культ заупокойного мира.

В России конфликт кочевой и оседлой культур, генетически связанный с самим образованием Московского государства, приобретает в Петре некий новый синтез замкнутых инициатив, остановленности движения и канализации динамических импульсов этого движения в сторону тотальных реформ культуры. Петр Великий как бы выхватил эстафету кочевого синойклизма

у Александра Македонского. Тот в свои 33 года дошел до Египта и основал Александрию. Петр на 34-м году жизни начинает возводить свой «третий Рим», следуя отчасти и Константину Великому, перенесшему столицу империи в Византию.

Когда говорят, что Петербург должен стать «культурной» столицей России, культуру понимают пошкольному, в виде музейно-библиотечного дела, а проблема генезиса новой культуры XXI века здесь не ставится и не затрагивается, но энергичный смысл может иметь только такая постановка вопроса, только она застрахована от немедленного загнивания и культурной коррупции.

Только резонансом этих драматических столкновений кочевой и оседлой культур можно объяснить архаизирующий пласт русского футуризма, в котором технический динамизм Маринетти немедленно уходит в примитив и архаику Филонова и Хлебникова. Хлебников ищет синтеза статики и динамики в ритмии арифметических формул. Петербург находит их в ритме ландшафтных водно-атмосферических и геологических образов. На эти образы с необычайной чувствительностью реагируют неутомимый путешественник Николай Гумилев, его сын, а также Осип Мандельштам, в жилах которого еще течет память иудейского кочевника в Египте.

Большевики поднимают новое кочевье — урбанизацию, рекрутируя свои кадры из крестьян и тем самым возвращая власти консерватизм, утраченный городскими подвижниками из разночинцев. Катализатором этих процессов служит, естественно, петербургский ландшафт с его динамической мифологией. Переезд в Москву соответствует фазе охлаждения и консервации новых проектных структур, но в конечном счете и реставрации традиционных форм власти.

Петербург и Москва — претенденты на роль «третьего Рима» — воспроизводят драму великого переселения народов, некогда создавшую Западную Римскую империю.

Петр, завоевывая шведские земли, выступает не столько как победитель иноверцев, сколько как расширитель территории. Не ингерманландцев покоряет он, а ландшафт, не город, а реку. Пожалуй, только Петру и удалось при этом преодолеть вечный мифологический стереотип «образа врага», заменив его образом природы, «гением места», покорения не уничтожающего, а цивилизующего. Покоренная река становит-

ся божеством и облакает власть своим авторитетом.

Как не увидеть тут редкий пример мифологической логики, когда насилие и покорение вызывают в ответ не ненависть, а любовь, рождают не вражду, а союз, впрочем, как и всякая любовь, эта любовь стихий и воли полна капризов и конфликтов.

Вот почему Петроград столь же вымыслен и искусствен, сколь и натурален, естествен.

Этот петербургский натурализм в наши дни оказывается созвучен экологическим настроениям. Сам-то Петербург чрезвычайно неблагоприятен в экологическом отношении, и его оздоровление — практическая задача нескольких поколений, но идея природы в нем настолько сильна, что может приковать внимание тех, для кого экология — новая форма веры. Но ясно, что жизненная сила Петербурга не в культурном обслуживании, а в инициативах глобального масштаба, в которых город мог бы не пользоваться помощью своих богатых соседей, но оказывать ее.

Понятие культуры в таком случае было бы применимо к Петербургу не в смысле распространения образования и форм развлечения, а как основа цивилизационного проекта, который волновал Пушкина и который противостоит как тоталитарной бюрократической власти, так и демократическому обществу массового потребления.

Не нужно думать, что выбор такого вектора в развитии города требует каких-то крайних затрат, сопоставимых с затратами на его строительство и капитальный ремонт. Совсем нет. Он предполагает только, что здесь начнут формироваться инициативные группы, работающие над этими проблемами и тем самым придающие иной смысл самому образованию в городских университетах, направленному на решение труднейших, а может быть, и неразрешимых проблем формирования новой глобальной цивилизации.

Чувствительность к пейзажу и ландшафтной среде в таком случае оказывается уже не исключительной новацией Петра, а исконной традицией русской архитектуры с ее тягой к воде. Петербург лишь довел эту чувствительность до мощного энергичного потока, придал ей векторность и тем самым стал социально значимым центром цивилизационных инициатив глобального масштаба.

Петербург — вечный двигатель духа, икона средостения стихий и географических категорий, не тонущая и всплывшая Атлантида, от-

блеск могущественного светила, по-своему город ночи и по-своему город солнца. Он и ждет несбыточного, своего дела.

Дело Петербурга, сложившееся в душе Петра и поддержанное Екатериной и самими стихиями, — это какой-то цивилизационный проект, энергетика которого должна нести обновление миру. Это Америка, но Америка не столько для себя, сколько для чего-то большего. Это воплощение упований тех российских утопистов, которые вслед за Соловьевым видели в России некое предзнаменование, мировую идею, согласие всех культур и цивилизаций.

По сути дела, юбилей с его нотами почтительности для Петербурга неуместен в силу его исключительной молодости. Вспоминается афоризм Чаадаева: «Счастливы люди и народы, родившиеся поздно!» Будучи рожден порывом «молодой» России времен Петра, город сохраняет эту молодость прежде всего вследствие отсутствия настоящего дела, он все ждет своего удела, который выше того, что предлагают ему заботливые радетели. Мало надежд на то, что этот удел в ближайшем будущем удастся осуществить. Петербург, однако, приучен к ожиданию.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Луи ДЮМЮР

Из книги стихотворений «Нева»

ОСТРОВА

Как веет свежестью от моря!
Какие дарит кружева,
Сплетаюсь в радостном узоре,
Деревьям летняя листва!
Легка земля, теплом согрета,
И нежен голубой поток.
Как сладострастно тянет к свету
Свой стебель ласковый цветок!
Бежим скорее с душевной Мойки,
С проспекта: там со всех сторон
Тлетворный запах — затхлый,
стойкий —

Упрямо нагоняет сон.

Мы убежим туда, где, зеленея,
Приветливо шумят, туда, клены
где острова

Спокойная вода лелеет
благосклонно,

Где оживут мечты
и нежные слова.

Взяв лодку, поплывем по небу
голубому

Вдоль тихих берегов,
чуть рассекая гладь.

И станет этот день как чистый
лист альбома,

В котором нашу жизнь
мы будем рисовать.

Вот и Елагин — запах хвои
И елей мрачные ряды.
Как дразнит солнце золотое
Его угрюмые пруды!

А там, за стрелкой, — крики чашек.
Вздыхает море, как во сне,
И зыбкий горизонт качает
На убегающей волне...
Вернувшись в парк,
мы будем снова

Вдыхать древесный фимиам
Или гадать, какое слово
Ручей чуть слышно шепчет нам.

Но вот, утомлены сухим
дыханьем зноя,
Устало упадем в душистую траву
И будем говорить, увлечены
мечтою,

О том, что этот сон возможен наяву:
Что смерть не разлучит,
что чувства будут вечны,
Бессмертны, как душа, —
и прочие слова...
И будет в этот час играть в реке
безопасно,
Сверкая чешуей, веселая плотва.

И мы не вспомним, как звучали
В унылом ритме городском
Мотивы скуки: день печали
Как будто не был нам знаком.
В простых изящных силуэтах,
Застывших тихо над рекой,
В деревьях, сумраком одетых, —
Во всем торжественный покой.
Его смутит лишь Невки юной
Тревожный, беспокойный плеск —
Бегущий вдаль дорожкой лунной
Непостоянства яркий блеск.

Что к северным дворцам на берег
Приносят бурных волн ряды?
Нам чудятся в игре воды
Движенья пылких баядерок.

Танцуйте, безрассудной страсти
жрицы,
Танцуйте так, чтоб золото волос
Вокруг колен волнами солнца
обвилось, —
Пусть жаром танца наслаждается
столица.

Ликует город, строгость облика
утратив:
Все тонет в инее. Спешите же и вы
Скорей накрыть гранит Невы
Краями ваших шумных платьев.

Невы усталое теченье
Однажды остановит лед,
И дерзкий танец сменит легкий
хоровод —
Ни мертвых, ни живых теней
переплетенье.

*Перевод с французского
Людмилы Павловой*

«Маленький человек» в поисках Бога

(Петербургское культурное самосознание сегодня)

Андрей АРЬЕВ

Санкт-Петербургу 300 лет, и клонированная двуглавая птица вновь взметнулась над его кровлями.

Трехсотлетнего младенца таскают по вновь открытым храмам, и Казанский собор на Невском проспекте теперь не Музей атеизма, как в советские времена, а место манифестаций самых православных из православных личностей. Даром что по духу своему они как-то уж слишком близки быломому Союзу русского народа. Его погребением в 1913 году, к 300-летию династии Романовых, неподалеку от Московского вокзала был построен последний крупный храм Петербурга — собор Божией Матери Феодоровской. Ныне, без крестов и куполов, обнесенный забором, он отдан под какой-то подозрительный склад. У православных душа к проповедям на вокзальных задворках не лежит.

Говоря словами философа Георгия Федотова, идейность задач при беспочвенности идей всегда была отличительной чертой жителей северной умышленной столицы, ее знаменитой интеллигенции, не важно, настроенной ли религиозно, или нигилистически. Кроме этой интеллигенции, кроме этих «маленьких людей» с их грандиозными противоречиями, с их нервной, творческой чувствительностью, ничего стоящего в этом городе не было и нет.

О блистательных фасадах помолчим, они слишком известны.

Нет, очень правильно было сказано: «великий город», но вот жребий вытянул — позорный.

«Петербургский период русской истории» был насильственно прерван в 1917 году. Однако питерскую интеллигенцию даже в советские времена не покидала надежда: «Петербургский период русской культуры» — явление более долговечное хотя бы потому, что любая культура переживает политический строй, при котором она завязалась.

Имперский фасад северной столицы, «блеск беззвучный» ее белых ночей воспет Пушкиным в прологе к «Медному всаднику», и после него никогда и никто более высокой

ноты в описании Петербурга взять был не в состоянии. Потому что тем же Пушкиным, в том же «Медном всаднике» была явлена трагическая рефлексия на это величие, так или иначе переживаемая всеми великими художниками Петербурга. После Пушкина любая личность осознает себя на берегах Невы «маленьким человеком», утлой лодочкой у державной пристани.

В советское время многие уплыли на этих лодочках в Москву. В Москве делили мясо, в Ленинграде же — кости. В постсоветское время ситуацию можно охарактеризовать сходным образом: в Москве делят валюту, а в Питере — рубли. Впрочем, жить теперь можно и там и там, как это делает, например, Андрей Битов, писатель, лучше других осветивший закуски современной петербургской души:

«Господи! Какие мы все маленькие!» — воскликнул странный автор. «Это так! Это так! — радовался Алексей!» (повесть «Сад»).

Подобная радость, пожалуй, никому, кроме как питерскому герою, в русской литературе ведома не была.

Это поразительно: заботливо опекаемый гуманистическим разумом «маленький человек» вообще — а обитатель града Петра особенно — выработал в себе самосознание творческое, сам стал творцом.

Так что во фразе о «великом городе с областной судьбой» трезвость оценки привлекает нас больше, чем подразумеваемый в ней плач и стенание на реках гиперборейских. Региональность культуру питает, без нее она — фасад и фантом.

Если отвлечься от «столичного лоска», то обнаружится истина совсем не низкая: культура в основе своей провинциальна, укоренена в природе, в почве, в местном наречии. Провинциальна она в большей степени, чем провиденциальна, земли в ней больше, чем неба. Любая столица начиналась с хутора, с пещеры отшельника. Дом Петра Великого был в этом городе низким и деревянный.

Недальняя память о временах,

когда «лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел», неотторжима от исторического самосознания петербуржца. Так же как и тот факт, что этот заболоченный, затопляемый лес всегда был пограничным урочищем. В том числе и в века, когда это урочище оказалось центром империи.

Исходным материалом и содержанием петербургской культуры является интуиция о неполноте земного человеческого бытия. Жизнь петербургским художником всегда ставится под сомнение. Но по своеобразной причине — она испытывается мечтой, подозревается в сокрытии чудес:

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам.

Эти стихи Анны Ахматовой совершенно выражают дух петербургского творчества. Петербургский художник никогда не остерегается слишком земного, «слишком человеческого» — в них он ищет и находит отражение небесного и внечеловеческого. Его «отрицательное знание» переплавляется в «положительное» — о «мирах иных». Истинно петербургскому поэту, такому, например, как Георгий Иванов:

...полною грудью поется,
Когда уже не о чем петь.

Это значит, что откровение нисходит в минуту, когда скорбные земные итоги подведены и все счета — сведены. Мотив, мощно зазвучавший еще у Державина. Последняя, написанная им за три дня до смерти мелом на грифельной доске строфа пробудила первую отчетливо «петербургскую ноту» русской поэзии:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Именно этим стихотворением вдохновлен Георгий Иванов, полагавший себя «последним из петербургских поэтов». Ирония петербургской культуры в том, что все ее поэты — «последние»:

Мы — последние поэты,
Мы — последние лучи
Догорающей в ночи,
Умирающей планеты...

Самоощущение, ведущее к роковой черте, к отказу от жизни. Что и произошло с автором этих строк Виктором Поляковым, поэтом, тревожившим избранные петербургские души, в том числе душу Александра Блока.

В Петербурге чудо, иноприродное обыденной жизни, проявляет себя формулой «красоту утрат». Ибо, по формулировке Иннокентия Анненского:

...грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...

В петербургской поэзии — а литературное влияние Петербурга на русскую словесность было и осталось поэтическим и метафизическим *par excellence* — «земное» притягивает к себе «небесное». И чем сильнее земная тяга, тем больше шансов уловить и запечатлеть в юдоли всяческих скорбей и печалей лучезарный отблеск:

До чего же она неказистая,
дверь в котельню и та же стена,
но так жарко, так, Господи, истово
и сиротски так освещена...

Для чуда, говорит автор этой строфы Дмитрий Бобышев в другом стихотворении, пригодится «любой завалящийся предлог». И хотя в предлогах чудо как раз не нуждается (потому оно и чудо), художественная мысль тут ясна: не априорное знание о Боге делает стихослагателя творцом, а поиски следов Божественного промысла в ничтожнейшей из «промзон».

С этой точки зрения целостный «образ мира, в слове явленный» представляет собой совокупность периферийных явлений, и любая столица для петербуржца — кладезь метафор захолустья и праха. Небесный Иерусалим может просиять на последней из свалок. Тем паче — в мерзости собственного исторического запустения.

Сердце современного петербургского лирика вмерзает в средостение «страшного мира», подобно тому как столетием раньше это происходило с Александром Блоком:

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю
втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала.

«Ты — поэт местного царско-

сельского значения», — сказано было Анне Ахматовой любимым ею человеком. И это — лучшее, что о ней сказано.

Санкт-Петербург — «провинция» в точном, этимологическом значении этого слова: «воздаяние за победу» (от лат. «pro» и «vincere»). То есть земля, присоединенная к метрополии. Именно «провинцию» Петр Великий утвердил центром империи. И он же вписал ее в русский словник, назвав «провинцией» территории, по своему историческому и географическому положению с ущербным статусом несовместимые. Например, Великий Новгород.

То, что петербургская отделенность носит рубежный характер, — важно. Если провинция в России и сама по себе бывала заманчивым «укривищем» для гонимых, то Петербург оставляет еще и шанс на освобождение от оков, шанс на переход границы. Равно как и шанс на возвращение.

Даже в изгнании петербуржец чувствует себя, по слову Нины Берберовой, — «в послании».

Ни поэзия не может в Петербурге обойтись без задач прозаических, ни проза — без поэтических. Все романы Достоевского написаны лириком, озабоченным в первую очередь, как всякий лирик, выражением ценностей внутреннего бытия личности. Вся лирика Ахматовой пронизана стремлением к психологической точности запечатленных в стихах следов реальных человеческих взаимоотношений, без чего невозможно написать сколько-нибудь стоящего романа. И для каждого из них образцом был Пушкин-поэт или Пушкин-прозаик.

«Веселое имя Пушкина» неизменно выводило петербургскую культуру из накалявавшего на нее кризисов. Пушкин же убергал петербуржцев от их склонности ко всяческому «надрывам». В частности, при помощи Пушкина в XX веке были преодолены декадентские туманы, а в поэтическом слове семантическая нагрузка была сдвинута в сторону вещественной, предметной сути.

Яснее всего эту направленность можно уловить в стихах Александра Кушнера. Его лирика есть гармонизация интимного содержания русской литературы в целом, гармонизация ее застарелых противоречий. Уже само название его последнего сборника — «Кустарник» (СПб., 2002) — говорит о многом, если не обо всем. Куст — основной, доминантный образ его поэзии, метафора жизни, ясно реализованная в стихотворении

«Евангелие от куста жасминового...». Образ соразмерный человеческому росту, образ невзрачный и прекрасный одновременно!

Любовь к изображению «обыкновенных вещей» — неугасимый источник вдохновения. Потому что «и в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся, и в потертом темном пиджаке». Ни в будущем, ни в прошлом нет для поэта тайны значительнее той, что скрыта в бытии простого современного человека с сердцем — среди обыденных забот. Душа этого человека — это душа современного петербургского искусства. Никаким «значительным лицам» хода в него нет.

Поэзию создает «маленький человек». И никто ему не ровня. Он сам кроит гениев по своему образу и подобию.

Петербургский автор политически неангажирован, политиков и их трибун чурается. Но суть той политической ситуации, внутри которой пребывает, он переживает сильнее многих. В этом отношении замечательна последняя книжка Сергея Стратановского «Рядом с Чечней» (СПб., 2002). Вот над чем поэт размышляет, прогуливаясь в пустынном Царском саду:

Обелиски, колонны...
Но тихо в аллеях просторных,
Ветер вешний
Сюда не приносит рестей
Из Чечни мятежной,
Из ее непокорных ущелий.

Кушнер принадлежит к числу поэтов, которых в советское время не жаловали, но, со скрипом, все же издавали. Стратановский — это уже чистый «андеграунд», поэт, до 1990-х годов не напечатанный, кажется, ни строчки.

Вместе с ним крупнейшими поэтами начала петербургского XXI века заявили себя его товарищи по «самиздату» 1970-х годов — Елена Шварц и Виктор Кривулин.

Литературный путь недавно скончавшегося Кривулина особенно показательен. Не признававший ни авторитета отцов, ни покровительства друзей, он был «мудр как змий и прост как голубь». При всей своей демократической ориентации ни в чьи адепты поэт себя не определил, как и в коммунистические времена, остался ускользающим от властей, призрачным петербургским объектом, что особенно заметно по его последней книжке «Стихи после стихов» (СПб., 2002). Петербург описывается здесь как часть территории бывшей русско-советской империи,

как пустырь со свалкой, по которой скитаются «запутавшие в музах» поэты и поэтессы, «училки», похожие на гусениц, но наставляющие аудиторию «не ползать, а летать», солдатики, меняющие за пивным ларьком горсть патронов на дурь... Словом, скитаются по всем этим закоулкам со всем смирившийся «гордый человек». Что отчасти и к лучшему — какие-то подавленные христианские добродетели в нем шевелятся, всяческий кровавый маскарад ему чужд.

Но что этому человеку не чуждо, так это изначально заданный роскошным петербургским фоном житейский карнавал. Его радужный шлейф тянется через всю прозу Сергея Довлатова, и он же — владыка психологически точной, тем самым и привлекательной, прозы Валерия Попова. В начале 1990-х годов этот писатель сознательно заразил себя рыночной лихорадкой, но теперь вернулся к реалистически внятному сюжетосложению. Несколько повестей, вошедших в его последнюю книжку «Очаровательное захолустье» (М., 2002), являют пример того, что подспудная петербургская тема «маленького человека» не мешает ее адептам быть большими искусствниками в словесной области. Насмешливая корректность самоидентификации автора в этой прозе есть выражение его потаенной, с советских времен отстаиваемой доктрины: частное сознание достойнее коллективного разума. В отличие от последнего, оно не знает ни героев, ни святых. В этом вся суть: лишь падшим внятен «божественный глагол».

Подобного же рода ориентации придерживается прозаик, появившийся лишь в середине 1990-х годов, — Наталия Толстая, старшая сестра достаточно известной Татьяны Толстой. Пишет она исключительно рассказы, то есть работает в жанре современной русской литературой заброшенном. Резонанс у них тем не менее большой. Особенно в университетских коридорах, откуда они и вышли. Действие рассказов Наталии Толстой происходит во времена, когда «советская власть, почти родная, ушла не попрощавшись. Ни инструкции не оставила, ни тезисов». Подспудный сюжет этой прозы — анализ сознания, ловко приспособляющегося к бытию. Жизнь нехороша, но «жить надо».

Наиболее предстательные и влиятельные до сегодняшнего дня петербургские авторы появились на невских берегах как раз в ту минуту, когда «петербургское веяние» казалось окончательно сошедшим на

нет. «Серебряный век» распознал по коммуналкам, подвалам и чердакам «серебряной ветошью». Еще раньше он был отпет Михаилом Кузминым, Константином Вагиновым, обериутами и наконец погребен в ахматовской «Поэме без героя».

«Оттепель» обнаружила скорее заброшенное кладбище, чем «цветущую культуру».

Не спорим: найденные кресты сердцу оказались дороги, и взглянуть «на то, что оказалось за спиной», чтобы уберечься от соблазна всяческих имитаций и гальванизаций, было трудно.

Удостоенному «нобелевки» лидеру питерского бесхозного поколения Иосифу Бродскому обретение области «частного существования» представилось драгоценней культурных открытий, которыми это поколение жило. Если он что и перенял у «серебряного века», так это его потаенную провинциально-петербургскую суть: ратая за «хоровые начала», вдыхать аромат жизни «келейно». Отвращение к грубой площадной славе у нобелевского лауреата с самого начала зашло столь далеко, что и источник славы был поставлен под сомнение.

В двойственном отношении к культуре, часто нигилистическом в устах найтончайших ее выразителей, можно увидеть родовую травму петербургского творца. Обусловлена она известной антиномией, границей, проложенной в сознании петербуржца между «культурой» и «природой». По естественному положению вещей «природу» он может предпочесть «культуре», ибо «природой» обделен сильнее. Современные власти попали в точку, соблазняя питерского существователя шестью сотками загородной земли.

Русская духовная традиция, особенно энергично выраженная в XX веке отцом Павлом Флоренским, вообще склонна проводить между «природой» и «культурой» роковую черту, настаивать на возникновении «культуры» исключительно из религиозного «культы». Она почти не дает шансов понимать «культуру» в европейском, латинском смысле — как сферу человеческого бытия, связанную изначально с обработкой земли.

У Бродского «целовать иконы» христианских чувств всегда недоставало. А потому он вынужденно склонялся к пребыванию в сфере «культуры», сфере бесполезной, но все же благодатной:

Мне нечего сказать ни греку,
ни варягу.

Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо!

переводы бумагу.

В известной работе «Петербург и «Петербургский текст русской литературы»» Владимир Топоров пишет: «Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим в России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал».

Бродский и явил собой подобный «почти религиозный тип» поэта как ответ на «бесчеловечность» и неодушевленность умолкающей петербургской культуры. Он, как никто, видел этот исчезающий мир во всем многообразии примет тления, видел исчезновение.

Бродский — метафизик в буквальном и древнейшем значении этого понятия. Он видит то, что лежит «позади природы». И то, что «позади», является для него «первым».

Вся лирика Бродского суть сплошной метафизический пейзаж, увиденный с высоты «наведенным на резкость» взглядом. Сила этого зрения зависит от глубины погружения художника внутрь самого себя: из «темноты» видно отчетливее. Внутренний мир поэта первичен, но выражающая его речь стремится к возможно дальней и идеальной проекции. При помощи речи поэт отдает себя на служение лирической истине: «он был всего лишь точкой. И точкой была звезда».

Любой человек в Петербурге не равен самому себе, не в ладу со своей интуицией о превосходстве частного сознания над коллективным разумом. Он или выше, или ниже своего назначения, он загнан или вознесен. «Как будто мы живем на небе, плача», — пишет поэт Елена Пудовкина.

Иначе говоря, петербургский автор утверждает лишь то, над чем можно тут же посмеяться. Об истине здесь осведомлены по отбрасываемой ею тени. В руках художника лишь «обезьянка истины» — смех, утверждает Набоков. Сатира у петербургского поэта — лирический жанр. Как, например, у Льва Лосева:

О муза! Будь доброй к поэту,
пускай он гульнет по буфету,
пускай он нарежется в дым,
дай хрену ему к осетрине,
дай столик поближе к витрине,
чтоб желтым зажегся в графине
закат над его заливным.

Выпестованный Достоевским «ан-

тигерой» стал «героем» петербургской литературы. В советское время он много выиграл в сравнении с пламенными конформистами, заполнявшими не столько даже страницы книг, сколько ряды кресел ленинградского Дома писателя им. В.В. Маяковского, бывшего дворца графов Шереметевых. Лет десять тому назад он сгорел, да так по сию пору и не восстановлен, от писателей же ускользнул навсегда. Божественная ирония здесь в том, что девизом Шереметевых, запечатленным в их гербе, являются слова «Deus conservat omnia» — «Бог сохраняет все». «Особенно слова», — дополнил Бродский.

В Петербурге самые наивные, самые пошлые мечты о счастье трагичны своей смехотворностью.

В беспочвенном, «умышленном» городе «маленьких людей» и грандиозных фантомов сформировался и был сформулирован комплекс идей, с шестидесятых годов XIX века называемых «почвенническими» и особенно актуальных для отечественных дискуссий конца ушедшего века.

Доминантным признаком петербургского типа культуры изначально оказался двойной счет: утопическая надежда создания парадиза над бездной и соседствующая с ней инстинктивная жажда «стать твердой ногой на твердое основание» — по выражению гоголевского героя. То есть жажда укорененности, мечта о независимом от Провидения частном существовании. У петербуржца сама вечность «раздвоена», говорит Андрей Битов.

О целом петербуржеце узнает по трещине в монолите. Раздвоенность для него — не всегда и не обязательно ущерб. Восхитительным образом Александр Кушнер выводит из нее догмат о возможной полноте бытия:

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Несомненно: подобные стихи должны были сложиться в городе, принявшем за культурную аксиому тезис прямо противоположный — о неполноте человеческого бытия.

Двойной петербургский счет и породил новый тип людей — знаменитую русскую интеллигенцию.

«Маленький человек» Петербурга — это и есть интеллигент. По меньшей мере — его неотлучный двойник. Что выдает его последнюю тайну: он человек романтического закала. Классический романтик. «Ма-

ленький человек» в поисках Бога. Вне соборных стен.

Поскольку сама же интеллигенция и понимала свой первородно-петербургский грех визионерской «умышленности» лучше других, она и выработала защитную «почвенническую идеологию». Это нужно подчеркнуть: «почвенничество» как таковое возникло в самом интеллигентском из российских городов, в самом беспочвенном углу необозримой империи. Беспочвенно даже и буквально: нет почвы, одни разверстые хляби, болота да экспропрированный у финнов гранит.

«Глухая провинциальность» не смущала самих провинциалов, наоборот, подталкивала и провоцировала их на осознание своей общемировой миссии. «Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения», — писал Достоевский. — К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм мы отвергаем».

В Петербурге идеи Достоевского были популярнее, чем где-либо, но популярность эта всегда носила обоюдоострый характер, характер притяжения-непритяжения. Да и само его «почвенничество» далеко не всегда выходило на первый план. Общечеловеческое значение Достоевского к XXI веку обозначилось благодаря актуализации другой стороны его расколотого сознания. При всей своей неизменно декларируемой русскости, при всем своем «почвенничестве», при всем признании народных ценностей как высших в истории, Достоевский в петербургских вещах оказывается едва ли не самым «беспочвенным» писателем России — да и всего мира, — произвольным носителем заповедей духовного странничества, художником в высшей степени планетарным, урбанистическим, певцом подпольного, неорганического быта и бытия.

Совершенно закономерно, что в современной России мыслители, отвергающие ценности «Петербургского периода русской истории», люди, грезящие патриархальной «русской идеей» в противовес «петербургскому веянию», люди, «в сумерках просвещения» поставившие на «свет с Востока», — люди эти не признают и русскую интеллигенцию.

Точно так же характерно, что магический центр этой неприязни находится в самом Петербурге. Причем не среди люмпенизированных слоев, а среди интеллектуальной элиты. Например, той ее части, что

получила крещение в кругу Льва Гумилева, успешного проповедника идеологии евразийства.

Для этого круга интеллигенция — это недоучившаяся и бездарная часть гуманитариев с непомерными амбициями. Типичный интеллигент, по их концепции, — Ленин. Довод столь же эффектный, сколь и наивный. «Беспочвенный революционизм» «идейному почвенничеству» противопоставляют сами же интеллигенты. Авторы «Вех», Федотов, неославянофилы, евразийцы — все они оставались и остались настоящими интеллигентами петербургского толка.

Еще раз: создатели всех оттенков «почвеннических» теорий в России — это жители Петербурга, его интеллигенция. К крестьянскому словословию или к государственной администрации никто из них не принадлежал и не принадлежит. «Природа» для них — усадьба, а не пашня. Их учителя — выкристаллизовавшие свои теории в петербургском журнале «Время» Достоевский и Аполлон Григорьев — самые городские, самые интеллигентские наши писатели XIX века. Не только по биографии, но и по духу творчества. Лишь в городе, в котором лучше всего ощущается долг человека перед землей и жажда этой земли, подобные теории могли стать мироощущением.

Нечего говорить: все наше «почвенничество» — лишь старинный спор интеллигентов меж собою. Совестьливый спор о виновности или злобный — о виновных. Никакой «народной правды» он не выражал ни полтора столетия тому назад, ни на исходе советского периода, ни сегодня. Зато провоцировал и провоцирует на диалог, в котором проявляются потенции свободы, заложенные в России петербургской культурой.

Александр Блок писал в начале прошлого века о Петербурге как о «глухой провинции». «А глухая провинция, — уточнял он, — страшный мир», весь мир современной поэту «гуманистической цивилизации». Помня заветы Блока, современная петербургская культура ощущает периферийность нашего личного положения в мире как сокровенную тайну нашего существования. Если и есть для петербуржца свет в конце туннеля, то это — белая ночь.

Или еще так:

Если выпало в Империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции
у моря.

ДЕЛО ЖИЗНИ

«Рыцарь русской литературы»

Константин АЗАДОВСКИЙ

История петербургской культуры изобилует несправедливостями, устранять которые приходится следующим поколениям. Незаслуженное забвение — обычная доля многих замечательных петербуржцев как в давние, так и в новейшие времена. Не избежал этой участи и Ф.Ф.Фидлер.

Некогда, в первые годы XIX столетия, Федор Федорович (Фридрих) Фидлер (1857—1917) был хорошо известен в литературном Петербурге. Выходец из немецкой семьи, закончивший в 1884 году курс историко-филологического факультета Петербургского университета, преподаватель немецкого языка в петербургских гимназиях, Фидлер с юности выделялся своей удивительной преданностью русской литературе. Он и сам рано стал профессиональным литератором — переводчиком русских поэтов на немецкий язык. За свою жизнь Фидлер перевел и издал в Германии чуть ли не всех русских поэтов XVIII—начала XX века. Большой известностью пользовалась составленная им и выпущенная в 1889 году немецкая антология, озаглавленная «Русский Парнас» (в книгу вошло 183 стихотворения 58 авторов).

С большинством современных поэтов, которых Фидлер переводил на немецкий язык, он был знаком лично, а нередко и дружен. Боготворивший русскую литературу, Фидлер испытывал живой интерес к любому литератору, с которым ему доводилось встречаться. Он был неизменным и увлеченным участником всех наиболее значимых событий в столичном литературном и театральном мире. Без его присутствия не обходился почти ни один банкет, юбилей или товарищеский обед. В его небольшой квартире на Николаевской улице (ныне — улица Марата) собирались десятки людей — писатели, артисты, художники.

Фидлер состоял практически во всех литературных объединениях, действовавших в Петербурге в конце XIX — начале XX века. В феврале 1899 года он становится членом Русского литературного общества

(позднее — Всероссийское литературное общество). В начале 1900-х годов Фидлер — член правления Кассы взаимопомощи литераторов и ученых при Литературном фонде; в 1907—1908 годах — секретарь Петербургского литературного общества. Кроме того, Фидлер был одним из бессменных руководителей (председателем, позднее — товарищем председателя) петербургского поэтического кружка «Вечера Случевского» (созданного К.К.Случевским).

Общаясь с писателями, Фидлер каждый раз не упускал возможности получить от них какие-либо сведения биографического порядка (в этом он походил на своего друга, историка русской литературы и библиографа С.А.Венгерова). Внимание к мелкому биографическому факту, к бытовому, подчас интимным сторонам жизни писателя характерно для Фидлера в разные периоды его деятельности. Не случайно все свои сборники и антологии русских поэтов он неизменно сопровождал биографическими данными о каждом из них. Стремясь обогатить представление русской публики о современных писателях, Фидлер в 1909 году распространил среди них составленные им «опросные листы». Ответы 54 писателей образовали сборник автобиографий под названием «Первые литературные шаги» (М., 1911), не утративший своей ценности вплоть до настоящего времени.

Любимым детищем Фидлера и главным смыслом его многолетней деятельности во имя родной литературы была его богатейшая коллекция; Фидлер начал составлять ее еще учеником Реформатского училища. Собираительство становится для него с годами всепоглощающей страстью. Все, что имело хоть малейшее отношение к литературе — портреты писателей, их письма, автографы, рукописи, личные вещи и т. д., —

находило себе место в четырехкомнатной квартире Фидлера, превратившейся со временем в подлинный литературный музей (первый в России!).

Живописное изображение фидлеровского музея можно найти в воспоминаниях С.М.Городецкого:

«Жилон <Фидлер> в обычной квартире на Николаевской улице и всю жизнь боялся пожара, который мог уничтожить его сокровища. Все стены четырех комнат были сплошь заставлены книгами и завешаны фотографиями с автографами. Всюду прилажено бесконечное количество витрин, ящиков, полок для хранения писем, рукописей и фотографий. Я не помню каталога, но не было, кажется, ни одного крупного писателя, который так или иначе не был бы представлен у Фидлера. Изобретательность его по изысканию материалов была изумительна. Он выискивал, запрашивал, выменивал, покупал, можно сказать, охотился за рукописями. Литературных партий, течений, кружков для него не существовало, он любил литературу и очень чутко умел нащупывать ее основное русло».¹

Начиная с 1907—1908 годов сообщения (более или менее подробные) о музее Фидлера систематически появляются в русской периодике. Так, например, московская газета «Раннее утро» рассказывала своим читателям:

«Музей Фидлера не указан ни в одном из справочников города Петербурга.

Да оно и понятно.

Этот музей — учреждение частное.

Название — музей — в данном случае носит несколько преувеличенный характер.

Тем не менее этот музей в своем роде — замечательное явление.

Характерно, что он создан инициативой не русского, а немца.

Ф.Ф.Фидлер — немец.

Но редко кто из русских любит так, как он, русскую литературу.

Во-первых, им сделано очень много в смысле ознакомления Германии с русскими писателями.

Им переведены на немецкий язык произведения целого ряда русских писателей.

Во-вторых, и это — самое главное, им в течение долгих лет собрана замечательная коллекция автографов, портретов, изречений, дневников и рукописей русских писателей.

Эта коллекция настолько богата, что ее не без основания называют музеем.

И кого здесь только нет?..

Здесь Михайловский, Щедрин, Некрасов, Герцен, Тургенев, Достоевский.

А о нынешних писателях и говорить нечего. <...>

Каждый из пишущих, посетив Фидлера, непременно должен расписаться в особой, специально для этого предназначенной книге.

Кроме того, у Фидлера имеется еще альбом, в который гости его записывают свои изречения.

Коллекционерство Фидлера доходит в этом отношении почти до курьезов.

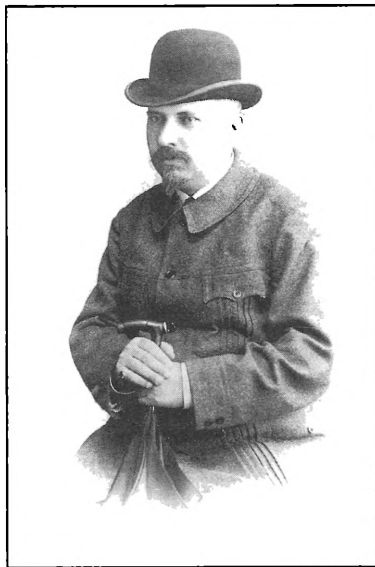
Так, например, он собирает окурки, выкуренные у него дома теми или иными писателями. <...>

Кроме рукописей, автографов, писем и дневников у Фидлера имеется еще целый ряд закрытых писем и пакетов, на которых имеются надписи тех или иных авторов: Вскрыть после моей смерти.²

Об «альбомах» Фидлера следует сказать особо. Знакомая или встречаясь с тем или иным писателем, Фидлер каждый раз считал необходимым запечатлеть, «увековечить» это событие. Поэтому он неизменно держал наготове небольшой альбом, заготовленный для того или иного случая: «В гостях», «В ресторане», «В пути», «Товарищеские обеды», «Поминки» и т. д.

«...У него не один альбом, — рассказывал в 1916 году С. Либрович, — а целые десятки: когда наполняются страницы одного альбома, Фидлер заводит другой, третий и т. д. В кармане у Фидлера всегда с собой альбом. И встретив кого-либо из писателей в собрании, в театре, в ресторане, на прогулке и пр., Фидлер непременно заставляет своего собеседника написать что-нибудь в альбом, отмечая при этом тщательно, где, когда и при каких обстоятельствах сделана запись. Благодаря общим симпатиям, которыми пользуется Фидлер в литературных кружках, редкий из писателей отказывается ему в его просьбе. Альбомы Фидлера составляют самостоятельный отдел его огромной и действительно ценной литературной коллекции».³

Но увековечить современный литературный быт Фидлер стремился не только альбомами. Неотъемлемой частью его существования был также дневник, который он вел (по-немецки) на протяжении более чем трех десятилетий. Насчитывающий несколько тысяч страниц, его «Дневник», наряду с «Музеем», — выдающийся вклад Фидлера в русскую (и отчасти немецкую) культуру.



Ф.Ф.Фидлер. 1900-е гг.

Дневник Фидлера представляет собой своеобразный памятник, не похожий на другие известные дневники писателей в России или Западной Европе. Он весь, от начала и до конца, посвящен исключительно писателям, их делам и заботам, суждениям о литературе или друг о друге. Эту специфику совершенно точно отражает название дневника: «Из мира литераторов. Характеры и мнения, собранные Фидлером». Кроме того, дневник Фидлера неповторим своей «конкретностью» — привязанностью к обыденному, незначительному факту, эпизоду, происшествию. Фидлер действительно не слишком хорошо различал «значительное» и «незначительное», когда речь шла о писателе и о том, что его окружало; для него имела значение любая деталь. В этом смысле фидлеровский дневник воистину уникален — он содержит сведения, которые невозможно почерпнуть из других источников. Как одевался тот или иной писатель? Как держал себя в обществе? Как выглядел его рабочий кабинет? Сколько рюмок был он способен осушить за обедом? Какие у него были склонности и слабости? Фидлер зорко подмечал мелкие под-

робности, которые обыкновенно ускользают от внимания.

Именно поэтому дневник Фидлера отличается известной одностронностью. Подлинная литературная жизнь конца XIX — начала XX века со всеми ее перипетиями, идейными битвами, общественным накалом почти отсутствует в дневнике. Зато есть в нем другое: живописные портреты писателей, литературный быт, привкус и аромат того времени. Это обстоятельство представляется особенно значимым, если вспомнить, что целая эпоха русской жизни, запечатленная в дневнике Фидлера, подошла тогда к концу. Тип русских интеллигентных людей, к которому принадлежал и сам Фидлер, литературная среда, в которой он вращался, ее уклад и обычаи — все это давно уже кануло в прошлое. Несмотря на узкое и подчас весьма субъективное восприятие Фидлером и литераторами, и «мира литераторов», историографическая и познавательная ценность его дневника огромна.

«Фидлер, — вспоминал о своем приятеле Вас.И.Немирович-Данченко, — с аккуратностью образцового аптекаря вел дневник о встречах и беседах с нашим писательским миром. Каждый вечер, прежде чем лечь в постель, он записывал все, что казалось ему интересным или метким в своих разговорах с нами. Вся эта летопись — на немецком языке. Он рассчитывал впоследствии издать ее, когда нас уже не будет. <...> Эти дневники чуть не за двадцать пять лет — истинные сокровища для закулисной истории русской печати. Нужна была его феноменальная память, чтобы удержать в ней до вечера малейшую деталь. Тут были памятки не об одних художественных и культурных течениях. Целые главы — интимной жизни, где наш мирок выступал так выпукло и красочно, как ни в одной монографии».⁴

Конечно, Фидлер и сам сознавал, что владеет «сокровищами». В последние годы жизни он начал понемногу использовать материалы своего собрания, в том числе — дневники. Опираясь на свои записи разных лет, он стал публиковать в 1914—1916 годах «Литературные силуэты» — серию воспоминаний о русских писателях (В.М.Гаршине, С.Я.Надсоне, Я.П.Полонском, А.Н.Майкове, А.А.Фете, А.Н.Плещееве, Н.С.Лескове, К.М.Фофанове). В те же годы он трудился над мемуарами, посвященными Д.Н.Мамину-Сибиряку — одному из заметных персонажей его дневника (работа осталась в рукописи).

С годами имя и дело Фидлера приобретает в России немалую известность. Его самоотверженное, почти фанатическое служение русской литературе воспринимается с пониманием и даже восхищением. Все щедрее становятся пожертвования в его музей. Современники не устают славословить Фидлера — «жреца во храме русской литературы» (так он сам называл себя). «Немец, каких немного»⁵, «рыцарь русской литературы»⁶ — восторженные отзывы о Фидлере все чаще мелькают на страницах русской периодической печати.

Затрагивался в печати и неизбежный вопрос о судьбе фидлеровского собрания. Считалось, что именно оно станет фундаментом будущего Всероссийского литературного музея. «...Он <Ф.Ф.Фидлер>, — писал журналист Г.Старцев, — положил основание тому литературному музею, — который должен быть у нас, — если только для русского общества не звук пустой родная литература».⁷

Задумывался над судьбой собрания и его владелец. В 1909 году Фидлер составил завещание, согласно которому вся коллекция должна была после его смерти поступить в Императорскую Публичную библиотеку в Петербурге. В случае отказа Публичной библиотеки (или Библиотеки Академии наук) Фидлер просил передать все собранные им материалы Королевской библиотеке в Берлине.

Однако разразившаяся война и, видимо, иные обстоятельства побудили Фидлера изменить свое решение, что письменно было им сделано 23 февраля 1917 года. «Ввиду огромной стоимости означенного музея» Фидлер просил дочь Маргариту, единственную свою наследницу, сделать все от нее зависящее, чтобы его музей был приобретен либо Публичной библиотекой, либо Императорской Академией Наук. В случае отказа этих учреждений М.Ф.Фидлер получала право «продать музей в частные руки».

На другой день Фидлер умер. «Сегодня в литературе большое событие, — записал в своем дневнике Б.А.Лазаревский, — умер Федор Федорович Фидлер. Конечно, он Фридрих, но сделал для русской литературы очень, очень много, больше, чем кто-нибудь из русских... <...> Сокровищница литературных его реликвий неоценима — там кусочки души и жизни интимной, начиная с

Достоевского и до наших смутных дней <...> Куда все это поступит: в Академию Наук или в Публичную библиотеку...»⁸ Впрочем, эта запись скорее исключение, ибо на фоне событий тех дней (Февральская революция) смерть Фидлера прошла почти незамеченной. На похороны человека, в доме которого собирался некогда «весь Петербург», явилось лишь несколько человек.

Нам неизвестны перипетии событий, разыгравшихся вокруг наследства Фидлера весной, летом и осенью 1917 года — в самый разгар революционных потрясений. Достоверен лишь следующий факт: незадолго до большевистского переворота Маргарита Фидлер продала значительную часть фидлеровского собрания петроградскому антиквару и букинисту Е.А.Бурцеву, который заплатил ей огромную сумму (впрочем, обесценившуюся через несколько месяцев). Но уже вскоре Бурцев начал сам распродавать свою коллекцию, а в середине 1930-х годов был выслан вместе с семьей из Ленинграда. Некоторые из приобретенных им фидлеровских материалов (в том числе — альбомы и дневники) попали в Институт русской литературы, где и хранятся в настоящее время. Другие документы из фидлеровского музея оказались в государственных архивах Москвы. К сожалению, значительная часть того, что было собрано Фидлером, до сих пор не выявлена.

20 сентября 1924 года А.А.Коринфский писал из Ленинграда С.Д.Дрожжину:

«Ты спрашиваешь о музее покойного (тоже, тоже покойного!) Ф.Ф.Фидлера? Дочь его, Маргарита (где она теперь, я не знаю, но видел ее раза два в революционное уже время) продала весь его музей коллекционеру Е.А.Бурцеву, миллионеру до революции, а потом перебивавшемуся книжной антикварной торговлей в лавке отнятого у него громадного дома. Где и что он теперь — не знаю. Фриц наш, вместо Публичной библиотеки, оставил музей и все свое по завещанию дочери (она продала музей, кажется, за 30 тысяч — настоящих, а не большевистских, еще до Октябрьской революции), а Фидлер сам похоронен в первый день Февральской (“Да святится имя ея!”) Революции... Наш милый друг, наш незабвенный “немец” перехитрил перед своей смертью всех нас — несших в его сокровищницу литературы свои вклады!.. Да простит ему Господь этот грех!.. Он так любил литературу, как никто, — воистину

был ее любовником, верным ей до преддверия своей могилы на Волковом кладбище, теперь наполовину запустелом, замусоренном и ограбленном... Кажется, кто-то говорил, что и крест Фидлера (как и А.М.Сальникова, нашего с тобой друга) тоже пошел на топливо...»⁹

И музей Фидлера, и его могила оказались разрушенными, имя же его — забытым почти на полстолетия. Первые робкие попытки воскресить труд Фидлера, восстановить его могилу и освежить память о нем относятся к концу 1950-х — началу 1960-х годов.

Все фрагменты фидлеровского дневника, приведенные ниже, публикуются по-русски впервые. Отдельные записи печатались на немецком языке в книге: *Friedrich Fiedler. Aus der Literatenwelt. Charakterzüge und Urteile. Tagebuch. Herausgegeben von Konstantin Asadowski. Göttingen, 1996.*

Текст дневника при подготовке его к печати унифицирован: сокращенные Фидлером слова пишутся полностью; восстановленные части слов или имен взяты в угловые скобки. Унифицировано также написание дат — все они приводятся по старому (русскому) стилю. Опiski и явные неточности, допущенные Фидлером, исправлены без оговорок.

Слова или словосочетания, написанные в оригинале по-русски, выделены курсивом; подчеркнутые слова — жирным шрифтом.

Перевод на русский язык выполнен автором публикации.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Городецкий С. Три венка // Кавказское слово (Тифлис). 1917. № 145. 2 июля. С. 3.

² Влас <Дорошевич В.М.>. К писательской выставке (От нашего корреспондента) // Раннее утро. 1910. № 201. 1 сентября. С. 2.

³ Лукьян Сильный <Либрович С.Ф.>. Кое-что об альбомах писательских автографов // Вестник литературы. 1916. № 4. С. 97—98.

⁴ Немирович-Данченко Вас. И. На кладбищах: Воспоминания. Ревель, 1921. С. 101 (перезд. — М., 2001).

⁵ Залушевное слово. 1909. № 5. 20 ноября. С. 1—2.

⁶ Слова из статьи сибирского писателя Г.А.Вяткина, посетившего музей Фидлера в сентябре 1913 г. (Сибирская жизнь. 1913. № 237. 29 октября. С. 3).

⁷ Телеграф. 1907. № 4. 27 января. С. 3.

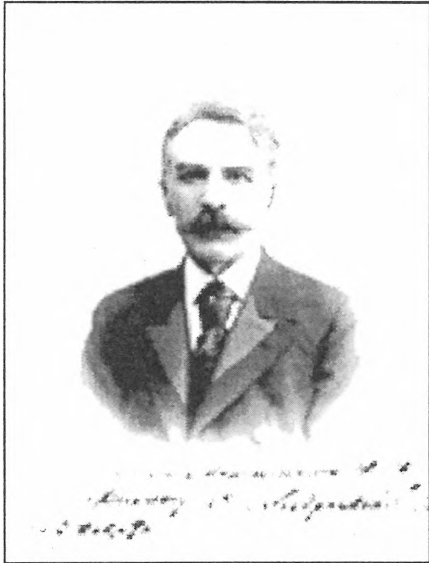
⁸ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 198 об. — 199.

⁹ Иванова Л.Н. Архив С.Д.Дрожжина // Литературный архив. Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 74—75.

Из «Дневника» Ф.Ф.Фидлера

30 марта 1888

Кое-что о поэте Сергее Аркадьевиче Андреевском. Я познакомился с ним 18 апреля 1886 года у Н.М.Минского и назвал его тогда в моем дневнике «ртутью в челове-



С.А.Андреевский.
Надпись: «Многоуважаемому
Ф.Ф.Фидлеру С.Андреевский
3 февр<аля> <18>96».

ческом облике». Действительно: каждая жилка в нем — регретийм твое!.* Кроме того, он произвел на меня впечатление пресыщенно-высокомерного человека. Он — адвокат и говорит так, словно держит речь. — Потом я видел его и разговаривал с ним на юбилее Полонского. Сказал ему о своем замысле издать антологию русской поэзии, и он признался в своем желании, чтобы я перевел несколько отрывков из его длинного стихотворения «Сумерки». Критика, дескать, обошла вниманием это произведение, но настанет время, когда высказанные в нем глубокие мысли станут предметом пристального внимания. 16 апреля он прислал мне с дочерью-гимназисткой (моей ученицей) свои «Стихотворения», подчеркнув те из них, которые считает лучшими, например: «В теплой тучке звездочка светила...», «Мадригал», «Май», «Пигмей», «Dollogosa»,** «Обрученные» и др. Летом

я прочитал их, и они все показались мне довольно рассудочными и скучными. Приличия ради я все же перевел первое из названных стихотворений и еще «Из доброго времени...»; они напечатаны в «Герольде» 17 сентября прошлого года.

Вчера я беседовал с ним у Ясинского. Я спросил, понравились ли ему мои переводы, и он сказал: «Они великолепны; но в вашей антологии они не смогут дать полного представления обо мне как поэте. Возьмите все-таки «Мадригал» и «Dollogosa!..» Я попросил его сообщить мне некоторые автобиографические сведения, и он воскликнул: «Ах, такие просьбы ужасны! Мне всегда кажется, будто готовится мой некролог! Спросите лучше у Венгерова... Да и все эти юбилеи для меня чрезвычайно мучительны; какое-то похоронное торжество, на котором бедному юбиляру повторяют: memento mori!..* Было довольно много гостей (я привел Рейнгольдта), среди них — прозаики Баранцевич и Альбов, с которыми я бегло познакомился. Какой-то господин читал четвертый акт из неоконченной драмы Гаршина (она должна была называться «Деньги»), и все сошлись во мнении, что в психологическом отношении драма не слишком убедительна. Анатолий Леман читал отрывки из запрещенного духовной цензурой философского трактата Л.Толстого «Жизнь». Много верного, но есть и совершенно нелепые места, например: несчастного удерживает от убийства лишь мысль о том, что его несчастье — заслуженное возмездие. — Ясинский производит странное впечатление: обладая троглодитообразной фигурой, говорит тихо, как чахоточный; грубость играет немалую роль в его произведениях, зато в жизни он нежен как стыдливая девушка. При встрече сильно и долго пожимает мне руку. Когда я недавно принес ему свой перевод его стихотворения «Вальс», он обнял меня и поцеловал благодарно и расстроганно. <...>

18 мая 1888

Во время похорон Надсона возник момент, озадачивший собравшуюся и весьма многочисленную публику. К еще открытому гробу приблизилась, качаясь, юношеская

фигура в легком поношенном пальто, с потертым цилиндром на голове, из-под которого выбивались наружу длинные пряди волос грязно-желтого цвета. «Надсон, — прокричал он сдавленным голосом, дико взмахивая руками, — я любил тебя! Я хотел с тобой познакомиться, а теперь ты умер! Надсон, я любил тебя!» Прокричав и качнувшись назад, он затерялся в изумленно расступившейся перед ним толпе. «Кто этот эксцентрик?» — спросил я стоявшего рядом со мной Всеволода Гаршина (мы с ним держали венок из искусственных цветов). — «Поэт Константин Михайлович Фофанов». — «Не знаю такого». — «Не знаете? О, вокруг него сложилась уже целая секта поклонников его музыки!» — «Но он выглядит прямо как сумасшедший! Или это поэтическое безумие?» — «Он ведет кошмарный образ жизни. Рассказывают вещи, от которых волосы дыбом становятся». <...>

Мой коллега по гимназии, учитель рисования К.Н.Воронов, видится с Фофановым каждую неделю у художника И.Е.Репина. Он передал ему мое пожелание — встретиться у меня, чтобы обсудить переводы его стихов. И вот, как-то вечером в декабре прошлого года явился Фофанов. Разговор пришел почти полностью вести мне одному, потому что он давал лишь односложные ответы, а в основном молча пялился на моего Кольцова. (Да и в обществе, например у Ясинского, я обычно видел его лишь безмолвно сидящим в углу дивана). — «Скажите, стихотворение «С плачем ребенок родился на свет...» — оно действительно ваше от начала и до конца?» — «Хм, хм...» — «Думаю, все же не ваше!» — «Идея заимствована у одного восточного поэта». — «А вы не ошибаетесь? Точно такое же четверостишие есть у Уланда». — «Я лишь с трудом могу читать и понимать немецкие книги, а кто такой Уланд — знать не знаю». — «А имя восточного поэта?» — «Не помню».

Мы выпили пива. Я принес мой альбом с портретами, и он стал внимательно его перелистывать. Каждый женский портрет он разглядывал с величайшим безразличием, не задерживая на нем своего внимания даже на секунду; зато каждый мужской портрет, особенно изображавший безбородых юношей, неизменно пробуждал в нем живой интерес, он спрашивал, кто это и как зовут, и в глазах у

*Вечный двигатель (лат.).

**«Скорбящая» (лат.).

*Помни о смерти (лат.).

него мерцали сладострастные искорки. <...>

26 декабря 1890

Именины Полонского. Присутствовало около семидесяти пяти человек, среди них — стыд и позор русской духовной жизни XIX столетия: Победоносцев; впрочем, с ним почти никто и не разговаривал. В целом все прошло пристойно; мужчины были во фраках, никто не докучал друг другу, дамы в вечерних туалетах почти ничего не ели или же чинно-чопорно прикасались к еде — с обычным жеманством. Андреевский изливался в похвалах Пушкину, на что Венгеров заметил, что Пушкину как поэту вряд ли удастся завоевать себе право европейского гражданства. Позже Мережковский — за ужином мы сидели рядом — согласился со мной в том, что талант Андреевского (он показал при этом на пустую тарелку) — *tabula rasa*. * Жена Мережковского, Зинаида Николаевна, по обыкновению жеманилась как девица. Говорили про Альбова (его самого, впрочем, не было), и большинство признало за ним талант более крупный, чем у Баранцевича. Сам Полонский ничего не ел и не пил, лишь ковылял, зажав меж пальцами незажженную сигару, от одной группы к другой и изрекал общие любезные фразы.

28 августа 1894

Сидел вчера в «Генисарете» (другое название — «Капернаум»), когда явился Б.Б.Глинский, пьяный (в последнее время другим его и не видел), в сопровождении человека (совершенно трезвого), которого он представил мне как поэта Владимира Петровича Мартова, а меня ему — как «известного переводчика». «Переводы на немецкий! Да у этой нации вообще нет будущего! Гроша ломаного не дам за немецкий язык: ужасно скуден в сравнении с русским и звучит отвратительно. Ну что это, например, за звуки: *Chimel* (*Himmel*), *Mettchen* (*Mädchen*), *gein* (*gehen*), *stein* (*stehn*)!»** — «Я со-

ветовал бы вам взять у меня пару уроков в подготовительном классе гимназии Гуревича: вы произносите по-еврейски!» — «Позвольте, мне говорили в Вене, что у меня отличное произношение. Но язык ужасен, и в немецкой литературе вовсе нет больших поэтов. Разве что у Гете и Гейне есть несколько красивых стихов...» — «Ну до чего ж вы великодушны!» — «Вот немцы гордятся, например, своим Лессингом. А я скажу: Михайловский как критик гораздо выше его!» — «Да вы и представления не имеете ни о немецком языке, ни о немецкой литературе!» — «Ого! Да я, если б захотел, мог бы писать стихи по-немецки!. Вот я сейчас прочту вам стихотворение “Где?”, мой перевод из Гейне, это лучше, чем в оригинале!» — «Валяйте! (он стал читать, глотая последние слоги). Помилуйте, у вас же нет рифм!» — «Как это нет?» — «Уж не считаете ли вы за рифму “последней” и “Рейне”?» — «Конечно, рифма не полноценная, но в этом ассонансе есть своя гармоническая прелесть!» — «С равным успехом вы могли бы зарифмовать “чернила” и “свеча”!» — «Вы, однако ж, строгий судья!» — «А какое место вам кажется удачнее оригинала?» — «Последняя строфа. У Гейне: “Небо меня обнимет”, а у меня: “Буду покоиться в объятьях неба!”». — «Очень поэтично, но вместе с тем пустословно! А взамен колеблющихся лампад у вас просто мерцающие звезды? Нет, извините, перевод ваш никуда не годится!» — «Ну, вы судите слишком строго! Эти стихи появятся в сентябрьском номере “Вестника Европы”».

Мы (то есть я и Мартов; Глинский еще ранее нетвердым шагом отправился домой) поехали ко мне, и началось бесконечное чтение стихов. Он полистал «Русский Парнас» и сказал: «Конечно, из наших вы ничего не включили!» — «Ну, есть и другие поэты, которые не вошли, например, Червинский...» — «Ах, это просто дрянь!» <...>

Листая альбом, он торопливо переворачивал каждую страницу, на которой был немецкий шрифт; когда он стал разглядывать портреты русских писателей на стене, я заметил ему шутливо: «Да это ведь ваши любимые немцы!», и он резко отвернулся, не бросив на них ни единого взгляда.

Настоящее имя этого бездарного и нагловатого господина — Михайлов; он — приват-доцент на кафедре физиологии здешнего уни-

верситета. Хорош университет!» <...>

8 февраля 1895

Вчера ужинал у Лейнера с Ант<оном> Чеховым, Потапенко и Баранцевичем. Вид у Чехова совсем не чахоточный; подозрительно лишь его постоянное покашливание. «Это у меня уже несколько лет, и излечиться нельзя — только *скапуться*. Мои легкие...» Он зарабатывает совсем не так много, как можно подумать, зная тиражи его книг. «Я пишу ежегодно не более десяти листов, это приносит мне две тысячи пятьсот рублей; шестьсот рублей ежегодно приносит мне мои водевили — итого три тысячи сто рублей». — «Ну, а ваши книги?» — «Лишь теперь, когда я полностью рассчитался с Сувориним, они будут приносить мне около двухсот рублей ежемесячно». — «Кстати, о Суворине: ходили слухи, будто вы собираетесь жениться на его дочери Насте?» — «Я? На Насте? Во-первых, она слишком молода для меня, во-вторых, психопатка и, вероятно, застрелится, а в-третьих, я женюсь только по любви...»

Когда в половине третьего ночи пришла пора расплачиваться, я вынул пятирублевый билет, но Чехов и Потапенко сказали: «Нет, мы вас пригласили, мы и угощаем!» — «Было бы куда лучше, если бы вы угостили меня вашими книгами!» — «Ну, это от вас не уйдет!» Чехов (к Потапенко): «Видишь, что такое любитель литературы! А ты до сих пор ни разу не попросил у меня моей новой книги!» Потапенко: «Это потому, что я сам не могу дарить свои новые. Недавно встречаю в театре знакомого, которому я должен ни много ни мало три тысячи рублей; он и говорит мне в шутку: “Придется на вас рукой махнуть, но подарите мне, по крайней мере, ваши сочинения!” Ничего не поделаешь, придется для него купить!» — «Разве вы ничего не привезли из Москвы от Сытина?» — «Нет, зато взял у “Артиста” семьсот рублей задатка, и представьте себе мое счастье: на другой день было объявлено, что журнал пойдет с молотка!» <...> Мы много смеялись и шутили. Пот<апенко> и Чехов думали, что тешка — какой-то особый вид рыбы, и были удивлены, когда я объяснил им значение этого слова. «Ох уж эти немцы!»

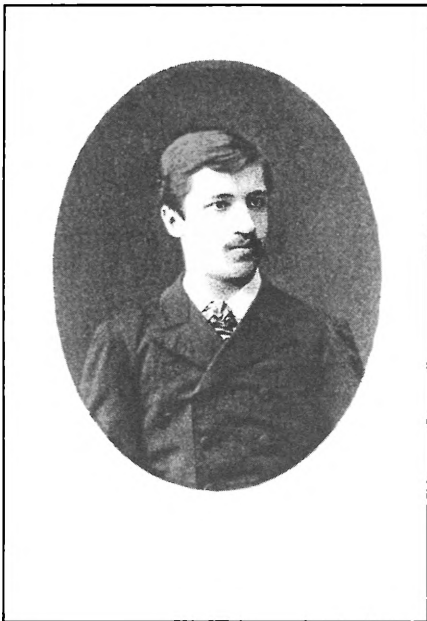
*Пустое место; букв. «чистая доска» (*лат.*).

**Небо, девушка, идти, стоять (*нем.*). Фидлер воспроизводит произношение своего собеседника и приводит в скобках истинное написание (*примеч. переводчика*).

11 февраля 1895

Вчера в час дня, как и было условлено, мы собрались у Чехова — он живет у А.С.Суворина в отдельном кабинете. <...> Отправились к Палкину и взяли там отдельный кабинет. Чувствуя себя плохо (меня знобило и мучила головная боль), я сказал Чехову: «Ежели после выпивки я буду чувствовать себя завтра еще хуже, то вам как доктору...» — «Я фельдшер!» — «Неважно, вам придется меня бесплатно лечить!» — «Нет, уж лучше я пришлю вам врача за собственный счет — мне совсем не хочется терять в вашем лице своего читателя и поклонника!» — «Вы так редко практикуете?» — «Почти вовсе не практикую; лишь когда наступает холера, земство поручает мне какой-нибудь район». — «Разве вы — земский врач?!» — «Нет...» О своей диете рассказал следующее: «Если я плотно поем или выпью рюмку водки, я уже не могу работать; поэтому за обедом я съедаю лишь несколько ложек супа, но зато как следует ужинаю и затем сразу же ложусь спать». — «Но ведь это очень вредно!» — «Во все нет: это дело привычки». <...>

Он (Потапенко. — К. А.) вышел, примерно через две минуты толкнул к нам Осипа Ильича Фельдмана и снова исчез. Целых четверть часа гипнотизер трещал без умолку, потом улетучился. Мы



Д.С.Мережковский. 1880-е гг.
На обороте рукой Филлера:
«Д.С.Мережковский. Из коллекции
С.Я.Надсона. Подарено мне М.В.Ватсон.
4 марта 19<06>».

остались втроем. Чехов пил умеренно; он собирался посетить еще один дом. Баранцевич повернулся ко мне: «А знаешь, как назвал тебя Антон Павлович, когда мы возвращались от Лейнера? Неугасимая лампадка перед лицом русской литературы!» — «Правда?» Чехов: «Да, это про вас!» Баранцевич: «Он это непременно запишет, ведь он ведет...» — «Казимир!» — «Да, есть у него такие голубые тетрадки...» — «Послушай-ка, милый, вот что мне пришло в голову: смотрю я, как вы тут по-приятельски друг с другом болтаете, любите и цените друг друга уже много лет... а почему бы вам не выпить на брудершафт?» Баранцевич: «Вот это мысль! Давайте?» Чехов: «С удовольствием...» Они скрестили друг с другом руки, выпили и расцеловались. Чуть позже Баранцевич попросил Чехова быть крестным отцом его девятого ребенка, и тот сразу же согласился. В ближайшее воскресенье он собирается отсюда уехать, видимо, в Таганрог, чтобы там поработать. «Здесь я не могу писать, а ведь я приехал, собственно, ради этого!». Еще он сказал: «Я, вероятно, никогда не женюсь, потому что могу жениться только по любви <...>». Как только Чехов ушел, Баранцевич стал ныть: «Ну вот, опять я дурака свалил — первый предложил ему выпить на брудершафт!» Впрочем, братание привело его в состояние радостного возбуждения, и, расцеловавшись с Чеховым, он совсем захмелел.

19 сентября 1896

Вчера был у нас Мамин. Говорил о количестве своих сочинений: написал уже около ста томов — «одни заготовки; материала у меня хватит еще на десять лет; ни один персонаж не выдуман мною». Его первый роман назывался «Приваловские миллионы» («Мой первоуродный грех!»). Он писал уже долго до этого, но все его работы возвращались к нему из редакций обратно. Собирается написать историческую драму. «У меня лежит уже вот сколько драм, но ни одна из них не годится для сцены, хотя я десятки раз переделываю каждый акт. За время, потраченное мною на улучшение моих драм, я мог бы заработать десять тысяч рублей романами и новеллами, потому что их-то я пишу сразу на бело и даже не перечитываю пе-

ред тем, как отдать в печать». — «А была ли поставлена хоть одна из твоих пьес?» — «Да, и провалилась: „Золотопромышленники“ в московском Театре Корша...» Мы говорили о Н.К.Михайловском, уезжающем на лечение в Крым: у него *угнетенное состояние*; страдает обмороками: «В этом повинны женщины...» Он, по мнению Мамина, публицист, но не критик, и очень тонкий расчетливый дипломат. «В прошлом и настоящем русской литературы для него есть лишь два гениальных писателя: Глеб Успенский и Короленко. Меня и других считает пигмеями по сравнению с ними. И все-таки я люблю его!» Сказал, что Южак превосходит Михайловского как характером, так и умом и талантом.

Маленькая Аленушка попросила его недавно: «Папа, женись, а то ведь у меня нет мамы!» На этих днях она, лежа в кровати, болтала голыми ножками. «Тетя Оля» сделала ей замечание, но она успокоила ее, сказав серьезным голосом: «Ах, тетя Оля, здесь же нет мужчин!» Мамин рассказывал об этом с нежной любовью. <...>

29 сентября 1896

Провел вчерашний вечер у Мережковских. Он показал мне целую библиотеку итальянских, немецких, французских и английских сочинений, посвященных Леонардо да Винчи и его эпохе; все это стоило ему более четырехсот рублей. Ставит Тютчева выше Гейне (назвал его клумбой, на которой растут прекрасные цветы, источающие дурной сигарный запах) и выше Ленау, а как автора некоторых стихотворений — наравне с Гете. Когда я заметил, что Тютчев обобрал Ленау и Гете и выдал переведенный текст за оригинальные стихи, он сказал: «Всегда и везде поэты заимствовали друг у друга; это огромный ангельский хор, где херувимы начинают песню, которую только что закончили серафимы; от небес до земли звучит один лишь хвалебный гимн». Пока я сидел с ним в кабинете, Люба оставалась у Зинаиды Николаевны в ее комнате, устланной коврами и увешанной порттьерами, и слушала ее разоблачительные речи. Минский уехал в Киев, чтобы развестись со своей женой (Юлией Безродной). На Изабелле Вилькиной он не женат, просто живет с ней вместе; раньше он не любил

ее, теперь влюбился. <...> За ужином (к чаю подали немного печенья, фрукты и сыр) сидели: Флексер (сказал о моем переводе Никитина, что он гораздо лучше оригинала), Ясинский (все время молчал) и Владимир Васильевич Гиппиус; он публикует в ближайшее время сборник «Песни», из которых еще ни одна не появлялась в печати: «Ни в одном журнале не берут моих стихов». Все добродушно посмеялись над его декадентством, особенно Зинаида Николаевна, а ведь она сама — декадентка *pur sang** Мережковский сказал: «Символизм был всегда и будет жить вечно, а декадентство, к счастью, уже сыграло свою роль». Узнав, что я перевожу Надсона, Мережковский неодобрительно покачал головой. Шутили много и безобидно, но в общем и целом не доставало главного — настроения.

20 ноября 1898

Вчера — день рождения Лохвицкой; ей исполнилось 28 лет. Она говорила, что испытывает физическое отвращение к Флексеру и не в состоянии понять, как он может нравиться другим жещинам (например, Гуревич и Зин<аиде> Мережковской). Желая прочесть своего знаменитого «Кольч<а>того змея», она отвела дам (то есть Чюмину и мою жену) к себе в кабинет, но одновременно и Федора Сологуба (Тетерникова), который и вправду всем своим внешним видом (кроме бороды) напоминает евнуха. За весь вечер он не произнес и десяти слов, да и те лишь тогда, когда ему приходилось отвечать на вопросы, заданные напрямую. Чюмина, похожая лицом на мопса, держалась, как обычно, просто и мило. Почти ни слова не произнес и Коринфский; он бросал на Лохвицкую похотливые взгляды и вздыхал. Она оказывала ему, правда незначительные, знаки внимания, хотя по отношению к Бальмонту вела себя куда более откровенно (говорят, она «живет» с ним). За ужином он напился и стонал, когда Лохвицкая стала — на этот раз для всех — декламировать своего «Кольч<а>того змея», и пялился на нее как за гипнотизированный. Когда он (Бальмонт) читал свое запрещенное цензурой стихотворение «Бес-

конечность», Минский громко и бестактно шептал своей «Белле» про «восхитительный» талант Федора Сологуба и не смущался возгласами, требующими тишины. Бальмонт в одном сюртуке проводил меня до улицы и расцеловал, говоря восторженные комплименты. Ни у кого в этом обществе не вызвало удивления, что день рождения Лохвицкой празднуется без ее мужа; было три часа ночи, когда мы разошлись, а его так никто и не видел. Лохвицкая разрешила мне выписать из ее тетради два цензурных стихотворения:

1

*На бледных цветах анемона
Пурпуровый отблеск погас —
То были не вздохи, а стоны
В вечерний томительный час.*

*И смех, и зубов скрежетанье,
И струн обрывавшихся звон
В блаженном сливались рыданье,
И ночь промелькнула как сон.*

*Миндальной струей повилики
Насытился воздух сырой.
То были не стоны, а крики
Предутренней сладкой порой.*

2

*Нет, мне не надо краденого счастья,
Одну лишь ночь, молю, мне подари.
Хочу я длить забавы*

*сладострастья
С заката дня до утренней зари.*

*Мне чужд восторг мгновений
торопливых,
Дай мне одну, но сказочную ночь,
Чтоб в вихре ласк, бесстыдных
и стыдливых,
От пресыщенья изнеможь.*

6 декабря 1898

Сегодня — ужин у Чюминой. В ответ на мои расспросы Сологуб сообщил, что он — учитель математики в небольшом «городском училище» на Песках; преподает двадцать четыре часа в неделю. «Математика и поэзия, как же совмещается одно с другим?» — спросил я. «Очень просто: и там, и здесь — абстрактное мышление; кроме того геометрические фигуры могут быть пластически даже очень красивыми». — «А зачем вы взяли себе псевдоним, напоминающий об авторе “Тарантаса”?» —

«Мне дали его в “Северном вестнике”, когда я принес туда свои первые стихи. Нельзя, по-моему, давать фамилию самому себе. Это должно исходить от Бога либо от других людей; придумайте мне еще какой-нибудь псевдоним, и я приму его, но сам этого делать не стану». — «А почему было выбрано написание Сологуб вместо Соллогуб, как у автора “Тарантаса”?» — «Не знаю». Мечтательно: «Можно было бы и Салогуб... Или с двумя “л”... Или Залогуб... Или Зологуб... Или Салогуп... Или Салогупь...» И он погрузился в задумчивость.

Мережковская (он — болен гриппом) декламировала (с муфтой в руках, но в одном платье) свои стихи по-русски и по-французски (в собственном переводе); ее сопровождала мисс Овербек, с которой она недавно приехала из Италии. Она, то есть Мережковская, рассказывала про Зин<аиду> Венгеру (та стояла рядом и смеялась), превратившуюся «из критикессы в поэтессу»: написала за лето свое первое четверостишие (в Елизаветино, на даче у Мережковских); после чего, дождливым осенним днем, они стали сочинять стихи вместе: одна писала первое четверостишие, другая — второе и т. д... Минский дружески болтал с Мережковской, но пожирал ее взглядами, когда она декламировала стихи. Он не стал возражать, когда она поехала домой с англичанкой. Не провозжал он и Зин<аиду> Венгеру — она уехала с Сологубом, который вызвался ее проводить. Минский рассказывал о Надсоне. Когда Надсон вернулся из-за границы, друзья встречали его на вокзале. Оказалось, что в дороге Надсон все время читал Гете, и, когда он вышел из вагона, первые его слова были: «Ах, этот Гете! Холодный человек, он отравил мне все путешествие!» <...>

27 марта 1899

Вчера — у Случевского. Я пришел первым, чтобы списать стихи, которые «сочинялись» за ужином в мое отсутствие (мне пришлось уехать на именины жены Баранцевича). Это был «турнир певцов» — результат предложенной Случевским темы («Весна»). Стихотворения частично записаны на отдельных листках, частично (конечно, авторской рукой) занесены в

*Чистокровная (фр.).

«альбом», который Случевский завел несколько месяцев тому назад и из которого я намерен заимствовать и переносить в свой дневник наиболее интересное. <...>

А теперь — подробно о вчерашнем собрании.

Коринфский прочитал неопубликованное письмо Пушкина (автограф) и сказал растроганно: «Мне стыдно прикасаться руками к этой реликвии». Мережковский сказал: «Памятник Пушкину будет позорить его память, ведь он сам написал: “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”». После чего Сологуб прочитал стихотворение некоего Корина (которому Сологуб покровительствует), и Мережковский восторженно принял его расхваливать <...>

Мережковский сказал, что есть человеческие лица, подобные логарифмической линейке: нужно долго их изучать, чтобы найти искомый ответ. Потом утверждал, что его собственные стихи для него — мерзость. О Ницше он отзывался следующим образом: «После Достоевского это самый великий человек в современной и будущей Европе, и так будет многие столетия, потому что он выше, чем Ибсен и Лев Толстой».

До ужина ушли: Д.Л. Михаловский, Бальмонт и Лхвицкая (оба последних — врозь).

Зин<аида> Мережковская рассказывала, что некогда взяла у Вейнберга том Мюрже и замотала его, на что Вейнберг написал ей:

*Был у меня Мюрже,
Но лишь «Vie de Bohème»,*
И нет его уже:
Похищен... Je vous aime!***

Черниговец сообщил, что первое его опубликованное стихотворение появилось в 1857 году. Когда стали шутить по поводу того, что я записываю стихи, и говорить, что мои наследники сколотят себе на этом капитал, Черниговец симпровизировал:

*Его потомки
Пойдут без котомки.*

Случевский рассказывал о личном знакомстве с Эдуардом фон Гартманом и сказал, что не видел писателя, который так расходился бы со своими писаниями: Гартман — оптимист и очень весел.

Говорили о таланте импровизации, который Мережковский на-

звал милым, и Шуф тотчас же отпарировал:

*Милый дар сей — пуф.
Им страдает Шуф.*

А Лебедев в ответ сказал:

*Как стихи напишет Шуф —
Почитаешь, скажешь: уффф!*

Тот же Лебедев записал в альбом Случевского:

*Поэты! Жарьте
Свои стихи...
В посту вам, в марте
Простят грехи!..*

Случевский высказал удовлетворение по поводу того, что его «пятницы» пустили корни, и выразил надежду, что поэты будут держаться вместе. Шуф тут же передал эту мысль стихами; в их основе — притча о связке прутьев, которую нельзя сломать:

*Мои мечты едва ли смелы,
Хвалю я пятницы не зря:
Мы ими связаны как стрелы
В пучке у скифского царя.*

На это Мазуркевич ответил:

*Сравнение это очень метко
И обосновано вполне:
Как стрелы, мы остры нередко
И ядовиты, как оне.*

Это позволило Случевскому предложить тему «Стрелы» для поэтического состязания. Все, кроме Грибовского и четы Мережковских, написали за двадцать минут.

Черниговец:

*Я смолоду попал в пострел
И на пути удачу встрел;
Теперь же я лишь устарел,
Людьми забытый самострел
Без цели, меты и без стрел!*

Лихачев:

*Пусть я стрела; но не хочу я
Вонзаться, ранить, убивать;
Хочу, мирской соблазн минуя,
Ей в прямизне соревновать.*

Лебедев:

*Мои стихи весьма несмелы,
Но тем смущаться мне ужель?
Пусть будут связаны те стрелы,
Лишь попадали б только в цель!*

Аллего:

*Лишь властелину — рассылать
Стрелюю меткие удары,
Я — раб, судьба мне умирать
Под властью мрачного анчара.*

Льдов:

*Притупились наши стрелы,
И ослаб тугой наш лук,
Наши скучные пределы
Не прострелит меткий звук.*

Случевский:

*Одни мне страшны были стрелы —
Те в сердце быстрые пострелы.
Теперь, почтенный генерал,
Я их давно в пучок связал, —
Зато нет ни пучка волос...
Ну что-с?*

Порфиоров:

*Не знаю, что писать про стрелы.
Напрасно голову ломать!
Четыре строчки им пострелы
Все не дают себя поймать.
Пусть Мазуркевич плодовитый
Язвит стрелами ядовито —
А я... мне совестно читать.*

Сологуб:

*Стрела, стрела, лети скорее
И прямо в сердце поражай.
Твои лобзанья мне милее,
Чем черный ад и милый рай.
Очень длинная стрела,
Ты ужасно мне мила,
И пряма ты, и светла.*

Эта бессознательная бессвязная чепуха вызвала продолжительный смех. Правда, Сологуб уже осушил шесть рюмок водки и пару стаканов пива.

Написанное Коринфским я не смог разобрать.

Шуф, однако, сочинил еще три четверостишия:

а. Зинаида Николаевна (т.е. Мережковская):

*На экспромты смотрит хмуро.
Позабыла своеюравно
И стрелу она Амура.*

б. Стрела певучая звенит,
Сразила скифа, негра,
И с луком стала на гранит
Дианою Allegro.

с. Лук звенит, стрела трепещет
И, клубясь, издох Пифон,
И стрелок победой блещет —
Мережковский, это он!

Мазуркевич тоже написал на заданную тему три коротких стишка, которые передал мне украдкой как нецензурные:

а. Нужны порой мужские стрелки
Для женщин, — в частности
для целки.

* «Жизнь богемы» (фр.).

** Я вас люблю (фр.).

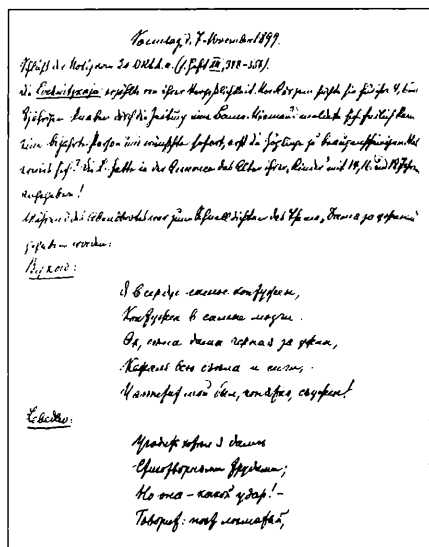
в. Скажу я в рифмах смелых —
Писали мы о стрелах;
И мигом все поэты
Окончили куплеты.
Но дамы нас смущают
И вводят в размышленье:
Они при всем уменье
На «стрелах» не «кончают».

с. Скажу, хоть и старо, —
У каждой стрелки есть перо;
А три стрелы всегда, ура,
Имеют также три пера.

Забыл отметить, что я обнаружил в альбоме листок бумаги, на котором Черниговец записал стихотворение на ту же тему, что обозначена выше:

Я не сердит, но я в раздумье:
Ужели это остроумье?
Оно хотя природы дар,
Но ведь не всем дается даром:
Тот чуёт лишь его удар,
Кто сам владеет этим даром.
А без него — свой рот запри
И не остри спроста не в меру,
А внемли старику-Вольтеру:
«Ce n'est que l'esprit qui fait
l'esprit».*

Спирт — c'est l'esprit —
и если в ком
Такой же свой esprit найдется —
Он с ним в единый дух сольется
И будет два угодья в том.



Запись в дневнике Фидлера
от 7 ноября 1899 г.

*Только алкоголь рождает остроумие (фр.). В оригинале — игра на многозначности французского слова l'esprit: дух, ум, остроумие; одно из значений — спирт.

Было уже половина второго ночи, но Шуф настоял на том, чтобы я вместе с остальными поехал к нему. Пили водку, ликер, пиво и вино; курили сигары. Изъяснялись исключительно в рифмах. Ассонансы сыпались прямо каскадом. <...>

4 марта 1900

Вчера — у Случевского. <...> Грибовский предложил говорить вместо декаденты — дикоденты.

Влад<имир> Соловьев декламировал собственные и чужие стихи сатирического содержания. Когда кто-то шутил, он смеялся, широко открывая рот, и слышалось хахахахаха, подобное совиному плачу. За ужином он съел рыбу и гору кислой капусты; выпил кроме того стакан пива.

9 сентября 1901

Встретил на Николаевском мосту Ф.К.Сологуба. Говорит, что написал в августе за один день не менее четырнадцати стихотворений; самое маленькое — в двенадцать строк, самое длинное — в тридцать шесть. «А где вы их публикуете?» — спросил я. «Нигде, потому что меня нигде не публикуют». Невероятно любит Петербург (никогда не бывал за границей), сильнее, чем природу, любит «нежно» и чувствует себя безмерно счастливым, когда оказывается на улице, где еще ни разу не был. Читает одновременно несколько книг: «Тогда ум работает лучше». <...>

26 января 1902

Вчера у Случевского познакомился с тремя поэтами: 1) Иваном Ивановичем Соколовым; 2) Виктором Карловичем Мюром (похож на Фета в юности) и 3) Верой Ивановной Рудич. Последняя некрасива: лицо, изрытое оспой; когда нас представили друг другу, сказала, что прекрасно помнит меня, потому что лет четырнадцать тому назад я учил ее немецкому языку (в пансионе Князевой-Шуйской).

Ничего мистического в этот раз не было. Свои стихи читали: Сологуб, Мюр и Лейтенант С. (сын Случевского Константин); Мазуркевич прочел несколько стихотво-

рений Рудич. За ужином (после ухода Рудич) читали неприличную поэму Вас<илия> Пушкина «Опасный сосед» (ее принес Авенариус). «Сочинительством» не занимались — ни единой поэтической строчки. Говорили о Влад<имире> Серг<еевиче> Соловьеве и его странностях. <...>

Присутствовали также: Шуф, Зарин и Льдов.

9 февраля 1903

Вчера — в связи с юбилеем Университета — был в ресторане «Медведь» на обеде, устроенном романо-германской кафедрой. Присутствовало около тридцати человек. Из писателей были только Вейнберг, Батюшков и Рафалович. Главной собрания был академик Александр Ник<олаевич> Веселовский, который сказал мне, что, наряду с Короленко, о своем выходе из Академии объявил также Антон Чехов (в ответ на исключение Горького).

29 сентября 1904

Вчера — похороны Случевского. Его невозможно узнать — так исхудал. Собралось не более ста человек. У гроба — ни одной речи. <...> Лихачев не вполне согласен с моим предложением проводить поэтические собрания в различных домах: «Я, например, никогда не пущу в свою квартиру какого-нибудь Бальмонта или Брюсова!» С кладбища отправились в ресторан «Франкфурт-на-Майне». Черниговец прочитал стихотворение, сочиненное им на кладбище. <...>

На кладбище я подошел к Леониду Афанасьеву и представился (видел его впервые в жизни). Он был очень рад, что наконец познакомился со мной. Держался крайне застенчиво. В ресторане он сидел рядом со мной, и я невольно видел вблизи его голову: черные, коротко постриженные волосы, похожие на бархат и словно приклеенные (может, парик?). Ник<олай> Матв<еевич> Соколов пытался возражать против моего замысла; требовал, между прочим, права читать публично свои политические стихи, но я решительно заявил: любая политика или партийность недопустимы.

В ресторане, кроме того, присутствовали: И. И. Соколов, Сологуб и Ясинский.

13 февраля 1905

<...> Вчера вечером распространился слух, что Горький убит. Он, как известно, находится сейчас в крепости под арестом. Говорят, что несколько дней назад, когда его вели на допрос, жандармский офицер нанес ему оскорбление; Г<орький> будто бы дал ему пощечину, и тогда офицер достал револьвер и застрелил его.

Рассказывают и такое: нора, в которую поместили Г<орького>, холодная и сырая. Он болен. Жена, приехавшая из Нижнего хлопотать о его освобождении, привезла ему коврик и высокие теплые гетры, — но администрация отказалась их передать.

17 августа 1906

Вчера в Куоккала. Сначала — у Лазаревского. На границе Черниговской и Полтавской губерний у него есть имение, которое он делит с братьями; ему принадлежит 79 десятин земли, из них он собирается продать шесть (по 300 рублей за десятину).

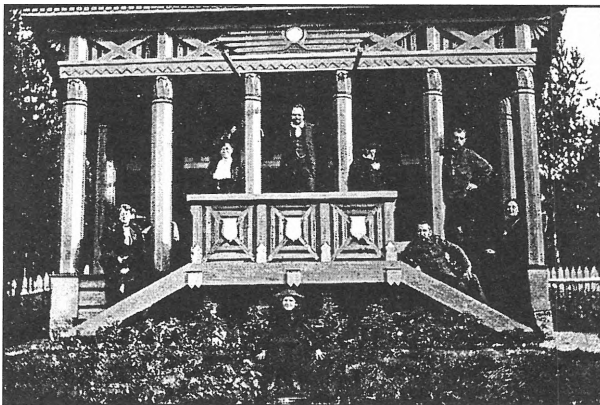
Затем — у Чирикова. Его пьеса «Евреи» принесла ему в России уже пять тысяч рублей; из Германии он получил семьсот.

Затем — у Репина в его «Пенатах», который показывал нам свои отдельно стоящие мастерские — зимнюю и летнюю. Он как раз писал портрет какой-то сидящей дамы. Его «жена», Наталья Борисовна Нордман (пишет под псевдонимом Северова), фотографировала нас всех у Храма Изиды, заставляя нас принимать различные скульптурные позы (Чириков изображал Самсона между колоннами храма; я — умирающего гладиатора и т. д.); затем фотографировались на камнях меж двумя прудами: взявшись за руки, мы делали вид, будто бежим и тянем друг дружку. Чириков тоже позировал: он умоляюще нюхал цветок, стоя перед женой, которая, надувшись, от него отворачивалась.

2 октября 1906

Вчера к завтраку я позвал на пирог Федорова, Найдену, Бунина и Чирикова. Без приглаше-

ния явился Невежин, желавший играть главную роль за столом. <...> Все были рады, что Невежин так рано ушел. Все повеселели. Показав на пирог с рыбой, Федоров изрек: «Эту немецкую поэму я сейчас переведу на русский язык». Потом вспомнил, как Чехов сказал ему однажды про В.Ладыженского: «Этому человеку нельзя доверять: у него стеклянные глаза, и он мор-



Запись Фидлера на обороте:
«У И.Е.Репина в Куоккала. 16/29 авг<уста> 19<06>.
В середине: Чириков. Рядом: И.Е.Репин. Внизу: я. Слева от меня: Лазаревский, Л.Н.Яковлева, Т.Л.Щепкина-Куперник, Чирикова (Иолшина)».

гает веками». <...> Бунин рассказывал, как Найдену, не знающий иностранных языков, изъяснялся недавно за границей. В Германии: «Kellner — Bigg!»* и во Франции: «Garçon, ici — Kanjak»** ...Все смеялись, в том числе и Найдену, сидевший рядом с Буниным. Потом все четверо начали искать случая поддеть друг друга и посмеяться над произведениями — без малейшей зависти или тайной злобы; на удар следовал ответный удар и тотчас же парировался под общий хохот. Чириков (вопреки ожиданию, пришел со своей женой) имитировал голосом, акцентом и видом старого крестьянина.

Было очень весело, и могло бы быть еще веселей, если бы больше выпили. Конечно, мы пили, но умеренно, потому что вечером все должны были ехать (я сказал, что не поеду) к Найдену, который собирался читать свою новую драму.

16 декабря 1907

Сегодня меня навещил Алексей Михайлович Ремизов. Восхищался

*«Официант — пива!» (нем.; искаж.).
**«Гарсон, сюда — коньяку!» (фр.; искаж.).

моим «музеем» и бранил русских за отсутствие у них пиетета к прошлому и некультурность; русские писатели, сказал он, и понятия не имеют о богатстве русского языка. Очень любит Кузмина (известного педераста, который пользуется не только духами, но и косметикой). «Он — экзотическое растение, образец культивации. В простоте его стиля (содержания не касаюсь) — высокая художественность. Мне очень жаль, что все осуждают его как педераста».

Он (Ремизов) говорит негромко и медленно, почерк манерный, с завитушками, лицо дегенерата. Жаловался: «В университете я неверно прочитал старый русский апокриф, и все принялись утверждать, будто я прославляю и пропагандирую гомосексуализм». Женат, имеет маленькую дочь, от которой он без ума; но живет она у бабушки в Черниговской губернии: содержать ребенка здесь они не могут, им и самим нередко приходится бороться с горькой нуждой; в ближайшие дни едут ее навестить. Я подарил ему две мои книги (он принес только три своих), и он сунул их, даже не взглянув на заглавие, в карман. Сказал, что многие считают его *юродивым*.

8 мая 1908

Выйдя сегодня из конторы Общества спальных вагонов, столкнулся на Невском, напротив Гостиного Двора, с Леон<идом> Андреевым. Он шел рядом с молодой некрасивой женщиной (видно, что не его жена) в распахнутом пальто, в характерной куртке, загорелый, пышущий здоровьем и жизненной силой, весь его облик — своеобразная мужская красота. Все прохожие (все — разумеется, преувеличение!) глазели на него и оглядывались. Он приветствовал меня словами: «А, Федор Федорович!» — «Вы еще помните меня?» — «Конечно. Но я узнал вас не сразу: вы отпустили бороду!..» — «Все эти месяцы я пытался навестить вас. Недавно я говорил об этом с Морозовыми». — «Да, мне сообщали». — «Но я совершенно затравлен. Я переезжаю за город, и вокруг меня — гора ящиков. У меня дома вообще какой-то бед-

лам. Приезжайте ко мне на Черную речку. Вы ведь у меня уже были. Я выстроил себе новый дом — недалеко от прежнего». — «А когда можно приехать?» — «В конце мая». — «В это время я буду в Италии и вернусь лишь в конце июня». — «Ладно, в конце июня. Тогда и договоримся, когда я приду к вам. Но я приду — непременно, непременно!»

4 января 1909

Вчера — костюмированный вечер у Сологуба. Его адрес: Гродненский переулок, 11, квартира 7; вход прямо с улицы (других квартир на этой лестнице нет; лишь огромный зал с украшенными лепниной стенами и таким же потолком оправдывает высокую цену в 135 руб., которую он ежемесячно платит за эту квартиру, в том числе за отопление: хотя здесь все равно и сыро, и холодно). Мебель в зале — *style moderne*,* три окна с красными занавесками, рояль штургартской фирмы «Липп», маленькие живые пальмы, альбом открыток с изображением Богоматери. В кабинете — на стенах — множество репродукций на тему «Леда и лебедь», изображенных в различных позах. В книжном шкафу на трех полках — Словарь Брокгауза и Ефрона, стоящий в странной последовательности, не так, как у всех людей, то есть тома идут не с 1-го по 29-й, а наоборот: с 29-го по 1-й, на второй полке — с 60-го по 30-й и т. д. В передней — рождественская елка со стеклянными шариками. Вешалка, не выдержав груза, повалилась, поэтому шубы частью отправились в ванную комнату (где ползали черные тараканы), частью — в кабинет, где они скоро съехали с оттоманки на пол, а на них расположились господа и дамы. В общем царил веселье, очень непринужденное (не разнузданное!), хотя никто не был пьян (кроме художника Билибина — он, как говорили, пришел нетрезвым), да и напитков оказалось не так уж много — самое большее десять бутылок настоящего вина, и ни капли водки или пива. Присутствующих было более сорока человек (разослано сорок семь приглашений). Мережковские пришли не костюмированными. Он почти совсем не изменился за три года,

проведенные за границей. Она тоже не изменилась, разве что самую малость; а может, так кажется, потому что она чуть накрашена. Разглядывала публику через большое увеличительное стекло, держа его в глазу на манер монокла. Обещала подарить мне записи, сделанные ею во время путешествия к только что скончавшемуся отцу Иоанну Кронштадтскому, а также — варианты своего знаменитого стихотворения «Небеса унылы и низки...». Попыталась сыграть на рояли польку «Фолишон-Фолишонет» — эту мелодию я напевал уже в пятилетнем возрасте. Был, конечно, и третий из их союза: Философов (не костюмирован). Тэффи, эффектно одетая боярыней (я назвал ее Василисой Мелентьевой), брэнчала на рояли что-то допотопное. Рядом с ней был, конечно, Леонид Галич (не костюмирован). Всех интересней нарядилась Allegro — горьковским Лукой из пьесы «На дне»; она пришла, разумеется, в сопровождении Манасеиной и Зин<аиды> Венгеровой. Ремизов явился в costume самоеда: глубоко тронул меня тот сердечный тон, каким он говорил со мной. В царском одеянии (изображая, должно быть, Федора Иоанновича) расхаживал взад-перед М.А.Кузмин, апологет мужеложства: его движения (он много курил) были нежны, голос — ласков, а лицо (в этот раз, скорее всего, — подкрашенное) с томными глазами — привлекательным и вовсе не отталкивающим, как в прошлый раз; во время ужина он сидел за столом, не снимая костюма и островерхой, украшенной бисером шапки. Чулков явился в красном домино. Блок был не костюмирован. Он боролся с разными людьми, в том числе — с Дымовым (не костюмирован), уложившим его на обе лопатки; это было не нарочито, а подлинное единоборство, коему оба предавались порой прямо-таки со страстью. Чеботаревская (в costume черного пажы и светловолосом парике) выглядела весьма аппетитно. Сам Сологуб (не костюмирован) сидел безучастно: лишь во время ужина он разговаривал то с одним, то с другим. Мне же — *hopnu soit** — он признался в любви. Кроме того присутствова-

*Позор тому (*фр.*). Начальные слова известного французского выражения «*Hopnu soit qui mal y pense*» («Позор тому, кто об этом дурно подумает»).

ли: Сюннерберг (не костюмирован; лицо — интеллигентное; публикует стихи под псевдонимом Эрберг), бывший режиссер Мейерхольд, несколько художников из «Шиповника» (Билибин, Добужинский, Алекс<андр> Бенуа, Бакст) и другие. Дымов имитировал (уверяя, что это экспромт) Бурдеса, Волынского, Фальковского и Чирикова; во время ужина он изображал официанта. Танцевали лихо (в том числе и под мой аккомпанемент) — вальс, польку, мазурку, гранрон, кэк-уок, матчиш и т. д. Много дуррачились (пели и по-немецки — «*Was kommt dort von der Höh'...*»*) И вообще: эти декаденты, изображающие себя в книгах какими-то сверхчеловеками, вели себя как самые обыкновенные жизнерадостные люди. — Я пришел домой только в шесть утра, выскользнув из-за стола первым: половина общества удалась еще до ужина.

Весь пол был усыпан пестрыми конфетти, а во время ужина цветной серпантин так и летал от одного конца стола к другому, особенно обвивая голову Блока.

В кабинете на широкой спинке дивана восседала Зин<аида> Мережковская, а на самом диване, слева и справа от ее ног, сидели двое мужчин.

28 июня 1909

Был сегодня в Куоккала у Репина. Он водил меня по своей мастерской, а затем усадил перед новым портретом Л.Толстого (декабрь прошлого года). Меня удивили его кроткие глаза, и Репин заверил, что в последнее время у них всегда такое выражение; каждый раз, читая что-нибудь трогательное, Толстой плачет. Я вспомнил фотографию, выставленную на Невском, на которой Репин и Брешко-Брешковский изображены сидящими перед этим портретом, и Репин объяснил смущенно: «Он привел фотографа и попросил меня сняться вместе; мне было неловко отказаться». В парке, в Храме Изиды, давали «кооперативный чай», придуманный и устроенный Нордман-Северовой; получилось довольно жалко. Было около двадцати человек (в том числе О.Л.Д'Ор, с которым я бегло познакомился в «Капернауеме» года два тому назад). Репин произнес защитную речь по поводу па-

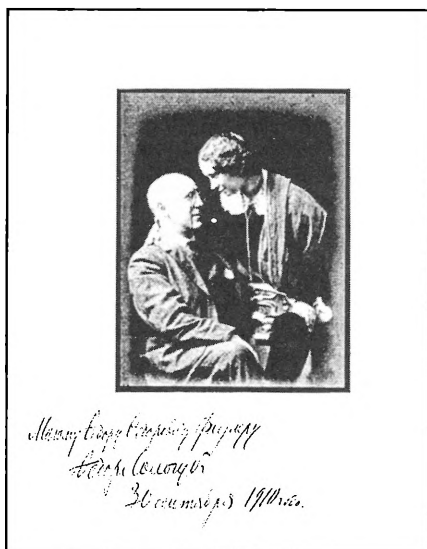
*«Кто там спускается с горки...» (*нем.*).

*Современный стиль (*фр.*).

мятника Александру III работы Паоло Трубецкого. Был и Чуковский. Он пришел не только без шляпы (которую вообще не взял с собой), но и — босиком; его ноги были темными от грязи (прошел дождь), и это было в высшей степени неэстетичное зрелище. Он проводил меня до станции, причем люди при виде его изумленно останавливались. Когда мы вошли в лес, где была мокрая трава, он нагнулся и хотел засучить мне брюки — я, конечно, не допустил этого. О чем мы говорили? О пустяках, потому что я смертельно устал.

3 января 1910

<...> Вернулся сегодня домой лишь в полвосьмого утра: был на костюмированном балу у Сологуба. Куда менее интересно, чем в прошлом году! Сологуб произвел сенсацию: облачился в костюм римского сенатора и полностью сбрил бороду; его обычно неподвижное лицо приняло индивидуальное выражение, кроме того, он стал выглядеть моложе, по крайней мере, лет на десять; вокруг его подбородка и рта появилось нечто добродушно-веселое. Некостюмированными явились лишь двое: жена Аничкова и я. Сам Аничков нарядился странником Акиром (герой романа, который он теперь пишет): крестообразный посох в руке и средневековый свиток папируса за поясом. Макс Волошин (пользуясь случаем, познакомился с ним) — тибетанец в подвижной маске. А. Кондратьев — Гектор в тяжелом шлеме, панцире и с мечом. Граф А. Н. Толстой — Вах в леопардовой шкуре, единственном одеянии на розоватом цветущем теле. Тэффи — вакханка: более обнажена, нежели костюмирована (пришла без своего Галича; значит, уже не живут вместе). Она столь цинично позволяла касаться различных частей ее тела и сама столь бесстыдно хватала других, что я был безмерно счастлив оттого, что не взял с собой свою дочь. В разных углах дивана сидели и обнимались парочки, не переступая, впрочем, запретной черты; особенно привлекали внимание актер Нувель с женой А. Н. Толстого. Потемкин в черном трико, худой и долговязый, катался по полу возле женских ног; он стоял на руках и тянул ноги кверху, стараясь держать их ровно, потом, опустившись на правую пятку, вытягивал



Ф. Сологуб и А. Н. Чеботаревская.
Напись: «Милому Федору Федоровичу
Фидлеру Федору Сологуб.
30 сентября 1910 года».

перед собой левую ногу и, придав себе вращательное движение, целую минуту кружился вокруг своей оси как волчок. Барятинский — молодой иерусалимский еврей времен Христа; за те годы, что я не видел его, он вовсе не изменился. Яворская, его жена, — Ночь, обнаженная почти до середины живота; далее, до лодыжек, ее тело облегал тонкая белая ткань; в руках — длинное темное покрывало. Верховский — паяц, наполовину в зеленом, наполовину в красном. — Это все «именитые» лица. Да, еще Зин<аида> Венгерова: глубокое декольте, черный прихотливый костюм с имитацией множества драгоценных камней. Чеботаревская в коротком одеянии из пестрых лоскутьев. Кроме того: Манасеина с мужем (его грудь и тело обвивала огромная змея — вероятно, символ его врачебной профессии); несколько художников и актеров. Из столпов декадентства и модернизма — никого. Под мой аккомпанемент на рояли гости танцевали кэк-уок, матчиш, парагвай и пр. Четыре юные гречанки с вуалями исполняли вокруг колонны, изображавшей алтарь, брачный танец. Яворская занялась мелодекламацией. Только в пять утра пригласили к столу, но ужин оказался столь скудным, что многим не досталось ни еды, ни питья. Когда я сидел «без дела», ко мне подошел Сологуб, поцеловал меня и сказал: «Сожалею, что мы с тобой пили на брудершафт!» — «Почему?» — «Хотел бы сделать это сейчас».

<...>

20 марта 1911

Вчера — похороны Якубовича на Волковом кладбище. Примерно пятьсот человек, в том числе — Короленко, М. А. Антонович, Лазаревский (собирается через пару недель на юг, где пробудет до ноября; его «невеста» тоже в тех краях), Котляревский, Леткова, Рукавишников (из поэтов — больше никого!!!), Венгеров, Измайлов и редакция «Русского богатства».

<...>
Зашел к Сологубу. Он как раз завел граммофон (без раструба) и слушал в присутствии нескольких пожилых дам цыганские песни. Потом приступили к обеду. Он прочел ряд стихотворений, как серьезных, так и юмористических. Поэтический талант Якубовича, который, по его словам, был весьма односторонним, он (Сологуб) ставит ниже таланта Надсона. Очень неприязненно относится к идейной ограниченности редакции «Русского богатства»: «Я мог бы послать им телеграмму соболезнования или траурный веночек, но они, боюсь, вернут их обратно»... Потом сказал: «Ни один профессор или историк литературы ничего не смыслит в поэзии...» Он и Чеботаревская называли друг друга на «вы», но при этом ревелись, давая волю рукам, как господин и госпожа Кнопп.* <...>

26 ноября 1913

Вчера принимал участие в банкетете, устроенном в честь Эмиля Верхарна (торжество было назначено на половину двенадцатого в отеле «Франция», где в номере 96 и остановился Верхарн). Пришло более восьмидесяти человек, но знали его по портретам лишь очень немногие, и когда невзрачный маленький человек вошел в банкетный зал, ни одна рука не шевельнулась в знак приветствия; я хлопал первым, и все тут же присоединились. Евг<ений> Петр<ович> Семенов представил меня Верхарну как «лучшего переводчика русских поэтов на немецкий язык», и мы с ним перебросились парой совершенно незначущих слов как по-французски, так и по-русски; я подарил ему мои переводы (в переплете): Некрасова, Тютчев-

*Персонажи стихов Вильгельма Буша.

ва, Фета, Майкова и Полонского; после банкета он оставил автограф на своей фотографии, которую я протянул ему...

Перед банкетом Жданов подошел к Бярятинскому и попросил его просмотреть речь, которую он собирался произнести; Бярятинский пробежал глазами несколько строк и заявил, что это не годится, — французский текст изобилует ошибками. И все-таки Жданов прочитал эту свою речь. Тем элегантнее был французский язык других ораторов: Батюшкова, Набокова, Мережковского (Зина, сильно накрашенная, сидела по левую руку от Верхарна), Евгения Семенова, Шиле, Милюкова и Аничкова. Последний мирно сидел рядом со своей бывшей женой Тырковой (Вергежский). Кроме того, присутствовали не отмеченные в газетах: Ляцкий, Гумилев, Потемкин, Леткова, Ватсон, Сургучев, Щеголев, Зина Венгерова, Гриневская, Серг<ей> Маковский (молодой рамолик) и другие.

29 января 1914

Присутствовал вчера на антифутуристическом вечере. Получилось нелепо и скучно, потому что пародистов и карикатуристов (каковыми вольно и невольно являются эти хулиганы от искусства!) невозможно пародировать и выставлять в карикатурном виде, точно так же, как невозможно умертвить покойника... <...> Зал, заполненный до отказа, приветствовал Куприна продолжительными аплодисментами. Он был трезв, по крайней мере, на вид. Читал свои крымские стихотворные юморески — ему хлопали незаслуженно громко. <...> Вокруг него все время толпилась молодежь, внимавшая его пошlostям словно откровению. Портной Катун сказал мне, что отвезет его к себе домой. — Когда на сцену вышел Баранцевич, его встретили аплодисментами человек десять, не более, да и эти аплодисменты тут же затихли. <...>

20 декабря 1914

Рекомендовал вчера «тете Оле» Гинцбурга в качестве создателя надгробного памятника Мамину, и она попросила меня вступить с

ним в переговоры. Сегодня я отправился к нему. Он согласился; завтра она придет к нему, чтобы договориться об условиях.

Еще ни разу я не видел Гинцбурга, этого, как правило, добродушно спокойного, ироничного человека, в таком язвительно-возбужденном состоянии. «Знать больше ничего не желаю про наших писателей. Ведь они, *хамы*, стали угождать правительству, лгут, клеветуют и занимаются травлей под маской патриотизма. На сто лет вперед подавили свободу в России! Уже теперь вся наша интеллигенция — рабская, что же будет после войны?! Германская жестокость, германское бескультурье! Ха-ха-ха! Да ведь немцы в этом отношении — несмышленные ребята по сравнению с нами. Что вытворяют наши казаки в Польше, что творили англичане в Индии?.. А вы — еще собирали у себя писателей и создали Общество для помощи жертвам войны. Никогда не стану членом этого Общества, да и вам советую из него выйти. Потому что я против войны, этой лицемерной затеи, когда под предлогом помощи Сербии хотят аннексировать Галицию. Тут я полностью солидарен с Горьким, полностью!.. Да, да!»

23 апреля 1915

Вчера, в сороковой день смерти моей жены, состоялась у ее могилы обычная бессмысленная панихида. Булацель и Коринфский давно уж говорили, что хотели бы присутствовать, — я известил их, и вот они приехали на кладбище. Оттуда все отправились ко мне завтракать.

Сегодня впервые посетил Ремизова: Таврическая, 7, квартира 23, на шестом этаже, но с лифтом. Его кабинет напоминает лабораторию Фауста. Между окнами — широкая стена, с выступом до середины комнатки; на ней — шкуры диких животных, сказочные маленькие уродцы, черти, гигантский гребень ведьмы и прочие подобные вещицы. «Что это все такое?» — «Игрушки», — ответил он с непонятной скользящей улыбкой, сам похожий на какое-то корневище. «Я не могу вам их сейчас показать и дать объяснения, потому что днем они спят и просыпаются только вечером», — добавил он столь та-

инственно, что мне стало просто жутко... Я предложил ему написать что-нибудь в мой альбом («В гостях»), но он сказал: «Я нарисую вам цветок». И в течение целого часа вырисовывал цветными карандашами и чернилами какое-то дикийное растение... Сказал: «Многие наши писатели будут после войны стыдиться своих выпадов против немцев!»... Он не сразу вышел ко мне, потому что был не вполне одет: возился с какими-то поясами или повязками в области желудка или живота, который болит так, что отдает в пояснице. <...>

22 ноября 1915

Вчера заходил ко мне Бунин (еще с кем-то) и сожалел, что не застал меня; сказал, что вечером возвращается в Москву. — Я же был в то время в Толстовском музее, где перед публикой выступал И.И.Горбунов-Посадов. Он не сразу узнал меня (мы не виделись, кажется, лет двадцать), но потом радостно меня расцеловал. Его рассуждения были интересными и пламенными и отличались антивойенной и вообще либеральной направленностью.

Вчера — вечер поэтов у В.П.Лебедева, который угощал прямо-таки великолепно (очень много вина). Коринфский охмелел в самом начале вечера, так что выносить его болтливость и дружелюбие становилось подчас просто невыносимо. Я спросил Гумилева, который принимал участие в военных действиях на трех фронтах, произошло ли ему быть свидетелем жестокостей со стороны немцев, и он ответил: «Я ничего такого не видел и даже не слышал. Газетные враки!» — «Значит, немецкую жестокость вы испытали только тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?» — спросил я. Он подтвердил, засмеявшись... Да и вообще, к моему немалому удивлению, никаких антинемецких выпадов не было. Исключение составил лишь Вентцель (Бенедикт), прочитавший язвительную сатиру на Вильгельма; за его выступлением последовала безмолвная тишина, ни звука, ни жеста, и аплодисменты раздалась лишь тогда, когда он сразу же после этого прочитал сатирическое стихотворение, направленное против печально известного Распутина... Присутствовали так-

же: Курдюмов, записавший мне в альбом немецкие стихи собственного сочинения; он явился с Марией Лёвберг, бывшей моей ученицей, и прилежно пил вместе с ней (они, кажется, в близких отношениях), Гриневская, Ясинский, Авенариус, И.И.Соколов (мы поздоровались, но он за весь вечер не проронил ни слова и ничего не читал), Уманов-Каплуновский, Коковцев (напился), Булацель (трезвый!), Кондратьев, Мейснер, Федор Зарин (в военном мундире), Случевская, Берхман, Хвостов, Быков с женой, Зинаидой Ц., и Мазуркевич. Последний получил недавно за свои произведения пушкинский *почетный отзыв*. Когда его стали поздравлять, он прямо-таки разозлился: «Да что мне делать с этой бумажкой? Я ведь рассчитывал на пятисотрублевую премию!» <...>

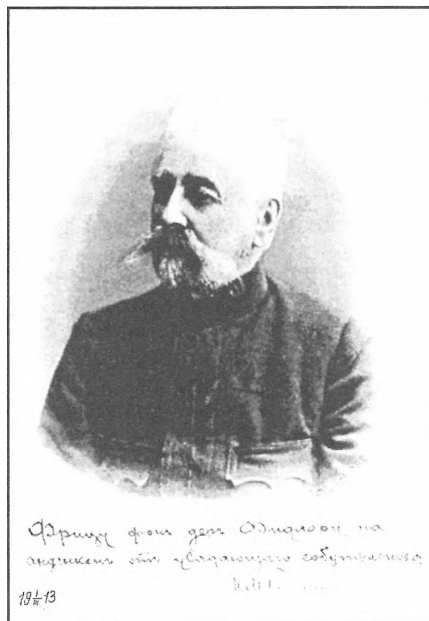
18 декабря 1915

Сегодня завтракал у Нагродской. В ее жестах, внешности и голосе есть что-то вульгарное, но все же чувствуется, что она — тонкая натура. Овдовела в девятнадцать лет, будучи матерью двоих детей; чтобы прокормить их и себя, работала на кухне, торговала ягодами на рынке и пела в оперетте у Пальма; в 27 лет вышла замуж за нынешнего своего мужа. Она не считает себя писательницей, потому что все приходит к ней «изнутри», а не «свыше», и еще потому, что не может писать ради денег. Подарила мне письма к ней разных писателей. За свою квартиру (Мойка, 91, кв. 16) платит, вместе с отоплением, 250 рублей ежемесячно. Среди писем — несколько фамильярно дружеских от М.А.Кузмина, известного гомосексуалиста, а кроме того — автограф Юркуна. «Муж Кузмина», — сказала Нагродская, улыбаясь так, словно речь шла о чем-то общеизвестном. И, конечно, об этом знает в городе каждый, кто принадлежит к литературному миру. «А разве он больше не “живет” с Ауслендером?» — спросил я. «А он с ним никогда и не жил...» Показала мне рукопись своего нового романа, в котором почти нет поправок. «Вы нигде не найдете у меня точки с запятой, потому что я не люблю этот знак. Разве что в напечатанном тексте, но это значит, что его добавил корректор; сама же я корректур не

читаю». Уверяла, что совершенно равнодушна к любой азартной игре (и как таковой, и в жизни). Да и к половой сфере относится якобы весьма прохладно.

9 декабря 1916

В эти дни я был опасно болен. Родные убедили меня составить новое завещание (с учетом интересов моей дочери). Активно и самоотверженно участвовал во всем Булацель. <...> Душеприказчиками избраны Венгеров и Измайлов (в части, относящейся к моему «Музею»); оба охотно согласились. Измайлов приходил вчера и сегодня (клялся честью, что написал мне к 4 ноября длинное письмо, которого я так и не получил); сегодня приходил Венгеров. Оба дали мне нужнейшие практические советы.



И.М.Булацель.
Надпись: «Фрицу фон дер Фидлеру, на андекен (на память — нем.), от уважающего собутыльника фон дер И.М.Булацеля. 5/III 1913».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ *

Авенариус Василий (Вильгельм) Петрович (1839—1923), прозаик, автор популярных биографий, издатель произведений русского фольклора.

Аленушка — см. *Мамина Е.Д.*
Альбов Михаил Нилович (1851—1911), прозаик.

Андреевская, в замуж. — *Балинская, Юлия Сергеевна*, дочь С.А.Андреевского.

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1918), поэт, лит. критик.

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937), критик, историк литературы, прозаик. С 1920 г. — профессор Белградского ун-та. Умер в Белграде.

Аничкова (урожд. *Авинова*) *Анна Митрофановна* (псевд. *Иван Странник*; 1868—1935), переводчица, лит. критик. Жена Е. В. Аничкова (с 1897 г.).

Антонович Михаил Алексеевич (1835—1918), критик, публицист, философ.

Ауслендер Сергей Абрамович (1886 или 1888—1943), прозаик, драматург, лит. критик. Племянник М.А.Кузмина.

Афанасьев Леонид Николаевич (1864—1920), поэт.

Баранцевич (урожд. *Алексеева*) *Дарья Николаевна*, жена К.С. Баранцевича (с 1873 г.). Родилась в крестьянской семье.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927), прозаик.

Барятинский Владимир Владимирович, князь (1874—1941), драматург, прозаик, публицист, переводчик, журналист, мемуарист. В первом браке — муж актрисы Л.Б.Яворской (с 1896 г.). Эмигрировал в 1919 г. Умер в Нейи-сюр-Сен под Парижем.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920), историк литературы, театр. критик, журналист, переводчик. С 1902 г. — редактор журн. «Мир Божий».

Безродная (урожд. *Яковлева*), в замуж. — *Виленкина, Юлия Ивановна* (1858—1910), писательница, драматург. Брак с Н. Минским (Виленкиным) расторгнут в 1896 г.

Берхман Татьяна Константиновна (1894—1942), поэтесса.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942), график, театральный художник и педагог. Эмигрировал в 1920 г.; в 1936 г. вернулся в Советский Союз.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874—1943), прозаик, журналист, лит. и худож. критик, киносценарист, мемуарист. Сын известной деятельницы народнического движения Е.К.Брешко-Брешковской. Эмигрировал в 1920 г. Умер в Берлине.

Булацель Иван Михайлович (1848—1918), драматург, журналист.

Бурдес Борис Павлович (?—1911), журналист, переводчик; корреспондент газ. «Биржевые ведомости» в Берлине.

Бурцев Александр Евгеньевич (1863—1937), коллекционер, библиофил, антиквар; издатель. Репрессирован (выслан из Ленинграда).

Буш (Busch) Вильгельм (1832—1908), нем. поэт и художник.

Быков Петр Васильевич (1844—1930), поэт, переводчик, критик, историк литературы, библиограф.

Быкова (урожд. *Цесоренко*) *Зинаида Ивановна* (псевд. — *Зинаида Ц.*; 1878—1941), поэтесса, переводчица. Третья жена П.В.Быкова.

*Приводятся имена литераторов и их близких родственников, упомянутых в публикации; общеизвестные имена опущены.

Ватсон (урожд. *Де Роберти де Кастро де ла Серда*) *Мария Валентиновна* (1848—1932), поэтесса, переводчица, историк литературы; автор статей и критико-биографических очерков, посвященных зап.-европ. писателям. Друг С.Я. Надсона, издательница его сочинений.

Вейнберг Петр Исавевич (псевд. *Гейне из Тамбова*, и др.; 1831—1908), поэт, журналист, переводчик (*Гейне*, *Гете*, *Гюго*, *Шекспира* и др.). Почетный член Академии наук (1905). В 1905—1908 гг. — председатель Литературного фонда.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы, библиограф.

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941), историк литературы, лит. критик, переводчица. Сестра С.А. Венгерова. Третья жена Н. Минского (*Виленкина*); брак заключен в 1925 г. Эмигрировала в 1921 г. в Берлин, но сохраняла некоторое время сов. паспорт. Умерла в Нью-Йорке.

Вентцель Николай Николаевич (псевд. *Бенедикт*, *Юрьин*, *Юрьин-Бенедикт* и др.; 1855—1920), поэт, прозаик, драматург, лит. критик.

Верховский Юрий Никандрович (1878—1956), поэт, переводчик, историк литературы, *Веселовский Александр Николаевич* (1838—1906), филолог, историк литературы; крупнейший представитель сравнительно-исторического направления в русском литературоведении. С 1872 г. — профессор Петербургского ун-та. Академик (1881).

Вилькина (по первому браку — *Юрьева*, по второму — *Виленкина*) *Людмила* (до крещения — *Изабелла Николаевна* (1873—1920), поэтесса, новеллистка, переводчица. С начала 1890-х гг. — вторая жена Н. Минского (*Н.М. Виленкина*); брак заключен в 1905 г. Умерла в Париже.

Вишневский-Черниговец Федор Владимирович (наст. фамилия — *Вишневский*; 1838—1915), поэт, переводчик Шопенгауэра. Отставной генерал.

Водовозов Василий Иванович (1825—1886), педагог, автор книг для детей и юношества; поэт, переводчик.

Водовозова-Семевская (урожд. *Цевловская*) *Елизавета Николаевна* (1844—1923), педагог, автор книг для детей, мемуаристка. Первый брак — с В.И. Водовозовым, второй — с В.И. Семевским.

Вяткин Георгий Андреевич (1885—1941), поэт, прозаик (родом из Сибири). Репрессирован (умер в лагере).

Габрилович — см. *Галич*.

Галич Леонид (наст. имя и фамилия — *Леонид Евгеньевич Габрилович*; 1878—1953), лит. и театр. критик, публицист, поэт, мемуарист. С 1909 г. — приват-доцент кафедры философии Петербургского ун-та. После 1917 г. — в эмиграции. Умер в Нью-Йорке.

Гарин Н. (наст. имя и фамилия — *Николай Георгиевич Михайловский*; 1852—1906), прозаик, публицист. Сотрудник «Знания». По профессии — инженер-железнодорожник.

Гартман (Hartmann) Эдуард фон (1842—1906), нем. философ; драматург.

Гинцбург Илья (Элиаш) Яковлевич (1859—1939), скульптор; мемуарист. Создал серию скульптурных портретов рус. писателей, художников, ученых, музыкантов и т. д.

Гиппиус Владимир Васильевич (1876—1941), поэт, прозаик, критик; педагог. Один из первых русских «декадентов» (1890-е гг.). Отдаленный родственник З.Н. Гиппиус.

Глинский Борис Борисович (1860—1917), журналист, историк, мемуарист. Сотрудник, с 1913 г. — главный редактор журн. «Исторический вестник».

Гнедич Петр Петрович (1855—1925),

прозаик, драматург, критик, мемуарист, театральный деятель, историк искусства.

Горбунов-Посадов (наст. фамилия — *Горбунов*) *Иван Иванович* (1864—1940), педагог; публицист; издатель. Автор детских и народных рассказов. Возглавлял в 1897—1925 гг. толстовское изд-во «Посредник».

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт, прозаик, переводчик.

Грибовский Вячеслав Михайлович (1866—1924), прозаик, публицист, поэт. С 1896 г. — приват-доцент Петербургского ун-та; в 1912—1917 гг. — профессор. Умер в Риге.

Гриневакая (урожд. *Фрейдберг*) *Изабелла Аркадьевна* (ок. 1855—1942), поэтесса, переводчица, драматург, лит. критик.

Гувале Ольга Францевна (1854?—1934), жена Д. Н. Мамина-Сибиряка (с 1900 г.), воспитательница Аленушки.

Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906), педагог, основатель и директор гимназии, реальной школы (1893), носивших его имя. Приват-доцент кафедры всеобщей истории Петербургского ун-та, лектор Высших женских (Бестужевских) курсов и др. Казначей Литературного фонда.

Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), новеллистка, театр. и лит. критик. В 1891—1898 гг. — редактор-издатель журн. «Северный вестник». Дочь Я.Г. Гуревича.

Далматов (наст. фамилия — *Лучич*) *Василий Пантелеймонович* (1852—1912), актер (в московском Театре Корша и в Александринском театре); драматург; фельетонист.

Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922), журналист, публицист, прозаик, театр. критик. В 1902—1918 гг. — редактор газ. «Русское слово».

Д'Ор Осип Львович (наст. имя и фамилия — *Иосиф Лейбович Оршер*; 1879—1942), прозаик-сатирик, журналист.

Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930), крестьянский поэт.

Дымов Осип (наст. имя и фамилия — *Иосиф Исидорович Перельман*; 1878—1959), прозаик, драматург, театр. критик, журналист, мемуарист. С 1913 г. — в США. Умер в Нью-Йорке.

Жданов Лев Григорьевич (наст. имя и фамилия — *Леон Германович Гельман*; 1864—1951), поэт, романист, драматург, переводчик.

Зарин Федор Ефимович (1870— после 1934), поэт, прозаик, драматург.

Зинаида Ц. — см. *Быкова З.И.*

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), новеллист, публицист, мемуарист; народник.

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921), лит. критик, прозаик, журналист, пародист. В 1898—1916 гг. возглавлял лит. отдел газеты «Биржевые ведомости».

Кильшетт (урожд. *Веселкова*) *Мария Григорьевна* (1861—1931), поэтесса, прозаик.

Кокотцев Дмитрий Иванович (1887—1918), поэт.

Кондратьев Александр Александрович (1876—1967), поэт, прозаик, переводчик, лит. критик. С 1918 г. в эмиграции (Польша). Умер в США.

Корин (наст. фамилия — *Корехин*) *Василий Иванович*, поэт.

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1937), поэт. В 1896—1899 гг. — редактор журн. «Север»; в 1895—1904 гг. — сотрудник газ. «Правительственный вестник».

Корш Федор Адамович (1852—1923), драматург, переводчик; театральный деятель. В 1882 г. открыл в Москве частный драматический театр (Театр Корша).

Котляревский Нестор Александрович (1863—1925), историк литературы, критик. Профессор кафедры западноевропейской литературы Петербургского ун-та. Академик (1906). С 1910 г. — директор Пушкинского Дома.

Курдюмов Всеволод Валерьянович (1892—1956), поэт; впоследствии — автор пьес для детского и кукольного театра.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1932), прозаик, поэт, публицист, мемуарист. Умер в эмиграции (в Ницце).

Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), прозаик, журналист, мемуарист. С 1920 г. — в эмиграции. Умер в Париже.

Лебедев Владимир Петрович (1869—1939), поэт, прозаик, переводчик.

Левберг (урожд. *Купфер*) *Мария Евгеньевна*, в замуж. — *Ратькова* (1894—1934), поэтесса, драматург, прозаик, переводчица.

Лейтенант К. — см. *Случевский К.К.*

Леман Анатолий Иванович (1859—1913), прозаик; теоретик и мастер скрипичного дела.

Ленау (Lepau) Николаус (наст. имя и фамилия — *Франц Нимби*, *Эдлер фон Штреленау*; 1802—1850), австр. поэт.

Леткова Екатерина Павловна, в замуж. — *Султанова* (1856—1937), писательница, переводчица; мемуаристка. Активно способствовала развитию женского образования в России.

Либрович Сигизмунд Феликсович (псевд. *Лукиан Сильный*, *Виктор Русаков* и др.; 1855—1918), прозаик, журналист, автор книг для юношества. В течение 43 лет (до 1918 г.) — сотрудник петербургского издательства М.О. Вольфа.

Лихачев Владимир Сергеевич (1849—1910), поэт, драматург, переводчик.

Лохвицкая Мирилла Александровна, в замуж. — *Жибер* (1869—1905), поэтесса, сестра Н.Тэффи.

Льдов (наст. фамилия — *Розенблум*) *Константин (Константин-Витольд) Николаевич* (1862—1937), поэт, прозаик, переводчик. После 1917 г. — в эмиграции. Умер в Брюсселе.

Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942), историк литературы, критик, этнограф. После 1917 г. — в эмиграции. Умер в Праге.

Мазуркевич Владимир Александрович (1871—1942), поэт, прозаик, драматург.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962), поэт, лит. и худож. критик, искусствовед, мемуарист. Редактор журн. «Аполлон» (1909—1917). После 1917 г. — в эмиграции. Умер в Париже.

Мамина Елена Дмитриевна (1892—1914), дочь Д.Н. Мамина-Сибиряка; ей посвящены «Аленушкины сказки».

Манасеина Наталья Ивановна (1869—1930), детская писательница, издательница (совместно с П.С. Соловьевой) детского журнала «Тропинка» (1906—1912).

Маньч Петр Дмитриевич (? — 1918), литератор, журналист. Друг А.И. Куприна.

Мартов В. (наст. имя и фамилия — *Владимир Петрович Михайлов*; 1855—1901), приват-доцент кафедры физиологии Петербургского ун-та (1885), член петербургского Общества естественных наук по отделению зоологии и физиологии. В 1888 г. получил степень доктора зоологии.

Мейснер Александр Федорович (1865—1922), поэт, прозаик.

Минский Н. (наст. имя и фамилия — *Николай Максимович Виленкин*; 1855—1937), поэт, драматург, философ, публицист, переводчик. Умер в Париже.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, лит. критик; социолог; общественный деятель. Идеолог либе-

рального народничества. С 1894 г. — идейный руководитель журн. «Русское богатство».

Михаловский Дмитрий Лаверентьевич (1828—1905), поэт, переводчик.

Морозов Николай Александрович (1854—1946), ученый, поэт, мемуарист. За участие в покушении на Александра II (1881) приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в Петропавловской, с 1884 г. — в Шлиссельбургской крепости. Освобожден в 1905 г.

Морозова (урожд. *Бориславская*) *Ксения Алексеевна* (1880—1948), пианистка; автор книг для детей. Жена Н.А. Морозова (с 1907 г.).

Мюр Виктор Карлович (1852—1920), поэт.

Мюрже (Murger) Анри (1822—1861), франц. писатель, автор известной книги «Сцены из жизни богемы» (1848).

Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922), юрист, публицист, общественный деятель, один из организаторов кадетской партии. Секретарь Юридического общества при Петербургском ун-те. Эмигрировал в 1919 г. Погиб в Берлине в момент покушения на П. Н. Милокова, пытаясь обезоружить террориста. Отец писателя В. В. Набокова.

Нагродская (урожд. *Головачева*) *Евдокия Аполлоновна*, в первом браке — *Тангиева* (1866—1930), прозаик, поэтесса. Дружила с М.А. Кузминым. Эмигрировала в 1918 г. Умерла в Париже.

Найденев (наст. фамилия — *Алексеев*) *Сергей Александрович* (1868—1922), драматург.

Невежин Петр Михайлович (1841—1919), драматург, новеллист, романист.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), прозаик, эссеист, публицист, мемуарист. После 1917 г. — в эмиграции. Умер в Праге. Брат Вл.И.Немировича-Данченко.

Нордман Наталья Борисовна (псевд. *Северова, Нордман-Северова*; 1863—1914), прозаик, публицист. Выступала в защиту прав женщин, проповедовала вегетарианство. С 1903 г. — гражданская жена И. Е. Репина.

О.Л.Д'Ор (наст. имя и фамилия — *Иосиф Львович Оршер*; 1878—1942), писатель-сатирик, журналист.

Пешкова (урожд. *Волжина*) *Екатерина Павловна* (1878—1965), общественный деятель. Жена М. Горького (совместная жизнь — с 1896 г. до конца 1903 г.).

Порфиоров Петр Федорович (1869—1903), поэт.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929), прозаик, драматург, публицист. Дружил с А. П. Чеховым.

Потемкин Петр Петрович (1886—1926), поэт-сатирик, переводчик, драматург, прозаик, мемуарист. С 1920 г. — в эмиграции. Умер в Париже.

Рафалович Сергей Львович (1875—1943), поэт, драматург.

Рейнгольд Александр Александрович фон (1856—1902), переводчик, историк литературы, критик.

Ремизова Наталья Алексеевна (1904—1943), дочь А.М.Ремизова.

Ремизова (урожд. *Двагелло*) *Серафима Павловна* (1875—1943), палеограф. Жена А.М.Ремизова (с 1903 г.). В 1921 г. эмигрировала вместе с мужем в Берлин. Умерла в Париже.

Рудич Вера Ивановна (1872—1942), поэтесса.

Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930), поэт, прозаик.

Сальников Александр Николаевич (1851—1909), журналист; автор и составитель учебников, справочников, антологий и т.д. русской литературы.

Семенов Евгений Петрович (наст. имя и фамилия — *Семен Моисеевич Коган*; 1861—1944), журналист, рус. корреспондент франц. журн. «Меркюр де Франс». После 1917 г. — в Париже.

Случевская Александра Константиновна, в замуж. — *Случевская-Коростовец*, поэтесса, дочь К.К.Случевского. После 1927 г. — в эмиграции (в Англии).

Случеский Константин Константинович (1837—1904), поэт, прозаик.

Случеский Константин Константинович (псевд. *Лейтенант К.*; 1872—1907), поэт, прозаик; сын К.К.Случевского.

Соколов Иван Иванович (1868—1919?), поэт.

Соколов Николай Матвеевич (1860—1908), поэт, критик, переводчик; цензор.

Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), прозаик, автор повести «Тарангас» (1845).

Соловьева Поликсена Сергеевна (псевд. — *Allegro*; 1867—1924), поэтесса, автор произведений для детей. Сестра философа В.С.Соловьева и писателя В.С.Соловьева.

Соломин Сергей (наст. имя и фамилия — *Сергей Яковлевич Стечкин*; 1864—1913), писатель-прозаик.

Старцев Григорий Евлампиевич, журналист.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), публицист, драматург, романист. Основатель и редактор газ. «Новое время», владелец Театра Литературно-художественного кружка (Малый или Суворинский театр).

Суворина, в замуж. — *Мясоедова-Иванова, Анастасия Алексеевна* (1877—1930), дочь А.С.Суворина (от второго брака). После непродолжительного замужества стала актрисой и инсценировщицей франц. водевилей. Эмигрировала в Японию, откуда — в Нью-Йорк. Выступала под именем *Астра Суворина*.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956), прозаик, драматург. С 1920 г. — в эмиграции. Умер в Париже.

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), издатель.

Сюннерберг Константин Александрович (псевд. *Конст. Эрбер*; 1871—1942), худож. критик, теоретик искусства; поэт, переводчик

«*Тетя Оля*» — см. *Гувале О.Ф.*

Тихонов Владимир Алексеевич (1857—1914), прозаик, драматург.

Толстая (урожд. *Дымиц*) *Софья Исаковна* (1886—1963), художница; первая жена А.Н.Толстого (с 1907 г.).

Тыркова (Тыркова-Вильямс) Ариадна Владимировна (псевд. *А. Вергезский*; 1869—1962), прозаик, публицист, критик, общественный деятель. Член Центрального Комитета кадетской партии. Уехала из России с мужем Г.Вильямсом в 1918 г. Умерла в Вашингтоне

Тэффи Н. (наст. имя и фамилия — *Надежда Александровна Бучинская*, урожд. *Лохвицкая*; 1872—1952), прозаик, поэт, лит. критик, драматург, журналист, мемуаристка. Сестра поэтессы М.А.Лохвицкой. В 1919 г. эмигрировала в Париж, где и умерла.

Уланд (Uhland) Людвиг (1787—1862), нем. поэт-романтик.

Уманов-Каплуновский (наст. фамилия — *Каплуновский*) *Владимир Васильевич* (1865—1939), поэт, переводчик.

Фальковский Федор Николаевич (1874—1942), драматург, театр. критик. Владелец

и руководитель Нового театра в Петербурге.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), прозаик, поэт, драматург, переводчик, мемуарист. С 1896 г. жил преимущественно в Одессе, откуда в 1919 г. эмигрировал в Болгарию. Умер в Софии.

Фидлер (урожд. *Соколова*) *Любовь Михайловна* (1868—1915), жена Ф.Ф.Фидлера; переводила нем. прозу.

Фидлер Маргарита Федоровна (1887—1970), дочь Ф.Ф.Фидлера.

Хвостов Николай Борисович (1849—1924), поэт.

Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921), писательница, переводчица. Жена Ф. Сологуба (с 1908 г.).

Червинский Федор Алексеевич (1864—1918), прозаик, драматург, поэт.

Черниговец — см. *Вишневикий-Черниговец*.

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), прозаик, драматург, публицист, поэт, мемуарист. Эмигрировал в 1920 г. Умер в Праге.

Чирикова (урожд. *Григорьева*) *Валентина Георгиевна* (сценич. имя — *Иолинина*; 1876—1966), актриса. Жена Е.Н.Чирикова. Умерла в Нью-Йорке.

Чюмина, в замуж. — *Михайлова, Ольга Николаевна* (1864—1909), поэтесса, переводчица; автор нескольких психологических романов.

Шиле (урожд. *Фомичева*) *Аделаида Гавриловна* (1842—1919), поэтесса, прозаик, переводчица.

Шуф Владимир Александрович (псевд. *Борей*; 1864—1913), поэт, новеллист.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), литературовед, пушкинист; историк ревл. движения; автор пьес и киносценариев.

Щепкина-Куперник (наст. фамилия — *Куперник*; по мужу — *Польнова*) *Татьяна Львовна* (1874—1925), поэтесса, переводчица, драматург, прозаик, мемуаристка.

Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), публицист; народник. Автор трудов по социологии, народному хозяйству и др.

Юркун (Юркунас) Юрий Иванович (1895—1938), прозаик. Близкий друг М.А.Кузмина. Расстрелян.

Яворская (урожд. *Гюббенет*), *Лидия Борисовна* (по первому браку — *Борисова*, по второму — княгиня *Барятинская*, по третьему — *Поллок*; 1871—1921), актриса. Выступала в московском Театре Ф.А.Корша. С 1895 г. — в петербургском Театре Литературно-художественного кружка. В 1901 г. открыла (вместе с мужем В.В.Барятинским) Новый театр, известный как Театр Яворской. Покинула Россию в 1918 г. (фактически в 1911 г.). Умерла в Англии (в курорте Брайтон).

Яковлева Лидия Николаевна, знакомая Репина; сотрудница критика В.В.Стасова.

Якубович Петр Филиппович (псевд. *П.Я., Л.Мельшин*; 1860—1911), поэт, переводчик, прозаик; революционер, народоведец. Осужден в 1896 г. на каторжные работы в Сибири; в 1903 г. вернулся в Петербург, работал в редакции журн. «Русское богатство». Вновь арестован в 1905 г.

Ясинский Иероним Иеронимович (псевд. *Максим Белинский* и др.; 1850—1931).

Allegro — см. *Соловьева П.С.*

Ю.М.Лотман и Петроград-Ленинград-Петербург

Борис ЕГОРОВ

Когда Эстония была в 1940 году насильно присоединена к Советскому Союзу, то одним из способов духовного протеста у эстонской интеллигенции была подчеркнутая «европейскость» (как скрытая антисоветчина): начиная с европейской образованности и кончая западными формами общения, поведения, быта. И когда мы, группа питерских молодых филологов, волею случая поселились в Тарту после Великой Отечественной войны, то оказались погруженными в эту атмосферу. Настолько погруженными, что не обошлось без «потерь»: моя дочь ребенком так прониклась западническим духом, что потом, после возвращения семьи в Ленинград, так и не смогла приспособиться к советской действительности и при первой же возможности в начале перестройки уехала в Америку.

В этих условиях совершенно уникально сформировалась культурологическая роль профессора Тартуского университета и всемирно известного ученого Юрия Михайловича Лотмана (1922—1993). Воспитанный на классической русской культуре в ее петербургском варианте, то есть глубоко европеизированной, он органично включился в мир Тартуского университета. Более того, своей европейской культурой он еще и интенсифицировал местное западничество, развивая связи тартуских гуманитариев с научными центрами Западной Европы и Америки — одновременно усиливая общение с российскими центрами. Он вместе со своей кафедрой русской литературы Тартуского университета стал как бы посредником между русской и западными культурами.

А детство и юность будущего профессора прошли в нашем городе. Большинство петербуржцев знает известный дом, расположенный на Невском между Большой Морской и Мойкой: это тот дом (ныне он № 18), куда Пушкин в роковой день 27 января 1837 года перед самой дуэлью заходил в помещавшуюся там кондитерскую Вольфа и Беранже. Теперь кондитерская восстановлена, и крупные буквы на фасаде извещают

об этом почтенную публику. Но мало кто знает, что этот дом — городская вотчина семьи Лотманов. Будущий ученый здесь вырос, ходил в школу и в университет, отсюда родные отправляли его в армию... Отец Лотмана, видный петроградский юрист, жил до революции и в первые советские годы в конце Невского проспекта за Московским вокзалом (там и родился Юрий Михайлович), а в связи с увеличением семьи (появилось четверо детей) удалось получить пятикомнатную квартиру именно в доме № 18.

Перед революцией на втором этаже дома, где потом поселились Лотманы, располагались номера от ресторана Лейнера, сменившего кондитерскую пушкинских времен. Это был известный немецкий ресторан, славившийся хорошим пивом и популярный у русской интеллигенции. Вскоре после революции ресторан прекратил свое существование и номера были отданы под обычные квартиры. Длинный, во весь дом, коридор перегородили, создав сразу несколько квартир, и некоторые из них оказались без туалета, а лотмановская квартира — без кухни. Старшие Лотманы рассказывали, что семья какого-то их соседа, почтенного музыканта, пока не был сделан соответствующий ремонт, пользовалась ведром, и смущенный скрипач рано утром выносил его во двор, где держали открытой крышку канализационного люка.

Лотманы переехали в дом № 18 в самом начале 1923 года, когда младшему члену семейства Юрию было 10 месяцев, так что он считал именно эту родительскую квартиру своей «малой родиной». Расположение дома в центре города давало семье большие преимущества: рядом был Эрмитаж и недалеко — Русский музей, Публичная библиотека, основные театры и кино. С раннего детства Юрия Лотмана в семье установилась хорошая традиция: в выходной день отец вел детей в один



Ю.М.Лотман

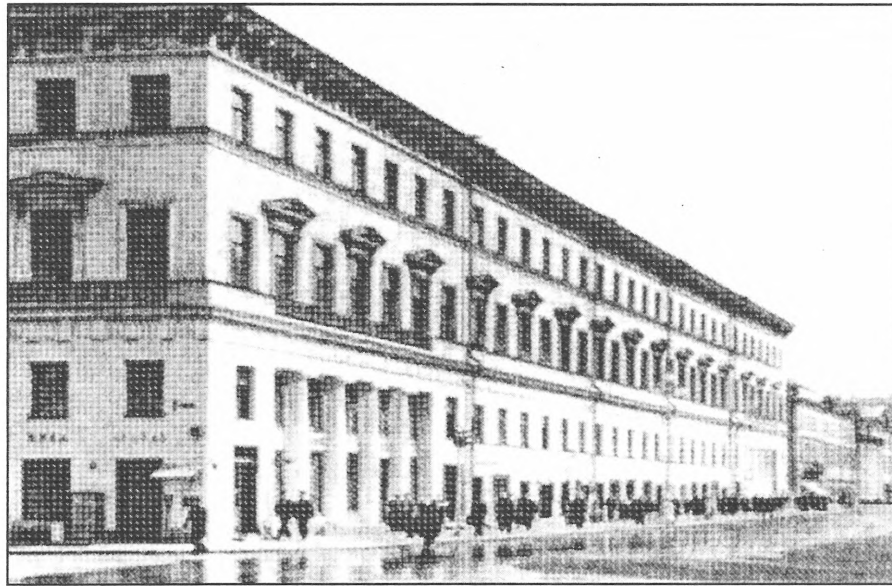
из музеев и проводил там импровизированную экскурсию. Юрий Михайлович мог без подготовки подробно рассказывать обо всех главных залах Эрмитажа.

Юрий учился в известной немецкой школе «Петершule» на Малой Конюшенной, долго колебался в выборе профессии, ибо с детства очень увлекался биологией, храбро общался в школьном кружке со змеями.

Но поскольку старшая сестра Лида без колебаний пошла на филологический факультет университета и так как, благодаря близкому расположению дома от университета, в квартире постоянно собирались Лидины сокурсники, мальчик часто вращался в кругу филологов — и это оказалось решающим в выборе жизненного пути. Позднее Юрины сокурсники заполняли квартиру. Она превращалась в своеобразный клуб, где обсуждались новости, где коллективно готовились к экзаменам, где дружили и влюблялись... Юрий

начинал учиться в университете в 1939 году, в пору расцвета филологического факультета: тогда в нем преподавали знаменитые ученые: В.Ф.Шишмарев, Б.М.Эйхенбаум, Л.В.Щерба, М.К.Азадовский, Г.А.Гуковский, В.М.Жирмунский, В.Я.Пропп и еще десяток видных профессоров — гордость отечественной науки. Так получилось, что в репрессивные 1930-е годы Ленинградский универ-

ситет пострадал меньше Московского, основные кадры сохранялись (увы, потом, в 1949—1952 годы, он как бы догнал столичного собрата...). Тем временем Юрий Лотман впитывал знания и методологию по самому высшему разряду, от самых выдающихся учителей. И уже с первого курса буквально бросился в науку: в фольклорном семинаре В.Я.Проппа с наслаждением занимался сопоставлением русского и немецкого эпоса...



Невский проспект, д. 18. «Малая родина» Ю.М.Лотмана.

ситет пострадал меньше Московского, основные кадры сохранялись (увы, потом, в 1949—1952 годы, он как бы догнал столичного собрата...). Тем временем Юрий Лотман впитывал знания и методологию по самому высшему разряду, от самых выдающихся учителей. И уже с первого курса буквально бросился в науку: в фольклорном семинаре В.Я.Проппа с наслаждением занимался сопоставлением русского и немецкого эпоса...

Призыв в армию в 1940 году на шесть лет оторвал Юрия от дома и от учебы, так как потом в жизнь нашего народа ворвалась четырехлетняя Отечественная война (Лотман всю войну провел на фронте). А в доме на Невском близкие Юрия узнали ужасы блокады, бомбежек, голода (от голода в 1942 году скончался отец). Юрий демобилизовался в 1946 году, вернулся домой и в родной университет. Снова с жадностью набросился на книги и журналы. В спецсеминаре Н.И.Мордовченко Лотман работал над почти совершенно не исследованным карамзинским журналом «Вестник Европы» (раскапывал во французской

периодике начала XIX века первоисточники статей Карамзина) и изучал материалы о малоизвестных преддекабристских кружках. В Рукописном отделе Публичной библиотеки ему удалось найти текст программного документа одного такого кружка, документа, о котором знали историки, но безуспешно искали его около ста лет! Будучи студентом-четверокурсником, Лотман опубли-

ковал с соответствующими комментариями свою находку: «Краткое наставление русским рыцарям» М.А.Дмитриева-Мамонова (Неизвестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма)» в «Вестнике ЛГУ» (1949, № 7). Это была первая печатная научная работа Ю.М.Лотмана, к которой потом прибавится 80 последующих... В 1950 году Юрий Лотман с отличием закончил филологический факультет Ленинградского университета; кафедра русской литературы, естественно, рекомендовала его в аспирантуру. Но выдающиеся научные способности и уже заслуги (к кафедральной рекомендации еще прибавлялась более чем хвалебная характеристика военного начальства о поведении солдата, затем сержанта Лотмана во время войны) не смогли пробить брешь в железной бюрократической стене партийных руководителей факультета: антисемитские установки сталинского режима действовали в Ленинградском университете уже несколько лет до 1950 года и еще много лет после.

К счастью, выпускника все же не отправили преподавать в какую-

нибудь глухомань, а дали «свободный» выбор. В Тарту оказалось вакантное место преподавателя Учительского института, Лотман тотчас же переехал в Эстонию. Через два года он смог перейти в Тартуский университет, стал всемирно известным ученым, основателем литературоведческого структурализма, одним из пионеров новой науки — семиотики... Но это уже другая тема.

Много раз потом Юрий Михайлович приезжал в Питер (он за свою долгую жизнь так привык к названию «Ленинград», что продолжал до кончины в бытовых разговорах употреблять это слово, хотя у него и не было, как у некоторых староверов, раздраженно-негативного отношения к «Петербургу»: слишком много на своем веку литературоведу и историку XVIII—XIX веков приходилось заниматься именно Санкт-Петербургом). Приезжал Лотман для длительных занятий в «Публичке», для участия в конференциях, для чтения спецкурсов в Пединституте им. А.И.Герцена (в 1970-х годах я там заведовал кафедрой русской литературы и несколько раз приглашал ученого со спецкурсами: самой большой аудитории литфака не хватало, чтобы вместить всех желающих), да и чтобы просто повидаться с сестрами и друзьями.

28 февраля 2002 года исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана, который, увы, не дожил до этого юбилея. Родные и близкие вспоминали его в этот день, вспоминали и дом № 18 на Невском проспекте, в котором Лотман сформировался как личность и ученый, и выражали надежду, что в будущем мы увидим на фасаде не только вывеску кондитерской, но и мемориальную доску, посвященную нашему выдающемуся земляку.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТКАНЬ

Петербургский паневропеец, или Русская монархия на распутье

Александр КУСТАРЕВ

Формула «самодержавие, народ, православие» обманчива. Словом «народ» покрывалось великое множество народов, народцев и инородцев. И православие, включая староверов, не было их общей религией. Сильный мусульманский элемент появился в империи с середины XIX века, хотя и до этого Петербургу нужно было иметь дело с татарами, сперва волжскими, а потом крымскими. Но в XVIII веке конфессиональную монолитность России больше нарушали евреи и другие версии христианства. Инославие было массивно представлено и в хижинах, и во дворцах.

Внизу были балтийские лютеране (усиленные несколько позже финнами), католическая Польша, белорусские католики, украинские униаты. А при дворе было немало польских аристократов, остзейских (прибалтийских) немцев. Некоторые из них принимали православие, но главным образом до этого и после этого времени. А во второй половине XVIII века это не было популярно. Ряды иноверцев-христиан неуклонно пополнялись: из-за рубежей империи шел большой поток европейцев на российский службу. Наемникам даже в голову не приходило менять свою первоначальную конфессию. Верхушка российского общества была интернациональной, двуязычной и многоконфессиональной, как нигде больше в Европе. Как сказали бы теперь — мультикультурной.

Петербург был многоэтничным и многоконфессиональным городом раньше, чем та же участь постигла Париж и Лондон. Причем на всех этажах общества — сверху донизу.

Неопределенной была и религиозная ориентация самой династии. Весь XVIII век она роднилась с немецкими коронами разного достоинства. На этом уровне поощрялся и практиковался переход в православие, особенно в непосредственной близости к трону. Но при дворе толпилась многочисленная неправославная царская родня. А переkreщеницы по расчету, понятно, не могли быть особенно глубоко религи-

озными. Если бы это было так, они не прошли бы предварительного отбора; их испугала бы именно необходимость менять конфессию. Так что ко всему еще добавлялся и известный религиозный либертинаж.

Те, кто менял конфессию, безусловно, сохраняли духовные привычки и по меньшей мере подзатательную причастность той вере, в которой они были воспитаны. К тому же часто у тех, кто родился в православной семье, были неправославные воспитатели. Екатерина Великая была переkreщенной и как будто бы стала истово православной. Надо думать, что экзальтированное (даже если показное) православие Екатерины было следствием того, что она стеснялась нелегитимности своего царствования и пыталась как-то это компенсировать.

Но в то время как оказавшиеся владельцами русской короны «немцы» по протоколу должны были переходить в православие, в среде православной аристократии к концу XVIII века появилась многозначительная тяга к католичеству. Это было, вероятно, неизбежным побочным эффектом вестернизации. Православие и православная церковь не могли удовлетворить запросы просвещенной части общества. Духовная жизнь православия была примитивна. Церковь была коррумпирована государством. Не было видно никаких признаков обновления ни по протестантскому, ни по контрреформаторскому образцу. Православие все больше воспринималось как опиум простого народа и для простого народа. Короткое пребывание прозелитствующих католиков на верхнем этаже петербургского (и московского) общества произвело сильный эффект и сопровождалось обильным ренегатством.

В Петербурге и Москве было несколько активных совратителей в «латинство». Особенно активен был шевалье д'Огар — помощник директора Императорской библиотеки и завсегдатай в салонах Голицыных, Нарышкиных, Гагариных. Другими агентами католицизма были Брольи,

Сен При, Шуазель-Гуффье и, конечно, знаменитый Жозеф де Местр.

Список совратенных оказывается длинным и украшен блестящими фамилиями: Одоевский, князь А.Ф. Голицын, княгиня Голицына, графиня Ростопчина, Екатерина Толстая, княжна Трубецкая (замужем за Брольи), графиня Протасова, княгиня Васильчикова, Шувалова, Головина, госпожи Петровские, Свечиные...

Церковь чувствовала себя очень неуверенно. Будучи сама рабой государства, она могла компенсировать себя только полной монополией на то, что в церковной терминологии называется «окормлением паствы». Православным иерархам мерещилось всякое: переход монархии в латинство, массовое бегство в католицизм богатой и правящей верхушки, принудительное переkreщение всего народа.

Особенный страх на них нагнал Павел I. У Павла были плохие отношения с митрополитом Петербургским Гавриилом и бывшим его законоучителем митрополитом Московским Платоном.

При нем усилились поляки при дворе: Илинский, Италинский, Потоцкий, Чарторыйский, Радзивиллы. Павел произвел страшный фурор своими вдохновенными шашнями с Мальтийским орденом. Он сблизился с Римом. Павел уступил несколько монастырей, включая униатские, ордену трапистов. Наконец, в его ближайшее окружение проникли иезуиты.

О конфессиональных симпатиях Павла судить трудно. Есть свидетельство, что Павел в конфессиональном смысле не отличался от матери, разве что был еще более православным, чем она. С другой стороны, Д.Толстой или глава российских католиков Сестренцевич, хорошо его знавшие и обсуждавшие с ним церковно-религиозные проблемы, свидетельствуют о его сильном интересе к католицизму. Еще одно подтверждение этому — документы Руэ де Журнея.

Знавшие Павла и последующие комментаторы сходятся на том, что

Павел видел в католицизме наиболее надежную защиту от революционной порчи души, ума и порядка. Ввиду начавшейся революции это кажется естественным для монарха, относившегося к своей миссии с чрезвычайной серьезностью. Согласно простому сценарию, Павел — реакционер и клерикал. Но почему католицизм? То ли Павел считал слишком маломощным православие и опасался за Россию. То ли он думал обо всей Европе. Русская монархия по всем параметрам (кроме конституционного) была европейской. Монархи были европейцы, даже не русские. Даже если считать самого Павла русским, императрица Мария Федоровна уж никак русской не была, а она сильно влияла на его интересы и убеждения. И владели петербургские монархи европейскими, не русскими и не православными землями. В полном титуле Павла говорилось, в частности, что он владетель «...Литовский, Волынский, Подольский, Естляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Гольштинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский, Государь Эверский и Великий Магистр Державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского»: Не говоря уже о родственниках коронах. Большой европейский государь. Заботы Павла о сохранении традиционного общества в Европе не были надуманы. Это не были заботы постороннего. Павел был европейцем и паневропейцем.

Все это вполне очевидно. Но есть кое-что поинтереснее. Во-первых, интерес Павла к католицизму осмыслен в двух других политических аспектах: в аспекте европейской великодержавной политики и в аспекте управления собственными подданными. Во-вторых, Павел был не просто контрреволюционным клерикалом. Отношение Павла к революции не было однозначно.

В плане европейской геополитики это были в основном дипломатические маневры, интриги и войны за преобладание или баланс сил между пятью европейскими великими державами при участии Рима — отчасти как суверенной силы и отчасти как посредника. В XVIII веке наметились интересные тенденции, предвещавшие окончательную секуляризацию политической жизни в Европе. Отношения Бурбонов и Габсбургов с Римом ухудшаются, а отношения не католического монархий — английской, прусской и российской — улучшаются. На избрание Чиаромонти Пием VII повлиял Павел.

В плане внутренней политики нужно было отрегулировать отношения между имперской короной и инославными общинами. Обратить их в православие было невозможно. Можно было опасаться, что скорее они соблазнят православных. Еще реальнее была опасность того, что их миссионеры окажутся более успешными среди нехристианских народов. Инохристиан нужно было как-то инкорпорировать в российское общество. С протестантами особых хлопот не было. А вот с католицизмом было сложнее. У них был свой верховный глава, и статус католиков в России требовал договорных отношений с Римским первосвященником. Эта проблема была чуть ли не главной для всех европейских монархов на протяжении 1000 лет. Назвался груздем — полезай в кузов. Добро пожаловать в европейский клуб.

В плане европейской политики большое значение имел эпизод с Мальтийским орденом. В плане внутренней политики — эпизод с иезуитами.

Мальтийский эпизод популярен у историков и хорошо известен. Он сразу был по большей части у всех на виду. Россия имела отношения с Мальтийским орденом с XVI века. Екатерина активно общалась с орденом и сама заинтересовалась им Павла. Павел увлекся мальтийцами и с детства воображал себя Магистром ордена. Мальтийцем был Джулио Литта, брат папского нунция в Петербурге, известный в русской службе как Юлий Помпеевич Литта. Джулио Литта помогал модернизировать русский флот, а русские кадеты обучались на Мальте. Братья Литта были близки к Павлу и поощряли его мальтийские амбиции. Они создавали у Павла впечатление, что папа будет готов признать его в качестве Магистра ордена. Это была неправда. Папа не мог на это пойти никак и считал Павла всего лишь «протектором» ордена. Когда Павел понял это, он поссорился с братьями Литта, и на этом их влияние на королю прекратилось.

Мальта играла известную роль и в отношениях Павла с Бонапартом. Эти отношения складывались очень благополучно. Конечно, Наполеон был прежде всего заинтересован в том, чтобы изолировать Англию, но не только. Тут явно была инстинктивная симпатия. Между ними было много типологически общего. Прежде всего в ситуативном плане. Тут возможны увлекательные спекуляции, гораздо более интересные в познавательном отношении, чем психи-

атрические экспертизы. Возможен более рационалистический поворот стандартной «гамлетизации» Павла, или даже альтернатива.

Так или иначе, Бонапарт подавал положительные сигналы. Он велел льготно обращаться со всеми русскими пленными, а чуть позже приказал всех их вернуть домой. Намечился проект раздела мира между двумя сильными людьми Европы. Павел не хотел расставаться со своей мальтийской мечтой. Бонапарт оккупировал Мальту, с этим пришлось смириться, но в обмен он пообещал Павлу, что выжмет из испанского духовенства признание Павла Магистром ордена. Мальта, таким образом, оказалась встроена в самое ядро внешней политики России.

Мальтийский десант в России продолжался недолго, но выглядел внушительно. Следы Мальтийского ордена в Петербурге хорошо заметны. Дом Воронцова (ныне Суворовское училище на Садовой) был отдан для капитулы Мальтийского ордена, а для погребения рыцарей было отдано кладбище при каменноотростковской церкви — Св. Иоанна Предтечи. Католический приход был учрежден в Кронштадте. Построен так называемый «приоратский дворец» в Гатчине.

Но дарами и привилегиями самому ордену дело не ограничилось. Попытка привить Мальтийский орден к России была бесплодной, но амбициозной и весьма «творческой». Павел основал два приоратства — латинское и русское. Ядром латинского был приорат ордена в Польше. Павел уладил его денежные и имущественные дела, перевел в Россию и расширил с шести коммендарий до десяти. А русский приорат состоял из 98 (!) коммендарий и мог принять в свои ряды все русское дворянство.

Даже до того как стали известны «неаполитанские документы», обнаруженные Руэ де Журнелем (см. отрывок из книги: В.Зубов. «Царь Павел I. Человек и судьба», 1963), мальтийский эпизод давал пищу для спекуляций о проектах Павла объединить католическую и православную церкви. Может быть, об этом подумывал и Пий VII. Во всяком случае, русский посланник в Риме Лизакевич уверял, что папа в конце концов смирился с назначением Павла Магистром Мальтийского ордена и даже в беседе с ним говорил, что в его намерения входит «соединить греческую веру с католической».

Более того, были и более ранние слухи. Объединения церковью будто бы хотела и Екатерина. На этот счет существовало даже подложное (или

якобы подложное) письмо Екатерины к Пию VI (папа с 1774 до 1799 года). Его текст циркулировал в европейской печати, но сама Екатерина опровергла это в «Petersburgische Zeitung» (наш современный опыт показывает: если какое-то сообщение официально и категорически опровергается, то, будьте благонадежны, это была правда. Но это так, к слову).

Идея, так сказать, конституционного объединения церковей не вышла за пределы некоторого «устного протокола о намерениях», да и то очень сомнительного — слухи, только слухи. Но на уровне рутинной жизни происходили поразительные вещи. Православные митрополиты и архиереи производились в кавалеры Мальтийского ордена. Кавалеров ордена без проблем брали в службу с офицерским чином и прапорщиками. Литва стал фактически первым министром. Павел собирался основать в Петербурге огромное воспитательное заведение для создания рыцарского сословия. Во главе этого сословия должно было стоять неженатое священство. Эту меру можно было понимать и как радикальное обновление православной монастырской практики. Павел мечтал собрать вокруг себя всю дворянскую элиту Европы.

Вовсе не обязательно думать, что Павел мечтал о вселенской теократии, во главе которой он видел самого себя. Своими действиями он открывал российское общество европейскому влиянию. Собственно, он продолжал стратегию Петра, но выбрал других агентов влияния и собирался пустить их влияние по иному направлению. И тут самое время перейти к иезуитам.

Мальтийский сюжет разворачивался в основном на больших европейских подмостках и был частью европейской дипломатической драмы. Иезуитский сюжет был гораздо более подкованным делом.

Иезуиты пытались просочиться в Россию давно. Они пробовали миссионерствовать на Волге. Но Петр I выгнал их из России в 1721 году. Трудно сказать, чем он при этом руководствовался. Или в нем разыгрался репрессивный православный. Или он перенял у своих протестантских собутельников вместе с трудолюбием и практицизмом ненависть к римскому «антихристу». Или он разделял конспираторные страхи других европейских монархов перед тайным и злоумышленным орденом.

В последнем случае Петр был лишь буревестником. Настоящая бу-

ря разразилась над иезуитами позже. Под давлением нескольких европейских корон папа Клемент XIV в 1773 году распустил орден. За год до этого произошел раздел Польши. Говорят, Рим был настроен в пользу раздела, рассчитывая на то, что в результате усилится вес католичества в некатолических странах — Пруссии и России. Это было проявление римского интернационализма, если говорить современным языком (кстати, то же самое повторилось и во время раздела Польши в 1939 году). Главным иезуитским гнездом в России оказался Полоцк.

На иезуитов сразу же положила глаз Екатерина. Она ценила их педагогические методы. И, похоже, хотела с их помощью контролировать российских католиков, не связывая себя стеснительными договоренностями с Римом. Трудно сказать, насколько этот расчет был верен. Папа запретил орден нехотя и, конечно, ждал случая как-то его восстановить. Клемент, кстати, быстро умер, и на его месте оказался Пий VI, еще более настроенный в пользу иезуитов.

На самой верхушке российского истеблишмента у иезуитов были и другие могучие друзья. Наместник Белоруссии граф Захар Григорьевич Чернышев был покровителем иезуитов: он построил в одном из своих именных католическую церковь. Был их другом и Петр Богданович Пассек, сменивший Чернышева с преобразованием наместничества в генерал-губернаторство. Очень любил иезуитов и Потемкин. Иезуиты хотели миссионерствовать в Крыму и на Кубани, и они там, скорее всего, и утвердились бы, если бы Потемкин не умер так рано. Что все это означало? Чисто политические маневры по указанию Екатерины? Или своего рода западничество больших русских вельмож? Так или иначе, группа белорусско-польских иезуитов сохранила свою организацию, коллегиям в Полоцке и стала чем-то вроде штаб-квартиры иезуитов в «эмиграции».

В ходе Французской революции иезуиты прибыли в Петербург в толпе французских эмигрантов — роялистов и клерикалов.

А несколько позже в Петербурге появляются белорусские иезуиты. Их предводителем был отец Габриэль Грубер. Грубер родился в 1740 году, вступил в орден в 1755 году. Он был феноменально одарен и образован. Его занятия были энциклопедически разнообразны: философия, богословие, латынь, механика, гидравлика, математика, химия, история. Он

исправлял русла рек, осушал болота, изобретал всякого рода механизмы, рисовал. В 1787 году, узнав, что орден продолжает существовать в России, Грубер поехал в Полоцк, где в коллегииуме преподавал архитектуру, механику, физику. Прибыв в Петербург, он устроил выставку своих работ и изобретений, стал читать лекции в Академии. Вылечил Марию Федоровну от зубной боли, стал придворным зубным врачом, а потом кондитером, показав особое искусство в в приготовлении шоколада (умел хорошо варить какао).

Павел познакомился с Грубером в мае 1797 года во время визита в Оршу. Грубера представили как великого ученого. Уже тогда Грубер, судя по всему, околдовал Павла. Короткое время он был его главным конфидентом. По словам Кретино-Жоли, Грубер посредничал между Наполеоном и Павлом. По другим сообщениям, Грубер помогал решить мальтийское дело. Павел отдал Груберу церковь Св. Екатерины, обещал отдать иезуитам Виленскую академию. Грубер надеялся, что Павел заставит Порту вернуть иезуитам конфискованное имущество. Наконец, иезуиты через императора просили у папы буллу, восстанавливающую их орден в России. Павел поддержал их просьбу. Просьба была услышана, и так был сделан первый шаг к восстановлению ордена. Грубер в результате стал генералом ордена, а Петербург — столицей ордена.

В конце концов Грубер лишился доверия Павла и был удален от трона. Но это случилось в самый последний момент перед убийством Павла. Как могли развиваться их отношения в дальнейшем, теперь уже не знает никто.

Интрига с участием иезуитов (Грубера) была чрезвычайно запутана. Помимо Павла, Рима и самих иезуитов в ней участвовали православно-церковное лобби и официальная католическая церковь в России во главе с Сестренцевичем. Все они преследовали свои цели. И у всех цели по ходу дела корректировались, если не менялись. И у каждого было сразу несколько конфликтующих целей. Ситуация была хаотичной. И этот хаос отражал общую хаотическую неопределенность в состоянии российского общества, точнее, монархии, двора и его ближнего окружения, но это ведь и было то, что заслуживало называться «обществом» в нынешнем социально-историческом понимании этого слова. Все остальное было — земля, почва, биомасса, популяция.

Иезуитская интрига в Петербурге была двойной. Во-первых, она была вплетена в европейскую политику Павла. Во-вторых, это была внутренняя разборка между Римом, иезуитами и российской католической епархией в лице Сестренцевича.

Станислав Сестренцевич-Богуш был лоялен к светской власти и не собирався приводить Россию в лоно римско-католической церкви. Павел говорил с Сестренцевичем об учреждении в России католической иерархии по образцу галликанизма. Так во всяком случае свидетельствует сам Сестренцевич в своем дневнике (нечто прямо противоположное мечтам о папской тиаре для Павла, не правда ли?).

В то же время у Сестренцевича был еще один, несколько странный план. Он мечтал о слиянии польской национальности с русской. Он переговаривался с архиепископом Петербургским Амвросием, архиепископом Иринеем и другими православными архиереями, заседавшими в Синоде, об учреждении в России католического провинциального Синода. В довершение всего Сестренцевич был еще и конвертированный католик, и иезуиты называли его «кальвинистом». Очевидно, не без оснований.

Иезуиты всячески хотели поссорить Павла с Сестренцевичем. Это удалось на некоторое время.

Можно было бы думать, что они работали на руку Риму, но ведь в это время они сами были в опале у Рима и скорее, пытаясь вытеснить Сестренцевича, просто помышляли о своих выгодах в России в роли главных прозелитов католицизма.

Когда Белоруссия попала под российскую корону, иезуиты изъяснили крайне верноподданнические настроения в адрес Екатерины. Это, впрочем, могло быть и тактическим маневром. Грубер, судя по всему, проводил в России все-таки римские интересы. Он очень старался окончательно лишить автономии унiateв и вынашивал особые проекты миссионерства на востоке.

Но чтобы понять всю глубину романа Павла с иезуитами, нужно вернуться к традиционному образу Павла как реакционера, самодура и педанта.

Молва любит потешаться над его мелочными распоряжениями и уставными новшествами в армии: велел гвардейцам помятать мундиры на мундиры своих гатчинских батальонов, определял форму шляпы, цвет плюмажа, высоту гренадерской шапки, сапоги, гетры, кокарды (поменял

белую на черную), косички и португали. На самом деле семиотическая озабоченность Павла нисколько не патологична. Это нормальный элемент человеческого поведения, стратегии самоидентификации и самопрезентации. У Павла было больше власти над символами, а он сам был на виду — только и всего. Кроме того, любой человек активен в той сфере, где требуется минимум усилий. Менять элементы мундира легче, чем перестраивать администрацию. Павел занимался и этим, но результаты этой активности заставляли себя долго ждать, не были так наглядны, да и не было уверенности, что все пойдет как надо. Кстати, и не пошло.

То же самое можно сказать и о кадровой политике Павла. Павел раздавал милости с таким расчетом, чтобы продемонстрировать, как он ценит отца (подло убитого Петра Третьего), и в пику матери. А потом тут же одаренные попадали в опалу. Занятно, что убийцы Петра и фавориты Екатерины унижались, но не репрессировались. Как говорят персонажи американских гангстерских фильмов, стреляя в конкурентов, «nothing personal» — ничего, так сказать, личного, исключительно ради дела. В данном случае «делом» для Павла было обозначить свою отдельность от Екатерины. Стоило ли увлекаться этим «делом», другой вопрос, но ответ на него с учетом тогдашней семиотической атмосферы никак не очевиден.

Наконец, нельзя однозначно представлять Павла махровым реакционером. Идеологией Павла было скорее то, что теперь называют «консервативная революция». Русская монархия вообще была консервативно-революционной, и именно этим объясняется ее неукротимая ненависть к конкурирующим агентствам революции — буржуазии и интеллигенции. Это не реакционность. Это политическая ревность. Почему русская монархия была такой, в двух словах не скажешь. Может быть, так случилось из-за того, что она долго не могла устоять и рутинизировать свою харизму. То же самое, кстати, произошло потом и с советской властью.

Рассказов о своеобразном демократизме Павла, о его популизме, о его антиаристократическом синдроме очень много. На это обращали внимание уже современники. Так, Массон пишет: «Екатерина выражала притязание руководить своими скотами, а Павел, наоборот, скорее разрешит лакеям управлять со-

бою, нежели государственным мушкетером». Характерен рассказ Массона про Кутайсова: «Был у Павла камергер, турок Иван Павлович Кутайсов. Этот Иван Павлович сейчас статский советник... Многие слуги, гофи и камер-фурьеры ежедневно достигают самых высоких мест... Своевольство московитизма приводит к тому равенству прав, которое ему самому ненавистно... Один знатный вельможа был запанибрата со своей челядью. На вопрос, зачем он так себя ведет, он отвечал: “Э, господа, это политика: эти люди завтра могут сделаться моими товарищами”. Таково русское равенство. Это равенство Тарквиния, который сбивает самые высокие головки своих мажорант; это равенство султана, который делает первым визирем одного из своих водоносов». (Забавно, что Массон трактует поведение Павла совершенно так же, как поздняя советская интеллигенция. Это нарциссистская трактовка, но не об этом сейчас речь.)

Но если бы дело ограничивалось этим. Павел одновременно намеревался восстановить геральдическую знать. Стал награждать орденами епископов, решительно обозначив тем самым их включенность в аппарат правления.

А еще Павел запретил лифляндцам и курляндцам отправлять детей учиться в Германию. Отозвал всех российских студентов из западных университетов. Запретил иностранцам въезд в Россию. Странно для поклонника Петра Великого, еврофила и паневропеиста-интернационалиста.

Но вовсе не странно для консервативно-революционного стиля. Иезуитского стиля.

Ибо иезуиты были образцовыми агентами консервативной революции. Они создали идеологию и практику контрреформации в Европе. Суть контрреформации была не в том, чтобы остановить время, историю, эволюцию и прогресс, а в том, чтобы перехватить инициативу и дать возможность римскому истеблишменту самому приспособиться и приспособить паству к Новому Миру. Соединить традицию и модерн. Иезуиты были модернисты. Это именно то, чего хотели и Петр, и Екатерина, и Павел, и все русские государи после него. Претензии на синтез традиции и модерна институционализировались в русском общественном строе и определили типологическое своеобразие русской монархии. Петербургской монархии.

Великий Магистр

Отрывок из книги «Царь Павел I. Человек и судьба»

Валентин ЗУБОВ

Кроме консервативно-революционной философии контрреформации иезуиты могли предложить и кое-что еще. Например, культ метода и порядка. Апостолический активизм. Аскетизм в миру — как и кальвинисты. Их лозунг: дисциплину — в массы! Если говорить всерьез о преобразовании тогдашнего российского общества, то именно в этом была самая большая нужда. Без дисциплинирования масс нельзя было думать ни о каком раскрепощении. Освобождение от социальных ограничений без внедрения самодисциплины чревато полным хаосом. Иезуиты — это дисциплина, то есть цивилизация.

О чем шептались Павел и отец Грубер, проводя вместе многие и многие часы? Согласно имеющимся свидетельствам — о шоколаде, зубной боли, Мальте, Сестренцевиче, Бонапарте... А еще? Павел был образованный и незаурядно умный человек. И с Грубером было о чем поговорить помимо повседневной политики. Ах какая досада, что они не сошлись конфессиями. Черт меня дернул с моим умом и талантом родиться в православии — так, вероятно, думал Павел. Как бы это дело поправить...

2 января 1801 года Павел изгнал Людовика XVIII и французских эмигрантов из Петербурга. 8 февраля возобновил торговые отношения с Францией. 11 марта прекратил все торговые отношения с Англией, а 12 марта был убит. Поправить ничего не удалось.

ЗУБОВ Валентин Платонович (10 (22) ноября 1884, Петербург — 9 ноября 1969, Париж) — искусствовед, историк, мемуарист, писатель, основатель и директор Института истории искусств. Обучался во 2-й Петербургской классической гимназии. Осенью 1904 года поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1905 года занимался историей искусства, историей, философией, филологией и археологией в университете Гейдельберга, Галле, Лейпцига и Берлина, неоднократно посещал Италию. Написал диссертацию о фресках Вазари в Палаццо Веккьо (не завершена). Защитил в 1913 году диссертацию на тему: «Архитектор Карло ди Джованни Росси (1775—1849): К истории упадка петербургского ампира». Был сотрудником Императорского Эрмитажа. После Февральской революции член комиссии «по приемке и регистрации» художественных ценностей загородных дворцов Петербурга. В 1917 году — член Высшего совета по делам искусства. В апреле 1917 года — председатель Союза Вселенского Церковного Единения. В 1917—1918 годах — директор Гатчинского дворца-музея.

До 1925 года — директор и профессор Института истории искусств, председатель его совета. Читал лекции по западноевропейскому искусству. Преподаватель университета. В 1925 году эмигрировал. Жил в Италии, Германии, Англии и Франции. Член правления Русской академической группы, с 1951 года член временного правления секции философии и гуманитарных знаний при этой группе. Сотрудник «Русской мысли». Преподавал в Русском научном институте. С 1958 года участвовал в работе Общества охранения русских культурных (художественных) ценностей, с 1961 года — член его правления. В 1962 году читал лекции в Мюнхенском университете.

За последние 12 лет своей жизни граф Zubov издал три книги и опубликовал на страницах «Русской мысли» более 200 статей. Тематика этих публикаций, очевидно, определялась готовящимися монографиями.

В 1963 году на немецком языке в Штутгарте вышла книга графа Зу-

бова «Царь Павел I. Человек и судьба» (Valentin Graf Zubow. Zar Paul I. Mensch und Schicksal. Stuttgart, 1963.). Личность «романтического» императора, главы Мальтийского ордена и масона, всегда привлекала графа В.П.Зубова.

Через пять лет, в 1968 году, на русском языке вышли сразу две его книги: самая известная, мемуарная книга «Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917—1925)» (Wilhelm Fink Verlag, München, 1968.) и «Карлик фаворита». История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика Светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим (с предисловием и примечаниями графа В.П.Зубова и послесловием Дитриха Герхардта. München, 1968). Их появление также предвдарили публикации. В «Русской мысли» были опубликованы циклы статей Зубова, посвященные сакральным сюжетам изобразительного искусства («Апокрифы и их отражение в изобразительном искусстве», 1957—1958, № 1128—1199; «Страшный Суд, Ад и Чистилище в литературе и искусстве раннего христианства и средних веков», 1958, № 1287—1289; «Апокрифические деяния апостолов Петра и Павла и их отображение в искусстве», 1961, № 1674—1686; «Апокрифические деяния Иоанна Богослова и их отображение в искусстве», 1961, № 1704—1714; «Чудо о змии, Саломея. Легенда и история» и другие). Эти публикации, результатом которых, осмелюсь предположить, должна была стать еще одна книга, были связаны с важным событием биографии графа Зубова — 16 марта 1961 года он вместе со своим другом с юных петербургских лет, искусствоведом А.А. Трубинковым, был посвящен в ложу «Юпитер».

Через год после посвящения он был удостоен 2-й степени (в 1962 году ложа «Юпитер» соединилась с ложей «Лотос»), а еще через год — 3-й степени. В этот период Зубов уже читал лекции в Мюнхенском университете, и на Совете Объединения русских лож и русских мастерских высших степеней на праздновании Иоаннова дня выступил с докладом «Иоанн Креститель в истории, легенде и искусстве» (1962), в котором он, очевидно, опирался на мате-

риалы цикла своих статей, опубликованных годом ранее.

Еще через год произошло объединение «Юпитера» с ложей «Астрея», в результате которого была образована ложа «Совершенствования» («Друзья Любоумудрия»). На ее заседании 10 декабря 1963 года Зубов сделал доклад «Понятие Великого Архитектора Вселенной». Очевидно, к этому времени он занял здесь ведущее положение.

Через два года, в 1965 году, произошла реорганизация масонских лож — 33 «брата» (в том числе В.П.Зубов, Г.В.Адамович, М.И.Воронцов-Дашков и другие) вышли из ложи «Юпитер» и организовали в Париже «регулярную» русскую ложу (новая «Астрея»). А еще через два года возобновились регулярные собрания державного капитула «Астреи». В это время Зубов занял пост его великого секретаря (канцлера). За месяц до смерти, 16 октября 1969 года, он читал здесь доклад «Апокрифы об Успении Богородицы».

*Тамара Исмагулова,
научный сотрудник Российского
института истории искусств*

После захвата о. Мальта Бонапартом — во время его египетского похода в 1795 году — группа сбежавших в Россию рыцарей выбрала императора Павла I Великим Магистром Мальтийского ордена, после того как Фердинанд фон Гомпеш, отказавшийся от титула, был объявлен пропавшим без вести. Незадолго до этого Павел согласился взять на себя протекторат над орденом. Само по себе это еще не было каким-то особенным событием. Почему бы государю — пусть даже и православному — не стать протектором латинского ордена, которому революция нанесла большой урон. Совсем иным делом представлялось избрание на высший пост католического монашеского ордена схизматичного и женатого монарха; папа мог счесть это невозможным.

Пий VI, находившийся тогда в плену, не мог выступить с чересчур резким протестом; кроме того, учитывая многочисленные знаки расположения великого князя по отношению к римской церкви, он хотел избежать скандала.

Павлу казалось, что именно этим околным путем — через Мальтийский орден — он становится ближе к католицизму. Орден давал пищу

его мечтам о рыцарстве. Немалым благоволением Павла пользовался и распавшийся тогда же Орден иезуитов, отдельные члены которого нашли убежище в России еще при Екатерине. Патеру Груберу, генеральному викарию Общества Иисуса, он однажды сказал: «В душе я католик; постарайтесь убедить моих епископов». Его привлекал не только запретный плод, но и мощная структура римской церкви. Авторитет папы соответствовал его представлению о преимуществах единовластия. Эта церковь была организована так же, как и государство, о котором он мечтал: строгая иерархическая структура и абсолютное подчинение одному властителю, чьи авторитет и святость непререкаемы. С согласия царя патер Грубер, по-видимому, разработал проект воссоединения церквей; говорят, что для некоторых русских духовных сановников эта идея была не лишена привлекательности.

В России не было папского нунция. После раздела Польши при Екатерине и инкорпорации многочисленного католического населения переговоры стали необходимыми. Тогда в Петербург приехал чрезвычайный апостолический делегат — монсьеор Аркетти, однако после его отъезда еще многие вопросы остались нерешенными. Сразу после восшествия на престол Павел пригласил нового апостолического делегата. Выбор Пия VI пал на монсьеора Лоренцо Литту, чей брат, граф Джулио Литта, бальи Мальтийского ордена, находился в России еще со времени правления Екатерины. Не обладая званием нунция, монсьеор Литта был им де-факто. Император принял его, оказывая знаки высочайшей благосклонности и даже благодеяния материального характера, так как печальные обстоятельства, в которых тогда пребывал святой отец, не позволяли ему обеспечивать содержание нунциатуры. Император в деликатной манере взял на себя расходы, не задевая достоинства курии. Кроме этого, Павел предложил Пию VI убежище в своем государстве.

Брат нунция, бальи Джулио, был главным инициатором избрания императора Великим Магистром. Не получив благословения святого отца, нунций дал свое согласие и даже принял великий крест ордена из рук нового Великого Магистра. Узнав о неслыханном — согласно каноническому праву — избрании, которое к тому же было совершено пусть многочисленной, но все-таки лишь одной группой рыцарей, а не гене-

ральным капитулом, как того требовал устав ордена (капитул не мог быть собран из-за политической ситуации), папа, как высший глава ордена, отказался признать это избрание. По названным причинам был желателен максимально конфиденциальный подход к делу. Однако во Флоренции, где Пий VI находился в монастыре Чертоза в качестве французского пленного, тайна, по-видимому, была разглашена, и об этом стало известно в Петербурге. Здесь узнали об ответе, который должен был получить нунций, и когда пришло письмо с инструкциями, оно было передано ему уже в распечатанном виде одним из членов Коллегии иностранных дел. Гнев Павла обратился не на папу, а на монсьеора Литту и его брата. Император считал, что нунций дал согласие на его избрание умышленно, чтобы скомпрометировать его в глазах других, зная с самого начала, что Пий VI отвергнет это избрание. В течение суток монсьеор Литта был выслан из столицы и в сопровождении офицера полиции привезен на границу. Но этот инцидент ничего не изменил в отношении Павла к папе. Виновными были нунций и его брат, которого сослали в его российское поместье. Между тем Пий VI умер, за ним последовал и кардинал Чиарамонти (Пий VII). И тому, и другому Павел предлагал убежище. В одной беседе с патером Грубером он сказал: «Если папе нужно убежище, я приму его как родного отца и сделаю все, что в моих силах, чтобы его защитить». В таком же духе он писал и неаполитанскому королю.

Здесь нужно упомянуть о недавней сенсационной находке, которая разрешила все существовавшие ранее сомнения, касающиеся отношения Павла к католической церкви. Патер М. Руэ де Журнель (член Общества Иисуса), директор Славянской библиотеки в Париже, нашел в Неаполитанском государственном архиве (среди документов, поступивших туда лишь в 1963 году из владений герцогов Руффо ди Калабрия) рассказ неаполитанского посла при русском дворе, Антонио Мареска Дука ди Серракаприола (1750—1822), занимавшего этот пост почти сорок лет. Император был к нему расположен.

По свидетельству Серракаприола, 5(17) ноября 1800 года его пригласили в Зимний дворец и провели к императору по особой лестнице. Павел попросил его оставить официальный тон, пожелав говорить с ним как с другом. Еще до начала раз-

говора оба преклонили колени перед алтарем и просили Божьей помощи в том деле, о котором должна была пойти речь. Павел также попросил его дать слово чести, что все сказанное останется тайной, а возможная корреспонденция, адресованная неаполитанскому двору, будет отправлена не обычной почтой, а со специальным курьером. (Император, очевидно, знал, как его почтовая служба обходится с корреспонденцией иностранных дипломатов.) Он сказал также, что ожидает соблюдения конфиденциальности и со стороны неаполитанского двора. Император признался, что душа его охвачена горячим стремлением, что перед ним стоит великая задача — воссоединение церквей, которые веками были разделены; сегодня ему ясно, что вновь обретенное единство принесет обильные и благословенные дары. Павел признался и в том, что в течение долгого времени размышляет над этой проблемой, над трудностями ее решения, а также над причинами его намерений. Десять миллионов его римско-католических подданных (цифра значительно завышена) заслуживают его внимания. Прочие же подданные исповедуют православную веру, но и здесь нет единства. (Вероятно, Павел имел в виду староверов.) Он сказал, что для политического благополучия его империи и других держав это объединение необходимо; он намерен бороться с ложными идеями современной философии, с нечестием и безбожием (правда, для ученика Монтескье эта позиция представляется непоследовательной). В католической церкви его привлекает незыблемость принципов, что в настоящее время, более чем когда-либо, кажется ему необходимым для его целей. По признанию Павла, он давно уже питает известную склонность к католицизму и много лет назад, в 1782 году, в Риме, он говорил об этом с Пием VI. В Петербурге он не только разрешил, но и поддержал открытие коллегии иезуитов, и, по его словам, намеревается доверить им новых воспитанников с надеждой, что русской молодежи будут привиты те принципы, которые он желает видеть в своих подданных. Также он заметил, что в одном пункте он учитывает благополучие католической церкви более, чем собственную выгоду или свои честолюбивые цели. Это вопрос о звании Великого Магистра Мальтийского ордена, два года назад вовлекший его в конфликт с Римом. «Смотрите, — сказал он Серрака-

приоле, показывая на мальтийский крест на своей груди, — я мог бы считать этот почетный знак ненужным; российский император в нем не нуждается; но желание сделать более понятным для моих подданных все, что может служить прославлению религии и великих деяний, — вот причина известных вам дел, которые я творил в течение трех лет на благо Ордена рыцарей Св. Иоанна, а зна-



Памятник императору Павлу I.
Скульптор И.П. Виттоли.
Копия. 1872 г.

чит, и на благо католической церкви, а также ради создания нового союза и сближения обоих вероисповеданий». Впрочем, по его словам, он не думает каким-либо образом оспаривать высший — собственно религиозный — авторитет папы над орденом; он только хотел бы, чтобы его признали Великим Магистром «лишь в политическом смысле», «но все же и в каком-либо ином качестве». Сообразно поведению императора, последние слова Серракаприола интерпретировал следующим образом: «Он хотел, чтобы его признали католиком».

Просьба Павла, обращенная к послу, гласила: Испания находится под влиянием своего духовенства, которое относится к его избранник Великим Магистром наиболее враждебно; пусть Серракаприола изложит своему королю, Фердинанду IV, чувства и высокие цели императора, чтобы тот передал их своему брату,

королю Испании Карлу IV. Тогда последний мог бы, со своей стороны, склонить папу к признанию Великим Магистром монарха, считающего себя «католиком в душе» и намеревающегося стать им в действительности, как только восстановится желаемое им единство церкви.

Серракаприола осмелился возразить, что Испания, собственно, для этой цели не нужна. Было бы лучше устроить переговоры непосредственно между Фердинандом и папой или — еще лучше — доверить дело крупному государственному деятелю кардиналу Руффо, который в настоящее время является его министром при Святом Престоле. После некоторых возражений Павел одобрил предложение посла и попросил его обобщить все, что обсуждалось, в ноте, а затем представить ее ему лично на следующей аудиенции, которая состоялась двумя днями позже. Препариатура нота понравилась царю, но когда Серракаприола прочел: «На этом основании Его Императорское Величество готовы всеми своими чувствами присоединиться к догмам и предписаниям Святой Католической Апостольской Римской Церкви, признать в качестве бесспорного главы этой церкви папу Пия VII и его законных наследников и вместе с Его Святейшеством осуществлять объединение обеих названных церквей...» — император прервал его словами: «Значит, вы хотите сделать из меня отступника?» Смысл возражения состоял в том, что для него речь шла не об обращении в другую веру, или, как он говорил, об апостасии, а о воссоединении, т. е. о признании новой церкви Христа, которая обрела свою цельность. При этом он надеялся на то, что ключ к решению мальтийского вопроса будет найден, поскольку в момент воссоединения он уже перестал бы быть схизматиком и ничего не стояло бы на пути признания его Великим Магистром. Вместе с тем Павел забывал, что он был не монахом, а женатым человеком. Вероятно, в этом вопросе в конце концов выход нашелся бы. Серракаприола внес в свою ноту желаемые изменения и снова прочел ее. Тут Павел задумался. «Я полностью одобряю ноту, — сказал он, — но не спешите ее отправлять». Он опасался нарушений конфиденциальности при римском дворе, испытывающем слишком значительное влияние Вены, нарушений, которые могли повредить ему в собственной стране; это также было причиной, по которой он не обратился прямо к папе и

предпочел окольный путь — через Неаполь. Пусть посол сначала напишет своему королю и представит ему общую картину; лишь получив положительный ответ, ноту следует отправить. Очевидно, что — если того требовали обстоятельства — этот человек, обычно импульсивный и торопливый, мог побороть свое нетерпение и быть осторожным. Это еще одно свидетельство того, что он не был сумасшедшим.

Неаполитанский государственный архив не содержит более материалов, которые могли бы рассказать нам о дальнейшем ходе дела, но папер Руэ де Журнель обнаружил в архиве Ватикана записку кардинала Руффо кардинал-статс-секретарю Консалы от 7 февраля 1801 года, содержащую просьбу к последнему устроить ему в тот же вечер аудиенцию у святого отца, с которым он якобы должен поговорить о предмете «чрезвычайной важности».

Вполне вероятно, что именно к этому делу, о котором не узнал даже Консалы, относятся документы Неаполитанского архива. Ничего более нам не известно.

Ответ из Рима, который должен был передать король Фердинанд, находившийся вследствие политической ситуации в Палермо, не смог прийти в Петербург раньше 11(12) марта — дня смерти Павла.

Возникает вопрос: были ли причиной мальтийского инцидента католические убеждения Павла, или он пришел к идее объединения церквей уже будучи Великим Магистром? Лично я не сомневаюсь в последнем. Если я вообще и уделил его отношениям с римской церковью и с орденом столько внимания, то потому лишь, что они — как мне кажется — более, чем все остальное, отражают мечтательную натуру царя, впрочем, как и его стремление играть такую роль, которая, где это только возможно, усилила бы его значение как властителя самой большой империи мира и подарила бы ему пусть и эфемерное, но международное признание.

Впрочем, каким бы фантастическим ни казалось дело, касающееся звания Великого Магистра, оно содержало в себе рациональное зерно. Утвердиться на о. Мальта означало для России открыть неожиданные возможности в мировой политике; она стала бы средиземноморской державой. Равноценным завоеванием, в определенной степени, стал бы выход к морским проливам, получить который Россия стремилась начиная с XVI века. Подобные

мечты были и у великой реалистки Екатерины, и англичане, склоняя ее к войне со своими американскими колониями, предлагали ей блестящую приманку — Минорку.

Павел открыл новую эпоху во внутренней политике, введя принцип законности; однако и во внешнеполитических вопросах он руководствовался понятиями, которыми прежде пользовались редко. Дипломатия XVIII века подчинялась исключительно национальным либо династическим интересам. Павел же видел цель истинной политики в защите этических ценностей. В этом он очень отличался от своей матери. В его глазах святость принципов и справедливость стояли выше личных целей. Такое мироощущение побуждало его помогать Австрии в минуту опасности и поддерживать Англию до тех пор, пока он считал, что речь идет о защите прав голландского престола. Его разочарование было велико, когда он понял, что его союзники преследуют лишь мелкие личные интересы. Тогда он отвернулся от них, оставшись верным себе. Это и было началом той драмы, которая составляет предмет данного исследования. Две группировки действовали против него заодно: центр одной из них находился за границей, другая действовала внутри страны. Франция и Англия, давние соперницы, вели скрытую борьбу, ареной которой был русский двор, а залогом — жизнь царя.

Как раз к этому времени над Францией вошла звезда Бонапарта. В нем, показав себя меньшим легитимистом, чем можно было бы ожидать, Павел увидел «короля» Франции, который будет им «не только номинально, но и де-факто». Важной для него была идея «власти одного», монархический принцип в прямом смысле. Первый консул, в свою очередь, оценил благородство и рыцарственность российского императора и обдумал, какую выгоду он может из этого извлечь. Искусным жестом он завоевал сердце Павла: безо всякого встречного иска он вернул России солдат, плененных французами в Голландии, снабдив их новой одеждой и оружием.

Позже, находясь на о. Св. Елены, Наполеон говорил Лас Касесу: «Я сразу понял натуру Павла и воспользовался счастливым случаем... Это мужественное сердце стало моим; а поскольку у меня не было интересов, противоречивших интересам России, поскольку я никогда не имел в виду ничего иного, кроме справедливости и добропорядочного обра-

за жизни, нет сомнений в том, что петербургский кабинет и впредь был бы в моем распоряжении».

Между тем Англия вызвала крайний гнев Павла, заняв 6 сентября 1800 года о. Мальту, отвоеванный Бонапартом у рыцарей Ордена Св. Иоанна Иерусалимского во время его египетского похода. Император считал, что остров принадлежит ему, Великому Магистру ордена.

Сохранилась записка Павла, в которой он предлагал первому консулу всю русскую армию, чтобы изгнать англичан из Индии, при условии, что Наполеон помешает им мновать пролив и закрыть Балтийское море. Фактически это было слабым местом России, и Павел, несмотря на частые упреки, не мог этого не учитывать. Далее, в бумагах шведского посла в России, барона фон Штедингга, содержится проект договора между Павлом и первым консулом, касающийся завоевания Индии. Похожий подробный договор был опубликован в 1840 году, к сожалению, без указания источника. Поскольку в архиве Французского министерства иностранных дел нет соответствующего документа, мы не знаем, существовал ли он в действительности. Согласно этому договору, русская армия должна была соединиться в Таганроге с пришедшими через Дунай и Черное море войсками республики. Отсюда планировался совместный поход в Индию. Все вопросы вооружения и продовольствия описаны детально. Создается впечатление, что текст подлинный, однако сам документ отсутствует.

Мы не станем обсуждать здесь стратегическое значение плана. Укажем лишь на то, что предполагаемый индийский поход, который всегда представляли плодом помешательства императора, был, вероятно, не такой уж нелепой идеей. Ведь его одобрил величайший гений военного дела; он даже принял участие в его разработке и этому есть неоспоримые доказательства. Ранее историки, которые не могли отрицать самого факта, пытались умалить значение этого плана и, насколько возможно, обойти его молчанием. Провозглашался подход, доказывающий безумие Павла любыми средствами. Несмотря на то, что наш источник не подтверждает наличие полного, изданного в 1840 году, текста, мы знаем о существовании детально составленного договора. Сообщение об этом исходит от компетентнейшего лица — самого Наполеона.

О'Меара*, его врач-ирландец, вспоминает два разговора, случившихся на о. Св. Елены: «14 февраля 1817 года. Я завтракал с Наполеоном. Мы беседовали о России. "Если бы Павел был жив, — сказал он, — до заключения мира с Англией оставалось бы недолго. Вы были бы не в силах оказывать длительное сопротивление объединенным державам Севера. Я писал Павлу, что ему нужно лишь продолжать строительство кораблей и одновременно пытаться объединить против вас Север, не допуская сражений, поскольку англичане их бы выиграли, но вас, вас самих брать на измор и использовать все средства для создания крупного флота на Средиземном море". Я спросил Наполеона, верит ли он, что Павел был безумен. Он ответил: "Я полагаю, что в последнее время — да. Сначала он резко выступал против революции, предвзято относился ко всем ее участникам, но, в конце концов, я вразумил его и изменил его взгляды. Если бы Павел был жив, вы бы уже потеряли Индию. Мы договорились с ним напасть на нее. Я предложил план. Я обязался послать 30 000 хороших солдат; он должен был предоставить столько же, а также 40 000 казаков. Я был готов дать 10 миллионов на покупку верблюдов и всего необходимого для пересечения пустыни. Мы должны были вместе попросить прусского короля позволить нам прохождение войск через его территорию, на что получили бы немедленное согласие. Одновременно я обратился с такой же просьбой к персидскому королю, который тоже не отклонил бы ее, хотя переговоры об этом еще не были окончены; но успех был ожидаем, ведь персы тоже хотели избежать из этого выгоду. Мои войска направились бы в Варшаву, где русские и казаки соединились бы с ними: отсюда союзная армия должна была двинуться к Каспийскому морю, где планировалось продолжить путь, где планировалось продолжить путь, где планировалось продолжить путь, по морю или по суше. Я опередил вас, отправив посла в Персию с целью соблюдения в этой стране моих интересов". 22 мая 1817 года. После купания Наполеон говорил о России... "Когда вы столь сильно разгневали Павла, он попросил меня разработать план вторжения в Индию. Я послал ему один план с подробными инструкциями (тут Наполеон показал мне на карте различные

пункты, откуда армия должна была начать поход, и намеченные пути). Предполагалось отправиться в Индию из одного порта на Каспийском море". Трудности предприятия Наполеон не рассматривал как непреодолимые; впрочем, он полагал, что преемник Павла воспримет от отца его идеи. О'Меара возразил ему, что расстояние слишком велико, и к тому же у русских, конечно, не было бы денег на такое предприятие. «Расстояние ничего не значит, — сказал император, — продовольствие нетрудно перевозить на верблюдах, а казаки всегда обеспечат его в достаточном количестве. Деньги им выплатят по прибытии; надежда на то, что поход будет молниеносным, подняла бы войско калмыков и казаков и без всяких денег. Пообещайте им разграбление нескольких богатых городов, и тысячи прибегут, чтобы присоединиться...» Эти выдержки из дневника О'Меары как будто доказывают: что бы ни думали о самом плане — Наполеон принимал его всерьез. Мы же, напротив, утверждаем, что этим он хотел лишь расположить к себе Павла. Правда, есть еще и свидетельство Лас Касеса: «Император сказал, что они с Павлом прекрасно поладили бы. Как раз в то время, когда с Павлом случилась катастрофа, император (Наполеон) планировал с ним (Павлом) отправиться в Индию и несомненно убедил бы его совершить этот поход». ** Согласно Лас Касесу, инициатива исходила от Наполеона. Все это действительно не похоже на забаву, как утверждают историки, которые, однако, избегают цитировать тексты О'Меары дословно <...> Нужно признать, что хотя идея и неудачна, но из нее можно заключить, что ее автор, возможно, стратег-дилетант, но никак не сумасшедший. Приведенное выше мнение Наполеона о душевном состоянии Павла было высказано через шестнадцать лет после случившихся событий. Возможно, оно сформировалось под влиянием всего того, что он позднее слышал о России; но и это нельзя считать доказательством. Наполеон не был психиатром. Если бы он считал русского императора сумасшедшим, несомненно, он не согласился бы на совместную индийскую кампанию.

*Перевод с немецкого
Полины Смутьской*

*Барри-Эдвард О'Меара. Наполеон на о. Св. Елены. Т. II. Лондон, 1889. С. 327—328.

**Там же. Т. V. С. 216—217.

Сергей ПЕТРОВ

ХРАМ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА КРОВИ

Убийство по старинке
возвеличь,
до пиршеств, как до пряников,
охочий,
и на поминки выстави ты,
зодчий,
глазурами пестреющий кулич.

А рядом благородно-строгий
сад,
где ходит в липах вечная Расея,
а рядом бесконечного музея
повернут задом, как лицом,
фасад.

А рядом потемнелое стекло
в решетку заключенного
канала,
куда заря, как чайка, окунала —
в чернильницу — поблекшее
крыло.

Ты думаешь, что ты
надгробный склеп.
Но ты стоишь, как пьяный пир
на тризне
в позолоченной ризе-укоризне,
своею русской лепотой нелеп.

Я зодчего-пьянчугу уличу
в обжорстве, но, бредя
поминок мимо,
я одинок здесь, как заблудший
инок,
и помолюсь святому куличу.



Безумное путешествие автора безумного чаепития

Галина УСОВА

— *Добавьте-ка себе чаю, — с величайшей серьезностью обратился к Алисе Заяц.*

— *Мне добавлять не к чему, — обиженно сказала Алиса. — Мне еще никто ничего не наливал.*

— *От ничего нельзя убавить, — сказал Шляпочник. — А добавлять к нему можно сколько угодно.¹*

В 1867 году преподобный Чарлз Доджсон, профессор математики колледжа Христовой Церкви Оксфордского университета, он же только что получивший в Англии известность автор книги для детей «Приключения Алисы в стране чудес», неожиданно отправился в далекое путешествие. Вероятно, это было большой неожиданностью для него самого, ведь он так дорожил своим уединением и строго упорядоченным образом жизни. Ездил, конечно, по разным местам, но никогда не покидал пределов родного острова. Изредка — Лондон, Северная Англия, Озерный Край, Шотландия. И вдруг этот нелюдимый чудак, который снискал среди своих коллег репутацию педанта и чуть ли не зануды, казавшийся неотделимым от торжественно-мрачных средневековых зданий Оксфорда, друживший больше с маленькими девочками, чем с другими профессорами, мало кого впускавший в свою тайную внутреннюю жизнь и, казалось, мало интересовавшийся тем, что его непосредственно окружало, решил на настоящее большое путешествие!

Континент. В ту эпоху это был для англичан совершенно другой мир. Споры нет, доступный, многие ездили в страны Европы — кто для завершения образования, кто для развлечений, кто по делам. Но английские путешественники с давних времен интересовались такими странами, как Франция, Италия, Швейцария. А Доджсон почему-то поехал в Россию. Причина такой экстравагантности была очень простая.

Среди не очень многочисленных оксфордских друзей Доджсона имелся некий Гарри Парри Лиддон (1829—1890), сначала — преуспе-

вающий студент колледжа Христовой Церкви, затем — ректор в том же Оксфорде, активнейший деятель Высокой Церкви.² А главное — это был человек выдающегося острого ума и талантливый проповедник. Впоследствии, в 1870 году, Лиддона назначили каноником собора Св. Павла в Лондоне. А пока, в 1867 году, Лиддон собирался поехать в таинственную далекую Россию. Он имел неофициальное поручение англиканской церкви — служить посредником между нею и деятелями русского православия. Путь предстоял долгий и сложный, и Лиддон пригласил в спутники Чарлза Доджсона, как и он сам, ввиду летнего времени освобожденного от своих обязанностей в Оксфорде. Тот охотно согласился — почему бы не взглянуть на столь экзотические края, если представляется такой удобный случай?

Стремление деятелей англиканской церкви договориться с представителями православной русской веры именно в тот период понятно, если вспомнить, что совсем недавно, с 1853 по 1856 год, между двумя этими странами бушевала Крымская война, после которой у англичан стал возбуждаться интерес к России. В Англии стали знакомиться с русской литературой, народом, обычаями. Тем не менее оксфордский профессор математики Чарлз Доджсон продолжал оставаться в узких рамках своих привычек, интересов и понятий. И даже приняв предложение Лиддона, он не особенно готовился к поездке именно в Россию, хотя Лиддон отмечал, что его приятель с энтузиазмом относится к предстоящему путешествию за границу.

«...Мы выбрали Москву! — записал Доджсон в дневнике в июле 1867 года. — Отчаянная мысль для человека, ни разу не покидавшего Англию!»³ На самом деле, путешествие не должно было ограничиться Россией — да и не свелось к ней одной. На всякий случай Доджсон, собираясь в путь, в июне месяце даже взял четыре урока французского языка тут же, у себя в Оксфорде,

надеясь посетить Всемирную выставку в Париже. Возможно, он не отказался бы заняться и русским, но, по всей вероятности, в доступных пределах не оказалось ни преподавателей, ни учебных пособий... Во всяком случае, нельзя утверждать, что скромный спутник Лиддона совсем не готовился к предстоящему в его жизни событию. А планы были обширные. Лиддон даже предлагал Доджсону после того, как будут улажены дела с русской православной церковью, отправиться дальше — в страны загадочного романтического Востока...

12 июля друзья встретились в Дувре и незамедлительно переправились во Францию. Из Кале, миновав Париж, они поехали по железной дороге через Брюссель, Берлин, Кенигсберг — в Санкт-Петербург.

Доджсон был доволен поездкой. Ему по вкусу пришлось комфортабельные железнодорожные вагоны. И вообще — железную дорогу он любил с детства, она была почти его ровесницей: Чарлз родился в 1832 году, а первые железные дороги появились в Англии в 1830 году. В 1843 году семейство его отца, пастора Чарлза Доджсона, переселилось в Крофтс, между Йоркширом и Дарэмом. В обширном саду пасторского дома старший сын Чарлз постоянно играл в железную дорогу. Поезд он соорудил из ручной тачки, бочки и небольшой тележки, «продавал» билеты в «кассе» и развозил своих многочисленных братьев и сестер по всему саду.

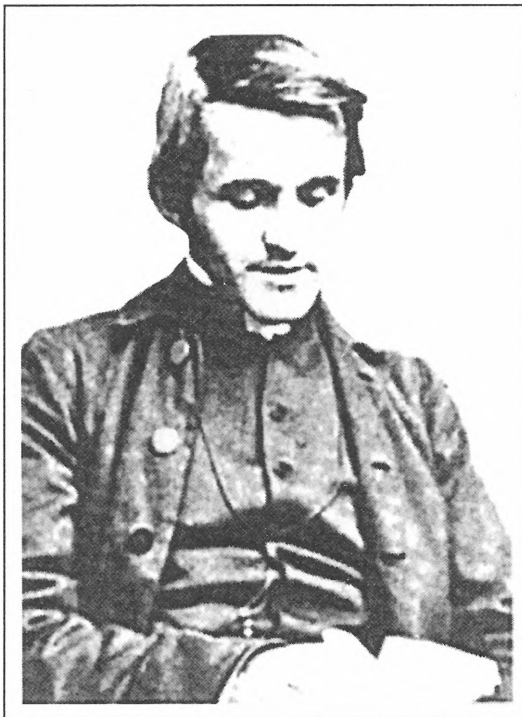
Лиддон вполне разделял с товарищем по путешествию радость от долгой по тем временам дороги. Только в одном они не могли сговориться: Чарлз Доджсон с детства любил театральные зрелища и не мыслил себе жизни без театра. Он даже в своей духовной карьере не пошел дальше диакона, потому что рукоположенному священнику было строжайше запрещено посещать театры. Лиддон же заявлял: «Я ни разу не был в театре с тех пор, как принял сан, и не намерен появляться там до конца дней своих».⁴ Вполне естественно, что Доджсон стремился сходить на

какой-нибудь спектакль в любом городе, где они останавливались, к неудовольствию Лиддона. И еще одна привычка несканозно раздражала Лиддона: его друг беспредельно увлекался фотографией и повсюду отыскивал лавки, где продавали фотопринадлежности, подолгу стоял у прилавков и если не покупал, то внимательнейшим образом рассматривал все, что там продавалось. Надо вспомнить, что работу фотографа середины позапрошлого века не сравнить с теперешней. Маленькие, почти ничего не весящие аппараты, заряженные пленкой в 36 кадров, тогда никому и не снились. Фотограф пользовался громадным тяжелым аппаратом, неуклюжим штативом, громоздкими стеклянными пластинками. Как известно, Чарлз Доджсон, он же Льюис Кэрролл, был одним из лучших европейских мастеров фотографии своего времени, а в съемке детей его безоговорочно признавали первым. Немудрено, что его интересовали любые новые приспособления для фотографии, какие он мог увидеть в других странах, а Лиддону казалось, что они понапрасну тратят время в погоне за ненужными игрушками, он терял терпение, стоя рядом с другом у прилавка и тщетно призывая его поторопиться или поджидая его за дверью на улице. Это было вторым пунктом их разногласий.

В Петербург друзья прибыли 27 июля 1867 года. Оба вели дневники, которые много лет спустя были опубликованы: у Лиддона — в 1904 году, у Льюиса Кэрролла — в 1935-м.⁵

Если впоследствии мы не видим в книгах Л. Кэрролла напрямую никаких упоминаний о России и ее столице, это вовсе не означает, что Петербург не произвел на него впечатления. Конечно, из-за незнания языка писатель не мог общаться с жителями Петербурга (надо еще вспомнить, что в России тогда английский тоже не был в моде и его не изучали повсеместно!), и поэтому ему не удавалось знакомиться с маленькими детьми, что всегда было его любимым занятием на родине, но он живо интересовался нашим городом и его особенностями. Он записывает в дневнике: «Мы едва успели немного прогуляться после обеда, все удивительно и ново вокруг. Необычайная ширина улиц (даже второстепенные шире лиц в Лондоне), крошечные дрожки, бешено шныряющие вокруг, ничуть не заботясь о безопасности пешеходов (мы ско-

ро поняли, что тут необходимо смотреть в оба, ибо они и не подумают крикнуть, как бы близко к тебе ни подышали), огромные и яркие вывески магазинов, гигантские церкви с голубыми куполами, усыпанными золотыми звездами, загадочный гомон толпы — все удивляло и поражало нас во время этой первой прогулки по Петербургу. По пути мы минова-



Гарри Лиддон. 1829—1890 гг.
Спутник Кэрролла во время его единственной поездки за границу, в Россию. 1867 г.

ли часовню, позолоченную и прекрасно расписанную снаружи и внутри — расписание, фрески и пр. Почти все бедняки, проходившие мимо, снимали шапки, кланялись, повернувшись к ней лицом, и часто крестились — странное зрелище в гуще спешащей толпы...»⁶ При всей невозможности общаться с людьми, Кэрролл их внимательно разглядывает и записывает свои наблюдения. Он рассматривает убранство православных соборов, которые кажутся ему «великолепными, но не особенно красивыми». ⁷ Он наблюдает, как бедно одетая женщина присоединяет, возможно, последнюю монетку к другим денежным пожертвованиям в ящик возле изображения святого Петра, надеясь, что святой исцелит ее больного ребенка, — смысл этой сцены, очевидно, кто-то разъяснил приезжему англичанину. «Можно было почти прочесть в ее утомленном и встревоженном лице: она ве-

рит, что это ее действие умиротворит Петра и он поможет ее ребенку»,⁸ — записывает он в дневнике. Но пышность и великолепие русской церковной службы заставляют Доджсона вздохнуть о простых и несложных обрядах его собственной англиканской церкви... Его поражает архитектура Петербурга, это «удивительного города», восхищают его благородные пропорции, он восторгается бесценными коллекциями Эрмитажа и «более других запавшей <...> в память картиной — «Святое семейство» Рафаэля в овале».⁹

Невский проспект он называет «одной из красивейших улиц мира». ¹⁰ Отмечает он в дневнике и Сенатскую площадь и, конечно же, памятник Петру: «Неподалеку от Адмиралтейства стоит великолепная конная статуя Петра Великого. Нижняя ее часть представляет собой не обычный пьедестал, а как бы дикую скалу, оставленную неоформленной и необработанной. Лошадь поднялась на дыбы, а у ее задней ноги извивается змея, на которую, как мне кажется, лошадь наступила. Если бы этот памятник был воздвигнут в Берлине, то Петр, несомненно, был бы самым деятельным образом вовлечен в убийство чудовища. Здесь же он не обращает на змею никакого внимания: теория «умерщвления» в России не признана. Мы обнаружили также две гигантские фигуры львов, бывших до такой степени трогательно ручными, что каждый из них, как котенок, катил перед собой большой шар».¹¹

Такое исключительно мирное истолкование хорошо известной всем нам нашей городской скульптуры, увиденной свежим взглядом иностранца, небезынтересно. Друзья посетили и Петергоф, отправившись на небольшом пароходике по Финскому заливу. Кэрролл увлеченно описал в дневнике петергофские парки, их аллеи и скульптуры, отмечая, что эти парки отличаются «разнообразием и безукоризненным сочетанием красок и природы, и искусства, затмевающих парки Сан-Суси». ¹² Описание Петергофа заканчивается словами: «Все это далеко не передает того, что мы видели, но будет служить мне хотя бы отдаленным напоминанием». ¹³ Все это говорит о том, что Чарлз Доджсон вовсе не остался равнодушным к увиденному, что ему хотелось иметь «хотя бы отдаленное напоминание» о своей поездке.

На время друзья покинули рус-

скую столицу, для того чтобы побывать в Москве, где их тоже ждало немало интересного, а затем посетили Нижний Новгород — специально, чтобы побывать на знаменитой ежегодной ярмарке, представляющей собой яркое и красочное зрелище. Интересно, что Кэрролл, оставаясь верным себе, повсюду, где побывал, прежде всего обращает внимание на смешные и парадоксальные ситуации. Вот какой эпизод в трактире Нижнего Новгорода он описывает со свойственным ему блестящим юмором: «6 августа. Нижний Новгород. Мы отправились в отель Смерновья (Smernovya), название — что-то в таком роде, поистине отвратительнейшее место, хотя, без сомнения, лучшее в городе. Кормили там очень хорошо, а все остальное оказалось очень скверно. Было некоторым утешением заметить, что за обедом мы стали предметом живейшего интереса для шести официантов, одетых в белые куртки, затянутые ремнем у талии, и в белых же брюках; они выстроились в ряд и были совершенно поглощены разглядыванием странных животных, которых кормили у них на глазах. То и дело их охватывали угрызения совести по поводу того, что они не выполняют свою великую жизненную цель в качестве официантов, и в этом случае они мчались со всех ног на другой конец зала, чтобы заняться большим ящиком буфета, где, кажется, не было ничего, кроме ложек и вилок. Когда мы о чем-нибудь просили, они сначала глядели друг на друга с тревожным выражением, а потом, когда убеждались, кто именно из них понял заказ лучше всех, они все следовали его примеру, который неизменно заключался в том, чтобы обратиться к большому ящику буфета».¹⁴ Описание, вполне достойное любого знаменитого эпизода из «Алисы в стране чудес»!

Кэрролл (и в ипостаси Доджсона тоже) был известен как один из самых плодотворных авторов писем. Более всего корреспонденции им, разумеется, написано его любимым детям, но много он переписывался и с многочисленными родственниками — у него было семь сестер и три брата. В полном собрании его сохранившихся писем¹⁵ 1867 год оказывается самым неурожайным по части переписки, и похоже на то, что из России он написал всего одно письмо, адресованное сестре Луизе. И это письмо из Нижнего Новгоро-

да, где брат восхищенно описывает ей не столько знаменитую ярмарку, сколько единственную в городе мусульманскую мечеть, от посещения которой он остался в восторге.¹⁶ Возможно, из-за обилия впечатлений Кэрролл просто некогда было писать письма, тем более, что он стремился аккуратно вести дневник путешествия и прежде всего подробно записывать туда самые яркие



Шарж на Кэрролла, сделанный Гарри Ферникссом.

впечатления. Но возможно, что еще несколько писем, отправленных из таинственной России, просто не сохранились.

После поездки в Москву и в Нижний Новгород Доджсон с Лиддоном вернулись в полюбившийся им Петербург, где провели еще некоторое время и даже съездили в Кронштадт. Там произошел еще один забавный эпизод, и он был связан с незнанием русского языка. Друзья собрались выйти из гостиницы. «Лиддон с утра сдал свое пальто в гардероб. Оказалось, что нужно попросить у горничной, чтобы она его принесла, а она говорила только по-русски. Так как я оставил словарь в Петербурге, а наш небольшой запас не содержал слова «пальто», мы оказались в затруднительном положении. Лиддон начал с демонстрации своего сюртука, сопровождая речь такой оживленной жестикуляцией, что чуть ли не снял его. Нам показалось, к нашему восторгу, что горничная все поняла. Она сейчас же вышла из комнаты и вернулась через минуту — с

огромной щеткой для одежды! На это Лиддон попытался устроить дальнейшую и еще более энергичную демонстрацию: снял сюртук и расстелил его у ног горничной, жестом указав вниз (намекая, что там, в нижнем этаже, находится предмет его вожделений), улыбнулся, выражая радость и благодарность, с которой примет этот предмет; затем снова надел сюртук. Снова вспышка понимания озарила черты юной особы; на этот раз она отсутствовала дольше, а когда вернулась, принесла, к нашему великому разочарованию, большую и маленькую подушки и начала готовить диван к дневному отдыху — теперь-то она ясно поняла, чего хотел немой джентльмен. Счастливая мысль озарила меня, и я поспешно нарисовал шарж, изображающий Лиддона в сюртуке, принимающего пальто из рук благожелательной русской крестьянки. Язык иероглифов возымел успех там, где все иные средства потерпели неудачу, и мы вернулись в Петербург с постыдным ощущением того, что наш уровень цивилизации теперь принижен уровнем древней Ниневии».¹⁷

При всем незнании русского языка и при всех безусловных трудностях, возникавших по этой причине у путешествующего англичанина, Кэрролл, тем не менее, не относился к этому языку вовсе без внимания и интереса. Так, он был поражен длиной русских слов по сравнению с английскими, и это показывает, что он в них вслушивался. В одной из гостиниц кто-то научил его трудному слову — «защищающихся» и переписал для него это слово латиницей: «zashsheeshtshayoushtsheekhsya». Кэрролл старательно переписал это диковинное словечко себе в дневник вместе с объяснением: «Сие устрашающее слово есть родительный падеж множественного числа причастия и означает «тех, кто себя защищает»».¹⁹ И еще один эпизод, связанный с интересом к русскому языку и демонстрирующий, насколько Чарльз Доджсон запомнил по-русски то, что связано с его любимой математикой (во всяком случае, с числительными!). Когда однажды «ради праздничка» извозчик запросил «тридцать», его пассажир уверенно поправил: «Dwadzat».

В Петербурге, как и в других городах, Кэрролла интересовали магазины, где торговали фотографическими принадлежностями, к великому неудовольствию его спутника. В особенно сильное раздражение при-

шел однажды Лиддон, когда Доджсон потратил три с четвертью часа на фотографирование дома, который они называли «русским коттеджем», где-то на окраине Петербурга. Интересно, что это был за дом? Пока мы этого не знаем, но сам факт говорит о том, что добросовестный и искусный фотограф во время путешествия делал снимки, которые, возможно, где-то сохранились и еще ждут своего часа быть опубликованными.

Расхождение между друзьями сделалось еще больше, когда на обратном пути Кэрролл отправился в театр в Париже (разумеется, в одиночестве!): он посмотрел какой-то водевиль, а потом еще — концерт под открытым небом на Елисейских Полях. Этого Лиддон ему не простил. Наиболее сильные чувства Кэрролл испытал уже на обратном пути, на палубе парохода, пересекающего пролив, когда его взору предстал Дувр «и милая отчизна словно раскрывала объятия, принимая своих спешащих домой детей. Что же, это совершенно нормальное ощущение человека, возвращающегося на родину после долгого отсутствия (а Кэрролл отсутствовал два месяца: он ступил на английский берег 14 сентября), и такая запись вовсе не говорит о том, что путешественник не получил никаких впечатлений и остался равнодушен ко всему, что за это время увидел.

То обстоятельство, что поездка в Россию никак не отразилась непосредственно в его творчестве, тоже еще ничего не означает. Не каждый ведь способен после заграничного путешествия написать «Чайльд-Гарольда» или «Дон Жуана», да это и не нужно. Безусловно, любое путешествие, любая, даже самая короткая поездка откладываются в душе у совершившего их человека, и возвращается он несколько другим, чем уезжал. Жаль, конечно, что Льюис Кэрролл так мало и так затруدنно общался с населением Петербурга и других городов, в которых побывал в России. И еще более жаль, что ему не суждено было приехать к нам, в Россию, лет через сто, когда он смог бы убедиться, что имеется далеко не один перевод его «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» на этот хитроумный русский язык, который вовсе не так скверно справился с передачей многочисленных парадоксов, богатой игры слов и искрометного юмора автора. Ведь в 1867 году в России был совершенно неизвестен писатель Льюис Кэрролл, а в 1967-м вряд ли можно было найти

ребенка, который рос бы без общества девочки Алисы, Белого Кролика, чихающей Герцогини, Шалтая-Болтая, Королевы Черных и, конечно же, Чеширского Кота с его знаменитой улыбкой, способной неожиданно появляться совершенно самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Кэрролл Льюис. Приключения Алисы в Стране чудес. Перевод А.Щербакова. М., 1977. С. 95—96.

²Высокая Церковь — направление в англиканской религии, тяготеющее к католицизму.

³Цитируется по книге Дж.Падни «Льюис Кэрролл и его мир». М., 1982. С. 110.

⁴Там же. С. 110.

⁵John Octavious Johnston. Life and Letters of H. P. Liddon; The Russian Journal and Other Selections from the Works of Lewis Carroll. New York, 1935.

⁶Демурова Н.М. Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества. М., 1979. С. 37.

⁷Thomas, Roland. Lewis Carroll. A Portrait with Background. London, 1996. P. 201.

⁸Ibid. P. 201.

⁹Демурова Н.М. Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества. М., 1979. С. 37.

¹⁰Там же. С. 37.

¹¹Там же. С. 37.

¹²Там же. С. 37.

¹³Там же. С. 38.

¹⁴Reed, Langford. The Life of Lewis Carroll. London, 1932. P. 48.

¹⁵The Letters of Lewis Carroll in Two Volumes. London, 1979. T. 1. P. 106.

¹⁶Ibid. P. 106.

¹⁷Ниневия — область древней Ассирии.

¹⁸Демурова Н.М. Льюис Кэрролл... С. 38.

¹⁹Урнова Д.М. Как возникла страна Чудес. С. 19—20. Падни Дж. Льюис Кэрролл и его мир. С. 110.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Кристина ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС

Покинув подмостки дождя,
на которых оно разыграло
спектакль,
небо нас пропускает сквозь
пальцы,
падает к нашим ногам,
забрызгивает автомобили,
просачивается сквозь крыши
и все кругом затопляет —
так оно аплодирует самому себе.

Потом оно умирится
и испаряется.
И лишь остается облако —
обрывок зыбкий, безвестный,
вести небесной.

ПАРК

В дальней аллее парка
одинокая тень
задевает деревья,
и те осыпаются
тишиной.
Сколько детских сокровищ
лежит под ногами!
Разноцветные шарики,
перышки, заколки,
пластмассовые динозаврики —
на мелком гравии,
под внезапным ветром,
который его будоражит,
пронизывая каждую находку
лучиком колеблющейся пыли.
Стоит взгляду коснуться
каждой из этих потерь,
как он покрывается
драгоценной патиной
и сохраняет
в укромных уголках сетчатки
отпечатки
мгновенья.

Перевод с французского
Михаила Яснова



Серapiионы: в Питере и в Европе

(Сюжеты навскидку)

Борис ФРЕЗИНСКИЙ

Применительно к XIX веку тема «Русские писатели и Европа» (в немалой степени фрагмент темы «Санкт-Петербург и Европа») — многоаспектна: влияние западной литературы (и шире — западной мысли) на творчество русских писателей; жизнь Европы в их книгах; поездки и путешествия русских литераторов; их личные и творческие европейские связи и т.д. Многоаспектность темы сохранялась и в начале XX века — вплоть до Первой мировой войны (недаром говорили, что некалендарный XX век начался в 1914 году). Война и спровоцированная ею революция картину жизни полностью изувечили. В самое пекло военных и революционных событий литература, как ей и полагается в такие времена, с авансены общественной жизни перебралась, ожидая своего часа, в слабо освещенные закоулки. Окончание боевых действий возвращению русской литературы на авансцену в прежнем ее качестве отнюдь не означало. К 1924 году, когда нэп был еще в разгаре и обывателю казалось, что революция как-то поутихла, до пишущей братии дошло: русская литература в России уже не будет свободной, и граница России с Европой закрыта всерьез (литературная продукция все более тщательно цензурировалась, поездки писателей за границу стали штучными и, как теперь выражаются, адресными, международная почта основательно перлюстрировалась, приглашения зарубежных коллег в гости оставались неосуществимыми). Вот что, а вовсе не нэп, как обещал Ленин, оказывалось «всерьез и надолго».

Действительно, всего через пять лет (в 1929 году) сформировалась в России диктатура одной личности (одной, отдельно взятой — как сама эта личность любила выражаться с нелюбимым теперь российской публикой акцентом). Ну, а еще через пять лет, когда русская литература стала официально именоваться «советской», тема «Советские писатели и Европа» наполнилась содержанием уже сугубо формальным, официальным, сводясь, в лучшем случае,

к одиночным, контролируемым сверху спецсюжетам. Биение пульса литсвободы по временам оказывалось столь слабым, что требовался изощренный слух для его обнаружения, фактически же следовало пользоваться врачебным зеркалом, поднося его к остывающим устам...

Перейдем, однако, к Серapiионовым Братьям — т.е. переберемся в обезлюдивший Петроград самого начала 1920-х годов, когда о предстоящих литературе испытаниях догадывались немногие. В Петрограде, вопреки всему, продолжалась литературно-художественная жизнь. Осуществлялась она, главным образом, в Доме литераторов и в Доме искусств силами не только почтенных деятелей пера, оставшихся без газет, журналов и книгоиздательств, а потому на дух не принимавших новый режим и нетерпеливо ожидавших его краха, но и особенно заметной на фоне «мэтров» литературной учащейся молодежи. Подчеркну, что речь здесь не о пролетарской молодежи (ее призывно вовлекали в Пролеткульт на предмет тепличного, а потому неэффективного, выращивания будущих писателей, генетически преданных коммунистической власти) — нет, речь о непролетарской молодежи, относившейся к новому режиму не обязательно враждебно, скорее критично (режим, в свою очередь, относился к ней настроенно по простой причине социально сомнительного ее происхождения). Часть этой непролетарской молодежи уже имела нешуточный в ее возрасте опыт участия в военных, а не литературных, боях, хотя и успела еще до винтовок и пулеметов отметить перед самой войной в разнообразных российских «Сатириконах». Понятно, что эта литмолодежь стремилась овладеть профессиональным мастерством, чтобы по-новому отражать в слове только что пережитое и ею самой, и страной в целом. Что касается естественного желания не только писать, но и печататься, то оно оказалось тогда вполне нереальным: жалких бумажных и типографских возможностей города едва хватало

лишь на Агитпроп и еще более бездарный Пролеткульт. Застрававшие же в городе профессионалы пера отошедшей эпохи (писатели, филологи, историки, переводчики) с 1918 года существовали без возможности печататься и без каких-либо перспектив по этой части.

Единственным в Петрограде, кто действительно печалился об их судьбе, был Максим Горький — именно в силу этой действительности, а не своего художественного авторитета, ставший центральной фигурой в общественно-художественной жизни города первых пореволюционных лет. Имея не простые, но отнюдь не враждебные и, уж конечно, не формальные отношения с лидерами новой власти, Горький сумел помочь интеллигенции города выжить, т.е. получить от властей свой кусок хлеба.

Проблема питерской непролетарской молодежи и ее литературных устремлений была оценена Горьким как проблема не сразу. Создав для поддержки городских гуманитариев издательство «Всемирная литература» и поставив перед ним грандиозную задачу дать современному читателю все памятники мировой литературы в русских переводах, Горький убедился, что для реализации его плана попросту не хватает переводчиков. Так, с подачи Гумилева, Горьким была создана литературная Студия подготовки переводчиков. Она расположилась в доме Мурузи на Литейном (потом перебралась в дом купцов Елисеевых на углу Невского и Мойки, где Горький создал Дом искусств), и занятия со слушателями в Студии вели Гумилев, Лозинский, Корней Чуковский, Замятин, Шкловский, Эйхенбаум...

Вот когда литературные интересы части питерской литмолодежи получили возможность проявиться публично... Историю возникновения первой в послереволюционном городе (да и в стране в целом) литературной группы один из ее инициаторов — Михаил Слонимский — спустя восемь лет излагал так: «Просто десять человек, из которых младшему было восемнадцать, а старшему двадцать восемь, встречаясь в обеспеченном

дровами и электрическим светом “Доме Искусств”, сдружились, выяснив, что все они — одинаково, но каждый по-своему — любят литературу и хотят работать в ней. Естественно, они пожелали встречаться друг с другом почаще и читать друг другу написанное.¹ Далее были перечислены эти «десять человек»: прозаики Константин Федин, Все-

Если дата рождения Серапионовых Братьев общепризнана, то столь же определенной даты кончины группы никто не знает: называют и 1926-й, и 1929-й, и даже 1932-й годы.³ По существу, слухи о смерти группы «Серапионовы Братья» возникли уже к концу 1923 года, а то и раньше, так что май 1924 года, когда в Питер из Гамбурга пришло из-

ли и веселились, старательно обходя «вопросы литературы».

Вот почему слово «Серапионы» в заголовке нашей статьи означает не столько группу, сколько отдельно взятых (в смысле т. Сталина, а не т. Ежова) писателей, объединенных в 1921—1923 годах единством интереса, а потом, еще достаточно долго, сохранявших литературную дружбу. Слово «литературную» тоже уточню, сославшись снова на Федина (теперь уже не на превосходную его книгу «Горький среди нас», а на дневниковую запись 1945 года): «... моя связь с серапионами носила окраску совершенно литературной дружбы и строилась на понимании мастерства, на литературном родстве, даже, пожалуй, на литературной биографии. А дружба сердечная, человеческие привязанности, “приязни” росли на другой почве, в стороне от “единомышленников”».⁵

Тут, правда, придется заметить, что и слово «единомышленники» применительно к Серапионам не вполне точно, даже если речь идет о тех самых 1921—1923 годах, потому что с самого начала выделялись у Серапионов два идейных крыла, западное и восточное, и некий центр. Серапионы-прозаики распределялись по этим трем «направлениям» так: западники — Лунц, Каверин и Слонимский; восточники — Вс. Иванов и Никитин; центр — Зошенко и Федин. (Несколько иное распределение прозаиков дает Лунц, отводя Слонимского в центр, а Федина к восточникам;⁶ другую, скорее в историко-партийном, а не в историко-литературном духе, классификацию спустя 20 лет предложил Федин, поделив Серапионов на «веселых “левых”», во главе с Лунцем, и серьезных “правых” — под усмешливым вождением Всеволода Иванова⁷.) Если говорить весьма упрощенно, то западники считали, что нужно учиться у западной литературы, восточники, что — учиться не нужно, а надо писать; центристы считали, что учиться нужно, но у русских классиков.

В рамках нашей темы такое структурирование группы, может показаться, сужает количество мыслимых сюжетов. Подчеркнем, однако, что, независимо от внутренних литературных споров, конкретные европейские сюжеты легко выстраиваются применительно к каждому Серапиону (даже к Зошенко — писателю, литературно наиболее оригинальному, создавшему свой язык и узнаваемому по любой строчке), а вовсе не только — к их западному крылу. Не будем гнаться за



Сидят (слева направо): М. Слонимский, Е. Полонская, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Зошенко. Стоят (слева направо): Л. Лунц, Н. Тихонов, К. Федин, И. Груздев, В. Каверин. Петроград, 1922 г. Фото М. Нанпельбаума.

волод Иванов, Михаил Зошенко, Лев Лунц, Вениамин Каверин, Николай Никитин, Михаил Слонимский; поэты Елизавета Полонская и Николай Тихонов; критик Илья Груздев (действительно, таков был состоявшийся к 1923 году состав группы «Серапионовы Братья»).

Общепризнанной датой рождения этой первой в послереволюционной России литературной группы является 1 февраля 1921 года. Хотя если б удалось взглянуть из машины времени на тот день и первое «организационное» собрание литкружка в питерском Доме искусств, то половины перечисленных в списке Слонимского лиц на собрании не обнаружилось бы (они вошли в группу в разное время позже) и, напротив, мы увидели бы некоторых участников собрания, справедливо считавших себя в ту пору основателями группы, которые отсутствуют в приведенном списке (например, Виктор Шкловский, Владимир Познер, Николай Чуковский...) — за разъяснением этого и вообще за подробностями и справками отсылаю читателей к своей книге «Судьбы Серапионов».²

вестие о смерти Льва Лунца, на самом деле справедливо можно считать вполне жирной точкой, завершившей недолгую хронологию совместной истории Серапионов. Правда, через двадцать лет вспоминая 1924 год и поминки по Лунцу, К. Федин утверждал: «Его уход объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, и это был апогей нашей дружбы, ее полный расцвет, и с этого момента, с этого года кольцо начало слабеть».⁴ Но «объединить» можно лишь разъединившихся, к тому же, замечу, эти высокаторжественные слова относятся только к одному, тяжкому для всех Серапионов, дню, к естественному для того момента всплеску эмоций (дело было то ли в кафе, то ли в пивной на углу Невского и Троицкой, где поминали Лунца). Конечно, Серапионы, продолжали существовать и ежегодно 1 февраля радостно праздновать очередную свою годовщину — только группы уже не было, каждый существовал сам по себе и написанное каждым уже сообщало не обсуждалось (как сначала — непременно, пылко и заинтересованно), а просто пи-

полнотой сюжетов — дефицит журнального места в парадном (для Питера) номере все равно этого не позволит. Ограничимся несколькими, безусловными, «случаями».

Начнем, естественно, с западного крыла, затем перейдем к восточному, центру и, наконец, к отпавшим...

ЗОВУЩИЙ «НА ЗАПАД!» ЛЕВ ЛУНЦ

Западное крыло Серапионов возглавлял Лев Лунц. Будучи студентом-филологом Петроградского университета, он профессионально изучал западную литературу (особенно тщательно и влюбленно — испанскую). Большинство литераторов еще помнили недавно отошедший век, принесший русской литературе мировую славу и всеобщее признание. Однако время на месте не стояло, и умиление сменилось анализом: пришла пора формалистов. Вопрос, как сделана «Шинель» Гоголя, поставленный ими в повестку дня и в общем виде ими же решенный, ощущался Серапионовыми Братьями как профессионально значимый. Юный Лунц вопрос «как сделано» распространил на современную русскую литературу и нашел, что сделано скучно. Т.е. он, конечно, признавал мировое значение Толстого и Достоевского, даже Чехова, но в современной российской прозе ощущал явный отход с великого и правильного пути. Литература, считал он, не делается усилиями одного, пусть даже гения — поле должно быть удобрено массой экспериментирующих, только тогда на нем взойдет нечто значительное. Утвердившиеся же на литературном поле современные авторы почти не экспериментировали, а следовательно, и почти не удобряли его (тут Лунц, не смущаясь, называл тогдашние первые имена — Бунин, Зайцев, Белый, Ремизов, А. Голстой, Замятин). Лунцу казалось, что он точно знает ключ к мировому успеху — фабула, занимательность, сюжетность, и знает, у кого надо учиться: Гофман, Дюма, Стивенсон. Замечу точности ради, что, stalkивая, например, романтика Гюго с реалистом Стендалем, Лунц, тем не менее, искусство фабулы ценил у обоих, так что лунцевский лозунг «На Запад!» допускал не одну-единственную полосу движения, однако *всех* возможных «полос» он, конечно, не учитывал.

С Лунцем спорили, тоже пылко, но по части пылкости он был недо-

сягаем: «его испепелял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним».⁸ «Правый» Федин, проживший перед тем несколько лет в стране Гофмана, возражал, механистично подменяя понятие сюжетности некоей подвижностью: «ничего не получится, если мы, ради придания подвижности русской прозе, заставим Обломова ездить на трамвае» — так воспроизводит он в мемуарах свой главный аргумент.⁹ В итоге восточники, оставаясь на своей позиции, что-то из лозунгов Лунца в расчет все-таки взяли, и даже в прозе Вс.Иванова некие «западные» подвижки иногда становились заметны. Забавно, что безальтернативные «заветь» Лунца, похоже, находят понимание у теперешних российских авторов, осознающих литературу исключительно как «игру», а вовсе не как «учительство», и мы имеем сейчас в нашей литературе то, что имеем.

За пылкостью Лунца углядывалось яростное отталкивание от подмывшего русскую литературу влияния «общественности»: он полагал, что и события 1917 года внутренне подготовлены именно «общественностью», воспитанной Писаревым, а еще раньше Добролюбовым и Чернышевским, и являются ее апофеозом. Лунц не хотел победы «народников», полагая, что литература существует как искусство сама по себе и сама по себе прекрасна, что в ней нет простого смысла и потому она не нужна власти и должна оставаться бесполезной для нее. Конфликт «литература и власть» Лунц видел отчетливо и требовал честности: власть, как Писарев, должна признать, что ей искусство не нужно.

Лозунг Лунца «На Запад!» не открывал для большинства Серапионов столбовой дороги, и потому не был ими поддержан. В России эту статью Лунца не напечатали вообще; она была оглашена им изустно 2 декабря 1922 года, а напечатал ее в 1923 году в Берлине Горький в «Беседе», где публиковались также пьесы Лунца «Вне закона» и «Город Правды»...

Лунц пробовал себя в прозе, но главным его достижением были пьесы. Он писал их потому, что самый сильный упрек обращал к русскому театру. Наличие исключений, т.е. русских пьес, им ценимых («Ревизор», например), дела не меняло. Лунцу пришлось самому взяться за исправление ситуации, и созданное им в драматургии оказалось интересно, хотя впоследствии и не востребовано. Евгений Шварц, драматург блистательный, писал, что в пьесах Лун-

ца «был настоящий жар, и сделаны они из драгоценного материала».¹⁰ Пьесы Лунца дороги к русскому зрителю по существу не получили, но их напечатали (частью в Петрограде, частью в Берлине¹¹) и путь к читателю был открыт. Самой первой и, наверное, самой значимой оказалась пьеса «Вне закона» (Лунцу было всего восемнадцать, когда он ее написал). Не имея в России большой сценической судьбы, она имела красноречивую театральную историю.

Тут следует заметить, что в собственном творчестве вообще и в пьесе «Вне закона» в частности увлеченный занимательностью совсем юный Лунц говорил, тем не менее, о вещах, крайне для тогдашнего российского общества существенных, — о революции и ее перерождении, о народе и толпе, о толпе и вожде, о вере и разочаровании, об искушении властью. Он действительно старался сделать это весело и живо, помня, что театр — игра, но его театр — игра, заставляющая людей опасно (для власти) задуматься.

Профессиональное знание истории и литературы Запада позволило Лунцу вполне благоразумно и убедительно перенести действие пьесы — во времени и в пространстве — из современной России в средневековую Испанию. Актуальные для России проблемы оказались, таким образом, несколько зашифрованными. Однако обмануть власть таким способом не удалось — спектакль по пьесе «Вне закона», почти подготовленный на сцене петроградской Александринки (режиссер Л. Вивьен, сценография Ю. Анненкова), был запрещен по личной команде наркомпроса Луначарского — того самого, которым умилялась «оттепельная» интеллигенция, уже зная, что бывают наркомпросы куда тупее и кровожаднее Анатолия Васильевича, и даже понимая, что дело-то собственно и не в наркомпросах.

В Лунца Луначарский вцепился действительно по-бульдожьски: узнав о постановке «Вне закона» в Одессе, он добился запрещения всех пьес Лунца на всей территории СССР — видимо, понимал, что главные товарищи по партии иное решение ему не простят, а славного кресла покидать не хотелось (лет шесть еще дали в нем посидеть).

Печатать пьесу «Вне закона» запретили, когда Лунц жил еще в Петрограде. Запрет спектакля на сцене Александринки последовал, когда автор, смертельно больной, находился уже в Германии, надеясь, что тамошняя медицина его спасет. Любви-

ший Лунца Замятин каламбурил в письме, отправленном ему в Гамбург: «Обидно, что “Вне закона” — оказалась вне закона: хорошая пьеса, дай Бог здоровья автору».¹² Здоровья Лунцу желали все его друзья, но с реализацией их пожеланий что-то не заладилось, и 8 мая 1924 года Лунца не стало.

ПУТЕШЕСТВЕННИК НИКОЛАЙ НИКИТИН

Пятеро Серапионов (из их табельного числа) родились в Петербурге. Среди них и Николай Никитин (а еще — Слонимский, Груздев, Тихонов и Лунца). В 1915 году Никитин поступил на филологический факультет Петроградского университета и занимался там по собственной программе, включавшей прослушивание лекций на юридическом. В 1917 году он сам из университета ушел. Близорукость (глазная) спасала его от армии и боев: от царской — в 1915 году и от Красной — в 1918 году. Точнее, в Красную его все-таки забрали, но дали служить в Политуправлении Петроградского укрепрайона культпросветчиком, и служил там Никитин вплоть до 1922 года — так что Серапионы успели привыкнуть к его аккуратной, чистенькой гимнастичке.

Литературой Никитин интересовался с юности, когда начал пописывать и посылать свои вещички в бойкие журналы — в 1916 году его напечатал «Весь мир». После революции желание писать и печататься не прошло, но было ощущение: все так переменялось, что и литература должна обновиться, не ясно было только — как? Поэтому, когда в 1920 году шел Никитин по Невскому и увидел возле Мойки афишу: «Студия Дома искусств», он тотчас же в Дом искусств завернул и в Студию записался. Так он стал слушателем Замятина, Ремизова, Шкловского, Чуковского и был ими замечен. С будущими первыми Серапионами Никитин, таким образом, познакомился и сошелся еще в Студии и по справедливости мог считать себя одним из основателей Братства. В Студии на молодого Никитина повлияли сильно Ремизов и Замятин, и, когда литературные времена под влиянием обстоятельств политических переменялись, ему пришлось от этого факта решительно отмежеваться.

В 1921 году написал Никитин повесть «Кол» на северном материале (Никитины родом с Севера, и каж-

дое лето его ребенком туда возили, так что тамошнюю природу, быт, речь знал он неплохо). «Кол» была повесть отнюдь не фольклорная, а о самой что ни на есть пореволюционной современности. Писать по новому тогда Никитин понимал как писать новым для литературы языком: северные говоры такую новизну позволяли реализовать запросто. И все же, хотя наречие, на котором написан «Кол», не всегда питерскому жителю понятно, надо признать: вещь сделана не без некоторого даже щегольства. Ее восемь главок повествуют о Севере эпохи продналога, о том, как расстреляли совсем темных рыбаков и крестьян только за то, что словесно выразили возмущение нескончаемыми поборами. Нынешнему читателю повесть практически недоступна, поскольку была напечатана один-единственный раз в 1922 году в берлинском малоформатном и малотиражном альманашике «Пчелы», содержавшем 150 страниц текста и имевшем подзаголовки «Петербургский альманах». И больше — никогда. Хотя в России было несколько попыток «Кол» напечатать, попытки, кажется, анонсировались, во всяком случае о них говорили и писали в письмах, но каждый раз дело срывалось — даже у самого А. К. Воронского, который Никитина тогда печатал в «Красной Нови», хотя и ценил ниже, чем Вс.Иванова.

Сегодня в России из прочитавших «Кол» знаю только себя, но, поскольку опросил далеко не всех читателей Никитина, допускаю, что есть и еще кто-то, но пальцев одной руки для пересчета читавших, думаю, хватит.

Повесть «Кол» имела в литературном Петрограде успех огромный (Никитин ее читал публично и, возможно, не раз). Пожалуй, это был первый крупный успех прозы Серапионов в целом. Появились и рецензии; они сегодняшним читателям доступнее самой повести. Особенно пылкой была написанная Мариеттой Шагинян — в ней заявлено внушительное: «Если б ничего не было написано за текущий ряд лет, а только один этот “Кол”, одиноко, стоял бы в русской литературе, — мы все же имели бы художественный образ эпохи».¹³ Внимательно знакомился с работой Никитина и самый политически весомый критик в тогдашней России — Лев Троцкий, хотя повесть «Кол», мне кажется, он не прочел. В «Литературе и революции» сказано о Никитине аргументированно резко, но не враждебно:

«Тревогу возбуждает прежде всего явственная нота цинизма, которая у Никитина принимает моментами злокачественный характер».¹⁴ Насчет цинизма сказано правильно, хотя Троцкий имел в виду циничное отношение к революции, а беда Никитина была в уже появившемся циничном отношении к литературе. Серапионы с диагнозом Троцкого соглашались — они знали, что под нажимом редакций Никитин легко меняет красных на белых и наоборот, по сути губя написанное. Зато Никитин сочинял легко, быстро и так же легко и быстро решал с издательствами и редакциями спорные вопросы (их становилось все меньше) — власти им были довольны.

«Кол» — сегодня это можно утверждать точно — самое свободное и, конечно, самое опасное для режима из написанного Никитиным; он это и сам чувствовал, поэтому с некоторых пор не упоминал его в своих поздних и достаточно подробных автобиографиях;¹⁵ не упоминает повесть «Кол» и сверхосторожный Федин в книге «Горький среди нас», где Серапионом посвящены сердечные страницы.

В 1923 году Николай Никитин, откровенный и убежденный Серапион-восточник, первым из Братьев и, надо думать, не случайно получил от властей ценный подарок — разрешение съездить на Запад, в Англию (уехавший еще мальчиком с родителями Вова Познер и отправившийся умирать смертельно больной Лев Лунца тут не в счет). От такого подарка, Серапионы это почувствовали, Никитин пришел в восторг.

В путешествие он отправился вместе с еще большим восточником, хотя и не Серапионом, Пильняком, достигнув Англии морем. Через некоторое время по делам литературным Никитину пришлось на недельку выбраться в Берлин, где он, понятно, общался с многочисленными русскими, заполонившими немецкую столицу. Тогда-то он и почувствовал, что в Берлине (в отличие от Англии) его неплохо знают, и вообще — за работой Серапионовых Братьев там следят и даже некоторых новых русских прозаиков (не Серапионов) числят Братьями, как, скажем, того же Пильняка. Конечно, в Берлине Никитин был озабочен не одними лишь литературными делами. Нина Берберова, уехавшая в Германию с Ходасевичем, в Петрограде Серапионов знала и в знаменитой книге «Курсив мой» едва ли не презрительно описала, как в пансионе Крампе увидела Никитина в состоя-

нии вырвавшегося на свободу молодого бычка.¹⁶ Впоследствии это имевалось умением радоваться жизни.

Такое умение поначалу не мешало Никитину видеть жизнь в ее многогранности. Из Берлина он писал 15 июля в Гамбург Серапионову Брату Лунцу: «У Германии — чужое небо и чужая жизнь. Русские здесь как клопы в уездной гостинице. К ним привыкли, но в несчастной жизни германского народа какие мы лишние, пустые, ненужные!»¹⁷ (его ощущения в Германии, естественно, совершенно иные, нежели, скажем, ощущения Серапиона Федина, но об этом дальше).

Главные радужные впечатления поездки 1923 года были у Никитина все же английскими — именно Англия его поразила и очаровала (хотя мы этого и не найдем в его лихих и конъюнктурных путевых очерках, едко высмеянных Замятиным¹⁸). В личных письмах Никитин был откровенен, более того, по меркам чуть более позднего времени — опасно откровенен. Так, 20 июля он информировал из Лондона своего московского литбосса Воронского: «Остался бы в Англии (представьте себе эту фразу, написанной нашим соотечественником лет, скажем, через 40 — о сталинской поре и не говорю — из того же Лондона, допустим, Суслору! — Б.Ф.). Здесь тихо и хорошо жить и писать. Но надо в Россию...»¹⁹ Пятью днями раньше Никитин писал Лунцу: «Лондон — обстоятельный город. В Англии жить удобно и спокойно. Если бы тебя поселили рядом с Британским музеем, ты бы остался там на всю жизнь. Я к несчастью этого ценить не умею (напомню: это пишет Серапион-восточник Серапиону-западнику. — Б.Ф.). И не люблю музеев, не потому, что не люблю культуры, а просто не понимаю вкуса вещей, разложенных аккуратно на полках, где смотреть можно, а изучать нельзя. Мне, чтобы понять, надо впитать зубами.»²⁰ И через неделю, уже утомившись от Лондона, повествовал об Англии едва ли не игриво: «Эти дни я вздохнул, жил на Leigh-on-Sea, английский курорт, купался, ходил под парусами, купался с милыми англичанками — рыжими, как золотые рыбки.»²¹

Надо сказать, что еще в берлинском письме Никитина Лунцу были высказаны соображения вполне патетические: «Запад должен раздвинуть черепную коробку. Но сидеть здесь нельзя. Если не бывать в России, тут можно сдохнуть. В Рос-

сии — глухая китайская стена, Россия — ночь, но мы должны быть светляками, наше место там. Мне свободнее здесь, но я не чувствую стен, в которые можно было бы упереться, чтобы почувствовать сопротивление, потому всякий писатель здесь, как болван, с отброшенными в стороны руками, но без напряжения...»²² Серапионы знали, что патетика вообще любима Никитиным; здесь же она была абсолютно искренней и свободной — никакого резона лукавить или притворяться у него не было. Однако Лунц воспринял это письмо полемично: «Мне все представляется много проще и — красивой! Ты очень хорошо написал о “русских стенах, на которые можно опереться.” Но, поверь мне, то же чувствует немец в Германии, абиссинец в Абиссинии и индус в Индии. Каждому его родина кажется лучшей для него, и горе тому, кто в этом усомнится!.. Но говорить, что Россия вообще лучше других стран — бахвальство и идиотизм. Для нас выбора нет и не может быть: наш язык, наша земля, наша плоть и кровь — там, как бы плохо или хорошо там ни было... Наши русские в Берлине живут там неизвестно почему (не политические), скулят, лопают бифштексы и ругают немцев. Поучились бы у них работать, сволочи, или назад в Россию езжали бы...»²³ Никитину пришлось объясняться: «Говоря, что Россия лучше других стран (хотя я никак не могу припомнить — действительно ли говорил я это), я совсем не думал *бахвалиться*, — она мне роднее, милее, ближе... С тех пор, как я побывал в Берлине, меня не соблазняет умение рассуждать спокойно и здраво — т.е. объективная точка зрения (Ходасевичевская). М.б., мне ехать сейчас в Россию наиболее тяжело, чем тогда — когда я там жил, не выезжая. Но возвращаюсь я, умудренный — здоровье страны не в отыскании зла, а в нахождении добра. Т.е., м.б., то, чего *требовали* (паршивое слово) большевики. Должен тебя предупредить, что эту мудрость я почерпнул, отнюдь не толкаясь в передних советских канцеляриях, я не был ни в одной, а насмотревшись на заграничную жизнь, вернее, присмотревшись к ней... Отбросы — это эмиграция, и ее атмосфера. При самых идеалистических мыслях, они все-таки воюют нетерпимостью и ненавистью, и эмигрантская молодежь (с ней мне приходилось сталкиваться) так же воюет пустошью, как наши комсомольцы...»²⁴

В 1928 году Никитина снова вы-

пустили на Запад, но он был уже другим: покладистый человек при все усиливающемся давлении быстро теряет себя, и серьезные мысли занимали теперь Никитина мало. Он побывал в Париже, где пытался заинтересовать издателей своими новыми книгами; встречался с Ильей Эренбургом (несколько парижских писем Эренбурга у него сохранилось²⁵); упоминает Никитина и Бабель в парижском письме в Москву.²⁶ Помимо Парижа Никитин был и в Берлине, где тогда оказались одновременно трое Серапионов — Груздев и Никитин с женами и Федин без жены. Их постоянным гидом был обшительный Роман Гуль; он не ленился записывать услышанные рассказы и свои впечатления от гостей, а на основе таких вот записей составил впоследствии трехтомные мемуары «Я унес Россию». Из встреч 1928 года с Серапионами Гуль сделал вывод, что они недолюбливают друг друга. Что же до Никитина в Берлине, то несколько страничек первого тома воспоминаний Гуля, этому посвященные, вполне благодушны, причем «Колька Никитин» исчерпывающе характеризуется там тремя словами: «бонвиван», «брандахлыст», «жуир».²⁷ Я потому цитирую здесь Гуля, что он пусть подчас и предвзят, зато по части изложения старых своих записей цензуры не наводит и не боится кому-нибудь повредить. А прежде, общаясь с гостями из СССР и записывая впечатления от этих встреч, он был пристально внимателен, потому как хотел понять, что же происходит на родине. Так, описывая сцену в кафе возле Александерплац, когда оркестр неожиданно заиграл «Интернационал» и Груздев признался, что рефлекторно чуть было не вскочил из-за столика, Гуль приводит радостную реплику Никитина: «Здесь можем и посидеть, слава Богу». Никитин не был человеком идейным, он был человеком слабым и, пожалуй, даже легкомысленным. Во всяком случае, Гуль не смог вспомнить ни одного его стоящего суждения, но зато запомнил его веселым, живым, любящим застолье и всевозможные радости жизни, которые тогда легко можно было получить лишь на Западе. Вполне владеет литературной техникой, Никитин, увы, быстро утратил и зоркость, и свою тему. Впрочем, пройдет совсем немного времени, и зорких советских прозаиков почти не останется...

НЕМЕЦКИЙ ШПИОН КОНСТАНТИН ФЕДИН

Говоря о Западе, Федин всегда думал о Германии, где провел несколько лет и где сформировался как художественная личность. Это знали не только родные и близкие друзья, но и те, кому приходилось беседовать с ним на отвлеченные темы. В годы Отечественной войны, когда Федин в декларировании своей любви к Германии проявлял, понятно, определенную сдержанность, его «немецкие корни» все же давали о себе знать (дело, конечно, не во фрондерстве или беззаботности, а именно в «корнях»). 3 февраля 1943 года, когда завершилась Сталинградская битва и фельдмаршал Паулюс уже был пленен, Серапионов Брат и верный Серапионов друг Всеволод Иванов, имевший на многое трезвый взгляд со стороны, и взгляд, очень независимый (от дружб, в частности), записал в дневнике: «Вечером сидели с К.Фединым — за графинчиком. Победа под Сталинградом даже и его прошибла, хотя он ее и пытается умалить тем, что, мол, это, в сущности, не фельдмаршал, а фашистский ставленник, что, мол, дали ему звание за героизм, а то, что они сдались, — на европейский вкус, — не имеет значения: они защищали захваченный ими Сталинград!.. До чего же русский человек, прожив немного в Европе, и научившись говорить по-немецки, способен унижаться, — впрочем, сам не замечая этого, — дабы казаться европейцем. А ведь Федин и талантливый, и умный!»²⁸

В опубликованных через сорок лет после войны дневниках Федина можно найти немало записей, подтверждающих его внутреннее чувство к Германии — даже в годы, когда Россия сражалась с ней не на жизнь, а на смерть (упомяну, скорее для справки, что никто из близких Федина в Отечественную войну не пострадал). Иногда это замечается в самом неожиданном контексте (скажем, записывает, что А.Н.Толстой, хорошо ему знакомый по довоенному Детскому Селу, «боялся покойников, но тщеславие привело его к харьковским виселицам: как член Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию немецких злодеяний он присутствовал на казни немецких палачей и должен был смотреть, как они дергаются в петлях»,²⁹ и делает характерную приписку о Толстом к сюжету декабря 1943 года: «Он был разбит после этого зрелища для толпы...» — все тут не случайно: и слово «толпа»,

когда принято было говорить о «великом советском народе», и «тщеславие» вместо «праведного гнева», как объяснение толстовского мотива — все из-за тех же «корней»).

Посланный в Германию «Известиями» в 1945 году, вскоре после капитуляции немцев, Федин много общается с населением и записывает свои впечатления о тогдашних жителях Германии, причем впечатления эти таковы, как если б наши страны не разделяло море крови. Более того, он с удовольствием проводит два вечера в немецком драматическом театре (с традиционной педантичностью уже восстановленном и показывающем, разумеется, новый репертуар: запрещенного при Гитлере «Натана мудрого» Лессинга и в честь победителей — «Дядю Ваню»). Вряд ли кто из русских писателей, кого посылали тогда в Германию, нашел бы это возможным, и дело тут не просто в знании Фединым немецкого.

Вернемся в эпицентр войны, в 1943 год, и вспомним февральскую запись в дневнике Вс.Иванова. Подобное, пусть и в смягченной форме, слышали от Федина многие, а еще жалобы на обращение властей с писателями (ему и самому пришлось в войну претерпеть сильную атаку режима)... В итоге, летом 1943 года о Федине была сделана еще одна запись, и уже не в писательском дневнике. Она могла обернуться для К.А. бедой непоправимой. Информирова наркома Госбезопасности Меркулова об антисоветских высказываниях советских писателей, Управление контрразведки НКГБ СССР предпослало сводке доносов на Федина такую убийственную по тому времени справку: «До 1918 года был в плену в Германии, поклонник “немецкой культуры”, неоднократно выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР».³⁰ Такие формулы уже с 30-х годов, с началом эры шпиономании, автоматически означали обвинение в шпионаже с вытекающими из него последствиями. Дело наверняка заведено было, а вот ордер на арест Федина не выписали,³¹ хотя все сказанное в справке фактически — правда...

Весной 1914 года Константин Федин, студент Московского коммерческого института, отправился в Германию — продолжить обучение и усовершенствоваться в языке. А 1 августа того же года началась, как известно, Первая мировая война, в которой Россия выступила на стороне Франции и ее союзников. Все русские, находившиеся в это время в Германии,

были интернированы, стали, как их называли, гражданскими пленными. Пребывая в плену, Федин продолжал учиться (в частности, языку), писал (еще перед войной он послал из Нюрнберга в Россию в журнал «Новый Сатирикон» свои рассказы), зарабатывал на жизнь, служа хористом или с успехом играя в оперетке. (На материале реальных событий своей жизни в Германии 1914—1917 годов написал Федин уже в 1930 году «маленький роман» «Как я был актером» — скорее, в меру живые биографические записки; подробности и атмосферу жизни тылов воюющей Германии в них почувствовать можно).

Тогдашняя жизнь будущего русского писателя в Германии была самым непосредственным образом интегрирована в жизнь провинциального немецкого городка — именно это обеспечило Федину не поверхностное понимание немецкой ментальности и специфики немецкого быта; потом это нашло отражение на многих страницах его прозы. Надо еще сказать: то германское актерство легко и естественно вошло в суть Федина, и многие писавшие о нем мемуаристы отмечали актерство как некую имманентную его черту. Что же до литературы — все годы плена Федин вел дневники, которые, до того как он уничтожил их в 1925 году, пригодились в работе над «Городами и годами».

Федин вернулся из плена в Россию году в 1918—1919-м, сначала — в родное Поволжье, где быстро вошел в новую жизнь, став, в силу тогдашней потребности в грамотных людях, вполне ловким деятелем агитпропа, а уже в 1920 году — переехал в Петроград примерно на те же роли.

Именно в Питере Федин стал писателем. Здесь он познакомился и подружился с Горьким, который сыграл в его жизни исключительную роль — об этом Федин не забывал никогда. После Самары, имея опыт партийного газетчика, первое время и в Питере служил Федин по агитпроповской части; потом по совету Горького газету оставил, сосредоточившись целиком на писательстве. В 1920 году Федин представил свой рассказ «Сад» на конкурс Дома литераторов, устроенный для начинающих авторов (в жюри входили такие мэтры, как Замятин и Эйзенбаум). Рассказ был политически нейтрален и повествовал о нынешней разороченной жизни российской провинции. Евгений Замятин — самый читаемый мастер прозы в тогдаш-

нем Питере — написал о фединском «Саде»: «до странности зрелый рассказ, под которым подписался бы и Бунин».³² Надо ли говорить, что тогда была совершенно иная литмода — в прозе безраздельно воцарился Пильняк. Когда, уже в 1921 году, подвели итоги конкурса, именно фединский «Сад» получил первую премию. К тому времени Горький уже свел Фебина с Серапионовыми братьями (замечу, что из шести премий конкурса Дома литераторов Серапионы взяли пять!). Фебин легко и естественно вошел в Серапионово Братство, и его квартира на Литейном, 33, куда он вскоре переехал, стала знакомой всем Серапионам. Войдя в Братство, Фебин вовсе не отказался от своих литературных пристрастий и убеждений: яростно споря друг с другом, Братья сохраняли за собой абсолютную свободу (перефразируя известную в истории советской литературы формулу, скажем: Серапионы признавали за собой любые права, кроме одного — права писать плохо³³). Вскоре после прихода к ним автора «Сада» Шкловский, которого Фебин внутренне недолюбливал всю жизнь, привел к Серапионам юного Каверина (тогда еще Вениамина Зильбера), и тот навсегда запомнил страстный спор незнакомых ему Лунца и Фебина о, как выражались впоследствии, столбовой дорожке русской прозы. Это был яростный спор западного и восточного крыла Серапионов, и позицию обоих крыльев выражали именно западник Лунц и центрист Фебин, способный, в отличие от восточников и за них, грамотно спорить с универсантом Лунцем. Чтобы покончить с 1921 годом (годом рождения Серапионов), отмечу еще одно важное событие биографии Фебина — после подавления кронштадтского восстания и расстрела участвовавших в нем моряков Фебин вышел из большевистской партии (об этом жесте всегда помнили, но никогда потом не говорили его друзья)...

В конце 1924 года был издан первый роман Фебина «Города и годы», вобравший многое из его жизненного опыта. В одном из писем Горькому (16 июля 1924) Фебин исповедовался: «Этот роман занимает меня целиком вот уже почти два года... Материал — война и — отчасти — революция. На три четверти роман германский: действие развивается в немецком городишке, на фоне обывательского “тыла”. Я до такой степени влез в Германию, что сплошь и рядом не пишу, а “перевожу” с немецкого, думаю по-немецки и чув-

ствую. Когда перехожу на русскую землю, к русским людям, к русской речи — испытываю непреодолимые трудности: чужой материал!»³⁴

Живя в Петрограде, Фебин был счастлив — семья, близкая литературная среда, а еще и среда художественная, Филармония, Эрмитаж. Его внутренний мир резонировал на классические музыку и живопись (особенно ценил Фебин мастеров Северного Возрождения); что же касается какого-либо авангарда (и в живописи, и в музыке), это им в общем-то не принималось никогда.

В 1928 году с помощью Горького Константин Фебин получил возможность поехать по Германии уже известным русским писателем.³⁵ Его там много переводили (книги выпускало известное левое издательство «Малик ферлаг»), и, как вспоминал Роман Гуль, «Фебин тут был не только писателем, но писателем-послом “новой советской” страны и ее литературы».³⁶ Фебин постарался увидеть, как теперь живут в краях, куда его заносило в годы пленения; он встречался со знакомыми тех лет, иногда даже давал им предварительно знать о своем приезде; его дневниковые записи 1928 года местами даже трогательны (26 июля: «Вечером *Cittau!* На вокзале — старая, хромяя Марта, и так счастлива, словно встретила родного сына! И у меня, когда я подъезжал к городу, впервые в Германии забилося сердце. Нет, здесь я хоть и чужой, но не лишний человек!»³⁷).

Пристрастный и потому не всегда справедливый в суждениях Роман Гуль, подружившись с Фебиным в тот его приезд,³⁸ записал многое из рассказанного питерским гостем и, обратившись потом к давним записям, включил кое-что из этих рассказов в первый том своих мемуаров. По многим соображениям эти записи кажутся достоверными; они показывают Фебина умным, хорошо понимающим происходящее в России и только на Западе имеющим возможность об этом говорить свободно. Говоря с новым другом, он неизменно называл большевиков «они». Одно из его высказываний, записанных Гулем, имеет отношение и к нашим дням, включая переломный 1991 год, когда Фебин давно уже покоился в Москве на Новодевичьем. Приведу его. «Как-то, — пишет Гуль, — я разговаривал с Фебиным на тему, возможно ли “свержение советской власти” (во что я не верил). Фебин сказал неопределенно: “Перевертон? Черт его знает, но не дай Бог...” — “Почему?” — “Да потому,

что ты даже не представляешь себе, что бы тогда произошло. Ведь у нас под полом спрессована такая ненависть, что оторвись хоть одна половица, оттуда вымахнет такой огонь, что все сожжет. Резали бы без устали...”».³⁹ Возможно, это опасение, хотя бы отчасти, объясняет вызывавшее естественное негодование советской интеллигенции и казавшееся ей подлым поведение Фебина в хрущевско-брежневскую пору. Помянув здесь 1991 год, имею в виду лишь крушение режима (а не пережитую нами тогда демократическую эйфорию), да еще страшный и все более набирающий силу русский национал-социализм, который, по слову Фебина, «вымахал» наружу после того крушения и еще покажет себя.

В 1932—1933 годах опасно болевшему (туберкулез) Фебину Политбюро, оценившее этого аккуратного в письме ленинградского прозаика и, к тому же, друга Горького, позволило за госсчет дважды выехать на лечение за рубеж — и он был спасен. Реальные обстоятельства поездки и счастливого излечения в Давосе легко прочитываются в «маленьком романе» Фебина «Санаторий Арктур» («Волшебная гора» для бедных), который я называю исключительно по причине подробностей биографического порядка.

Из разнообразных фединских сюжетов, связанных с поездками 1932—1933 годов, упомяну один. В 1933 году пришедшие к власти гитлеровцы в ночь поджога рейхстага арестовали знаменитого публициста, пацифиста и антифашиста Карла фон Осецкого, что вызвало протесты по всему миру. Этот акт публично осуждал, надо полагать, и Фебин — не знаю, вспоминал ли он тогда расстрелянного возле Питера в 1921 году Николая Гумилева. Осецкий, правда, не был расстрелян, и в 1936 году ему присудили Нобелевскую премию мира, после чего он, уже тяжело больной, был переведен из концлагеря в больницу, где в 1938 году умер. А в ноябре 1945 года Фебин, неожиданно попав в берлинский госпиталь из-за повреждения ноги по дороге в Нюрнберг, познакомился с санитаром, целый год ухаживавшим за поднадзорным Осецким. Фебин записал в дневнике рассказанное санитаром Осецкого и кое-что связанное с самим узником. Этой записью он как бы подсмотрел нечто в собственной будущей судьбе, ибо, читая те дневниковые строки, нельзя не вспомнить совсем иной сюжет, относящийся уже к самому Фебину и Переделкину 1958 года. Вот эта

запись: «После присуждения <Осецкому> Нобелевской премии мира Геринг выступил по радио с возмущенной речью о “позоре” этого акта, ибо нельзя “считать предателя родины поборником мира”. Осецкому через судебные органы предложили отказаться от премии, но он заявил, что не сделает этого... Осецкий нашел адвоката, согласившегося организовать получение премии. И действительно адвокат привез деньги, но тотчас предал Осецкого, которого привлекли к суду. Деньги были отняты». ⁴⁰ Нет нужды выстраивать хорошо известный параллельный сюжет, заменяя Осецкого Пастернаком, а Геринга — Хрущевым. Напомню только, что роль «судебной инстанции», предлагавшей отказаться от премии, в переделкинском сюжете старательно исполнял именно Федин...

Вернемся, однако, к 1933 году. Приехав в Ленинград и узнав, что Горького больше не выпускают из СССР, Федин записал в дневнике об Алексее Максимовиче (21 сентября 1933): «Сам он за границу не поедет вообще; это, конечно, “событие”, которое будет иметь последствия и для литературного нашего быта, и — вероятно — для будущих писательских поездок за рубеж: они станут реже...» ⁴¹ Так и оказалось — в следующий раз Федин очутился в Германии уже по окончании войны, в 1945 году, т.е. уже в другой жизни, потому что в 1937 году ему удалось уехать из Ленинграда (где, как и многие писатели, он под «заботливым» и давним приглядом НКВД чувствовал себя уже совсем неудобно) и перебраться в Москву (где он получил престижную квартиру, дачу в Переделкине и, на первых порах, нечто вроде гарантии уцелеть).

ECRIVAIN FRANÇAIS VLAD POZNER

Многим Серапионам повезло увидеть Париж (именно повезло — ведь речь не про российское «сегодня», а об СССР, где так везло лишь счастливым). Но один Серапион в Париже даже родился. Произошло это в 1905 году, когда старшей из списочного состава Серапионов, Елизавете Полонской, было 15 лет, а младшему, Вениамину Каверину, — три года. Так что Серапион «парижского разлива» был еще и самым юным из Братьев.

Речь — о Владимире Познере. Родившись последним из Братъ-

ев, он последним и умер (в 1992-м) и — тоже в Париже. Законный вопрос, не возникавший в других «случаях»: а что значил в его жизни Петербург? Ответ прост: очень многое (именно десять лет жизни, проведенные Владимиром Познером на берегах Невы, сформировали его, не пресекавшийся всю жизнь, интерес к литературе вообще и к русской литературе в частности).

Когда в начале 1910-х годов семейство Познеров приехало в Россию, Вова вообще не говорил по-русски. А уже питерским гимназистом, как вспоминал ближайший его приятель и соученик Николай Чуковский, он не сохранил в себе ничего парижского. ⁴² Сначала Познер учился в частной гимназии Шидловского на Шпалерной, а последние годы — с 1919 года — в Тенишевском училище, прославленном многими именами учеников (и уж если говорить о русской литературе, то надо начать с Мандельштама — этого достаточно, чтобы Тенишевское училище сохранилось в благодарной памяти горожан).

Питерский дом Познеров (они поселились на Фурштатской, 9) был литературным. Отец будущего Серапионова Брата — С.В.Познер — в справочных книгах Петербурга значился как помощник присяжного поверенного и одновременно литератор (он был журналист и историк российского еврейства). С.В.Познер познакомил сына с литературными знаменитостями Петербурга и Москвы. Впрочем, довольно быстро в такой опеке пропала нужда — Вова сам не пропускал ни одного литературного «мероприятия» в городе, и, как писал о юном Познере Корней Чуковский, «его черную мальчишескую голову можно было видеть на каждом писательском сборище». ⁴³ Чувствовал он себя там, как рыба в воде, — столь уникальная коммуникабельность запечатлена в его альбоме тех лет, заполненном автографами самых знаменитых русских поэтов, от Блока до Маяковского... ⁴⁴

Редкий дар версификации, отпущенный Вове Познеру, поражал слушавших его выступления. Стихи он писал километрами, легко овладевая литературными манерами всех мэтров подряд, и, когда была возможность, охотно их читал; а напечатаны из тех километров — сантиметры (несколько баллад). Именно в балладном жанре юный автор преуспел в Петербурге (недаром он учился в Студии у Гумилева). Любопытно, что в историю советской литературы в качестве поэта, возродивше-

го жанр баллады, прочно вписано имя Николая Тихонова, хотя баллады Познера в его устном исполнении были известны современникам до появления «Орды» и «Браги». Они ладно сбиты, и хотя в них говорится о том, чего автор не пережил и не переживал, мастерство вытягивает, чужой опыт помогает.

Подробный рассказ о сочиненном питерским вундеркиндом не входит здесь в нашу задачу; важно лишь подчеркнуть: его сочинения к моменту зарождения Серапионов были в литературном Петербурге изустно известны, и вполне широко, и Вова Познер стал одним из самых активных первоучастников Серапионова Братства.

В знаменитой речи Лунца «На Запад!», произнесенной перед Серапионами 2 декабря 1922 года, сказано: «Когда два года назад организовывалось наше братство, мы — два-три основателя — мыслили его как братство ярко фабульное, даже антиреалистическое...» ⁴⁵ Понятно, что Лунц имеет здесь в виду тех основателей Братства, которые были западниками (т.е. исключает Никитина). Остаются Лунц и Слонимский. Но «два-три» — не два и не три; скорее — 2,5. Кого же Лунц считал половинкой? Думаю — основателя Братства, переставшего быть его участником. Шкловского? Но в 1922 году Лунц провозглашал: «Виктор Шкловский — Серапионов брат был и есть», ⁴⁶ т.е. считал Братом, но не основателем Братства. На роль «половинки» может претендовать лишь Вова Познер, потому что к декабрю 1922 года он с родителями уже полтора года жил на Западе; да и в Питере смотрелся вундеркиндом, хотя среди основателей Братства значится законно.

Да, Серапион Владимир Познер — первым среди Братъев — оказался на Западе. Это случилось в мае 1921 года. Тем же поездом в отделившуюся от России Литву уезжали родители Лунца. Будучи, как и Познеры, выходцами из Литвы, они имели право туда вернуться, но Лев Лунц уезжать из Петрограда не пожелал (он не знал, что через два года вынужден будет покинуть родину из-за тяжелой болезни, спастись от которой не сможет и в Германии), а Вове Познеру, хотя и не хотелось покидать питерских литературных друзей, ехать с родителями пришлось — он был на три года младше Лунца и самостоятельно решать своей судьбы права не имел. В Литве Познеры не задержались и вскоре двинулись в Париж. Там юный Поз-

нер поступил на историко-филологический факультет Сорбонны.

Ему было дорого все связанное с Россией, и он искал контактов даже с русской эмиграцией, враждебной тому, что так захватывало его в Петрограде. Осенью 1921 года Познер писал в Берлин бежавшему туда А.М.Ремизову, одному из серапионовских учителей: «Я как-то спросил у Тэффи, как живут здесь русские писатели. — Побираемся. И, действительно, как-то духовно побираются. Они уже ничего хорошего не напишут».⁴⁷ Таков был его взгляд на русский Париж 1921 года.

Молодой Познер слал уйму писем в Россию, но ответный поток был хилым и быстро иссяк вообще. Николай Чуковский в конце жизни вспоминал: «Сначала Вовины письма приходили ко мне ежедневно. <...> Уехав, он сначала продолжал жить интересами Студии и “Серапионовых братьев”. Потом письма стали приходиться реже... Примерно через год наша переписка с Вовой прервалась».⁴⁸ Все так и было, только «перепиской» это не называется, иначе бы осенью 1921 года Познер не запрашивал Ремизова, покинувшего Петроград через четыре месяца после него: «Где Корней Иванович и семейство? Я так давно не имел ни от кого писем!.. Я ничего, ничего, ничего не знаю».⁴⁹ Есть в этом же письме и абсолютно взрослые соображения о писательском деле: «Ничего не пишу. И, кажется, не случайно. Вне России писать нельзя, а о другом не стоит. Не правда ли? Я думаю, самое главное — запечатлеть современность. Но нельзя писать о голоде, когда сыт, о холоде, когда тепло. Я боюсь, что не буду больше писать». И почерпнутые из эмигрантских газет холодающие сердце питерские «новости»: «Александр Александрович умер. Николая Степановича расстреляли...»

В 1922 году, в каникулы, Познеру удалось съездить в Берлин, тогдашнюю столицу русской эмиграции — там обитала масса писателей, включая тех, кто еще не решил своей судьбы (одним предстоял Париж и предсказуемая нищета, другим — непредсказуемая Москва). В Берлине, где Познер побывал еще и весной 1923 года, он чувствовал себя в родной стихии — познакомился лично с Белым, Пастернаком, Эренбургом; встречался с Горьким, Ходасевичем, Шкловским; читал стихи и снова произвел сильное впечатление. Белый взял его стихи в «Эпопею», Горький и Ходасевич — в «Беседу». 10 октября 1922 года в берлин-

ских письмах двум Серапионам сохранилась информация о Познере. Максим Горький сообщал Слонимскому: «Вчера у меня был Вова Познер, читал две хорошие поэмы: “Лизанька” и “Вся жизнь г.Иванова”, — славный поэт и хороший парень».⁵⁰ А Илья Эренбург — Полонской: «Еще здесь Познер... Очень милый мальчик. Стихи пока плохие. Белый возвел его в Пушкины — как бы не свихнулся».⁵¹

Горький письмом не ограничился — в статье о Серапионовых Братьях, напечатанной по-французски дружески расположенным к нему бельгийским писателем Францем Элленсом, он информировал Европу: «Мне очень нравятся баллады В.Познер<а>, юноши, живущего ныне в Париже, где он учится в Сорбонне и откуда весною, кончив курс, намерен вернуться в Россию в круг “Серапионовых братьев”».⁵²

Это намерение, если оно и возникло у Познера, осуществлено не было. Жизнь его сложилась иначе.

Закончив в 1924 году Сорбонну и получив диплом специалиста по литературе, Познер пустился в свободное плавание. Он по-прежнему писал по-русски — правда, совсем иные стихи, не баллады — и в 1928 году собрал их в свою единственную поэтическую книгу «Стихи на случай 1925—28 годов», писал также статьи и, кроме того, начал заниматься переводами (с французского на русский и с русского на французский).

3 января 1925 года Познер лихо писал Шкловскому в Москву о его книге: «Я буду переводить “Сентиментальное путешествие” для одного французского издательства. Придется сократить: французы не выдерживают слишком длинных книг, а кроме того, в “С.П.” есть вещи для них никак не интересные... Насчет денег вот. С Россией нет договора, потому обычно французы не платят русским авторам ни копейки. Но я тебе пошлю треть своего гонорара... У меня к тебе просьбы. Во-первых, печатай, почаще, мои статьи. Во-вторых, устрой мне перевод какой-нибудь книги на русский. Мне до отчаяния нужны деньги... Ответ немедленно, иначе я сознательно изуродую “С.П.” и напишу твою биографию с соответствующими подробностями. Послезавтра мне двадцать лет...»⁵³

В 1929 году в литературной жизни Познера произошла серьезная перемена — он стал французским литератором. И, конечно, первая его книга по-французски была о России,

точнее — о русской литературе. Это знаменитая «Panoramas des littératures contemporaines. Littérature russe, par Vladimir Pozner» («Панорама современных литератур. В. Познер. Русская литература»). Во Франции она выдержала не меньше четырех изданий. Книга состояла из хронологически последовательных разделов: 1885—1900 (от Анненского до Брюсова и от Горького до Бунина, включая Мережковского и Розанова); 1900—1910 (от Блока и Вяч.Иванова до Л.Андреева и Ремизова); 1910—1915 (от Кузмина до Северянина, включая Ахматову, Мандельштама, Маяковского и Хлебникова); 1917—1929 (здесь перечислены имен пестр и так же впечатляюще: Есенин, Пастернак, Цветаева, Тихонов, Замятин, Пильняк, Шкловский, Лунц, Вс.Иванов, Сейфуллина, Федин, Леонов, Зощенко, Бабель, Каверин, Эренбург, Тынянов, Алданов; заметим, что отсутствующие Платонов, Булгаков и Набоков еще были почти неизвестны). Персональные главы перемежались тематическими. Свобода, неангажированность, эрудиция, вкус и понимание сути обрезаемого легко прочтываются уже в перечне имен. Чудовищная селективная система, внедренная в России после отъезда Познера из Петрограда, никак его не коснулась в этой книге. Русским читателям столь объективная картина русской же литературы того времени открылась лишь через 60 лет. Французские любители русской литературы оказались счастливей советских.

В том же, 1929 году в Париже издали и составленную и переведенную Познером книгу «Antologie de la prose russe contemporaine» («Антология современной русской прозы»). Обе книги он прислал в Москву и Ленинград друзьям. В опубликованных письмах к Познеру Пастернака (1929) содержатся любопытные оценки этих книг. Об «Антологии» Пастернак писал 1 мая, «под беспрепятственное следование оркестров»: «Насколько могу судить — переводы превосходные... Если отбросить ваше лестное ко мне отношение и обратиться к остальным характеристикам, надо сказать, что они мне до чрезвычайности близки своей широкой, благородной положительностью...»⁵⁴ Что же касается познеровской истории русской литературы, то, восторженно отозвавшись 13 мая о первых трех частях книги, Пастернак недоуменно отметил в четвертой отсутствие Демьяна Бедного и Николая Асеева («поэта мирового и бессмертного»⁵⁵) — но это заме-

чание автора письма в большей степени относится к нему самому, нежели к Познеру.

В 1932 году вышла публицистическая книжка Познера «URSS», и следом русская (вернее — советская) тема перешла в его романы; затем были книги об Испании, США и т.д. Нельзя умолчать о вступлении Познера в 1932 году во французскую компартию и о том, что в 1934 году его впустили в Москву в составе французской делегации на Первый съезд совписателей (наряду с Мальро, Арагоном и Ж.-Р.Блоком). Потом он участвовал в мировой войне, а оккупацию Франции перетерпел в США. Много чего еще было в этой относительно благополучной жизни, в течение которой он оставался неизменно лояльным к советскому режиму.

В 1965 году эта лояльность была оценена, и в Москве издали по-русски его роман 1942 года «Граур за сутки», переименовав в «До свиданья, Париж», а Виктор Шкловский похвалил его в статье под заголовком «О войнах и людях»⁵⁶ (Познер написал ему: «Очень было бы любопытно узнать или угадать, как к твоей статье отнеслись у вас, в частности, старинные наши друзья»⁵⁷). Была в этом письме еще одна приписка — прощание с другом юности: «Как глупо, что Коли Чуковского больше нет. Я не верю»).

Последний раз Познер был в России за год до смерти и никого из Серапионов уже не застал в живых...

За бортом этой статьи остается еще немало сюжетов, связанных с Серапионами, Петербургом и Европой, — например, «Варшава Михаила Слонимского», или «Парижская тетрадь Николая Тихонова», или «Франция в судьбе Елизаветы Полонской», не говоря уже о сюжетах, связанных с учителями Серапионов — Замятым, Гумилевым, Шкловским, К. Чуковским, Тыняновым. Оставим их, однако, до следующего юбилея нашего города.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Жизнь искусства, Л., 10 марта 1929, № 11. С. 5.

² Фрезинский Б. Судьбы Серапионов. СПб.: Академический проект, 2003.

³ В дневниках К.Федина есть поздние записи о реанимации Серапионов: от 24 ноября 1929 года — о «возрождении Серапионова братства» на собрании у Никитина и — от 1 февраля 1933 года — о полной примиренности на основе решитель-

ного и единодушного молчания по поводу внутрисерапионовских отношений и единого признания исключительного дарования Зоженко (на собрании у Груздева). См.: Федин К. Собр. соч.: В 12 т. Т. 12. М., 1986. С. 43, 63—64. Но всякий раз, может быть, и желаемое принималось за действительное.

⁴ Федин К. Собр. соч. Т. 10. С. 135.

⁵ Там же. Т. 12. С. 100.

⁶ Лица. № 5. М.—СПб., 1994. С. 333.

⁷ Федин К. Собр. соч.: Т. 10. С. 69. Замечу, что увлекающийся, веселый Лунц к Вс.Иванову относился, пожалуй, враждебно, что проявилось, в частности, и в его рассказе-пародии на Серапионов «Хождение по мукам». См.: Вопросы литературы. 1993, № 4. С. 247—256.

⁸ Федин К. Собр. соч. Т. 10. С. 69.

⁹ Там же.

¹⁰ Шварц Е. Телефонная книжка. М., 1997. С. 413.

¹¹ О том, что связано с постановками пьес Лунца в сов. России, см. указанную книгу «Судьбы Серапионов» или статью: Фрезинский Б. Заколдованные сочинения Льва Лунца // Звезда. 1997. № 12. С. 149—171.

¹² Новый журнал. Нью-Йорк, 1966. № 82. С. 185.

¹³ Шагинян М. Литературный дневник. М.—Пб., 1923. С. 132.

¹⁴ Троицкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 67.

¹⁵ В подборке первых автобиографий Серапионов (Литературные записки. Петроград, 1922, № 3) Никитин не участвовал, в автобиографии 1924 года «Кол», разумеется, назван (Писатели. Автобиографии современников. Под редакцией Вл.Лидина. М., 1926. С. 201).

¹⁶ Берберова Н. Курсив мой. М., 1996. С. 185.

¹⁷ Новый журнал. № 82. С. 144.

¹⁸ Рецензия Замятина на книгу Никитина «Сейчас на Западе» // Русский современник, 1924. № 2. С. 287—288. Вошла в книгу: Замятин Е. Я боюсь. М., 1999. С. 112—114.

¹⁹ Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. // Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 589.

²⁰ Новый журнал. Нью-Йорк, 1966. № 82. С. 143.

²¹ Там же. С. 151.

²² Там же. С. 143.

²³ Фрезинский Б. Судьбы Серапионов. С. 222.

²⁴ Новый журнал. № 82. С. 149—150.

²⁵ Их публикацию см.: Вопросы литературы. 1997. № 2.

²⁶ Бабель И. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 283.

²⁷ Гуль Р. Я унес Россию. Т. 1. М., 2001. С. 329—334.

²⁸ Иванов Вс. Дневники. М., 2001. С. 254.

²⁹ Федин К. Собр. соч. Т. 12. С. 99. К.Симонов в военных дневниках записал, как вместе с Толстым отправился смотреть на казнь: «Колесничий — идти или не идти — не было» (Симонов К. Разные дни войны. Т. 2. М., 1977. С. 359); это не относится к Эренбургу, который смотрел на казнь отказавшись.

³⁰ Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917—1953 гг. М., 1999. С. 494.

³¹ О том, какая мера наказания была определена для Федина, см. в главе «Летом

1946-го, или Сороковые роковые» указанной книги «Судьбы Серапионов».

³² Замятин Е. Новая русская проза. См. в книге Замятин Е. Я боюсь. М., 1999. С. 86.

³³ Эта формула, как известно, была провозглашена на Первом съезде советских писателей в 1934 году Л.Соболевым и начиналась со слов: «Партия дала нам...» — характерный пример демагогической лжи, легко вылетевший из уст литератора, заслужившего вскоре лавры незаурядной литпроститутки.

³⁴ М.Горький и советские писатели. Неизданная переписка. // Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 474—475.

³⁵ В 1927—1928 гг. такую возможность получили Серапионы Слонимский, Груздев, Никитин — они путешествовали по Европе с женами.

³⁶ Гуль Р. Я унес Россию. Т. 1. С. 290.

³⁷ Федин К. Собр. соч. Т. 12. С. 12.

³⁸ Узнав в 1933-м, что Гуль написал книги, которые в Москве оценят как антисоветские, Федин сказал ему: «Мы с тобой больше переписываться не можем» (Гуль Р. Указ. соч. С. 321), и практически их встречи прекратились.

³⁹ Гуль Р. Указ. соч. С. 313—314.

⁴⁰ Федин К. Собр. соч. Т. 12. С. 110.

⁴¹ Там же. С. 68.

⁴² Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 72.

⁴³ Вспоминая Михаила Зоженко. Л., 1990. С. 32.

⁴⁴ См.: Парнис А. Блок, Маяковский, Ходасевич и другие в парижском альбоме // Опыты. СПб.—Париж, 1994, № 1. С. 149—176.

⁴⁵ Лунц Л. Вне закона. СПб., 1994. С. 211.

⁴⁶ Там же. С. 204.

⁴⁷ «Серапионовы Братья» в собраниях Пушкинского Дома. Материалы. Исследования. Публикации. СПб., 1998. С. 178. Далее — СБ.

⁴⁸ Чуковский Н. Указ. соч. С. 75.

⁴⁹ СБ. С. 176.

⁵⁰ М.Горький и советские писатели. Неизданная переписка. С. 383.

⁵¹ Вопросы литературы. 2000, № 1. С. 310.

⁵² М.Горький и советские писатели... С. 563.

⁵³ Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей XX века. 1920—1970. М., 2002. С. 509.

⁵⁴ Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. // Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 721—722.

⁵⁵ Там же. С. 723.

⁵⁶ Знамя. 1965, № 12.

⁵⁷ Диалог писателей... С. 210.

100 ЛЕТ ЛИГОВСКОМУ НАРОДНОМУ ДОМУ

Воспоминания С.В.Паниной «Мой город»

Галина ГЛУШАНОК

Воспоминания графини Софьи Владимировны Паниной (1871—1956) «Мой город», представляющие девять машинописных страниц, напечатанных в старой орфографии, хранятся в личном фонде С.В.Паниной в Архиве русской и восточноевропейской истории и культуры (Бахметевском) Колумбийского университета в Нью-Йорке, США (Bakhtmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University, New York, USA (в дальнейшем — BAR), Fond Panina S.V., box 6). Из корпуса воспоминаний исключен один абзац, против которого рукой Паниной сделана помета: «Это было годом раньше, в Москве». Текст не датирован. Он публикуется впервые, в современной орфографии, по ксерокопии с оригинала.

Осенью 1882 года одиннадцатилетнюю Софью Панину впервые привезли в Царское Село. Здесь жила бабушка — мамина мама — Анастасия Никитична Мальцева, статс-дама, урожденная княгиня Урусова. Так начался «петербургский период» знаменитой общественной деятельницы графини С.В.Паниной.

Точно в таком же возрасте привезли сюда в 1811 году Александра Пушкина, и это место, где прошли его лицейские годы, — райский сад, эдем — увертюра Петербурга — стало его Отечеством. Таким же «genius loci» станет Царское Село и Петербург для Паниной. В 1925 году в Праге, в эмиграции, в день рождения Пушкина Софья Владимировна учредила День русской культуры. Первое собрание открывается ее Словом — о присутствии Пушкина в духовной жизни русского человека.

Софья Панина принадлежала к старинному и богатому роду.

Ее бабушка — по отцу — графиня Наталья Павловна Панина (1810—1899), урожденная Тизенгаузен, была внучкой губернатора Санкт-Петербурга графа Палена, возглавившего заговор против Павла. Ее двоюродный правнук, Георгий Васильчиков, вспоминал: «Она хорошо знала Александра I,

помнила, как радовались известиям о кончине в 1821 году Наполеона, и дружила с Пушкиным. <...> Ее муж, граф Виктор Никитич, прославился сугубым реакционером, который, будучи в должности министра юстиции при Александре II, а затем председателя Особого комитета по крестьянским делам, всячески тормозил упразднение крепостного права. Его сын, отец тети Софьи, Владимир был, наоборот, либералом. Как и все Панины, весьма начитанный человек, он, женившись на «ветреной» красавице Насте Мальцевой, выросшей при дворе с детьми Александра II (ее мать была ближайшей подругой императрицы Марии Александровны), взялся «расширять ее умственные горизонты» путем общения с тогдашней культурной интеллигенцией — врачами, университетскими профессорами, земскими деятелями и т.п., большинство из которых придерживалось так называемых «прогрессивных взглядов». Он в этом так преуспел, что после его преждевременной кончины горячо его любившая тетя Настя целиком погрузилась в эту среду. И когда, после продолжительного сожительства с ним, она вышла замуж вторым браком за одного из лидеров, к тому же из наиболее экстремистских, либеральной оппозиции И.Петрункевича, никогда не любившая ее свекровь — старая графиня, боясь глетворного влияния на впечатлительную внучку Софью той среды, в которой вращалась ее мать, боясь к тому же, что деньги, выдаваемые тете Насте из громадного семейного наследства на содержание дочери, пойдут, хоть частично, на революционную пропаганду (что, кстати, и случилось: Петрункевич стал со временем одним из главных финансовых спонсоров будущей кадетской партии), прибегла к неслышанной даже в то время мере: по личному приказу императора Александра III тетя Софья была отнята у матери и отдана на попечение бабушке, которая записала ее в Екатеринбургский институт».¹

Владимир Викторович Панин

(1842—1872) умер в 30 лет, когда дочери не было и года, оставив жену двадцатидвухлетней вдовой. Вскоре увлекшаяся либеральными идеями Анастасия Сергеевна Мальцева (1850—1932) на одном из съездов встретила свою вторую любовь. Отчимом Софьи стал один из основателей Конституционно-Демократической партии и председатель ее ЦК первых лет — Иван Ильич Петрункевич (1844—1928). В разгар революционных событий 1917 года Софья Владимировна тоже станет членом кадетской партии и войдет в ее ЦК.

«Когда я познакомилась с Петрункевичем, это была уже очень молодая, но все еще окутанная романтической дымкой пара, — вспоминала А.Тыркова-Вильямс. — Анастасия Сергеевна, бурная, страстная, не слишком сдержанная на слова, все горячо принимала к сердцу, могла в любую минуту неожиданно загореться, могла и наговорить лишнего. Но стоило Ивану Ильичу поверх очков взглянуть на жену твердыми черными глазами, она сразу затихала. По крайней мере так было в заседаниях ЦК. Она любила мужа так явно, с такой трогательной нежностью ловила каждое его слово, как и тридцать лет тому назад, видела в нем героя и трибуна, заразившего ее своими радикальными идеями. Глядя на них, я часто думала, что Иван Ильич никогда не занял бы такого положения в партии и в общественном мнении, не будь около него Анастасии Сергеевны. Она не только окружала его повседневную жизнь мелкими заботами, обдуманном комфортом, но, что было гораздо важнее, она создала ему культ, подняла его на пьедестал, благодаря чему этот средний человек многим казался гораздо выше своего роста. Анастасия Сергеевна не была членом ЦК, никакой самостоятельной общественной работы не вела. Она была женой своего мужа... Но мне думается, что Анастасия Сергеевна была даровитее Ивана Ильича. Только ее способности остались в зародыше. Поглощенная им, она не выработала себя, забыла о себе. На заседаниях

ЦК она неизменно присутствовала. Сидела не за нашим большим столом, а за своим маленьким, у стены, как раз за спиной Ивана Ильича. Иногда вставала, чтобы отдать приказ горничной или подвинуть гостям вкусное угощение... Высокая, статная, с лицом все еще красивым, с темными, живыми глазами, она всем своим обликом дополняла барственный уютность их столовой. Но как менялось ее лицо, какие искры сыпались из ее выразительных глаз, если кто-нибудь из нас имел дерзость не согласиться с председателем, спорить с ним. Я любовалась молодой впечатлительностью этой седоволосой женщины, изумлялась силе магнетического отпора, который струился от нее на дерзкого. Чувствовал за своей спиной это струение и Петрункевич. Через плечо оборачивался он назад на наблюдательный пункт, где заседала его жена. Она отвечала на его улыбку полуулыбкой и притихала...»²

Их эмигрантские скитания — США, Швейцария, Чехословакия — закончились в окрестностях Праги. Анастасия Сергеевна пережила мужа на четыре года. Она подготовила к печати его воспоминания и назвала их: «Из записок общественного деятеля». На его могильной плите она написала строки Пушкина:

«Свободы сеятель пустынный
Я вышел рано, до звезды...»

Екатерининский институт, где проводила Софья Панина пять лет, был детищем императрицы Марии Федоровны, поставленной во главе Воспитательного общества благородных девиц. Формирование ее личности происходило в институтских стенах в 80-е годы XIX века. Суровая обстановка, в которой находились воспитанницы, вырабатывала самостоятельность и независимость. Софью с детских лет отличали гордость и чувство собственного достоинства. Описанная ею сцена, когда она отказалась называть начальницу «тапан» и называла только «madam», почти буквально повторяет историю дочери декабриста Никиты Муравьева — Софьи, которая тоже была определена в Екатерининский институт и на вопрос императрицы Александры Федоровны, почему она называет ее «madam», а не «тапан», ответила: «У меня только одна мать, и та похоронена в Сибири».

Позже Панина училась на Бестужевских курсах, слушала лекции историка С.Ф.Платонова. «Софья никогда не жалуется, — писала Анастасия Сергеевна другу их семьи — Федору Измайловичу Родичеву, —

и чем труднее момент, все больше сосредоточивается и молчит, и всегда не только стоически, но также бодро и не унывая, несет свою судьбу. Вы правы, Федор Измайлович, есть в этом что-то героическое, и я теперь, уже разочарованная жизнью, нахваливая «курица», часто не без внутреннего волнения и удивления смотрю на своего смелого утенка...»³

В 20 лет Софья Владимировна вы-

она пробиралась на юг, в район действующей Белой армии. На одной из станций чемоданчик был потерян...

Панина вошла в Особое Совещание при Главнокомандующем — генерале А.И.Деникине. Как и мать, она выбрала себе в спутники жизни любимого человека из своего круга кадетской партии. Ее гражданским мужем стал известный общественный деятель, москвич, политический



И.Е.Репин во время работы над портретом С.В.Паниной.
Слева направо: С.В.Панина, И.Е.Репин, Л.Н.Яковлева. Фото 1908—1909 гг.

шла замуж за блестящего офицера — Александра Александровича Половцева. Посаженным отцом на свадьбе был Александр III. Но супружеская жизнь не сложилась, вскоре последовал развод. Брак был бездетным, и девичья фамилия была оставлена.

Культурно-просветительская деятельность графини, создавшей в 1903 году на свои средства Лиговский Народный Дом для рабочего населения глухой окраины, сделала ее известной во всех слоях населения. События 1917 года — яркая политическая активность Паниной, арест, тюремное заключение, суд и дальнейшее преследование членов кадетской партии — вынудили ее покинуть Россию. «...освободив меня из тюрьмы в 1917 году, мой город смог мне даровать только трудную и долгую жизнь без него, вдали от него... очевидно, навсегда...»⁴

Осенью 1918 года с фальшивым паспортом, переодетая простолюдинкой, в валенках и платке, с небольшим потрепанным чемоданчиком, в котором лежали фамильные драгоценности, предназначенные на нужды армии генерала А.И.Деникина, через Москву, Орел и Курск,

советник генерала Деникина, член ЦК — Николай Иванович Астров (1868—1934). К весне 1920 года Белое движение себя исчерпало. «Наш здешний небольшой кружок с болью переживает эту тяжелую переходную полосу, — писала А.Тыркова, — Павел Иванович Новгородцев еще бодрее других; а Ник. Ив. Астров и Софья Вл. Панина совсем подавлены, главное — сознанием того, что вся работа Особого Совещания, с которым они были так органически связаны, шла по ложному пути...»⁵ Весной 1920 года Панина и Астров навсегда уезжают из России.

В Праге Астров был председателем Союза писателей и журналистов и одним из основателей Русского заграничного исторического архива, а Софья Владимировна — основательницей «Русского Очага» — некоего подобия Народного Дома, ставшего культурным центром русской эмиграции в Праге. Через несколько лет после смерти Н.И.Астрова, в 1934 году, С.В.Панина переехала в Америку. Ее самые близкие друзья — семья Георгия Владимировича Вернадского, с родителями которого были связаны дружбой и сов-

Мой город

Софья ПАНИНА

местной работой в кадетской партии в тяжелые годы революции отчим, мать и она сама. Она жила в основном в Нью-Хэйвене, у своего сводного брата, профессора зоологии Йельского университета, Александра Ивановича Петрункевича. Или на ферме Александры Львовны Толстой, которой Софья Владимировна помогала собирать материалы для книги об отце, гостившем в 1901—1902 годах в ее крымском имении в Гаспре, в восьми километрах от Ялты.

В 1948 году Софья Владимировна Панина написала воспоминания «На Петербургской окраине», в которых подробно рассказала о главном деле своей жизни — Лиговском Народном Доме и суде над ней в декабре 1917 года. По ее завещанию они были опубликованы после ее смерти в «Новом журнале» в Нью-Йорке.

Несмотря на все жизненные испытания, она оставалась такой же неутомимой и отзывчивой.

Идеалы матери и отчима, их общественное служение Родине были для Софьи тем духовным эталоном, которому она следовала всю жизнь. Ее благородство и целеустремленность проявились в создании Народного Дома, а в дни судебного процесса она продемонстрировала бескомпромиссность и незаурядное мужество, превратив свою биографию — в судьбу.

Написанные в эмиграции воспоминания о петербургском детстве и семье — отзыв Софьи Владимировны Паниной на пушкинские строфы. Положенные на музыку, они были общей клятвой и тайной молитвой:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Васильчиков И. Г. Графиня С. В. Панина — последняя владелица Марфина. // Наше Наследие. 1994. № 29—30. С. 77.

²Тыркова-Вильямс А. Воспоминания. // На путях к свободе. М.; Слово. 1998. С. 495—496.

³Родицева А. Памяти графини С. В. Паниной. // Русская мысль. 1956, № 920. 3 июля. С. 7.

⁴Панина С. В. На Петербургской окраине. // Новый журнал. Нью-Йорк. 1957, № 48. С. 191.

⁵Тыркова-Вильямс А. — Корнилову А. «Теперь не наша полоса...» (из архива А. А. Корнилова). Публ. М. Ю. Сорокиной // Минувшее. № 16. М.—СПб., 1994. С. 327.

Наша первая встреча произошла в волшебной обстановке царскосельской осени. Тот, кому суждено было стать суровым хозяином и повелителем моей жизни — моим *genius loci*, — облачился в царственный пурпур и золото, чтобы принять меня в свою обитель. Он раскинул надо мной бирюзовый шатер сентябрьского северного неба, зачаровал прозрачную хрустальность своих рек и озер, пронизал свой воздух сверкающими нитями осенних паутинок и медленно сыпал багрянец своего царственного облачения к моим беспечным детским ногам. Во всех уголках царскосельского парка играли, качались и пели, усыпляя и завораживая меня, дочери Лесного Царя. Как мог, мой детский слух уловил за этими песнями уже близкий, грозный и властный голос Лесного Царя — Медного Всадника: «...Неволей иль волей, а будешь ты мой».

Волшебницей, добрым гением этого царства была бабушка Анастасия Николаевна, Баба, мать моей матери. К ней мы приехали, у нее мы жили. Тоненькая, миниатюрная, с маленькими седеющими бучолячками, обрамлявшими ее прелестное лицо, она так весело смеялась, многозначительно и лукаво прищуривая один глазок, что, конечно, знала всепобеждающую силу своего очарования, и ей достаточно было взять золотыми щипчиками одну из тоненьких и миниатюрных, как она сама, пахитосочек, лежавших в табакерке на ее столе, и пустить из нее ароматное, быстро расширявшееся колечко дыма, чтобы никакая темная или злая сила не могла проникнуть в пределы того очарованного царства, которое создавалось ее лаской, ее смехом, ее красотой.

А перед домом, в саду, была зеленая, изумрудная лужайка, на которой веселый дядя Сережа — дядя Шут, как я его прозвала, — так ловко бросал бумеранг, это удивительное оружие таинственных австралийцев, которое, как одушевленное, описывало в воздухе правильный круг и послушно возвращалось к его ногам.

Нет, конечно, из волшебного царства Баба, из-под защиты летающего

бумеранга меня бы не смог похитить ни Лесной Царь, ни даже Черномор. Медный Всадник оказался сильнее. Он выманил нас с матерью оттуда.

Мой город взял меня.

Кончилась сказка беззаботного, радостного детства, всего проникнутого теплом и любовью моей матери, кончился «матриархат» моей летописи...

От него, моего города, у меня осталось только одно живое впечатление и воспоминание от этих дней: Исаакиевский собор. Громадный и таинственный, весь тонущий во мраке, который не могут ни преодолеть, ни рассеять бесчисленные желтые огоньки в люстрах и паникадилах. Огоньки мерцают и дрожат в бессильной борьбе с обступившим, съедающим их мраком, который вверху, в громадном куполе, сгущается до физически ощутимой плотности. И оттуда же, с этих недостижимых и невидимых высот, несутся звуки какого-то ангельского пенья, которое как роса ниспадает на жаждущие человеческие души... Мы с матерью продвигаемся вперед, ближе к середине собора, и я замираю от открывшегося видения. Высоко над алтарем, весь пронизанный лучами восточного солнца, воскресший Христос возносится к небу, простирая к нам — и, конечно, ко мне — свои зовущие, свои милосердные руки... Единственный свет во всем этом мраке.

24 октября 1882 года. Меня тянет к этому видению.

«Мама, сегодня воскресенье, пойдем в Исаакиевский собор».

«Хорошо, только пришей сначала пуговицу к своему сапогу».

Я сажусь и шью, и слышу, как в соседнюю комнату кто-то к матери приходит и ей что-то говорит. Через несколько минут вся трепещущая, с заплаканными глазами ко мне входит мать, а в открытую дверь я вижу военного мундир незнакомой мужчины.

«Софьюшка, одевайся. Мы сейчас подем в Екатеринбургский институт».

И к мундиру: «Я сама отвезу ее».

Первый период моей жизни не связан ни с каким определенным ме-

стом. У нас с матерью не было постоянной оседлости и своего «дома». Чередой проходят в моей памяти берега Средиземного моря и Атлантического океана, Киев во время русско-турецкой войны 1877—78 годов, Москва, где по странной случайности мы жили на Долгоруковской улице, как раз напротив Бутырской тюрьмы, и где я с трепетом наблюдала за бесконечными вереницами увозимых и увозимых заключенных в кандалах, поездка в дебри костромских, керженских лесов, зима в Смоленске, лето в деревне Тамбовской губернии, где я чуть не умерла от брюшного тифа, зима во Флоренции и, наконец, год в Одессе, где я начала ходить в частную гимназию Трачевского, — вот цестрая картина наших скитаний и тот багаж впечатлений и разрозненных познаний, который я привезла с собой осенью 1882 года, когда мне только что исполнилось одиннадцать лет. Моим «домом», стержнем моей жизни, все вокруг себя объединявшим и все определявшим, была мать. Теперь она, такая прекрасная и еще такая молодая, овдовевшая, когда ей было 22 года, а мне, ее единственному ребенку, не было еще и одного, перед самым нашим приездом в Царское Село вышла вторично замуж за Ивана Ильича Петрункевича, который в те, детские годы был для меня дядей Ваней. Дядя Ваня был земским деятелем, либералом-конституционалистом, «политически неблагонадежным» лицом, жил в ссылке в Смоленске, и всей моей панинской семьей считался «террористом». Поэтому мать моего отца, бабушка Наталья Павловна, статс-дама Ее Величества, вдова графа Виктора Никитича Панина, бывшего министра юстиции императоров Николая I и Александра II, испросила у государя Александра III высочайшее повеление об отнятии меня у моей матери и о передаче прав опекуна надо мной — ей, Наталье Павловне. С тем вместе ей поручалось и мое дальнейшее воспитание. Для смягчения же «удара» и для сведения всех «действующих лиц» выбрана некая «нейтральная почва», на которой возможны были бы свидания и сношения, — и было решено поместить меня в один из петербургских институтов. Выбор пал на Екатерининский, потому что он находился на Фонтанке, напротив бабушкиного дома.¹

Построенный одним из великих строителей Петербурга, архитектором Кваренги, Екатерининский институт стоит на месте снесенного старинного, еще петровского дворца. Последний предназначался в свое время для царевны Анны Петровны, будущей

матери Петра III, но никто из царской семьи никогда в нем не жил и помещалась там лишь прислуга Елизаветинского Летнего дворца. Он был снесен, и на месте его стал Михайловский дворец Павла I.²

Хотя здание Екатерининского института и имеет все полагающиеся атрибуты своей эпохи и своего творца, но оно далеко уступает в размахе и великолепии своему близнецу, зданию Смольного института, построенному в те же годы и тем же Кваренги.³ Этим двум институтам было суждено вечное соревнование во всех областях, хотя для всех, кроме «екатерининок», было совершенно ясно, что тяжба эта выиграна «смолянками» с самого «старта». За ними было прежде всего право старшинства, так как Смольный, как школа для благородных девиц, был создан еще Екатериной II. Другие институты были детищами Императрицы Марии Федоровны, жены Павла I. За зданием Смольного были такие же бесспорные права одного из самых великолепных, я бы сказала, — одного из самых гармонически-музыкальных зданий нашей царственной столицы. Его размаху содействовали окружавшие его просторы Невы с одной стороны и громадной площади, с ратреллиевским собором, — с другой.

Екатерининский же институт, большой и прекрасный сам по себе, с обширным, тенистым садом в тылу, имел, однако, перед собой лишь Фонтанку и среди общей городской застроенности не мог иметь того «пейзажного» величия, который имел Смольный. (Он даже своей прямой линии не смог вытянуть и как-то неловко надломился перед той частью здания, в которой помещался его великолепный Колонный двухсветный зал.)

Но все это я увидела и поняла гораздо, гораздо позднее...

В то же воскресенье, когда передо мною впервые раскрылись двери института и величественный швейцар с булавой и в треуголке и красной ливрее принял меня в огромной передней и указал нам с матерью вход в комнаты начальницы, — все кругом было мне враждебно и ненавистно. Этот швейцар так и остался на всю жизнь моим «врагом», даже тогда, когда враждебность прямолинейных, бесконечных, холодных коридоров была как-то преодолена.

Но только ли каменную архитектуру предстояло мне преодолеть! Все духовное построение того мира, в который я тогда вступила, было ново и чуждо мне. Многое из него я по-детски быстро, легко и даже радостно восприняла, но к другому осталась непримиримо враждебна...

Делать реверансы, например, идя по пустынности бесконечного коридора, и приседать перед каждым представителем «вражеского» начальства — это даже очень весело, особенно когда идешь в парах, целым классом, и это приседание проходит бегущей волной по всей длинной цепи белых пелеринков. Сначала низкая волна «маленьких», идущих в первых парах, затем постепенно повышающийся ее гребень, внезапно обрывающийся в конце нашей цепи. Это даже очень красиво, и нужно постараться, чтобы выходило очень плавно.

Но... Как?!

Начальницу все называют Маман! Ну уж этого я, конечно, НИКОГДА не скажу! И эту противную, высокогрудую женщину, затянутую в яркосинее платье (которое вот сейчас, кажется, лопнет на ней), которая олицетворяет для меня злую силу, которая прияла у меня мою мать... Чтобы я назвала «матерью», хотя бы во французском искажении слова, — ни за что в мире! Так она мною до конца моего пребывания в институте и именовалась Madam, с особым подчеркиванием этой «дерзости».

На следующий день после моего поступления в институт я, еще в качестве «новенькой», в собственном клетчатом, не казенном, платье сижу за обедом среди других девочек, на длинной скамейке, за еще более длинным столом в нашей общей огромной столовой. Каждый класс занимает свой огромный стол, который возглавляется дежурной классной дамой.

Резкий, неожиданный звонок в далекой передней института вдруг нарушает деловитую, шуршащую тишину, водворившуюся в столовой после пропеты общей молитвы. Звонок бежит по коридорам из нижнего этажа вверх, быстро усиливаясь, будя тревогу, пока не врывается к нам вместе с дежурным сторожем, вызывая переполох всего сняго начальства! — «Государыня Императрица Мария Федоровна!» Мы все в секунду на ногах, выстроены вдоль наших столов.

Через несколько минут появляется, сопровождаемая начальницей, небольшая, грациозная фигурка императрицы. Она приветливо нам улыбается и кивает, проходя по среднему широкому проходу, и перед ней, как колосья на ниве, склоняются волнами «белые пелеринки» в глубоком реверансе.

Императрица направляется прямо ко мне, к девочке в клетчатом платье, так неудобно выделяющемся среди моря белых передников и пелеринков. Ко мне протягивается рука. Я приседаю, усвоив уже твердо это первое

правило вежливости, но решительно не знаю, что делать с протянутой мне Высочайшей рукой! Я простожимаю ее. Синия платья начальницы, инспектрисы, классных дам чуть не лопаются от взрыва еле сдерживаемого негодования, и вздох изумления пробегаёт даже по рядам девочек. Я слышу негодующий свистящий шепот начальства: «Mais baissez donc la main» («Целуйте руку»).

И в ответ спокойный голос Императрицы: «Mais laissez la tranquille!» («Да оставьте ее в покое!»).

Ошеломленная и растерянная, не понимая ни формы, ни смысла своего преступления, я отвечаю на задаваемые мне вопросы, сознавая вместе с тем, что вызываю какую-то сенсацию. Мое поведение было сочтено началом за политическую демонстрацию, за проявление «нигилизма» и было, увы, приписано зловредному влиянию моей матери. Девочки же моментально решили, что я «свой человек» в царской семье, бываю в гостях у царских детей и потому с ними запанибрата.

Так одновременно сложились обо мне две противоположные легенды, превратившие меня в некую достопримечательность с первого же дня моей институтской жизни. «Белая ворона...»

Это положение усиливалось еще тем, что по желанию бабушки меня не поместили в общий дортуар моего класса, а спать я должна была у инспектрисы. Это сразу отравило мое существование исключительностью созданного мне положения и тем, что, естественно, вызвало подозрение моих товарищей в том, что я буду доносить, фискалить по начальству.

Должна сказать, что подозрения эти очень быстро рассеялись. Я так искренно ненавидела эту самую «исключительность» моего положения и так тяготилась ею; так радостно, напротив, проникалась духом верности тому своеобразному ордену, который называется «школьным товариществом», что, несомненно, претерпела бы последние муки скорее, чем выдать «тайны» нашей классной жизни. К тому же инспектриса, у которой я жила, не приобрела ни моей любви, ни даже моего уважения.

Через некоторое время после моего поступления в институт меня приехала проведать бабушка. Свидание происходило в квартире инспектрисы и в ее присутствии. Я сидела как каменная, не отвечала ни на какие вопросы и обращения бабушки. Я с ней не разговаривала.

После ее отъезда инспектриса взялась за мою обработку и принялась меня отчитывать за мое недопустимое

поведение. В качестве предельного, по ее мнению, аргумента она пригрозила мне тем, что если я буду упорствовать, бабушка наверное лишит меня наследства. О «наследстве», о богатстве и деньгах, вообще, о том, что я, единственная дочь единственного сына, действительно являлась наследницей большого состояния, я знала так же мало, как и о том, как следует обращаться с членами царской семьи, но представление о том, что чувства мои можно «купить» подобного рода угрозой, страшно оскорбило меня и только закрепило в занятой враждебной позиции. Инспектрису же я глубоко «запрезирала» за низменность ее понятий и побуждений, и с этого дня она была навсегда конченым для меня человеком.

Так же презирали мы, девочки, и нашу начальницу за то, что видели, как различно она обращалась с богатыми или бедными родителями наших товарищей.

Одним из самых сильных моих детских чувств являлось требование СПРАВЕДЛИВОСТИ и РАВЕНСТВА, и дети необыкновенно чутки и чувствительны к проявлению со стороны взрослых какого бы то ни было пристрастия — будь то в отрицательном или положительном смысле. Мы требуем к себе в детстве также и безукоризненно честного отношения, даже тогда, когда сами лукавим... В учебных заведениях у нас очень быстро вырабатываются две правды, две чести: одна — настоящая, для мира наших взаимоотношений с товарищами, другая — для начальства. Может быть, были и есть, в виде исключения, такие частные средние учебные заведения, в которых удавалось эти две правды слить в одну. Эта победа давалась тогда силой личного воздействия педагога «Божьей милостью», умевшего внушить к себе полное доверие и уважение детей. Общее же правило было, конечно, две правды. Усвоила это и я, хотя до тех пор именно ЧЕСТНОСТЬ — единая и абсолютная — была краеугольным камнем того духовного мира и тех отношений, в которых растила меня мать.

Две правды — в школе и... Две правды вне ее стен, в семье.

Мать и от матери — все. Бабушка и от бабушки — ничего!

На Рождество почти все девочки разъезжались по домам. Нас осталось в классе 7 душ. Ввиду моей враждебности, бабушка не решилась взять меня к себе, мать была далеко, да меня к ней и не пустили бы... Для всех остающихся в школе институток устраивали большую елку в зале. Но моя бабушка, желая сделать особое удовольствие

моему классу, прислала нам отдельную небольшую елку с подарками для всех нас — семи девочек.

Я помню, как остро я страдала оттого, что меня поставили в привилегированное положение делающей подарки своим товарищам, которые не имели материальной возможности ответить мне тем же. Я отреклась от какого бы то ни было касательства к этой елке, отказалась от подарков, стала в угол комнаты спиной к елке и так простояла все время, пока горели свечи и пока мои простодушные товарищи искренно веселились, ничего не понимая в моей сложной психологии...

Я заговорила с бабушкой только весной, в конце своего первого учебного года, повинувшись приказанию моей матери.

Пять лет я провела в стенах Екатерининского института. Что представляли из себя наши девичьи институты в то далекое время — 80-е годы XIX столетия, которые я описываю? Русское просвещенное общество (русская интеллигенция) относилось в своем громадном большинстве к ним отрицательно. И тогда, и позднее. Их культурное и прогрессивное значение времен Императриц Екатерины II и Марии Федоровны, впервые поставившей перед государством задачу образования и воспитания ЖЕНЩИНЫ в России, — было уже далеко позади, и ходячее мнение о них, тот «штамп», который к ним прикладывался, был: «тепличные питомники девушек из привилегированных классов». Было ли это действительно так? И исчерпывал ли этот приговор содержание и смысл тех тридцати женских учебных заведений, которые были разбросаны по многим городам России и десять из них находились в Петербурге?

Бабушке — Наталье Павловне — было 72 года, когда она взяла меня на свое попечение, и прожили мы с ней вместе без малого 20 лет, т.к. скончалась она 89 лет от роду. Рожденная гр. Тизенгаузен, она принадлежала по своему происхождению к одному из старинных, но уже обедневших немецких родов города Ревеля. Опустевший дом графов Тизенгаузен уныло высился над самыми стенами Ревельского «кремля», и мрачно и неуютно глядели его небольшие окна, затерянные среди слепой площади его облупившихся, посеревших и шершавых стен. А последняя представительница старшего поколения когда-то многочисленной семьи — моя двоюродная тетка — баронесса Энгельгардт доживала в это время последние годы своей глубокой старости на скромной частной квартирке в гуще городской толчеи.

«Дело» С.В.Паниной в письмах, дневниках и документах

Галина ГЛУШАНОК

Некоторые из членов этого рода оставались крепко привязанными к своей балтийской немецкой почве; других — военная и гражданская государственная служба завлекла в российскую столицу и разбросала по великим просторам русской земли. Они женились на русских и утрачивали постепенно свою немецкую сущность.

Бабушка, прожившая сорок счастливых лет замужем за моим дедом, который буквально носил ее на руках, тоже формально вошла в русскую жизнь. На моей памяти она никогда в Ревель не ездила, в нашем доме никогда мы по-немецки не говорили. Но по-русски она говорит как следует никогда не научилась, и семейным языком был французский. Конечно, она никогда по-настоящему РУССКОЙ не стала. Она была типичной представительницей той интернациональной аристократии, отечеством которой была Европа, а отнюдь не Россия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Паниным принадлежал дом № 7 на набережной р. Фонтанки. Позже сама С.В.Панина жила по адресу: Сергиевская ул., д. 23. После ее эмиграции в здании на Фонтанке с 1920-х годов до войны размещался Дом работников печати.

² На месте Екатерининского института в 1711 г. Петр I заложил дворец для своей дочери Анны, он был назван Итальянским — отсюда название Большой и Малой Итальянских улиц (сейчас Итальянская ул. и ул. Жуковского). Дворец долго пустовал, лишь в 1743 г. в нем поселились придворные слуги. В 1796 г. было решено отдать дворец под военносиротский дом, а в 1800 г. было решено поместить здесь новое учебное заведение — Екатерининский институт.

Обветшавшее здание Итальянского дворца снесли, а на его месте в 1804—1807 гг. по проекту Дж.Кваренги было построено новое здание в стиле классицизма. Два трехэтажных флигеля на флангах здания были построены в 1823—1825 гг. Арх. Д.И.Квадри. Екатерининский институт (Институт ордена Св.Екатерины) предназначался для девушек из семей потомственных дворян.

³Смольный институт (Воспитательное Общество благородных девиц) — первый привилегированный институт для девушек из дворянских семей. Основан в царствование Екатерины II по плану И.И.Бецкого в 1764 г. Был размещен в Смольном соборе (арх. Ф.Б.Растрелли). В 1806—1808 гг. по проекту арх. Дж.Кваренги неподалеку было построено специальное здание для этого учебного заведения.

Публикуемые письма, адресованные графине С.В.Паниной, и два ее собственных ответа хранятся в ее личном фонде в Архиве русской и восточноевропейской истории и культуры (Бахметевском) Колумбийского университета в Нью-Йорке, США (Bakhtmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University, New York, USA; Fond Panina S.V., box 14). Письма публикуются в хронологическом порядке, в современной орфографии. Письма А.В.Пошехоновой, Е.В.Поповой и Н.Ф.Ялозо находятся в фонде М.М.Карповича (Fond Karпович M.M., box1) и приводятся в выдержках.

Короткая, бурная, яркая политическая драма, разыгравшаяся не на театральных подмостках, а в реальной жизни революционного Петрограда в декабре 1917 года, была описана зрителями, участниками и просто современниками.

Главная героиня этого «спектакля», никак не готовившая себя к этой роли, член ЦК Конституционно-Демократической партии, гласный Городской думы, товарищ Министра Народного просвещения, известная в городе своим исключительным подвижничеством и основанием Лиговского Народного Дома, — графиня С.В.Панина. Завязкой, кульминацией и развязкой пьесы, за действием которой следила вся Россия, были арест, суд и освобождение Паниной — события, уложившиеся в один зимний месяц «пулеметного» года.

Этот месяц, наполненный наступательными ленинскими декретами, полностью разрушающими демократические завоевания февральской революции, показателен еще и активным сопротивлением и народа, и интеллигенции новому режиму. Процесс Паниной — противостояние личности и власти — станет первой безусловной нравственной победой в безусловном поражении.

Понадобится 20 лет, чтобы жестоким террором, пытками и страхом заставить замолчать целую страну. Почти полвека спустя, в 1964 году такой же нравственной победой

будет процесс И.А.Бродского, закончившийся высылкой поэта и ставший началом его будущего триумфа.

Арест Паниной в ее собственном доме 28 ноября 1917 года, в день открытия так и не состоявшегося Учредительного Собрания, и предъявленное ей обвинение в присвоении казенных денег Министерства просвещения ошеломили всех своей циничной несправедливостью. На третий же день появилось объяснительное «Письмо в редакцию» от вице-директора Департамента Народного Просвещения Т.С.Рождественского (письмо № 1).

Захват большевиками финансов происходил вместе с захватом государственных учреждений: «...Заходил ко мне Т.С.Рождественский и Кривошеин из Мин.Нар.Пр., — записал 18 ноября в дневнике В.И.Вернадский, бывший, как и Панина, с августа 1917 года товарищем Министра Народного Просвещения. — В министерстве начинают пытаться захватить его Луначарский и К. Деньги все вынесены; вчера последние. Союз борется энергично, и незаметно, чтобы он дрогнул. На сегодня назначено в 12 ч. (в Известиях Советов) приглашение всех к Луначарскому в Мин.Н.Пр. Вечером я получил повестку...»¹ На это заседание Вернадский не пошел.

После ареста Паниной именно молчаливое соглашательство Луначарского будет клеймить Дмитрий Философов в газетной статье с характерным названием «Враг народа»² — так была представлена Панина новыми хозяевами положения. В этих терминах времен французской революции — «враг народа» и «друг народа» — будет идти дальнейшая полемика и в прессе, и в личных письмах; характерно, что первый термин покажется властям исключительно удобным — он будет сохранен для последующих процессов.

28 ноября, во вторник, Зинаида Гиппиус описала в дневнике разгон Учредительного Собрания и другие события этого дня: «...В редакции «Речи» (газета «Речь» была органом кадетской партии. — Г.Г.) — солдаты.

На углах жгут номера газеты, из тех 15 тысяч, которые успели выйти.

И как по программе: выследили по известным адресам (теперь у них много кадровых сыщиков) кадетский ЦК, в семь часов утра арестовали граф<иню> Панину, у нее устроили засаду и пошли катать прибывающих членов Уч<редительного> Собрания... Уже арестовали Шингарева, Кокошкина и стальных еще, что я не перечисляю...»³ Четвертым был П.Д. Долгоруков.

Для А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина начался их путь на Голгофу. Переведенные 6 января 1918 года из Петропавловской крепости в Мариинскую больницу, в тот же день они были зверски убиты матросами и солдатами.

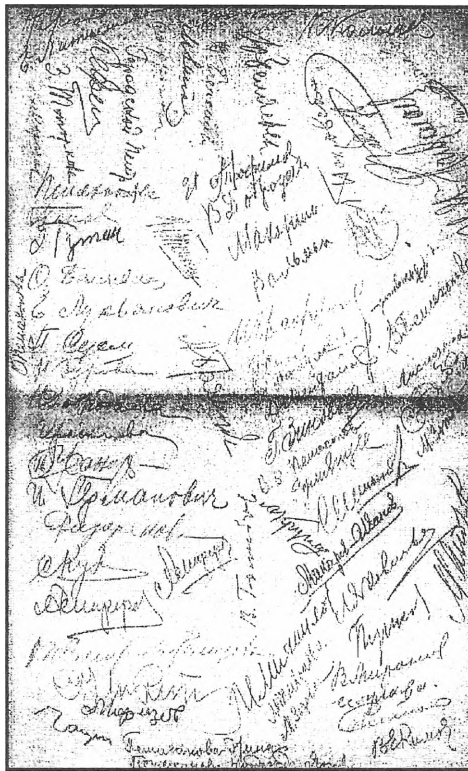
Поздним вечером в день ареста Паниной Совнарком спешно утвердил декрет Ленина «Об аресте вождей гражданской войны против Революции», в котором кадеты были объявлены «партией врагов народа, подлежали аресту и преданию суду революционных трибуналов».⁴

29 ноября, в среду, Гиппиус записала: «Планомерные аресты прибывающих кадет продолжаются. В «Известиях» (это единственная сегодня газета) напечатан декрет, которым кадеты объявляются вне закона и подлежат аресту сплошь <...> Мороз. На улицах глухо, стыло, темно, молчаливо. Зимний, — черный по белому, — террор».⁵

Конституционно-Демократическая партия стала первой жертвой террора на пути большевиков к однопартийной системе власти. Оппозиционеры, интеллигенты, законники; многие юристы по образованию, профессора, — в правильных формулировках квалифицировавшие «господство насильников»; политические идеалисты, не увидевшие, что пора дебатов закончилась... Кадеты всегда вызывали восторг одних и ненависть других. Известна неистовая ненависть Ленина к либерализму и кадетам, еще за 10 лет до революции твердившего о «предательском характере кадетской политики» и «очевидности кадетской опасности». Позиция А.М. Горького была сходной: «...вероятно, кадеты снова попытаются выйти на сцену. Это их выступление будет их публичной казнью, гражданской смертью, им не дадут голосов, и эта сволочь, оторвавшаяся от жизни, бесследно распылится в ней...»⁶

10 декабря в 12 часов во дворе великого князя Николая Николаевича на Петровской набережной был назначен суд над Паниной. Вход

в зал был по билетам, как на спектакль, — их было выдано 200, но многие так и не смогли попасть, о чем потом жаловались Паниной. В зале преобладала интеллигенция. «Целый час нетерпеливая и взволнованная публика ожидала начала заседания»⁷, — писал в тоне театрального рецензента Я.Я. Гуревич, директор гимназии, сотрудник театрального отдела Народного Дома, друг Софьи Владимировны.



Подписи сотрудников Нар. Дома в письме к С.В. Паниной. 1923.
(См. письмо № 37)

Суд вершился только что созданным Революционным Трибуналом, члены которого смахивали на провинциальных актеров...

На следующий день З. Гиппиус записала:

«11 декабря, Понедельник. ...Судили вчера графиню Панину в «военно-революционном трибунале»... и...ей-Богу кажется — все это «нарочно»: оперетка, Гейша эдакая трагическая.

(Никогда в жизни я не ставила столько слов в «кавычках». И все так пишут.

Это потому, что и вся наша жизнь стала «жизнью» — в кавычках).

Вот, Панину «судили»: с истериками и овациями публики, с полной безграмотностью обвинителей и трогательными защитниками. Приговор, впрочем, был решен еще нака-

нуне вечером: пусть сидит, пока министерские деньги, 92 тысячи, не возьмет от тех, кому отдала, и не передаст большевикам.

Панина тверда: народные деньги следует отдать народу, т.е. Учредительному Собранию, а не вам.

И ушла опять в тюрьму. За то, что она «не признает» большевиков — ей еще постановлено выразить «прицание».

Десять министров плотно сидят в Петропавловке. Арестованные «заговорщики» — кадеты, члены Учредительного Собрания — тоже, кроме Кутлера: он в больнице, ибо при аресте его ранили в ногу.

Остальных трое: Шингарев, Кокошкин и Долгорукий...»⁸

Закавыченные слова в этом тексте передают подмеченную умной и ироничной мемуаристкой некую стихийную театральность происходящего при всей драматичности момента. Родственница Паниной, княгиня М.Г. Долгорукая напишет о поведении Софьи Владимировны в этой «трагикомической обстановке» (письмо № 14).

Занимающая важные посты в административной и политической сфере, постоянно находясь в мужском обществе, на суде Панина продемонстрировала неженскую твердость и самообладание. За месяц до этого, после ее рассказа о заседании Совета министров, В.И. Вернадский записал в дневнике: «...Как верно говорит С.В., поразительна в общем слабость и растерянность этих людей (министры!). Она даже некоторым сказала и говорит, что чувствовала себя там одним из немногих «мужчин»».⁹

Общественные организации, государственные учреждения, отдельные семьи, частные лица, друзья, родственники и просто горожане выражали свой протест через газеты и писали лично Паниной. В этих откликах — реакция еще не умершего гражданского общества на еще не отрепетированный Революционным Трибуналом «показательный процесс». Письма, адресованные Паниной и хлынувшие в ее дом на Сергиевскую улицу и в Выборгскую женскую тюрьму на Арсенальной набережной, — свидетельства признательности, любви и восхищения по отношению к подсудимой. Поражает социально широкий круг ее корреспондентов — это практически все слои населения: привилегированное сословие «буржуазной» России, еще не истребленное новой властью, интеллигенция и совсем простые люди, чьи искренние полуграмотные

каракули, написанные корявым почерком, были Паниной особенно дороги. Она хранила их все годы эмиграции. Первыми, пославшими свои обращения в газеты, были Петроградское Общество журналистов, Всероссийская Лига равноправия женщин, призывавшая принять участие в выкупе Паниной, Совет профессоров и преподавателей петроградских Высших женских курсов, Общее собрание учащихся городских школ, городской Комитет Партии Народной Свободы и, конечно, сотрудники Лиговского Народного Дома, писавшие: «Пусть же все те, кому... выпадало на долю счастье обогреть и осветить свою темную замерзающую душу у Светлого Очага в Народном Доме графини Паниной, пусть узнают они о том насилии, которому подвергся человек, создавший этот очаг духовной жизни народа...»¹⁰ Именно в этом письме была подсказка ее следующего жизненного этапа. Уже в эмиграции, в Праге, она начнет новое дело, вновь основанное на подвижничестве, — культурно-просветительный центр будет называться «Русский Очаг».

Несколько писем, особенно ее тронувших, она упоминает в своих воспоминаниях. Так, цитируя письмо жителей Александро-Невской части (письмо № 8), Панина пишет: «Я передаю текст этого документа во всей его наивности и гиперболичности. Все в те времена было гиперболично...»

В письме Общества Любителей Миропведения (письмо № 9) большевики названы «презренными захватчиками власти», «предателями родины», «ослепленными безумцами», суд Революционного Трибунала — «самозванным».

Одно из писем (№ 27) написано сестрой народного комиссара здравоохранения Николая Семашко. Все три брата Семашко были когда-то воспитанниками Паниной, ее студентами. Когда она жила уже в Швейцарии, Семашко позвонил ей. Разговаривать с комиссаром Панина отказалась...

В 19 лет Софья Владимировна встретила 39-летнюю Александру Васильевну Пешехонову, учительствовавшую в школе за Обводным каналом. Вся ее жизнь прошла здесь же, на Лиговке. С ней и суждено было Паниной основать, построить и сделать великое дело своей жизни — Лиговский Народный Дом. Ей посвящены воспоминания «На Петербургской окраине». Позже подруги А.В.Пешехоновой — Е.В.Попова и

Н.Ф.Ялозо — стали коллегами по работе. Все трое переписывались с Паниной до самой смерти (письмо № 35).

В 1923 году Лиговский Народный Дом отмечал двадцатилетие. В Женеве Панина получила приветствие от своих сотрудников и учеников. Это письмо (№ 36) было написано уже в новой орфографии с приложением двух листов подписей. Ответное письмо графини (№ 37), полное любви, старинного благородного пафоса и бесконечной веры в «царство справедливости», огласить в большом зале не разрешили.

Два года спустя она получила письмо (№ 38) от своего ученика, заставившее ее плакать. Эти четыре разноцветных листка из блокнота, на которых черными чернилами, с трудом выведенными буквами, без знаков препинания, написаны слова любви, — столь трогательны, что кажутся подделкой. Ответ Паниной от 18 июля 1925 года завершает эпистолярный роман 1917 года, в котором переплелись ее личная жизнь и судьба — с историей города и историей страны.

19 декабря графиня Панина была выкуплена. 93 тысячи рублей были срочно предоставлены Комитетом общества для доставления средств Высшим женским курсам (название можно поместить в музей). Сумма выкупа должна была покрыться подпиской. «Тюремные служащие выражали радость по поводу ее освобождения и провожали ее приветствиями и добрыми напутствиями», — писал Гуревич, выступавший ее защитником на суде. «Harry end» был дополнен ее возвращением в тюрьму. «В покинутой ею тюрьме С.В. решила на рождественских праздниках устроить для оставшихся там голодных узниц чтение с туманными картинками <...> За два дня до освобождения С.В. возобновились спектакли общедоступного театра в Лиговском Народном доме, прерванные на все время войны».¹¹ Возобновление театрального сезона среди расстрелов и убийств было очень кстати, так как за два месяца до этого, 17 октября, выступавший в Народном Доме Л.Д.Троцкий обещал открыть свой театр. Он говорил, что «в борьбе с контрреволюционными элементами кадетами и калединцами революционная власть не остановится даже перед возведением на Дворцовой площади гильотины».¹²

Фантасмагория происходящего уже никого не смущала. Аресты, обыски, грабежи, расстрелы, убийства стали обыденностью. Как отме-

тила З.Гиппиус, «жизнь стала “жизнью”». Заканчивался второй месяц пролетарской диктатуры.

За этот месяц совершилось превращение графини Паниной в гражданку Панину. Поэтические предсказания комментировали жестокую реальность.

...И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике,
на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной
головой...

31 декабря 1917 г.

О.Мандельштам

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Вернадский В.И. Дневники. 1917—1921. Киев: Наукова Думка. 1994. С. 49—50.

²Философов Д. Враг народа // Наш Век. № 2. 1 декабря 1917. С. 1.

³Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 2. М.: НПК «Интелвак». 1999. С. 16.

⁴Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции // Известия № 239. 29 ноября 1917.

⁵Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 2. С. 17.

⁶Горький А.М. — И.П.Ладыжникову. Июнь 1907 г. Переписка М.Горького. Т. 1. М.: Художественная литература. 1986. С. 334.

⁷Гуревич Я.Я. Дело графини С.В.Паниной в революционном трибунале // Русское богатство. 1917, № 11—12 (ноябрь-декабрь). С. 289.

⁸Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 2. М. С. 16.

⁹Вернадский В.И. Дневники. 1917—1921. С. 43.

¹⁰К аресту С.В.Паниной // Вестник Партии Народной Свободы. 1917. № 29—30. С. 9.

¹¹Гуревич Я.Я. Дело графини С.В.Паниной в революционном трибунале. С. 296—297.

¹²В Петроградском совете Р.С.Д. // Вестник Партии Народной Свободы. 1917. № 29—30. С. 8.

1

Газета «Наш век». Вторник,
5 декабря, 1917 года, № 5.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Узнав из газет об аресте графини С.В.Паниной и об обвинении ее в «присвоении» 92-х тысяч народных денег, считаю необходимым сообщить следующее: защищать графиню Панину по поводу предъявленного ей обвинения не только бесцельно, но и смешно: настолько широко известна культурно-просветительная и благотворительная деятельность графини, но и сообщение точных сведений о поводе, которыми воспользовались авторы обвинения, может иметь несомненное значение для освещения дела и характеристики лиц, предъявивших обвинение.

Ко времени захвата большевиками здания Министерства Народного Просвещения в министерской кассе находилось около ста тысяч рублей казенных денег, а так как по опыту других министерств было известно, что большевики прежде всего налагают руку на денежные средства, то графиня Панина, как товарищ министра, сделала официальное предписание мне и другому лицу (подлинники этого предписания в настоящее время в руках большевиков) получить от экзекутора министерства г. Дьякова денежные суммы. Согласно этому распоряжению мною, совместно с другим упомянутым лицом, приняты 72 322 рубля 72 коп. наличными деньгами и 19 480 рублей процентными бумагами, которые переданы нами для употребления по назначению, о чем имеются и соответствующие оправдательные документы.

Вице-директор Департамента
Народного Просвещения
Т.С. Рождественский.

Прошу другие газеты перепечатать.
1 декабря 1917.

2

Глубокоуважаемая
Софья Владимировна,
позвольте мне выразить Вам все мое сердечное участие в постигшем Вас событии. Не нахожу сил высказать все негодование, подымающееся в душе от этого произвола и насилия.

Но я верю, что всему окружающему нас ужасу придет скорый конец. Позвольте еще раз просить Вас принять мое искреннее сочувствие и пожелать Вам сил и бодрости для дальнейшей Вашей полезной работы. Шлю Вам привет.

Искренне уважающая Вас
Наталья Третьякова

1.XII.1917

[Визитная карточка:

«Наталья Саввовна Третьякова»]

3

Милостивая Государыня
Софья Владимировна!
Сегодня утром газета «Русские Ведомости» принесла известие о Вашем аресте с другими членами Учредительного Собрания.

Мы глубоко возмущены наглými недостойными действиями над Вами и издевательством над членами Учредительного Собрания Народными Комиссарами.

Желаю Вам бодрости в борьбе за право и силы продолжать просветительную и благотворительную деятельность в пользу народа. Надеемся, что наше письмо застанет Вас опять на свободе, и торжествует право над безответственными лицемерными «друзьями» народа.

Преданная Вам Матвеева
Бывшая Ваша служащая в
Марфине — Ю.П.Матвеева

Бурнак, 2 декабря, 1917 г.
Тамбовская губ.

4

Всероссийский
Учительский Союз
Московское Областное Бюро

Графине Софье Владимировне
Паниной

Декабря 5 дня 1917 г.
№ 911
Москва, Плющиха, 26

Глубокоуважаемая
Софья Владимировна,
Московское Областное Бюро Всероссийского Учительского Союза шлет Вам, искреннему другу просвещения и стойкому борцу за куль-

турные права народа, свое сочувствие и привет и выражает твердую уверенность, что Ваша деятельность на пользу просвещения не замедлит возобновиться в свободной России, раскрепощенной от насильных врагов культуры и права.

Председатель Бюро В.Вартерс
Секретарь Э.Вахтерова

5

Выборгская сторона
Женская тюрьма «Кресты»
Софии Владимировне Паниной

Глубокоуважаемая
Софья Владимировна!

Позвольте и мне в это тяжелое и кошмарное время выразить свое теплое чувство к Вам и глубокое негодование к тем людям, которые в такое тяжкое время отнимают у нас лучшего человека, да, дорогая, Софья Владимировна! Лучшего, это я говорю не для красивого слова, нет, я говорю это вполне сознательно. Ведь если бы я не встретила на своем пути воздвигнутый Вами Народный Дом, то наверное, кроме фабричной или простой швейки из меня бы ничего хорошего не вышло. Вы меня научили, Вы меня воспитали, благодарю Вам я находилась среди хороших людей, которые своими примерами заставляли меня совершенствоваться. Вы вложили в меня те чудные семена, которые и до сих пор не перестают развиваться во мне. Так разрешите же, дорогая Софья Владимировна, сказать большое спасибо! Да сохранит Вас Господь Бог для несчастных и темных людей. Я верю в святые и радостные дни, когда Вы опять начнете свою святую работу. Пусть Вас не омрачают те нападки, которые Вы слышите от ничтожной кучки безумцев, которых Вы воспитали. Ведь эти люди именно безумны, их захватила какая-то волна, и вот они летят, сокрушая все лучшее на свете, не давая себе ни в чем отчета, но ведь наступит же, наконец, и выздоровление, и тогда они осознают свою грубую ошибку.

Дорогая Софья Владимировна, простите меня, что я своим письмом отвлекаю Вас, но мне так хочется в такое время сказать Вам что-нибудь хорошее. Но зная Ваше хорошее и чуткое сердце, я решила написать Вам это письмо. Боль-

шое спасибо Вам за все хорошее!
До скорого-скорого свидания!

Позвольте, дорогая Софья Владимировна, крепко Вас поцеловать.

Ваша Е. М. Савельева
8/XII 1917 г.

6

Искренне уважаемая
Софья Владимировна,

Стоя на страже интересов подведомственных Вам лиц, Вы лишились свободы, Вы, посвятившая всю свою жизнь, с самых юных лет, просвещению русского народа. Своею стойкостью и энергией Вы служите редким, прекрасным, ярким примером подрастающему поколению, Вы поведете его к воплощению идеи истинной свободы, добра, чести и неустанного труда на благо многострадальной родины.

Педагогический Совет и Родительский Комитет гимназии А.П.Шуйской на заседании своем 9-го декабря постановил выразить Вам, графиня Софья Владимировна, чувства своего глубокого уважения и душевной признательности за все сделанное для русского народа и пожелание сохранить Ваши силы и энергию на многие годы.

[Подпись неразборчива]

7

1917.XII.10
Петроград

Моя несравненная!

Вы были на суде самой поэзией, самым благородством, самой красотой! Да хранит Вас Господь такую, какую создал! Если можно было бы Вам стать еще дороже после этого постигнутого Вами испытания, тем, кто знал Ваш жизненный подвиг на пользу обездоленных, Вы бы стали еще дороже. Обнимаю Вас горячо и благословляю.

Ваша Е. Пономарева

Р. С. Верю, что Господь послал Вам это испытание для того, чтобы вся Россия узнала, что есть среди его народа подвижница, отдавшая всю себя на его благо. Ведь многие не знали этого.

8

10. дек. 1917
81-3
Комиссариат

Подано в Совет Народных
Комиссаров 10-го декабря [от руки]

Благо и счастье народа несомненно созидают те, которые бескорыстно отдадут все свои духовные, материальные силы на служение народу. Графиня Софья Владимировна Панина на своем веку создала различные культурно-просветительные учреждения и организации для призрения детей и широкой трудовой помощи нуждающемуся люду. Все лучшие годы и значительные материальные средства она отдала на благо народа. Поэтому Графиня Панина по всей силе Божеских и человеческих Законов должна быть признана другом народа и созидательницей его блага и счастья и те, которые арестовали ее, должны возратить ей свободу.

Мы, жители Александро-Невской части, в рядах которых насчитывается немало большевиков, испытали на себе и детях своих пользу тех или иных учреждений, основанных Графиней Паниной, а потому взываем к тем, от которых зависит ее свобода, и восклицаем, отдайте нам нашего друга, возвратите нам творца нашего благополучия, светлого ангела наших жен и детей, откройте двери темницы для Графини Паниной.

Около 300 подписей собрано здесь.

9

Русское Общество Любителей
Мироведения
Петроград
Адрес Секретаря:
Церковная, 8-А, кв. 24
10 декабря 1917 г.
№ 624

Почетному Члену Русского Общества Любителей Мироведения, Графине Софье Владимировне Паниной.

Совет Русского Общества Любителей Мироведения, в экстренном заседании своем 10 декабря с. г., в 1 час дня, в тот час, когда презренными захватчиками вла-

сти и предателями Родины назначен суд самозванного революционного трибунала над той, которая всю жизнь свою и средства отдавала просвещению народа, единогласно постановил предложить Общему Собранию в тот же день Вашу кандидатуру в Почетные Члены Русского Общества Любителей Мироведения.

Общее Собрание, в 1 час 30 мин. дня того же числа, единодушно избрало Вас в Почетные Члены Общества, счастливым сознанием, что может воздать эту малую дань Вашей просвещенной плодотворной деятельности на ниве просвещения русского народа.

Русское Общество Любителей Мироведения основано 13 января 1909 г. и имеет целью объединять любителей естественных и физико-математических знаний, оказывать им содействие в их научных работах и тем поднять уровень и ценность их трудов, а также распространять эти знания в широких слоях населения России. Работая в этой области уже девять лет, Общество в особенности много времени и работ уделяло астрономии, привлекая широкие круги любителей этой великой науки, которые присылают в Общество свои труды и наблюдения со всех концов России. <...> С 1912 г. Общество издает журнал, служащий тем же задачам и насчитывающий, кроме членов Общества, несколько сот подписчиков, главным образом в провинции. Число же членов в настоящее время превышает 375 чел.

Работая постоянно в области астрономии, Общество неоднократно входило в соприкосновение с обсерваторией Народного Дома, основанной Вами. На этой же обсерватории работали некоторые члены Общества и, наоборот, — из числа лиц, работавших там, некоторые затем вошли в состав Общества. Это общение с основанным Вами научно-популярным изданием побудило нас глубоко ценить его плодотворную работу по популяризации родной астрономии и отдавать искреннюю дань безграничного уважения его просвещенной основательнице.

Ныне, в кошмарный час, переживаемый Русским Обществом, когда все лучшее и благородное затоптано в грязь, когда ослепленные безумцы осмеливаются поднимать руку на тех, кто всю жизнь отдал просвещению народа, Русское Общество Любителей Мироведения шлет Вам, глубоко ува-

жаемая Графиня Софья Владимировна, почтительный привет, пожелания сил перенести ниспосланные Вам испытания, мы верим, недолговременные. Так продолжаться не может, конец испытаниям близок. Насильники падут. Правда восторжествует.

Одновременно с сим препровождаются, особой бандеролью, отчеты Общества за 1915 и 1916 гг. и вышедшие в текущем году 5 №№ печатного органа.

*Председатель Николай Морозов
Секретарь В. Киризына*

10

15 Городское Попечительство
о бедных в С-Петербурге
11 декабря 1917 г.
Адрес Попечительства:
Вас. Остр., 23 линия, д. № 14

Группа сотрудников 15-го Городского Попечительства, храня самое светлое воспоминание о живой, горячей и самоотверженной работе Вашей в общем деле участия и помощи населению, на которое особенно тяжело обрушились все ужасы военного времени, работе, которую Вы одушевили мыслью: «это наш ДОЛГ!» — просит Вас, глубокоуважаемая София Владимировна, принять их горячий привет, глубочайшее почтение и искреннее убеждение в восстановлении честных и чистых идеалов Вашей светлой души и полном возрождении культурной жизни пострадавшего русского народа, истинным другом которого Вы всегда были и будете!

11

Многоуважаемая
Софья Владимировна!
Родительский Комитет при Путиловском Коммерческом Училище, узнав о лишении Вас свободы выходцами из той массы, ради просвещения и счастья которой Вы работали всю свою жизнь, возмущается издевательствами над Вашей светлой личностью и преклоняется перед Вашей стойкостью и гражданским мужеством, с которым Вы переносите страдания, не подчиняясь власти, которой не признаете.

Бессильные чем-либо Вам помочь, мы уверенно заявляем, что Вы и Ваши дела навсегда будут памятны русскому народу и он заклеит в будущем те грязные руки, которые смеют прикасаться к Вам.

Члены:

Р. Васильев

А. Меньшикова

Председатель Родительской

Организации Е. Дороци

Секретарь: В. Д. Васильев

[и 15 подписей]

12

1917 12/XII Москва

Графине Софье Владимировне Паниной, находящейся в заключении (Смольный Институт или Кресты) или Петропавловская Крепость и проживавшей ранее по Сергиевской ул., в собственном доме, от В.К.Хорошко, Москва, Остоженка, 8, кв. 8.

Глубокоуважаемая
София Владимировна,
прочтя описание «суда» над Вами, я не могу не выразить Вам своего восхищения Вами и прошу разрешить мне поцеловать край Вашей одежды.

Василий Хорошко

13

Графине С.В.Паниной

12 дек. 1917 г.

Анна Константиновна Черткова
Москва, Лефортовский пер., 7

Глубокоуважаемая
Софья Владимировна!
Прочтя в газетах о Вашем заключении и о «суде» над Вами, — мне неудержимо захотелось послать Вам сердечный привет и горячее сочувствие в тех тяжелых испытаниях и незаслуженных оскорблениях, которые выпали на Вашу долю в наше темное бесправное время.

Мы с Вами мало знакомы, но наша кратковременная встреча в Англии, где Вы навели 18 лет тому назад нас, т. е. В.Г.Чертко-

ва — в его изгнании из России, — осталась у меня в памяти как одна из светлых страничек нашего заграничного пребывания, запечатлевшая в сердце моем глубокую признательность к Вам за Вашу столь своевременную и ценную поддержку, как нравственную, так и материальную, — нашему в то время только что возникшему издательству «Свободное Слово». Для Вас это было, конечно, только один из многочисленных эпизодов Вашей обширной общественной деятельности для освобождения и на пользу просвещения того же русского народа, ради которого и теперь Вы несете Ваши страдания — за совесть, за преданность Вашим убеждениям.

Вы знаете, что мы (т. е. Вл. Гр. и я) не разделяем Ваши политические убеждения: мы как были, так и остались вне всяких политических партий, вне политической борьбы — и по отношению к государственной деятельности стоим все на той же религиозной основе мирного анархизма; и потому наше отношение к людям вообще и наше уважение к человеку каждому в отдельности складывается не на основании той или иной партийной или классовой точки зрения, а лишь на основании той нравственной ценности, которая неизменно отражается во внешней деятельности, в его искренней преданности идее и самоотверженной работе на общее благо. Надо ли говорить, что именно в силу этого — Вы, София Владимировна, нам особенно дороги и близки, как бы далеко ни разделяли нас обстоятельства и события! И лично я с трепетом и волнением слежу за Вашей судьбой эти последние дни и, живо переносясь в Ваше положение, одновременно страдаю вместе с Вами и восхищаюсь Вами — почти завидую Вам — Вашему мужеству, Вашему бесстрашию, Вашему доблестному поведению, вообще!

«И не бойтесь убивающих тело, души же Вашей не могущих убить...», а душа Ваша — и раньше близкая и дорогая для многих, теперь несомненно привлечет к себе сердца еще многих и многих людей разных классов и убеждений, которые сохранят память о Вас на всю жизнь и передадут потомству своему, как светлую легенду, как пример доблести и благородства истории Вашей участи, Вашего подвига. Имя Ваше не умрет, а будет жить в благодарной памяти рус-

ского народа, который когда-нибудь — весь целиком поймет и оценит Вашу личность, Ваше самоотвержение.

Посылая Вам это письмо, я не уверена, дойдет ли мой слабый голос до Вас, в место Вашего заключения или будет передано Вам уже по освобождению? (Я не знаю даже, где именно Вы находитесь.)

Горячо надеюсь, что те жалкие, опьяненные властью люди, которые держат Вас взаперти, поймут, наконец, всю нелепость и ненужность своего преступления над Вами и, Бог даст, освободят Вас вскоре, на этих же днях, т. е. раньше, чем это письмо попадет Вам в руки. Это было бы самое лучшее. Но возможно, что и вовсе не передадут Вам в руки этого письма Ваши тюремщики...

Мне это было бы, конечно, больно. Но искренно хотелось бы не раздражаться против них, а простить «не ведающим, что они творят», — ослепленным классово-враждой, несчастным людям.

Будьте здоровы, дорогая Софья Владимировна, и да поможет Вам Бог до конца Вашей жизни сохранить свежесть и бодрость душевную и веру в победу Добра и Света.

Искренне любящая и уважающая Вас *А. Черткова*

От души присоединяюсь, многоуважаемая Софья Владимировна, ко всему, что высказала Вам моя жена. Она так верно выразила то, что мы оба чувствуем, что я ничего к этому не могу прибавить. А потому ограничусь тем, что попрошу Вас принять от меня самый искренний привет и сердечные пожелания того, что есть лучшего. Как рады мы были бы услышать, что Вы опять на свободе. А пока Вы этим — тем, что находитесь в заключении <...> — делаете больше для общего блага, чем сотни из нас, вместе взятых, деятельно работающих на свободе.

*В. Чертков**

Москва. 13 дек. 17.

14

12.XII.17

Милая Софья,

Твой «рескрипт», и письменный и устный, в передаче Евы Степановны, несказанно меня тронул и обрадовал и, выражаясь — приблизительно — твоими словами, ответ рабочему Иванову был мне наградой, превосходящей не только мои ожидания, но еще более заслуги, которой и вовсе не было. Должна сознаться, что впечатления «Трибунального суда» остаются из сильнейших мною испытанных, а образ твой в этой трагикомической обстановке остается в моей памяти как воплощение величайшей простоты и самообладания, к которой каждый из нас должен стремиться и которую так редко удается достигнуть. В этот день — и не в 1 раз — я гордилась тобой, гордилась нашей дружбой. Но, кажется, я впадаю в пафос, который не подходит к моей жизненной роли паяца, и потому прекращаю этот поток красноречья.

Читала ли ты Марка Аврелия и Эпиктета? Если нет, прочти, ты их поймешь и они тебе понравятся. 1-й есть на всех языках, 2-го знаю лишь в английском переводе.

Жду тебя во Флоренции, надеюсь, с Александрой Михайловной. А до того, хотя издали, но со жгучим интересом и нежностью буду следить за твоей судьбой.

Твоя М. Д.

[В правом верхнем углу письма приписка С. В. Паниной: «Письмо моей троюродной сестры княгини Марии Григорьевны Долгорукой, рожд. княжны Щербатовой. Ее мать, кн. Софья Александровна Щербатова была рожденная графиня Панина.»]

15

Глубокоуважаемая и любимая София Владимировна!

Не имея силы противиться велению сердца, решаюсь по поводу

суда над Вами написать Вам, выразить чувства глубочайшего уважения и любви, как лучшей из лучших гражданок России, самоотверженно отдающей все свои силы на служение народу, несущей ему свет и духовное освобождение, без которого внешняя свобода — гибель.

Душевно и умственно слепые, по чужой указке, могли вынести Вам осуждение, но вся подлинная Россия может только преклониться пред Вами и гордиться тем, что в дни унижения и позора честь и достоинство страны поддерживались такими светлыми личностями, как Вы, Софья Владимировна! Ваше имя перейдет в историю, как яркая звезда на фоне мрачного неба современности.

Мой отец был крепостным. Я — конторщица. Примите низкий поклон от меня, как дочери того народа, раскрепощению которого Вы посвятили себя. Да сохранит Господь Ваши силы и даст Вам радость увидеть плоды трудов своих — истинно свободный русский народ, могущий создать условия, при которых лучшие люди страны будут вождями его, а не узниками, как теперь.

С глубоким уважением и сердечной преданностью
Е. Полужктова

12/XII-17 г.

16

Софии Владимировне Паниной:

Когда под гнетом самовластья
Томила Русь, под лязг цепей,
Во дни гнетущего ненастья
Вы шли дорогой светлостью своей...

Собрались сегодня для обсуждения вопросов о желательном укреплении и расширении деятельности Народного Дома и всеми сердцами перенесли в камеру Женской Тюрьмы к своей дорогой незаменимой председательнице, место которой теперь у нас пустует столько дней.

Твердо верим, что в следующем заседании мы уже не будем сиротами — без председательницы — души всего нашего дома.

[14 подписей]

*Владимир Григорьевич Чертков (1854, Петербург — 1936, Москва) — издатель, публицист. Единomyшленник и ближайший друг Л.Н.Толстого. При участии Толстого Ч. совместно с П.И.Бирюковым основали в 1884 г. издательство «Посредник», выпускавшее литературу для народа по доступной цене. В 1897 г. Ч. был выслан

в Великобританию и продолжил там распространение сочинений Толстого, начатое еще в России, организовав для этого издательство «Свободное Слово». Вернувшись в 1908 г. на родину, редактировал Толстого: юбилейное издание полн. собр. соч. Толстого с 1928 г. выходило под общей редакцией Ч.

17

Ректор Петроградского
Университета
13 декабря 1917 г.
№ 4020

Милостивая Государыня
Графиня София Владимировна,
Совет Петроградского Универ-
ситета в экстренном заседании
своем 9-го сего Декабря, преклон-
няясь пред высокоплодотворною
деятельностью Вашею на пользу
просвещения широких масс рус-
ского народа, единогласно избрал
Вас своим Почетным Членом.

Вместе с тем Совет не мог не
возвысить свой голос негодующего
протеста против лишения Вас сво-
боды и клеветнических наветов, на
Вас возведенных и притом выстав-
ленных без всякого права от имени
тех самых народных масс, безза-
ветному служению которым Вы
самоотверженно отдавали свое до-
стояние и лучшие силы.

Сообщая об изложенном поста-
новлении Совета и о том, что дип-
лом на звание Почетного Члена я
буду иметь честь препроводить
Вам по изготовлении, прошу Вас
принять уверение в глубочайшем
моем к Вам уважении и истинной
преданности.

А. Иванов

18

*[Открытка со штампом о
проверке и росписью карандашом:
Проверено — подпись]
Софье Владимировне Паниной
Арсенальная, 9*

Дорогая моя, крепко любимая.
Приношу Вам газеты сегодня не
все — у некоторых редакций с
газетчиками вышли трения, вслед-
ствие чего несколько из них не
появились в продаже. Грустно, что не
могу лично с Вами повидаться. Ва-
ми получено сообщение, что 12/XII
Русское Общество Любителей Ми-
роведения избрало Вас своим по-
четным членом. Затем г-жа Лиха-
рева принесла свой перевод книги
Тиро: «Частная и общественная
жизнь греков» с просьбой передать
эту Вам книгу. Хотите ее полу-
чить? Мысленно обнимаю Вас так
крепко, как люблю, и живу надеж-
дой на лучшее будущее.

До свидания, Ваша Ева

14/XII 17 г.

19

14-го декабря 17 года

Милая Графиня,
Муж тщетно порывался два ра-
за проникнуть в судилище в день
исторического заседания. Примите
от него и меня наш восторжен-
ный привет.

В. Мейендорф

20

Гласному Городской Думы
Графине Софье Владимировне
Паниной
Сергиевская, 23

От Петроградского
Городского Головы
№ 7028
С. В. Паниной

Копия

Резолюция

1917 года 13-го декабря Петро-
градская Городская Дума, в за-
седании которой присутствовало
33 гласных и 8 членов Городской
Управы, ознакомившись с приго-
вором Военно-Революционного Три-
бунала по делу С.В.Паниной, коим
С.В.Панина подвергнута общест-
венному порицанию, единогласно
постановила:

Зная многолетнюю выдающую-
ся культурно-просветительную и
благотворительную деятельность
С.В.Паниной по городу Петрогра-
ду, выразить ей, от имени Город-
ской Думы, живейшее одобрение
ее безупречной общественной дея-
тельности.

С подлинным верно
14/XII.17

Городской Секретарь

21

Приветствие графине
С.В.Паниной
от собрания родителей и
преподавателей
Гимназии М.Н.Стоюниной

Глубокоуважаемая
София Владимировна.
Неутомимая, самоотверженная
работа Ваша на поприще внешколь-

ного образования, начавшаяся и
протекавшая в тяжелые годы ре-
акции, нашла себе соответствен-
ную оценку как среди трудовой
интеллигенции, так и в широких
демократических, преимуществен-
но рабочих кругах. Волна послед-
ней революции справедливо вы-
несла Вас в ряды передовых руко-
водителей того дела, в которое Вы
могли внести свою любовь и бога-
тый опыт. Ваше назначение на
пост Товарища Министра Народ-
ного Просвещения было знаком
двойной победы: это была победа
не только культуры и знания, —
это была победа женщины, победа
идеи равноправия.

Для нас, родителей и препода-
вателей учениц Гимназии М.Н.Сто-
юниной, Ваш успех был залогом
светлого будущего наших дочерей,
которых мы все благословили бы
на трудную работу культурного
служения народу, по Вашему при-
меру.

К великому нашему горю, пре-
вратности политической борьбы,
очевидцами которых мы являемся,
прервали в самом начале Вашу
общественную работу и обрекли Вас
на тяжелые испытания. С достоин-
ством и редким мужеством ведете
Вы сейчас неравную борьбу.

С болью в душе, с чувством сты-
да за Ваших «врагов» следим мы
за Вами, бессильные оказать Вам
сколько-нибудь существенную, ре-
альную поддержку. Но к этим чув-
ствам примешивается и другое чув-
ство — восхищения Вами, пре-
клонение перед красотой Вашей
личности, сочетающей в себе ог-
ромный запас любви, верность дол-
гу, беззаветную привязанность к
родине, гражданское мужество и
рядом с этим — необыкновенную
скромность и простоту.

Выражение этого восхищения
мы и приносим Вам. Пусть укрепит
оно Ваш дух, поднимет веру в
людей, в конечное торжество тех
идеалов, служению которым Вы
посвятили жизнь. Ваш чистый
образ русской подвижницы мы со-
храним и передадим нашим доче-
рям, для которых Ваше имя будет
так же дорого, как и для нас, не
потерявших способности отличать
«друзей» от «врагов».

17 декабря 1917 г.

22

Москва, 18 декабря 1917 г.

Союз Обществ Попечения
о детях г. Москвы
Арбат, д. 25, кв. 10

Глубокоуважаемая
Графиня Софья Владимировна,
Правление Союза Общества
Попечения о детях г. Москвы, па-
мятуя Ваше всегдашнее отзывчи-
вое отношение к делам Союза, по-
ручило мне выразить Вам глубо-
кое сочувствие по поводу всего Ва-
ми перенесенного за это время.
Мы присоединяемся к единодуш-
ному со всех концов России чув-
ству изумления и гордости, видя
гражданский подвиг, совершае-
мый Вами с присущей Вам скром-
ностью и самообыкновением, и глу-
боко надеемся, что недалек тот
час, когда Вы снова вернетесь к
плодотворной Вашей деятельности.

Позвольте и лично мне, имев-
шему случай несколько раз видеть
Вас в деловой сфере, выразить
Вам наилучшие благопожелания
на долгие годы.

Примите уверение в глубоко
уважении и преданности
М. В. Томи

*Председатель Правления Союза
Обществ Попечения о детях г. Москвы*

23

Копия

Следственная Комиссия
при Петроградском Совете
Рабочих и Солдатских депутатов
19 декабря 1917 г. № 6867

Следственная Комиссия выда-
ет настоящую расписку Ивану Ми-
хайловичу Гревсу в том, что по-
лучила от него 90 000 р. (девяносто
тысяч) 5% краткосрочными обяза-
тельствами Государственного Каз-
начейства и 2 802 р. 72 коп. (две
тысячи восемьсот два р. 72 к.) на-
личными деньгами в возврат в кас-
су Комиссариата Народного Про-
свещения, изъятых гражданкой
С.В.Паниной из кассы бывшего Ми-
нистерства Народного Просвещения
сумм, согласно постановлению Рев.
Трибунала, 10 Дек. 1917 г. по делу
Паниной состоявшемуся.

Председатель (*М. Козловский*)
Секретарь [подпись неразборчива]

24

20 декабря
Мытнинская ул., 8 кв. 7
Петроград.

Глубокоуважаемая и дорогая
София Владимировна!
День Вашего освобождения —
день радости, день праздника ду-
ха для всех нас, ценящих Вас и
преклоняющихся перед великой
душью Вашей.

Да пошлет Вам Господь силы
для продолжения того большого
дела, столь необходимого для на-
шей Родины, которому Вы всю
жизнь свою посвятили. Мы горды
и счастливы, что живем в Вашей
близости.

Да сохранит Вас Бог!

Ваша Раиса Денчи

25

[Визитная карточка]

Александр Феофилович
Яновский
Петроград, Бассейная ул., д. 46
Тел. 77-64

горячо приветствует Софью Вла-
димировну с освобождением из так-
тического плена.

Как и все сознательное в Рос-
сии с восхищением переживал в
эти мрачные дни стойкость и вер-
ность прекрасной русской женщи-
ны самой себе.

20/XII.17.

26

Императорское Русское
Техническое Общество

Председатель
20 декабря 1917 г.
С-Петербург
Пантелеймоновская, 2.
Графине С. В. Паниной

Глубокоуважаемая,
Дорогая Графиня
София Владимировна!

Все, знающие Вас как давниш-
нюю искреннюю труженицу на по-
ле просвещения нашего народа —
рабочих, их детей и прочей бедно-

ты, Вас, как представительницу
честного общественного мнения,
как выборное лицо в различных
организациях (городских, общест-
венных), наконец, как Товарища
Министра Народного Просвеще-
ния, — все были поражены Ва-
шим арестом, а затем и более чем
странным судбищем «Революци-
онного Трибунала», который даже
не мог разобраться в самых эле-
ментарных основах всякого суда.

Русское Техническое Общество
в Общем Собрании 2-го Декабря
единогласно постановило с негодо-
ванием протестовать по поводу Ва-
шего ареста, как своего достойного
сочлена, давно стоящего с Общест-
вом в краткой связи на поприще
технического образования.

Прошу Вас, Дорогая Софья Вла-
димировна, верить искренне го-
рячему чувству, которое водит мо-
им пером, бессильным — к сожа-
лению — выразить всю степень
волнения души за явное, предна-
меренное оскорбление человече-
ского достоинства с посягатель-
ством на самую свободу честного
человека, равно как и выразить
чувство глубочайшего удовлетво-
рения тем спокойным благородст-
вом твердого убеждения, которое
проявлено было Вами за это время
постигшего Вас испытания.

Ваш преданный слуга —
[подпись неразборчива]

27

21 декабря 1917 г.

Дорогая София Владимировна!
Позвольте послать Вам горя-
чий, искренний привет по поводу
освобождения Вашего из плена и
возвращения к культурной работе,
так нелепо прерванной. Особенно
тяжело и больно было думать о
заключении в тюрьму именно Вас,
которая когда-то, в мрачные вре-
мена для теперешних хозяев по-
ложения, немало содействовала
освобождению их из царских тю-
рем. От души желаю, чтобы новые,
светлые впечатления жизни скорее
изгладили из Вашей памяти все
то тяжелое, что пришлось Вам пе-
режить за эти дни.

Искренне преданная
Ал. Семашко

28

23/XII

Глубокоуважаемая
Софья Владимировна,
с истинной великой радостью
приветствую Ваше освобождение,
которого ждала с таким нетерпением.

Приветствую Вашу благородную
стойкость, Ваше гражданское
мужество и, как одна из старейших
борцов за свободу женщин,
горжусь высоко стоящей русской
гражданкой.

Искренне преданная
Анна Шабанова

единогласно вынесенное в заседании от 10-го декабря 1917 года:

Высоко ценя долголетнюю и широкую культурно-просветительную деятельность графини Софии Владимировны Паниной, одной из первых поддержавшей курсы в период их возникновения, избрать Софию Владимировну постоянным членом Педагогического Совета на правах члена-учредителя.

Одновременно Педагогический Совет заявляет негодующий протест против лишения свободы и предания суду революционного трибунала одного из заслуженнейших культурных деятелей России.

Председатель Совета
Комитета: [подпись]
За Секретаря: [подпись]

29

Глубокоуважаемая
графиня Софья Владимировна!
Примите горячий привет от нашей
семьи. Дай Бог Вам много-
много сил для восстановления здо-
ровья после испытанных потрясений;
дай Бог увидеть «зору новых
дней» для нашей бедной родины.
Только что узнала о Вашем освобождении,
поздравляю от всей души,
радуемся со всеми Вас любящими,
искренне уважающими.

За большую сестру Марию Ивановну
и отсутствующих племянниц Марию
Константиновну и Наталью Константиновну.

С.Синицына

31

[Открытка — ярко-синие
колокольчики в зеленой траве]

24/XII 917

Гр. С.В. Паниной
Сергиевская, 23

Так счастлива, что эта «очередная» открытка адресуется «Сергиевская, 23», а не «Арсенальная, 9». Всей душой и всем сердцем хочу надеяться и верить, что для тебя, для всех нас засветится радость — такая же яркая, как в этом мире ярких синих цветочков! Спокойной ночи!

30

Комитет Петроградских
Сельскохозяйственных курсов,
находящихся в ведении
Главного Управления
землеустройства и земледелия

23 декабря 1917 года
№ 3144
Каменный остров, наб. Б.Невки, 18

Милостивая Государыня
Софья Владимировна,
Комитет Петроградских Сельскохозяйственных Курсов имеет высокую честь довести до Вашего сведения нижеследующее постановление Педагогического Совета,

32

Правление Харьковского
Общества Распространения
в народе грамотности
Декабря 25 дня 1917 г.
№ 1072

Харьков, Ветеринарная ул., № 26
Почетному Члену Общества
С.В.Паниной

Глубокоуважаемая
Софья Владимировна,
Чувство глубокого удовлетворения испытало Харьковское Общество Грамотности, когда Великая Русская Революция призвала Вас, в первую очередь славных работ-

ников по укреплению основ только что завоеванной свободы просвещения народных масс.

И действительно, трудно было найти человека, который более подходил бы для выполнения этой высокой задачи, чем Софья Владимировна Панина, целую четверть века неустанно и с любовью трудившаяся в созданном ею Народном Доме над развитием духовных сил народа и над приобщением его к благам мировой культуры.

Однако, к величайшему горю, светлые дни торжества русской свободы продолжались недолго. На смену им пришли дни скорби и стыда, дни полного смятения ума и совести — и что же мы увидели? Лучший друг народа объявлен был его врагом, — человек, всю жизнь стремившийся и звавший других к свободе, по дикому обвинению, именем освободившегося народа насильственно был лишен свободы...

Харьковское Общество Грамотности, глубокоуважаемая Софья Владимировна, присоединяет свой негодующий протест к раздающимся со всех сторон протестам по поводу совершенного над Вами возмутительнейшего насилия, просит Вас принять выражение своего искреннего сочувствия и вместе со всем мыслящим русским обществом, вместе с сознательными и культурными представителями русского пролетариата твердо верит, что не за горами тот день, когда переживаемый нами жуткий кошмар отойдет в прошлое и окажется возможным возобновить Вашу насильственно прерванную общественную и государственную деятельность, в которой так нуждается наша пробудившаяся для новой жизни, но ослабленная и униженная родина.

Председатель Правления
[подпись неразборчива]

33

27/XII 1917

Дорогая Софья Владимировна,
Нет слов, чтобы выразить всю глубину горя и стыда, пережитых за время выпавшего на Вашу долю испытания. Стыдно было жить, тяжело невыносимо не броситься отсюда к лишившим Вас свободы тварям. Стыдно было за страну,

в которой возможным оказался факт такой вопиющей неблагодарности, такого высшего неблагодарства, который превзошел все состоявшиеся за это время преступления.

Только вчера прочла я в газетах о Вашем освобождении. Дорогая, дорогая Софья Владимировна. Не хочу говорить лишних слов. Чем больше чувствуешь, тем меньше и можешь сказать. Но нельзя не сказать, что на оценке Вашего образа сошлись даже в эти дни все партии, вся страна, все захолустные ее уголки. В этом огромное удовлетворение. Всем ясно было, что святотатственно затронута была личность, стоящая над всем обыденным, лучшая из всех, в чистоте своей недосыгаемая и по величию дела всей жизни недосыгаемая. Ясно было и то, как дороги Вы не только людям, давно и беззаветно Вас любящим, но и всем вообще, решительно всем, кто знал о Вас даже понаслышке только. Едва могу писать и сейчас, так все это перевернуло душу. Да хранит Вас Бог от всего дурного. Невыносимо быть сейчас далеко от Петрограда, не знать и не понимать так многого. Да хранит Вас Бог.

Горячо и нежно обнимаю Вас.
Глубоко Вас любящая
[подпись неразборчива]
Целую

34

Партия Народной Свободы

Василеостровский район,
Петроград, В. О. 2 линия, 7, кв. 7
Тел. 2-87-78
Председатель
29 дек. 1917 № 482

Глубокоуважаемая
София Владимировна,
Общее собрание членов Василеостровского района Партии Народной Свободы в своем собрании 28 декабря, первом после Вашего освобождения, единогласно постановило послать Вам свой горячий привет и радость, что Вы снова встали в ряды борцов за право и свободу нашей исстрадавшейся России.

Прошу Вас принять уверения в моем глубоком и искреннем уважении и преданности.

А.Н.Руднев

35

[Конец декабря 1917 года]

Земно кланяюсь глубокоуважаемой хорошей Софье Владимировне, стойкой благородной Гражданке.

С Новым Годом Вас.

Дай, Боже, чтобы новый год вознаградил нас за то, что пришлось пережить в старом году.

Горячо любящая Вас и
уважающая
М.Воронцова

[Рукой Паниной: «Земская учительница Московского уезда, в районе Марфина».]

36

ПИСЬМА
А.В.ПОШЕХОНОВОЙ,
Е.В.ПОПОВОЙ, Н.Ф.ЯЛОЗО —
С.В.ПАНИНОЙ

Петроград.

7 ноября 1923 г. ...Как всем нам понятно и глубоко грустно Ваше чувство тоски по родине. Так всей душой хотелось бы снять с Вас всю его тяжесть и возратить Вас и всех Ваших сюда. Что по сравнению с этими тяжкими страданиями душевными — все наши лишения и неприятности! И все же я не могу не надеяться, что мы свидимся здесь, на нашей измученной родине! Трудно представить себе, что есть люди, для которых родина не свята, а безразлична...

Что ушли мы из своей библиотеки — особенно теперь радуемся: воздвигнуто гонение на всю литературу по религиозным вопросам, по психологии; исключаются такие труды, как сочинения Владимира Соловьева, и библиотеки наводняются политическими брошюрами и книгами коммунистического направления. Нам уж тут не ко двору...

Чуть не забыла рассказать одну характерную вещь. Мне рассказали на днях, что на Кузнечном рынке (близ Николаевской улицы) постоянно ходит собака, которую все торговцы кормят, «потому что эта собака Софьи Владимировны». Откуда взяли, что она принадлежит Софье Владимировне — неизвестно, но самый факт очень

трогателен.

14 июля 1925 г. ...Был у нас один из старинных учеников, — и при прощании говорит: «Нельзя ли послать денег Софье Владимировне, ведь она, поди, там нуждается»...

16 декабря 1936 г. ...Да, не помню, писала ли я Вам, что один из наших бывших учеников Народного Дома, Николай Иванович Иванов, трогательно помогает мне бегать и поддерживать в чистоте могилы наших друзей — А.В. и Е.В....

37

ПИСЬМО СОТРУДНИКОВ
НАРОДНОГО ДОМА
[1923]

Многоуважаемая
Софья Владимировна,
Старые ученики и сотрудники Лиговского Народного Дома, собравшись в юбилейный день, шлю Вам, основательнице и руководительнице Дома, искренний, сердечный привет.

Вспоминая о двух минувших десятилетиях, мы не можем не оценить всей огромности задач, осуществленных Домом, как в деле передачи знаний многим и многим сменам полуграмотных людей, так и в общем ходе развития русского рабочего движения.

Дом выделялся среди других просветительских учреждений не только тем, что технически был оборудован наиболее совершенно, не только тем, что Вам удалось привлечь к работе лучшие общественно-педагогические силы, но и в первую очередь потому, что его деятельность протекала в гуще живой жизни. С первых дней существования Дом стал просветительским центром растущего в Петрограде пролетариата. Этому новому, полному сил и энергии, общественному классу он дал возможность овладеть основами знания, а следовательно — скинуть все маскирующие покровы, познать правду жизни и необходимость борьбы.

Прошло 20 лет, и многое изменилось. В огне революционного испытания, казалось, перегорели связи, так крепко соединявшие большую Панинскую семью. Но вот теперь, когда сомкнулись разрозненные ряды, стало ясным, что мы еще не лишены возможности го-

ворить общим языком. На разных политических позициях стоят в данный момент ученики и сотрудники Дома. Но и в прошлом, в ходе исторического процесса, неоднократно разрывались связи между поколениями, отцы и дети становились непримиримыми противниками; не могло не случиться этого и теперь, и кто был бы в силах предотвратить неизбежный раскол.

И все же те цели, которые были поставлены при основании Дома, они навсегда останутся общеобязательными и общепризнанными для всех нас.

Никто не усомнится, что только постоянная и углубленная просветительская работа в культурно отсталой, но дорогой для всех нас родной стране способна исцелить ее непреходящие недуги, ее вековую бедность.

И вспоминаая проведенные в Народном Доме годы, лучшие годы жизни, мы отмечаем, что Народный Дом впервые поставил и осуществил, насколько мог, эти неизменно великие цели.

В тяжелые годы империалистической войны Дом императрицу свою деятельность; не мог восстановить ее и в последующие годы надолго затянувшейся гражданской войны. Но в наши дни, еще не оправившись от тяжелых ударов, еще пребывая в полосе разрухи, работающая Россия восстанавливает в Доме прерванную работу.

Позвольте же, Софья Владимировна, наряду с нашей глубокой благодарностью отметить, что грани, отделяющие нас в данную минуту, не прервут тех прочных связей, которыми соединены соучастники просветительской работы; ничто не помешает нам чтить в Вашем лице редкого общественного деятеля, который чутко отнесся к появлению в жизни новой общественной силы и немало способствовал ее скорейшему осознанию.

*[Два листа с подписями
(см. автографы на с. 70)]*

38

ОТВЕТ ПАНИНОЙ СОТРУДНИКАМ НАРОДНОГО ДОМА

Женева, 7/20 апреля 1923 года

Дорогие, бесконечно дорогие друзья мои,
К Вам, бесценным и незамени-

мым моим руководителям, помощникам и сотрудникам, к Вам, бывшим и настоящим ученикам Народного Дома, к Вам, бесчисленным его посетителям, всегда мне дорогим и памятным, — ко всем Вам устремлены мои чувства и думы в этот знаменательный день двадцатилетия нашего учреждения, чествование которого связано и с чествованием уже исполнившегося 25-летия нашей библиотеки.

Из далекого далека хочу я сказать Вам, что никакие географические расстояния не могут преодолеть любви человеческой и что всем сердцем своим я никогда не переставала быть с Вами в течение тех бесконечных пяти лет, что я Вас больше не вижу.

Я знаю, что как бы ни разделяли некоторых из нас преходящие обстоятельства, у всех нас, живших когда-то одной жизнью в стенах нашего Дома, останется общий язык, возможность взаимного понимания и, во многом, общность устремлений.

20 лет тому назад, в тяжкие годы былого безвременья, Дом этот вырос и создался силой любви, во имя достоинства, знания, правды и свободы личности. Этими началами руководствовался он во всей своей деятельности, памятуя, что только на свободной, сильной, честной, просвещенной и самоотверженной личности может построиться и устоять счастливое человеческое общество.

Я мало знаю о последних пяти годах жизни Дома и его сотрудников. Не сомневаюсь, конечно, в том, что вместе со всей Россией ему пришлось пережить много лишений и испытаний, и может быть, почти погибнуть как учреждению. Пришлось, конечно, и потерять многих из прежних своих сотрудников: я знаю, что смерть унесла нескольких членов нашей прежней дружной семьи, и скоро, может быть, в стенах Народного Дома не останется почти никого из первых его вдохновителей и руководителей.

Но все это меня не страшит, как бы тяжело подобные потрясения ни переживались отдельными людьми и какими бы временными искажениями и испытаниями они ни угрожали самому учреждению.

У идей и чувств есть своя логика и своя история, своя непреклонная закономерность, которая сильнее и невежества, и лжи, и заблуждений, и насилий, и кото-

рая никогда не может сделать смерть сильнее жизни там, где эта жизнь раз зародилась.

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

Вот эта-то «живая душа», я верю, жила, живет и будет жить в нашем Народном Доме. И в нынешнее двадцатилетие нам важно не то, что от того светлого Пасхального дня, когда мы открывали Народный Дом, прошло 20 раз по двенадцать месяцев и 20 раз по 365 дней, важно не это формальное наше существование, а важно ответить на один только вопрос: сохранили ли мы в этом Доме «душу живую», душу любви, душу, устремленную к свету? Пускай она страдала и болела со всеми нами за эти годы, пускай временами чуть теплился ее огонек, но если не отлетела, не умерла, то мы действительно можем праздновать день 7/20 апреля и знать, что будущее за нами, что именно наша любовь и правда и вера в человека победят все временные лишения и бедствия и построят когда-нибудь то царство радости и справедливости, до которого мы, конечно, не доживем, но которое все же будет нашим царством и нашим делом, поскольку мы его будем строить теперь.

Так вот, друзья мои, так как я верю, что Вы эту «душу живую» сохранили и соблюли в себе и в нашем Доме, то я и приветствую Вас в день нашего праздника со всей своей неизменной и старой любовью.

Пускай строки эти приобщат и меня, далекую, к Вашему торжеству и скажут Вам, что и время и пространство бессильны ослабить ту связь нашу, которая построена на таком прекрасном прошлом и на общей нашей вере в еще лучшее будущее.

С.П.

39

ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА БЫВШЕГО УЧЕНИКА НАРОДНОГО ДОМА 1925

София Владимировна,

Дорогая, родная наша Русская женщина, идеальнейшая душа, очень желал бы видеть Вас снова на родине, я чувствую, что душой Вы здесь, в России, там, на чуж-

бине, Вас любят окружающие как солнышко, где бы оно не светило и грело, — но родное гнездо всегда притягательней с переживанием счастливого времени и различных воспоминаний.

София Владимировна, желанная, великая просьба: приезжайте; если Вас затруднят условия существования здесь на родине, я буду делиться с Вами своим заработком.

Я часто вспоминал Вас, так как много обязан Народному Дому, Вашему детищу, который много мне дал и где я приятно отдыхал как у чистого родника — это было с 1904 по 1907 год. С тех пор прошло много лет, и вот на конце моего письма к Вам:

Я снова пошел хотя бы посмотреть — да, цел, эта буря не сорвала его, но нет души в нем, я хотел думать, что я ошибаюсь, но сколько ни передумывал — чувство осталось первое.

Разыскал Елизавету Васильевну, поговорил и просил дать мне Ваш адрес и, очень обрадованный, получил.

И мое сильное желание и просьба, мечта, чтобы наша маленькая частичка солнышка приехала к нам, не я один буду рад, а много, много.

София Владимировна, очень был бы счастлив, если Вы ответите.

С величайшим почтением
Ваш ученик Народного Дома
А.Голубев

Адрес:

М[осковская] З[аства]
Благодатный пер., д. 27, кв. 1.
7/VI 1925.

40

ОТВЕТ С.В.ПАНИНОЙ
СВОЕМУ УЧЕНИКУ
А.ГОЛУБЕВУ

18 июля 1925

С большим опозданием, но письмо Ваше все же дошло до меня, мой далекий друг. С большим волнением читала и перечитывала его, от всего сердца благодарю Вас за него и буду с любовью хранить его как одно из самых дорогих своих сокровищ. Спасибо Вам за ласку, за добрую память и за призыв. На чужбине, в изгнании все это особенно дорого. Так бы и хотелось в ответ подхватить свои

крылья, да полететь к Вам, на родину. Но нельзя мне этого еще...

Те годы и те времена, которые Вы вспоминаете, были для всех нас, живших одной общей жизнью на Тамбовской, согреты и освещены общностью наших интересов и чувств. А «душой» всего, той душой, которая теперь, по Вашим словам, отлетела, была та любовь, которую несли мы все, участники Дома. Без любви не может быть по-настоящему живого творческого дела. Один сухой дом, одна отвлеченная идея никогда не создадут согревающей, радующей, творящей души. В этом весь секрет нашего с Вами общего прошлого и ключи к пониманию настоящего. Жить вдаль от всех вас мне очень, очень трудно и горько; все мои мысли и вся моя душа, конечно, с вами, на родине. Ведь вот солнце-то как будто везде одно, и земля родит те же хлеба и те же птицы поют (я живу в деревне неподалеку от города), а все, все не то...

Очень, очень тронуло меня и предложение Ваше о материальной поддержке в случае нужды, но эта сторона жизни меня смущает менее всего. Живу пока своим трудом, и родителей содержу, и уверена, что всегда и везде проживу. Только жизнь-то дорога не хлебом насущным, а тем, чем живет душа. И Вы дали мне Вашим письмом гораздо больше, чем если бы отдали весь свой заработок, ибо крепко согрели мою осиротевшую душу и заставили меня плакать благодарными, радостными слезами.

Всего, всего Вам хорошего желаю и всей душой надеюсь и верю, что настанет-таки день нашего общего радостного свидания.

С.П.

В связи со столетием Лиговского народного дома прошла юбилейная научная конференция, издан сборник докладов и сообщений, а также переизданы воспоминания С.В.Паниной, написанные ею в эмиграции.

Сегодня дело основательницы Дома продолжает Дворец культуры железнодорожников. В его стенах работают различные творческие объединения, студии, клубы по интересам, театр «Родом из блокады».

В октябре 2002 года группой последователей С.В.Паниной в ДК создана общественная организация «Лиговский народный дом», которая ставит своей задачей изучение и творческое развитие культурного наследия дела Паниной.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Луи ДЮМЮР

Из книги стихотворений
«Нева»

ФОНТАНКА

Прекрасен сон реки,
тяжелым льдом покрытой:
Как саван, чистый снег
покоится на ней,
А по ее мостам подобием
теней
Прохожие идут неспешно
черной свитой.

Так смело под твоей,
о Петербург, защитой,
Прокладывая путь себе
среди камней,
Фонтанка вдаль змеи
скользит, но холодней
Ее вода, чем кровь у твари
ядовитой.

И тянутся за ней вдоль
берегов дома;
Ряды широких крыш —
как белая кайма
На серебристом шелке
дремлющей столицы...

Но солнце, одолев озноб
и сон, с трудом
Приоткрывает глаз — и свет,
смеясь, струится
Мечтою золотой над этим
вечным льдом.

Перевод с французского
Людмилы Павловой



Первый советский политический процесс: графиня Софья Панина перед Петроградским Революционным Трибуналом

Адель ЛИНДЕНМЕЙР

Вожди большевиков имели все основания надеяться, что их первый политический судебный процесс увенчается успехом. Подсудимая — богатая аристократка, член Центрального Комитета Конституционно-Демократической (кадетской) партии, товарищ министра Временного правительства — была объявлена вне закона. Выдвинутое против нее недвусмысленное обвинение — сокрытие и присвоение правительственных фондов, находившихся в распоряжении бывшего Министерства народного просвещения, — должно было наглядно продемонстрировать моральное банкротство либеральных лидеров и способствовать дальнейшей дискредитации прежнего правительства в целом. Другая цель, которую преследовали большевики, сделав процесс открытым, — опробовать новый инструмент революционного правосудия — Революционный Трибунал Петроградского Совета, созданный в конце ноября 1917 года и составленный, явно в подражание французским революционным судам, из простых солдат и рабочих. Согласно плану большевиков, обвинительный приговор, вынесенный графине Софье Паниной, должен был убедить мир в безукоризненности их представлений о морали и справедливости, а заодно доказать законность их правления. Для кадетов же суд над женщиной, широко известной своей прогрессивной филантропической деятельностью, имел прямо противоположное значение: с их точки зрения, данное событие подтверждало незаконность захвата власти большевиками и поспрание ими большинства элементарных норм правосудия.

Однако судебное разбирательство, имевшее место 10 декабря 1917 года, закончилось, можно сказать, вничью. События несколько раз приняли неожиданный оборот, а их исход дал как сторонникам, так и противникам обвиняемой повод праздновать победу и делать совершенно противоположные выводы. Суд над графиней Паниной привлек внимание широкой общественности как внутри страны, так и за границей,

однако в истории русской революции о нем если и упоминают, то очень коротко. А между тем этот процесс как одно из наиболее неординарных происшествий своего времени не только представляет интерес для широкого читателя, но и заслуживает серьезного внимания ученых.

Суд над Паниной, состоявшийся спустя лишь несколько недель после октябрьского переворота, еще не был безупречно отрепетированным театральным действием; скорее, его можно считать первой попыткой большевиков сформулировать и представить миру собственное видение революционной справедливости. Используя антропологический термин, можно сказать, что процесс протекал в пороговое время и в пороговом пространстве: в нестабильный и в высшей степени напряженный момент перехода к новому режиму, в городе, где все старые нормы и законы были дискредитированы, а новые еще только начинали создаваться. Вот как описывала своеобразие момента сама Панина в 1939 году:

*«Меня арестовали на заре большевистского правления, когда самые инструменты их (власти) были еще в зачаточном состоянии, повсюду царил хаос, и происходили события, которые впоследствии казались бы совершенно немислимыми. Настоящий террор был впереди, и не только мы, но и сами большевики еще не до конца поверили в постоянство своего режима».*¹

Процесс Паниной во многих отношениях напоминает суд над Верой Засулич за покушение на убийство Петербургского генерал-губернатора в 1878 году. Его можно также назвать первым советским показательным процессом, за которым последовали более известные: дело руководителей Социалистической Революционной партии в 1922 году, Шахтинское дело 1928 года и, наконец, московские дела 1936—1938 годов. Занимая срединную позицию между процессами царского режима и советскими показательными судами, дело Паниной дает уникальную возможность увидеть революционную

Россию в тот момент, когда силы созидания и разрушения в ней еще не поляризовались, но уже существовали как единое целое.

ПОЧЕМУ ПАНИНА?

В 1917 году графиня Софья Владимировна Панина (1871—1956) была хорошо известна как среди образованной публики, так и среди самых демократических слоев населения Петрограда. В отличие от других выдающихся женщин своего времени, составивших себе имя в политике (кадет Ариадна Тыркова-Вильямс, большевик Александра Коллонтай или эсер Мария Спиридонова), Панина прославилась, занимаясь филантропией. Самым значительным ее достижением в этой области стал Лиговский Народный Дом (ЛНД). Она возглавляла и финансировала деятельность этого учреждения, созданного ею специально для обитателей рабочих окраин юга столицы. Неоднократно отмечалась роль, которую Народный Дом Паниной сыграл в процессе распространения грамотности и повышения общей культуры беднейших слоев петербургского населения. Он был хорошо известен и социалистам города как одно из немногих общественных мест, где могли беспрепятственно собираться рабочие. Наряду с детским садом, столовой, курсами грамотности и театром в ЛНД постоянно, и в особенности в дни революции 1905 года, действовали кружки социалистов. Дом даже сыграл небольшую, но символически важную роль в жизни Ленина: именно здесь 9 мая 1906 года будущий вождь мирового пролетариата впервые в России выступал перед значительной аудиторией.

Сама Панина старалась держаться в стороне от политики. До 1917 года она вспоминала: *«Я никогда ни к какой политической партии не принадлежала, и интересы мои были сосредоточены на вопросах просвещения и общей культуры, которые, по моему глубокому мнению, одни могут дать прочную основу свободному политическому строю».*² Однако еще

до 1914 года она оказалась связана с кадетской партией и либерализмом семейными узами (ее отчим, Иван Петрункевич, был основателем этой партии), через многочисленных знакомых среди интеллигенции и благодаря собственной вере в постепенный прогресс путем реформирования существующей системы. В годы войны она работала в Петроградской городской думе, где руководила распределением пособий солдатским семьям. Вероятно, именно эта деятельность, наряду с репутацией человека, всегда готового поддержать прогрессивное общественное начинание, и способствовала ее стремительной политической карьере, которая началась в дни февральской революции. 8 марта 1917 года Петроградская дума кооптировала Панину и еще нескольких выдающихся женщин в состав депутатов. В августе, когда состоялись очередные выборы в Думу, Панина была избрана официально. Ночью 25 октября, когда Красная Гвардия осаждала министров Временного правительства в Зимнем, именно Панину выдвинула дума в числе трех представителей, которые пытались убедить матросов крейсера «Аврора» не стрелять по дворцу.

В 1917 году деятельность Паниной выходит на общенациональный уровень. В начале мая она избирается в Центральный Комитет партии кадетов; в том же месяце становится единственной женщиной-членом кабинета министров Временного правительства: после создания первого в российской истории Министерства государственного призрения Панина назначается товарищем министра. В конце июля созывается новый коалиционный кабинет, и она становится товарищем министра народного просвещения, обязанности которого исполнял С.Ф. Ольденбург. И, наконец, осенью Панина баллотируется, хотя и неудачно, в Учредительное Собрание в качестве кандидата от кадетской партии.

Личные связи, деятельность по распределению пособий солдатским семьям, репутация — все это объясняет, каким образом женщина, в течение многих лет целенаправленно избегавшая любой политической деятельности, неожиданно стала выдающейся фигурой на российской политической сцене в революционном 1917 году. Немаловажно и то, что именно в это время женщины получили политические права, и это позволило Паниной занимать официальные должности как на муниципальном, так и на всероссийском

уровне. Однако еще важнее перемена взглядов самой Паниной, произошедшая под влиянием углубляющегося политического кризиса и ее неприязни к большевикам. Вот что писала Панина, ставшая депутатом Петроградской думы после признания Временным правительством женского равноправия:

*«Я попала в самую гущу политических событий... так как многие из окружавших меня считали меня социалисткой, по роду моей деятельности и в силу того, что последняя протекала в среде рабочих и самых обездоленных слоев городского населения, я сочла необходимым в силу обострения политической борьбы, с полной точностью установить свою позицию и отмежеваться от того социалистического безумия, которое охватывало страну — я записалась в члены партии народной свободы (к.-д.), которая одна тогда, из всех несоциалистических партий, открыто боролась с наступающим большевизмом. Вся моя дальнейшая судьба определена этим моментом».*³

Деятельность Паниной за 1917 год подняла ее до таких политических высот, которых редко достигали русские женщины. Она стала первой в России, да и за границей женщиной-министром. Однако до Октябрьской революции ее работа ограничивалась распределением пособий для семей солдат, государственной благотворительностью и образованием. В те месяцы, что последовали за большевистским переворотом, активность Паниной претерпела резкое изменение. Ее дом, номер 23 по Сергиевской улице в фешенебельном Литейном районе, стал местом встреч трех крупнейших антибольшевистских организаций столицы. Хозяйка дома наряду с другими помощниками министров входила в Малый совет, известный также как подпольное Временное правительство. Кроме того, она являлась членом Комитета спасения Родины и Революции — группы думских депутатов от кадетской и социалистической партий, которую возглавлял городской голова Петрограда. И наконец, Центральный Комитет партии кадетов после октября 1917 также собирался в ее доме. Без сомнения, Панина способствовала поддержанию связей между тремя организациями и координации их деятельности.

Принимала Панина участие и в попытках Временного правительства противостоять советскому перевороту, которые большевики именовали «саботажем». В ночь переворота, с 25 на 26 октября, члены кадет-

ской партии министры Александр Коновалов и Николай Кишкин издали приказ, вменявший всем государственным служащим в обязанность скрывать от Советов финансы и официальные документы. Вскоре, когда почти все министры Временного правительства оказались под арестом, входившие в Малый совет заместители впервые собрались в доме Паниной и приняли решение исполнить приказ, переведа министерские фонды в зарубежные банки. Примерно в то же самое время была одобрена забастовка гражданских служащих. Именно эти действия и составили основу гражданского сопротивления, с которым столкнулись Советы в первые месяцы после своего прихода к власти. 15 ноября действующий заместитель министра Панина отдала служащим Министерства народного просвещения приказ собрать все находящиеся в распоряжении министерства денежные средства — наличность, бонны и другие ценные бумаги, всего около 93 000 рублей — и перевести их на счета двух государственных чиновников, которые впоследствии должны будут вложить их в банки согласно ее инструкциям.⁴ Почти сразу после приказа в министерство прибыл назначенный большевиками Исаак Борисович Рогальский (один из источников идентифицирует его как заместителя комиссара образования), в задачу которого входило преобразование бывшего Министерства в Комиссариат просвещения, и столкнулся с пассивным сопротивлением служащих и нехваткой 93 000 рублей в казне.

Рогальский представил обвинение против Паниной в Следственной комиссии Революционного Трибунала Петроградского Совета, созданного в соответствии с первым большевистским декретом о судах от 24 ноября. Рогальский и Панина были знакомы не первый день. Оба, вместе с Комиссаром народного просвещения Анатолием Луначарским, были делегатами Петроградской думы; возможно, многомесячное противостояние между ее кадетской и большевистской фракциями дало лишний повод к обвинению графини. В докладе, сделанном Следственной комиссией Революционному Трибуналу, действия Паниной по изъятию «народных денег» из бывшего министерства и укрывательство их квалифицируются как «преступный саботаж» против Советской власти, «расстраивающий государственный аппарат вообще и Народного Комиссариата (sic) по про-

свещению в частности». Комиссия выдала ордер на арест Паниной.⁵

Арест графини представляется мерой не только неизбежной, но и несколько запоздалой. Весь ноябрь Советское правительство вело усиленную борьбу с теми самыми группировками, к которым Панина принадлежала. 10 ноября был официально ликвидирован Комитет спасения Родины и Революции, а 20 ноября Совнарком издал декрет об аресте всех членов Малого совета. Приказом Совнаркома от 16 ноября была распущена Петроградская дума, а два дня спустя арестованы ее лидеры. Членство Паниной во всех этих антибольшевистских группировках, включая Центральный Комитет кадетской партии, а также ее участие в бойкоте гражданских служащих поставило ее в один ряд с наиболее очевидными противниками большевистского режима из либерального лагеря.

Когда рано утром 28 ноября 1917 года в дверь ее спальни постучал швейцар и объявил о приходе большевистского комиссара и нескольких солдат с предписанием обыскать ее дом, Панина несколько не удивилась. Весь последний месяц, ведя подпольную борьбу с большевистским режимом, она ожидала ареста: *«Каждое утро, выходя из дому, я очень мало надеялась на благополучное возвращение под родной кров»*. За окнами ее дома в напряженном ожидании застыла столица. Именно на 28 ноября Временное правительство назначило открытие Учредительного Собрания, выборы в которое прошли две недели назад. В тот же день планировалось провести демонстрации в поддержку Собрания и против Советской власти.

Ленин и другие члены Совнаркома тоже не сидели сложа руки. Отовсюду приходили сообщения об антибольшевистских выступлениях, на Дону и Урале формировались контрреволюционные группировки. В то утро, раскрыв свежий номер газеты «Известия», читатели обнаружили, что он пестрит страшными историями о контрреволюционных заговорах с кадетами и казачьими генералами в главных ролях. Рабочим и солдатам предписывалось проявлять бдительность и подавлять всякие попытки проведения контрреволюционных демонстраций в столице.

Товарищу Гордону, большевику, посланному провести обыск в доме Паниной и арестовать хозяйку, крупно повезло. Накануне там проходило собрание Центрального Комитета партии кадетов, которое закон-

чилось в час пополудни. Ф.Ф. Кокошкин и А.И. Шингарев, руководители партии, бывшие члены Временного правительства, избранные в Учредительное Собрание, остались в доме графини на ночь, а утром попали в руки большевиков. Гордон позвонил в Смольный, где в то время располагался главный штаб петроградского Совета, и запросил инструкцию. Ему было сказано арестовать всех троих и привезти на допрос. В доме номер 23 по Сергиевской улице большевики оставили засаду, в которую чуть позже попал князь П.Д. Долгоруков.

Так, уже к полудню 28 ноября советские лидеры задержали четырех крупнейших представителей Конституционно-Демократической партии, планировавших участвовать в демонстрации в поддержку Учредительного Собрания, которая должна была состояться в тот же день. Гордон ликовал по поводу ареста Паниной. *«Ах, ах, ах, — кудахтал маленький бритый еврейчик в штатском всю дорогу до Смольного, — вспоминает Панина, — как будут удивляться потомки, когда прочтут, что я, Гордон, обыскивал и арестовывал графиню Панину, первую женщину в России, такую известную благотворительницу, женщину-министра»*.⁶ Однако неожиданный арест троих мужчин причинил немало головной боли советским следователям. Пользуясь правом неприкосновенности в качестве избранных делегатов Учредительного Собрания, кадетские лидеры указывали на то, что для их задержания нет ни малейшего основания. Они отрицали причастность их партии и к деятельности казачьих генералов Дутова и Каледина, подозревавшихся в организации антибольшевистских сил на Урале и Дону, и к действиям Паниной, изъявшей 93 000 рублей из казны Министерства просвещения. В конце концов, на помощь следователям пришел Совнарком и разрешил проблему, ex post facto придумав основания для ареста троих. В 10.30 вечера был издан знаменитый декрет за подписями Ленина, Троцкого и других членов Совнаркома, коротко и ясно сообщавший: *«Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов»*.⁷ Долгоруков, Кокошкин и Шингарев были отправлены в Петропавловскую крепость.

С обвинением против Паниной, изначально намеченной жертвы большевиков, а также с основаниями для

ее ареста все было куда проще. На допросе, который состоялся поздно ночью в Смольном, она призналась, что подписала приказ об изъятии 93 000 рублей из министерства, но наотрез отказалась сообщить, куда были отправлены эти деньги: *«Сочту своей обязанностью представить отчет о всей деятельности и о сумме единственно Учредительному Собранию, как единственной законной власти. От всяких разъяснений Комиссарам или Следственной комиссии я отказываюсь»*.⁸ Возможно, открой Панина тайну денег, и Следственная комиссия отпустила бы ее на свободу. Однако своим отказом графиня недвусмысленно дала понять, что считает незаконной как саму комиссию, так и создавший ее новый режим. Поэтому был издан приказ о содержании строптивой женщины под арестом вплоть до суда Революционного Трибунала. Узницу отправили в Выборгскую женскую тюрьму Петрограда.

Возможно, Советы и не предполагали, что арест Паниной, ордер на который был выдан 26 ноября, придется именно на день открытия Учредительного Собрания, 28 ноября. Не располагали они также и предварительной информацией о встрече кадетских лидеров в доме графини накануне вечером, когда было принято решение о проведении демонстрации в поддержку Собрания. Однако ее арест совпал с двумя важными шагами, предпринятыми Советской властью именно 28 ноября: отменой Учредительного Собрания (точнее, перенесением даты его открытия на 5 января, когда было объявлено о его окончательном роспуске) и ночным декретом, объявлявшим Конституционно-Демократическую партию вне закона. События эти, в свою очередь, придали аресту Паниной новое значение, переводя ее из разряда гражданских служащих, сопротивляющихся новому режиму, в ранг политических оппонентов, с которыми большевики боролись силовыми методами.

Известие об аресте Паниной и заключении ее в тюрьму вызвало в Петрограде волну негодования. Повсюду проходили собрания общественных организаций, женских ассоциаций и рабочих кружков, на которых люди выражали свое возмущение произволом большевиков. Газеты буквально забросали письмами протеста и солидарности с заключенной. Вот доводы в защиту Паниной, которые приводят авторы практически каждого из этих посланий: ее вклад в дело народного образования

и культурного развития, ее самоотверженность и другие моральные качества, ее действия в защиту свободы и справедливости в царские времена — и горькая ирония в определении ее как «врага народа».

В письме родителей и учителей одной из гимназий Петрограда, представляющем графиню политической мученицей, восхваляются как присущие ей традиционно мужские добродетели — патриотизм и «гражданское мужество», — так женские качества, ее «огромный запас любви». ⁹ Многочисленные протесты, по-видимому, заставили большевиков задуматься о целесообразности публичного суда над столь популярной личностью. Так, 5 декабря один из членов назначенной Советами Следственной комиссии, матрос по фамилии Алексеевский, предложил Паниной сделку: она выплачивает залог в сумме 180 000 рублей, и ее отпускают из-под стражи. Она отказалась и, по свидетельству одного источника, «насмешливо» ответила: «Вы хотите получить вдвое больше, чем мною было взято из кассы министерства для сохранения?» ¹⁰

Выбор Паниной в качестве обвиняемой первого советского политического процесса был странным и во многих отношениях неудачным. Ни один из сохранившихся документов не подтверждает ее значительной роли в тех подпольных организациях, к которым она принадлежала. Не совершала она и из ряда вон выходящих поступков, представляющих значительную угрозу для Советской власти. Другие крупные чиновники Временного правительства также поддерживали бойкот новой власти и принимали участие в акциях сопротивления, а иные кадетские лидеры имели гораздо больше влияния, необходимого для организации эффективной оппозиции. Более того, в почти исключительно мужском мире российской политики принадлежность Паниной к так называемому «слабому» полу делала ее наименее вероятной мишенью для большевиков, на что и намекали авторы многих писем протеста.

Есть, однако, и другие обстоятельства, которые объясняют выбор Паниной в качестве первой жертвы. Прежде всего, обвинение против нее казалось вполне очевидным, а исход дела не вызывал сомнений. Как царское правительство планировало добиться осуждения Веры Засулич в 1878 году на основании показаний многочисленных свидетелей, находившихся в комнате в тот момент, когда она стреляла в генерала Тре-

пова, так и большевики считали подписанный Паниной приказ об изъятии денег из кассы министерства ярким доказательством ее «преступления». Только безоговорочное доказательство вины подсудимой могло оправдать в глазах возмущенной публики заключение ее под стражу, которое до сих пор выглядело как арест безжалостными комиссарами ни в чем не повинной слабой женщи-



Арест графини Паниной. «Новая петроградская газета». 12 декабря 1917 г.
Рисунок

ны. Кроме того, осуждение Паниной могло способствовать обоснованию необходимости издания декрета от 28 ноября, объявлявшего вне закона кадетскую партию, документа, который вызвал сильнейшее негодование среди социалистов меньшевистского толка. Категорический отказ Паниной от любых форм сотрудничества или компромисса с Советами, вероятно, только утвердил последних в намерении поставить ее перед судом. Успешный процесс со столь знаменитой подсудимой в главной роли неизбежно должен был привлечь внимание общественности к трибуналам и новым принципам революционной справедливости, которые они представляли.

И, наконец, Панина олицетворяла собой все то, против чего боролась Революция: титулованную аристократию, богатство, предписываемую положением в обществе филантропию, буржуазный либерализм. Публичный суд над богатой графиней по обвинению в присвоении «народных денег», должно быть, казался новому режиму, который объявил себя защитником угнетенных и врагом всякого рода эксплуататоров, выигрышной пропагандистской возможностью.

ПРОЦЕСС

Суд, назначенный на 10 декабря, привлек всеобщее внимание. В столице и за ее пределами о нем писали газеты самых разных политических направлений и ориентаций, не оставила событие в Петрограде без внимания и зарубежная пресса, в частности «Нью-Йорк Таймс». Свидетели и участники процесса, в том числе

сама Панина, Я.Я.Гуревич, работник образования и друг, которого она попросила выступить в роли защитника, а также известные корреспонденты Джон Рид и Луиза Брайант, вели записи происходящего. Учитывая накаленную политическую обстановку, в которой происходило заседание, неудивительно, что все источники, включая и неопубликованные протоколы суда, грешат ошибками и неточностями, порожденными предубеждением. Тем не менее сопоставление разных точек зрения дает возможность довольно точно воссоздать драму, которая разыгралась 10 декабря 1917 года в Петрограде.

Место, избранное для суда, подчеркивало его революционное значение. Процесс проходил в прекрасном дворце в стиле модерн, принадлежавшем некогда великому князю Николаю Николаевичу, двоюродному брату императора и бывшему Главнокомандующему. Здание было передано Петроградским Советом Революционному Трибуналу незадолго до этого события. Хотя во дворец можно было попасть только по специальным билетам, публика переполнила небольшой концертный зал задолго до полудня, когда наме-

чалось открытие заседания. Точно следуя предписанной большевиками идеологии классовой борьбы, аудитория разделилась на две группы. Большинство составляли друзья и сочувствующие Паниной, как мужчины, так и женщины, — учителя, юристы, актеры, художники, общественные деятели, сотрудники из ЛНД; «преобладает интеллигенция типа 60-х годов», писала одна газета.¹¹ Среди немногочисленных рабочих и солдат женщин почти не было. Присутствовали также Петр И. Стучка, председатель Следственной комиссии и Комиссар юстиции, и Рогальский из Комиссариата по образованию, по чьей инициативе и было возбуждено дело против Паниной. В защиту подсудимой планировали выступить Гуревич и меньшевик Г.М. Крамаров, член Исполнительного Комитета Всероссийского Совета.

Судебное заседание открылось на час позже назначенного срока: автомобиль, в котором везли Панину, дважды ломался по дороге. Когда в час пополудни судьи вошли в зал, напряжение, возбуждение и нетерпение публики достигло предела. Революционный Трибунал составляли семеро мужчин: двое солдат и пятеро рабочих с разных заводов Петрограда, в том числе и председатель, Иван П. Жуков. Шестеро из семи были членами большевистской партии. Их внешний облик точно призван был сгладить бросающийся в глаза контраст между буржуа и пролетариями в публике, а также между либеральным и революционным представлением о правосудии. Солдаты были в форме, но пятеро рабочих имели типично буржуазный вид — белые стоячие воротнички, галстуки, темные костюмы, — вероятно, с целью внушить враждебно настроенной публике мысль о законном характере всей процедуры. Члены Трибунала заняли свои места за стоявшим на возвышении длинным столом, покрытым красным сукном, рассевшись на обитых материей стульях из карельской березы. Электричество во дворце давно отключили, а потому зал освещали «ярко-красного стекла лампы под зелеными абажурами».¹² Жуков открыл заседание, выступив с краткой речью. Путая революции 1848 и 1789 годов, он провозгласил «Революционные трибуналы», созданные «69 лет тому назад» во Франции, прообразом русского революционного правосудия. Жуков предупредил, что, подобно своим французским предшественникам, русский Трибунал

«будет строго судить всех тех, кто пойдет против воли народа, кто будет мешать ему на его пути», но «невинные пред волей революционного народа найдут в Революционном Трибунале наиболее надежного защитника».¹³

Затем в зал вошла Панина в сопровождении конвоиров, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Подобно судьям, замаскировавшим свою классовую принадлежность традиционными костюмами, по замечанию одного из присутствовавших в зале американцев, 46-летняя обвиняемая в «строгом черном костюме без всяких украшений и маленькой шляпке-тюбане, плотно сидевшей на голове», скорее напоминала «типичную общественницу из любого американского города», чем графиню.¹⁴ Зрители, демонстративно сидевшие, когда в зал вошли члены Революционного Трибунала, при появлении Паниной встали и приветствовали ее криками и аплодисментами. Таким образом, антибольшевистские настроения, преобладавшие в публике, стали очевидны с самого начала.

Несмотря на то что Трибунал представлял революционное правосудие, вся процедура сочетала юридические новшества с общепринятыми условностями. Сначала Жуков зачитал доклад Следственной комиссии и предъявленное Паниной обвинение в саботаже, затем представил суду документы (но ни единого свидетеля), подтверждавшие ее преступление, включая и подписанный ею самой приказ служащим министерства от 15 ноября. После этого он спросил: «Гражданка Панина, признаете ли вы себя виновной в том, что изъяли из кассы бывшего Министерства народного просвещения и сокрыли не принадлежащие вам 93 000 рублей?» — «Нет, виновной я себя не признаю», — отвечала Панина. Следом, вместо того чтобы вызвать официального прокурора, Жуков, подражая судьям французской революции, обратился к залу: «Слово представляется обвинителю. Есть ли таковой?» Такового не нашлось.

В отсутствие прокурора, официального или какого-либо еще, Жуков представил слово защитнику Гуревичу. Взывая к судьям не как к юристам, но как к обычным гражданам, таким же, как он сам, Гуревич попытался убедить Трибунал в том, что осудить Панину невозможно — ни по официальному закону, потому что в настоящее время, «в разгаре политической борьбы», таковых в России просто нет; ни по закону со-

вести, поскольку заслуги подзащитной перед народом общеизвестны и весьма значительны. «Вы можете судить ее только как партийные противники, но тогда это не суд, а продолжение гражданской войны», — настаивал он.¹⁵ Гуревич также подчеркнул, что суд идет не над Паниной, а над самой революцией и ее представлением о справедливости.

Именно в речи Гуревича впервые прозвучал аргумент, который впоследствии станет определяющим в разных оценках действий Паниной и их мотивов: происхождение тех средств, в присвоении которых ее обвиняли, и результат ее поступка. Он уточнил, что средства, изначально названные принадлежащими министерству наличными и ценными бумагами, на самом деле являлись пожертвованиями, сделанными в фонд министерства на благотворительные нужды. Таким образом, изъятие Паниной этих денег никак не могло поставить под угрозу работу министерства. В заключение защитник напомнил судьям, что на них смотрит весь мир: «Но нельзя перед всем миром, от имени народа, платить злом за добро и за любовь — насилием. Не совершайте же насилия от имени русского народа к стыду его перед всем миром».¹⁶

Зрители ответили на речь Гуревича шквалом горячих продолжительных аплодисментов. «Какой-то экстаз единодушно охватил зал», — писала газета «Вечерний звон». Многие плакали. Народник по имени Ломов, старик с окладистой бородой, который провел годы в политической ссылке, а теперь работал в ЛНД, впал в истерику. Всклипывая, причитая и заламывая руки, он восклицал: «Я не могу... не могу... я не в силах это пережить... зачем, ах, зачем они так делают... я не могу... я умираю». По-прежнему всклипывая и повторяя «зачем, ах, зачем», он был выведен из зала.¹⁷

Затем Жуков дал слово человеку из публики, который представился как Н.И. Иванов, фабричный рабочий по роду занятий и эсер по политическим убеждениям. Он произнес страстную речь в защиту Паниной, которая еще в годы царского режима, не жалея сил, трудилась ради повышения образовательного и культурного уровня простого народа. Эта графиня, не убоившись «народного пота и дыма», лично проводила с ними занятия, «зажигала в рабочих массах святой огонь знания». Подчеркивая ее материнскую преданность и любовь к простым людям, он сообщил суду, что рабочие нашли в

ЛНД «свет и радость», а их дети встречали там больше внимания и ласки, чем в собственных семьях. Такая женщина не может быть врагом народа, а лишь его верным другом. Русские люди не должны отплатить ей черной неблагодарностью. Как и Гуревич, Иванов подчеркнул, что процесс стал пробным камнем революции. Еще раз напомнив судьям о всенародной, точнее, международной известности Паниной и о том, что взгляды всего мира обращены сейчас к ним, рабочий обратился к суду с мольбой: «*Не опозорьте себя, революцию, русский народ обвинительным приговором*». Иванов закончил свое выступление на драматической личной ноте: «*Я сам был неграмотным, темным человеком. У нее в Народном Доме, у нее в школе я обучился грамоте. На ее лекциях я познал свет*». Повернувшись лицом к обвиняемой, он низко поклонился и сказал: «*Благодарю вас*». ¹⁸

Как вспоминала годы спустя сама Панина, выступление Иванова «*произвело в зале эффект разорвавшейся бомбы и вызвало необыкновенное волнение среди судей*». ¹⁹ Самые пламенные сторонники вряд ли смогли бы представить в защиту труда всей жизни Паниной доводы столь же красноречивые, как это безыскусное свидетельство простого рабочего. ²⁰ Приведенный в замешательство Жуков обратился к подсудимой с вопросом, согласна ли она вернуть деньги в течение двух дней. Та отказалась; деньги вложены в банк на имя министерства и будут выданы только полномочному представителю Учредительного Собрания. Тогда, в обход Крамарова, члена Всероссийского Совета, которому обещали дать выступить в защиту Паниной, слово представили другому рабочему, по фамилии Наумов.

Наумов горячо высказывался за осуждение Паниной. Несмотря на все свои добрые дела и «*благородство*», она все же представляла класс, который угнетал и эксплуатировал русский народ. «*Если есть такие, которые увидели свет в окошке Паниной, то миллионы этого света не видели... И было бы преступлением забывать об этом*». Подсудимую следует рассматривать не как отдельную личность, но как классового и партийного врага, она «*вместе со всеми представителями своего класса участвовала в организованном противодействии народной власти, в этом ее преступление*». Побуждая заседающих в Трибунале «*товарищей*» не позволять поколебать свою решимость рассказами о прошлых

деяниях Паниной, Наумов призвал их вынести справедливое наказание всем тем, кто стремится отнять «*право трудового народа на счастье... во имя миллионов угнетенных, я призываю вас действовать. Если на пути нашем стоит благородная личность, нам очень жаль, но хуже для нее*». ²¹ По некоторым отчетам, речь Наумова несколько раз прерывали гневные выкрики из зала.

Затем Жуков предоставил слово Рогальскому «*для фактического замечания*». Представитель Комиссариата по образованию выступил против подсудимой, обвинив ее в «*хищничестве*». Его яростная атака была направлена скорее против обвиняемой лично, нежели против того класса, который она представляла. Рогальский сделал попытку обратить репутацию Паниной как личности, известной своей благотворительной деятельностью, против нее самой.

Его особое негодование вызвала характеристика Гуревичем поступка Паниной как безобидного, поскольку деньги, о которых шла речь, составляли благотворительный фонд. Напротив, утвездил он, присвоенная обвиняемой сумма состояла из невыплаченных зарплат работников министерства, призванных на фронт. ²² Рогальский обвинил графиню, известную своим милосердием, в безжалостном отношении к представительницам своего пола и поставил ее в один ряд с угнетателями-мужчинами:

«*Деньги, взятые Паниной, принадлежат Министерству, и большинство этих денег состоит из заработка служащих, военнообязанных, которым еще не заплачено. Жены и сами они, раненые, голодные, ежедневно приходят в Министерство и плачут, слезно молят о помощи, и им нечем платить, потому что какие-то господа позволяют себе забирать чужие деньги на хранение*».

Не обращала Панина никакого внимания и на нужды «*несчастливых учительниц, жизнь которых — сплошной подвиг и сплошное мучение*». Нет смысла дожидаться открытия Учредительного Собрания; «*Голодные люди, которые теперь осаждают Министерство, хотят есть сегодня*».

Если подсудимую оправдают, завершил свою речь Рогальский, это вызовет протест всех трудящихся. ²³

Наконец Жуков предоставил последнее слово подсудимой. Панина заявила, что в качестве единственного старшего служащего министерства, оставшегося на свободе после октябрьского переворота, она имела право изъять деньги для обеспечения их сохранности. Обращаясь

преимущественно к солдатам, как в Трибунале, так и в зале суда, она произнесла свою вариацию на тему речи Рогальского, в которой центральное место также отводилось вопросам половой и классовой принадлежности:

«*Меня лучше всего поймут солдаты. Солдаты, которые знают роль часового, знают, что часового никто не может снять с поста, кроме того, кто его поставил. Я была таким часовым при Министерстве. Меня поставил народ, и отдать отчет, возвратить деньги я могла только народу, только его законному представителю — Учредительному Собранию. Так я и сделаю*». ²⁴

В этот момент самообладание, которое Паниной удавалось сохранять на протяжении всего заседания, едва ей не изменило. Дрожащим от волнения голосом она поблагодарила Иванова за сказанное в ее защиту слово, в котором было «*все, что могла я желать получить за мою работу на пользу народного просвещения*». «*Шумная и продолжительная овация*» поглотила концовку ее речи. ²⁵

Волнение и хаос продолжали царить в зале после того, как суд удалился на совещание. Комиссар Стучка поспешил следом. Зрители окружили Иванова, жали ему руку, благодарили. Крамаров громко возмущался, что Жуков не дал ему выступить. Рогальский требовал, чтобы ему позволили пройти к судьям: он хотел передать им какие-то дополнительные документы, но получил отказ. Бывший министр просвещения Ольденбург подошел к Рогальскому и во всеулышание заявил: «*Вы великолепно знаете, что вы ляжете!*» Шум не утихал и после того, как около часа спустя судьи вернулись с совещания. Крамаров встал и потребовал слова; Жуков раздраженным тоном велел ему сесть. Меньшевик продолжал говорить; тогда председатель Трибунала приказал охране вывести его из зала. Пока Крамарова выволакивали в коридор, он кричал: «*Это ляжет пятном на вашу совесть!*» ²⁶

Когда в зале наконец стало относительно тихо, Жуков огласил неожиданный и противоречивый приговор. Суд признал обвиняемую виновной в «*противодействии народной власти*» и вынес решение, что «*гражданка*» Панина должна оставаться в заключении до тех пор, пока не возвратит Комиссариату просвещения взятые ею деньги. Однако, «*принимая во внимание прошлое обвиняемой*», Трибунал ограничил официальную меру наказания «*общест-*

венным порицанием». ²⁷ Столь необычный вердикт вызвал новую бурю в зале: даже немногословные протоколы процесса отмечают, что поднялся «неогнисуемый шум». Одни громко смеялись от радости, другие выражали свое одобрение пронзительным свистом. Сторонники Паниной аплодировали, размахивали шляпами и носовыми платками, поздравляли друг друга, кричали «Ура!». Конвоиры поспешили вывести под судимую из зала, так как некоторые зрители уже бросились к ней.

Годы спустя, вспоминая этот процесс, Панина выражала благодарность за «наилегчайший из всех возможных» по тем временам приговор; однако отказ вернуть деньги снова привел ее в тюремную камеру, где она чувствовала себя «запертой в ловушке без всякой надежды на спасение». ²⁸ Графиня вышла на свободу 28 декабря, после того как ее петроградские друзья передали Революционному Трибуналу почти 93 000 рублей в качестве выкупа.

КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ? ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОЦЕССА

Неожиданные повороты событий и противоречивый приговор давали почву для самых разнообразных истолкований результатов процесса. В нем, как в зеркале, отразились надежды и иллюзии, которые участники и зрители еще питали в те первые дни революции.

Так, например, Петр Герасимов, член Центрального Комитета партии кадетов, в статье, написанной им для партийного еженедельника, выразил мнение, что процесс подает поводы для надежды. Речь рабочего Иванова в защиту Паниной стала, на его взгляд, блестящим подтверждением того, что самоотверженный труд интеллигенции по просвещению трудящихся масс не пропал даром. Этот и другие моменты процесса — признание Науомовым заслуг Паниной перед народом, смущение и колебание судей, сам приговор, наконец, — служили верным признаком того, что со временем русский народ увидит всю лживость и несостоятельность большевистского режима. В том же самом еженедельнике появилась и статья подруги Паниной, также члена Центрального Комитета, Ариадны Тырковой-Вильямс, которая тоже характеризует процесс как моральную победу обвиняемой и всех тех ценностей, за которые она представляла.

Противники большевиков лико-

вали: на их взгляд, суд толькошний раз продемонстрировал слабость и непопулярность их политических оппонентов. «Воля народа», основной печатный орган партии эсеров, объявила исход процесса триумфом Паниной и кадетов. Петроградская газета «Вечерний звон» опубликовала подробный отчет о ходе процесса, предпослав ему передовицу «Суд над большевиками», целиком и полностью написанную в защиту Паниной. Трибунал не осмелился вынести Паниной обвинительный приговор, утверждалось в статье, поскольку симпатии всех присутствующих явно были на ее стороне. Однако судьи не могли пойти против распоряжений Смольного; отсюда и смехотворная формулировка: «общественное порицание». «Мы испытываем чувство радости. Потому что вновь обретаем веру в темную толпу, на время потерявшую рассудок» — на такой оптимистической ноте завершалась передовица. ²⁹

Много лет спустя, оглядываясь на события декабря 1917 года, сама Панина продолжала твердо верить в свой «абсолютный триумф». ³⁰ В опубликованных посмертно мемуарах она вспоминает речь безвестного Иванова и доброту женщин-заключенных, с которыми она столкнулась в тюрьме, утверждая, что именно они поддерживали ее веру в русский народ. Для нее, как и для других кадетов, процесс стал свидетельством провала неуклюжих и злонамеренных попыток большевиков раздуть классовую вражду, подтвердил возможность диалога и сотрудничества, вопреки классовым различиям. «Для меня эти дни остались навсегда символом открытых возможностей». ³¹

Однако столь благодушные истолкования значения процесса не пошли на пользу прежде всего самим кадетам. Их реакция выдает значительную способность к самообману, которую и продемонстрировала партия в первые послеоктябрьские дни. После «триумфа», одержанного Паниной в зале суда, кадеты окончательно уверовали в возможность законных методов борьбы и, недооценивая силу своего политического противника, пребывали в убеждении, что большевистская диктатура вскоре падет сама собой.

Пробольшевистски настроенные комментаторы также склонны были допускать большие натяжки, чтобы совместить ход и результаты процесса со своими ожиданиями. Следует, однако, отметить, что ни советское правительство, ни кто-либо из российских обозревателей не объявлял

суд над Паниной триумфом большевиков. «Правда» вообще проигнорировала это событие. Опубликованный в «Известиях» отчет, подробно освещая определенные аспекты судебного разбирательства, — например, выступления Наумова и Рогальского, неуважение, проявленное к Трибуналу Крамаровым, — и сводя на нет все остальное, в том числе и речь Иванова, представил процесс как демонстрацию антиреволюционных настроений бывшего товарища министра и ее сторонников.

Один из главных участников событий откровенно признал, что процесс отнюдь не принес новому правительству успеха. В небольшой статье воспоминаний, написанной в 1927 году, Жуков отмечает, что поначалу работа Трибунала была довольно неслаженной. Он объясняет это большой поспешностью, с которой был организован революционный суд, а также враждебностью и даже ненавистью буржуазии; более того:

«Мне, как председателю Революционного Трибунала, не имевшему ни малейшего опыта в судебных делах, столаяру по профессии, не получившему ниготкуда никаких директив, при полном отсутствии процессуальных законов, действовавшему, только как подсказывала революционная совесть, в первое время было очень трудно ориентироваться в обстановке того времени». ³²

Однако американские социалисты Джон Рид и Луиза Брайант склонны были считать, что в этом процессе победа осталась за Трибуналом. Дело тут не только в их пробольшевистских симпатиях, но и в неверном понимании, а зачастую и искажении фактов. Так, Рид в своем отчете подчеркивает враждебное настроение буржуазной публики и ее неуважение к суду, а также обращает особое внимание на резкий контраст между «гладкой речью» защитника Паниной Гуревича, которого он ошибочно называет «одним из лучших юристов Петрограда», и искренними безыскусными фразами рабочего Наумова. Брайант, совершенно искажая финал судебного заседания, пишет, что Панина «приняла решение вернуть деньги немедленно». Оба американских журналиста делают особое ударение на якобы присущей революционному суду гуманности и умеренности. Вместо того чтобы умереть под ножом гильотины, писал Рид, Панина «вернулась в свой дворец!». «В любой другой стране в такое смутное время Панина была бы немедленно казнена, в особенности принимая во внимание ее активное про-

тивоедействие новому режиму»,³³ — вторит ему Брайант.

На суде присутствовали и другие американские журналисты, Бесси Битти и Альберт Рис Уильямс. Их отчеты, гораздо более точные и добродетельные по отношению к Паниной, также выражают симпатии авторов к Революционному Трибуналу. Вместо того чтобы возвестить начало красного террора, судьи вынесли мягкий приговор, демонстрирующий гуманный характер революции. «*Революционное правосудие имеет так же мало общего с гильотиной, как и с системой организованной несправедливости царского правительства, отправившей в ссылку и на каторгу бесконечное количество людей*», — писала Битти. Уильямс, впечатленный торжественностью судей (черта, которую критически настроенный зритель считал довольно комичной), объявил Революционный Трибунал воплощением «*возвышенной невинности и незамутненной надежды*».³⁴ Нечего и говорить, что советские историки согласились с оценкой Трибунала как справедливого и гуманного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполненный высокого драматизма, бурных страстей и неожиданных поворотов событий процесс Паниной имел огромное, хотя и неоднозначное символическое значение. Изначально он отражал противостояние крупной буржуазии с ее стремлением к классовой кооперации и филантропии, с одной стороны, и трудящихся масс и их идеи классовой борьбы и социальной справедливости, с другой. Однако в ходе судебного заседания границы между этими понятиями утратили четкость. Оказалось, что Панина является лишь одной из возможных обвиняемых; в роли остальных выступали, в зависимости от точки зрения, либо большевистская партия, Революционный Трибунал и сама революция, либо Временное правительство, интеллигенция и русские женщины. Пролетарский суд был одет в костюмы буржуазных юристов и все время путал правосудие времен Французской революции со стандартной традиционной процедурой. Образ самой Паниной неоднократно менялся: от первой женщины-министра и матери бедняков до солдата на посту и угнетателя трудящихся. Признаки классовой принадлежности, столь неоспоримо четкие в марксистской

теории, утратили свою прозрачность. Панина представляла одновременно аристократию, буржуазию и интеллигенцию, была другом народа и его врагом.

Столь же непростыми были отношения революционного суда с законностью. Совершила ли обвиняемая преступление? С точки зрения большевиков наподобие Рогальского, Панина была повинна в присвоении казенных денег и саботаже. В глазах самой графини и ее сторонников, настоящим преступлением были действия большевиков в отношении Временного правительства и Учредительного Собрания. Вердикт суда одновременно прозвучал приговором обвиняемой и снял с нее вину.

Такую двойственность во многом можно объяснить уникальностью исторического момента, в который проходил процесс. Как верно указал Гуревич, никто не мог бы точно сказать, что именно являлось законным в то время. Страх, энтузиазм, смятение и, как показали последующие события, прекраснотушие определяли атмосферу Петрограда в начале зимы 1917 года. Противоборствующие стороны еще не знали истинной силы друг друга, и было непонятно, чем же закончится революция. Пока кадеты занимались поисками эффективных методов борьбы, большевики изобретали инструменты подавления и способы подтверждения легитимности своей власти.

Другим источником неоднозначности процесса была его двойная цель. С одной стороны, он задумывался как «настоящее» судебное разбирательство, в ходе которого обвиняемую должны были приговорить к соответствующему наказанию за вполне определенное преступление. С другой стороны, он призван был продемонстрировать новый тип правосудия России и всему миру. Похоже, что даже приблизительного плана этого процесса не было намечено заранее. По мысли организаторов действия, «справедливый» приговор должен был родиться из спонтанного взаимодействия судей и публики. Однако как раз спонтанность и импровизация и преподнесли стороне обвинителей несколько сюрпризов. Прежде всего, устроители процесса наверняка пожалели о том, что допустили сторонников обвиняемой в зал суда; в противном случае пролетарские судьи не столкнулись бы со столь подчеркнуто враждебной аудиторией с самого начала. Затем, среди зрителей не нашлось ни одного обвинителя «от народа»; вместо этого явился пламенный защитник Пани-

ной. Сами судьи не имели никакого опыта, да и должной подготовки тоже. Наконец, оказалось, что и обвиняемая в лице Паниной была выбрана неудачно: сохраняя самообладание на протяжении всего процесса, она свела на нет все попытки судей запугать ее или заставить пойти на компромисс. Ее преступления против революции никак не удавалось выставить в таком свете, чтобы они перевесили ее заслуги в глазах публики. Тот факт, что большевики никогда позже не использовали процесс Паниной в пропагандистских целях, подчеркивает осознание ими провала всего предприятия; никто, кроме американских социалистов, не называл это дело подтверждением торжества революции.

Декабрь 1917-го многому научил большевиков. Несмотря на то что сопоставление процесса Паниной с более поздними показательными судами советского периода не входит в круг задач данной статьи, хочется все же упомянуть некоторые характерные особенности, которые отличают его от следующего же публичного суда над политическими противниками. Советское правительство основательно подготовилось к процессу над лидерами Социалистической Революционной партии в 1922 году: им были предъявлены вполне конкретные обвинения в преступлениях, предусмотренных Советским уголовным кодексом. Тщательно отобранная публика усердно аплодировала обвинителям-коммунистам и освистывала защитников. Несмотря на отказ подсудимых признать свою вину, правосудие широко использовало этот процесс в политико-просветительских и пропагандистских целях. Однако суд над Паниной сыграл роковую роль в последующих политических процессах еще и потому, что создал опасный прецедент. Высказав откровенное несогласие с позицией большевиков и подтвердив, что действия, в которых ее обвиняли, были продиктованы ее убеждениями, Панина тем самым раз и навсегда определила исход всех будущих подобных процессов. В свою очередь, Трибунал, обозначив ее поступок термином «саботаж», объявил всех политических оппонентов большевиков врагами, а любую форму протеста — предательством. Впоследствии обвинение в саботаже будет предъявлено бесчисленному количеству идеологических «врагов», и каждый раз опорой ему будет служить формулировка, впервые прозвучавшая в процессе Паниной.

Но был ли процесс и впрямь триумфом либералов, как утверждали кадеты? Подсудимая снискала симпатии и поддержку публики не столько как представительница определенной партии, сколько в качестве воплощения добродетелей, традиционно приписываемых русской женщине. Сохраняя отстраненное отношение к политическим и классовым конфликтам, Панина проявила себя как женщина с высоким чувством гражданского долга, которая отдала все свое состояние и жизнь служению людям. Таким образом, большевики, сами того не подозревая, судили в ее лице не кадетов и не Временное правительство, но идею Русской Женщины. Кадеты, несмотря на убежденность в своей «моральной победе», ни разу не использовали процесс Паниной для популяризации своих идей; впрочем, они чурались всякого рода пропаганды еще и до революции, а в конце 1917 года у них, в отличие от большевиков, просто могло не быть для этого возможностей. Партийные лидеры находились либо в изгнании, либо в тюрьме, либо, как и сама Панина в начале 1918 года, вынуждены были бежать из столицы. Кроме того, кадеты сделали из этого процесса ложные выводы. В конце 1917 года, когда большевики были еще новичками в деле постановки эффективных политических зрелищ, либеральные оппоненты не сумели должным образом оценить их потенциал.

*Перевод с английского
Натальи Масловой*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹*Sofia Panina. Such Is Life. Columbia University. New-York City. Bakhmetev Archive. Panina Papers, Box 14, folder «Panina's Arrest, 1917 (1)». P. 5.*

²*Панина С.В. На петербургской окраине // Новый журнал. Нью-Йорк, 1957. № 49. С. 192.*

³Там же. С. 192.

⁴Точное название банка и его местонахождение так и остались тайной: Панина отказалась назвать их Следственной комиссии. Некоторые источники утверждают, что деньги были переправлены в зарубежный банк. В своих мемуарах графиня утверждает, что приказала своим служащим положить сумму в любой банк на имя Учредительного Собрания.

⁵Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), «Следственное дело по обвинению графини С.В.Паниной в укрывании денег из кассы бывшего Министерства народного просвещения». Ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 1.

⁶*Панина С.В. Арест (неопубликованная рукопись, написанная ею после эмиграции, теперь у ее родственника В.Леховича). С. 2, 4.*

⁷Хотя декрет, как указано в нем самом, вступает в силу «с момента его подписания», к Долгорукову, Кокошкину и Шингареву он был применен задним числом, через несколько часов после их ареста. Никто из них на процессе не присутствовал. Кокошкин и Шингарев были убиты матросами в госпитале, куда их перевели из тюрьмы в начале января; Долгорукова несколько месяцев спустя освободили.

⁸ГАРФ. Ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 16.

⁹Вестник Партии Народной Свободы. 1917. № 31 (28 декабря). С. 10.

¹⁰*Гуревич Я.Я. Дело графини С.В.Паниной в революционном трибунале // Русское богатство. 1917, № 11—12 (ноябрь-декабрь). С. 286.*

¹¹*Кин Л. Суд над гр. С.В.Паниной // Вечерний звон. 1917, 11 декабря. С. 1.*

¹²*Bessie Beatty. The Red Heart of Russia. New York, 1918. С. 295.*

¹³ГАРФ. Ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 20.

¹⁴*Bessie Beatty. The Red Heart of Russia. New York, 1918. P. 296.*

¹⁵*Гуревич Я.Я. Дело графини С.В.Паниной в революционном трибунале. С. 291.*

¹⁶Там же. С. 292.

¹⁷*Кин Л. Суд над гр. С.В.Паниной // Вечерний звон. 1917, 11 декабря. С. 2.*

¹⁸Там же. С. 2.

¹⁹*Панина С.В. На петербургской окраине. С. 197.*

²⁰Возможно, что речь Иванова была не импровизацией, а выступлением, заранее подготовленным сторонниками Паниной. Райлиану, журналисту, присутствовавшему на суде, она показалась несколько театральной. Однако никто больше об этом не упоминает.

²¹ГАРФ. Ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 21, об. 22.

²²Согласно некоторым отчетам, Панина утверждала, что деньги принадлежали служащим ее министерства и что ее поступок был продиктован заботой о сохранности их заработной платы (ГАРФ, ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 22); «Суд большевиков над графиней С.В.Паниной» // Новая Петроградская газета, 1917, 12 декабря. С. 2. Однако, согласно отчету в газете «Вечерний звон», Панина объясняла, что изъяла деньги из кассы для большей сохранности, так как это была сумма, пожертвованная на нужды образования народом.

²³ГАРФ. Ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 22.

²⁴*Кин Л. Суд над гр. С.В.Паниной // Вечерний звон. 1917, 11 декабря. С. 2.*

²⁵*Гуревич Я.Я. Дело графини С.В.Паниной в революционном трибунале. С. 295.*

²⁶*Кин Л. Суд над гр. С.В.Паниной. С. 3.*

²⁷ГАРФ. Ф. Р-1074, оп. 1, д. 10, л. 23.

²⁸*Sofia Panina. Such Is Life. P. 7.*

²⁹Суд над большевиками // Вечерний звон. 1917, 11 декабря. С. 3.

³⁰*Sofia Panina. Such Is Life. P. 6.* В этом отчете она характеризует процесс как «ситуацию наполовину трагическую, наполовину комическую».

³¹*Панина С.В. На петербургской окраине. С. 201.*

³²*Жуков И. Революционный Трибунал (вспоминания первого председателя Трибунала) // Рабочий суд. 1927. № 22. С. 1756—57, 1759.*

³³*John Reed. How the Russian Revolution Works // The Liberator. Vol. 1. No. 6 (August 1918). P. 16—17; Louise Bryant. Six Red Months in Russia: An Observer's Account of Russia Before and During the Proletarian Dictatorship. New York, 1918. P. 194—96.*

³⁴*Bessie Beatty. The Red Heart of Russia. New York, 1918. P. 301; Albert Rhys Williams // Journey Into Revolution. Petrograd 1917—1918, ed. Lucita Williams. Chicago, 1969. P. 163—65.*

Сергей ПЕТРОВ

СОБОР СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

Стоит небесная громада
голубая,
пять медных солнц над ней
вознесены,
а век вертится рядом,
колулая
кусочки сини со стены.

Чуть слышится барочный
образ трелей,
певучих завитков намеков.
Но музыка молчит.
Вколочен в гроб Растреллий,
а день, как тряпка серая,
намок.

Кто мчится напрямик,
а кто живет окольной,
кто на банкете пьет,
а кто так из горла.
По-вдови грузен храм
без колокольни,
она, воздушная,
в девицах умерла.

Воспоминание о ней —
как о кадавре,
на чертеже она рассечена.
Сестра ее на променаде
в Лавре,
как дама в робе,
все еще стройна.

А церковь вдовая
ушла подальше
от медного болвана на скале
и, вроде позабытой
адмиральши,
стоит облезлым небом
на земле.



ГЛЯДЯ ИЗ ФРАНЦИИ

Петербург-Ленинград глазами французов

Дени ДАББАДИ

Ничего удивительного: приходится начинать с таможни.

«Мы прибыли в Кронштадт <...>, предъявили наши паспорта и пересели на другое судно, которое нас доставило на Гагаринскую набережную, где тогда размещалась Петербургская таможня. Я бросил мою шляпу на скамью и поспешил открыть чемодан <...>

— Мы не осматриваем багаж артистов, впервые приглашенных в Россию, — любезно сказал мне служащий таможни.

Я в восторге поклонился таможеннику и хотел было снять перед ним шляпу, но вспомнил, что уже положил ее на скамью. Шляпа бесследно исчезла; очевидно, ею прельстился какой-нибудь любитель иностранных вещей, который воспользовался счастливой оказией не только обойти таможенные правила, но и не заплатить при этом ни гроша».

Как вы думаете, кто автор этих строк? Один из самых знаменитых французов Санкт-Петербурга... Мариус Петипа.

Его «Воспоминания» вызывают — и в этом весьма показательны — те же вопросы, что и публикуемые ниже фрагменты и отрывки. Прежде всего, эти тексты, равно как и их авторы, по большей части были недооценены современниками и неизвестны современному читателю. Даже Петипа! Кто знает, что он написал свои «Воспоминания» по-французски? Ведь они были впервые опубликованы в 1906 году по-русски, переизданы, естественно, тоже на русском языке в 1971 году, а во Франции появились только в 1990-м... в переводе с русского! Французский издатель уверяет, что рукопись «Воспоминаний» была утеряна, в то время как советское издание точно указывает на то, что она находится в Бахрушинской библиотеке. Итак, оригинал остается неизвестным: может быть, какое-либо издательство отважится наконец поставить точку в этой истории и опубликует подлинник хотя бы к столетию его перевода?

Будем иметь в виду, что «Воспо-

минания» Петипа появились через шестьдесят лет после того, как знаменитый марселец впервые прибыл в Петербург в 1847 году. Сегодняшний читатель должен представлять себе подобные «игры перспективы», чтобы сверить часы со временем и расставить вещи по своим местам. Когда и по какому поводу тот или иной из авторов оказался на петербургской земле? Что подвигло его взяться за перо? Читаем ли мы записанное «по живому», или автор садится за стол, вернувшись из путешествия, или, наконец, он вспоминает то, что уже давно адаптировалось или даже исказилось в его памяти? Вот и наш почти восьмидесятилетний Мариус, — может быть, он что-то забыл или просто шутит: кто из французов поверит, что когда-либо существовал любезный русский таможенник?

Важно понять, каков диапазон наших рассказчиков, открывают ли они что-то постоянное, присущее именно Петербургу-Ленинграду, — одним словом, существует ли французский взгляд на столицу, созданную Петром Великим?

Не рискуем дать ответы, прежде чем познакомимся со всеми этими, притом самыми разнообразными текстами. Их многие десятки, они еще не опубликованы по-русски, и то, что предлагается вашему вниманию, — только их малая толика. Стихи, путевые дневники, репортажи журналистов, заметки политических деятелей, рассказы о путешествиях, даже романы... Найдется ли нечто общее между воспитанником детей великого князя, президентом Государственного совета Третьей республики, лауреатом Гонкуровской премии, а в будущем — другом Муссолини, и — также в недалеком будущем — секретарем (весьма своеобразным) Нобелевского комитета? Луи Дюмюр, Эдуар Эррио, Анри Бери, Пьер Эрбар — именно о них идет речь — побывали на берегах Невы. Кто еще?

Например, Жорж Дюамель: опубликовав в 1927 году свое «Путешествие в Москву» (с заездом в Ленин-

град), он снова вернулся к этой поездке в воспоминаниях, увидевших свет в пятидесятые годы, когда уже было можно открыто написать о Викторе Серже. Люк Дюртен был в одной группе с Дюамелем — оба они, кстати, оставили воспоминания о посещении института Павлова. Вообще, во многих рассказах немало захватывающих совпадений. Советские власти вовсе не были изобретателями «организованных визитов» (привет от князя Потемкина!), но всячески их усовершенствовали; вот почему участники одной делегации нередко писали об одном и том же. Однако по-разному, — и это в конечном счете позволяло избавиться от односторонних мнений и «общей» точки зрения.

В стихах Луи Дюмюра встречается замечательная строчка: «вдовствующие пространства балконов». В этой строчке прочитывается неотвратимое восхищение парижанина — подобное тому, что испытывает всякий русский, открывающий для себя Париж с его чугунным литьем балконных решеток, на что сами парижане уже давным-давно не обращают никакого внимания.

Есть поразительная преемственность, которую улавливаешь поверх любых изменений. Она доходит до наших дней от того времени, когда жил «любитель иностранных вещей», который не смог устоять перед шляпой Петипа, и от той эпохи, что воскресил Реймон Рекули, — с ее своеобразным взглядом на развод или почтением к пьяницам.

Еще в 1905 году было достаточно точно указано: «за granitsa — то, что находится по другую сторону границы, по другую сторону *стен*». Пусть же наконец оживут и вернуться в город Петра забытые тексты — вернуться, чтобы рухнула очередная стена и открылся новый горизонт.

Перевод Михаила Яснова

Мозаика XVIII—XIX вв.

*Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер, 1762—1764, * неудавшийся инженер, он появился в Петербурге с компанией комедиантов, куаферов и прочих артистов, чтобы попытаться фортуна. «Observations sur la Russie».*

При подходе по Неве со стороны моря город ослепляет величием: по обоим берегам множество дворцов, изукрашенных колоннами, гирляндами, трофеями, амурами. Берега соединяются плашкоутным мостом. Вдали высятся золоченые шпицы, обсерватория, три императорских дворца, огромные здания Таможни, Коллегии, Адмиралтейства; но по мере приближения сие великолепие развевается в дым, превращаясь в театральную декорацию. Строения сии состоят из дерева и кирпича, крытого известью; украшения выполнены скверно. Внутри дворцов и того хуже: необходимая обстановка большей частию отсутствует.

Джованни Джакомо Казанова, 1765. «Mémoires».

Улицы тогда (в 1765 году) мостились кое-как, ибо понятно было, что не пройдет и полугодя, как придется их перемативать заново. Все указывало на спешку, в которой город был возведен могучим деспотом, ведь верно, что Петр Великий произвел его на свет в считанные месяцы, хотя вынашивал, возможно, много долее. Петербург сможет выжить лишь при неустанном о нем попечении и немалых расходах; природа не любит уступать своих прав и торопится вернуть утраченное, стоит человеку ослабить хватку. Предрекаю, что рано или поздно зыбкая почва просядет под гнетом сей громады.

Дени Дидро, 1773—1774. Из письма Екатерине II. «Correspondance».

Разве Петербург, в силу своего расположения и будучи прибежищем многих народов, не обречен быть вечным Арлекином? Ужели великому пастырю, ежели он хочет быть услышанным, пристало ютиться в углу просторного храма вместо того, чтобы встать посреди своей паствы? [...] Очаг не располагают в дальнем углу. Сие положение если и не делает невозможным распространение тепла и света, то, по меньшей мере, сильно затрудняет его.

*Здесь и далее указаны годы пребывания авторов в России.

Д. Лескалье, интендант морского ведомства, 1775. «Voyage en Angleterre, en Russie et en Suède, fait en...»

Хотя общий вид и весьма приятен глазу, детали нимало не отвечают ожиданию: очень немногие здания сообразуются с хорошим вкусом. Большая их часть выстроена из кирпича, крытого известковым раствором, который, начиная вскоре отслаиваться лохмотьями ввиду сырого климата, обнажает повсеместно жалкую свою основу: сие, в соседстве с колоннами и карнизам, выглядит весьма нелепо.

Императорский дворец стоит на берегу широкого рукава Невы: это квадрат, заключающий в себе просторный двор, также квадратный. Архитектура плоха, хоть и принадлежит итальянцу. Архитравы выгибаются в сторону окон верхнего этажа, что вовсе противно правилам хорошего вкуса. Повсюду видны лишь маскароны и картуши, нелепо размещенные и дурно изготовленные. Все нет скульптурной проработки, ни в капителях, ни в маскаронах, ни во всем нагромождении украшений. Кстати, постройка сия выполнена также из кирпича, крытого известковым раствором, во многих местах отвалившимся. Главная лестница с деревянными балюстрадами, прикрытыми мраморным карнизом, оснащена позолотой, а также скульптурой и живописью столь дурного вкуса, что лучше бы стены были вовсе оставлены голыми. [...]

Летний сад, весьма приятный, с хорошими аллеями и боскетами, изобилует дрянной скульптурой; однако в глазах простонародья и вообще русских — это искусство, величественное и прекрасное.

Аббат Жоржель, 1799, прибывший в составе депутации, которая должна была присвоить Павлу I звание Великого Магистра Мальтийского ордена. «Voyage a Saint-Petersbourg».

Набережные Невы, Мойки, Фонтанки, Екатерининского и Никольского каналов, сплошь одетые гранитом, с тротуарами для пешеходов, являют ансамбль, обязывающий причислить Санкт-Петербург к красивейшим городам мира. [...]

Любопытной постройкой представляется Гостинный Двор. Пестрота и разнообразие этих лавочек — забавное зрелище для иноземца. [...]

Тут не дозволяются ни печи, ни огонь. Торговцы ночуют и столуются на стороне. Лавки закрываются с наступлением сумерек, дабы не было нужды в освещении. Шубы, меховые шапки и сапоги, большие оловянные, плотно закупоренные сосуды с кпятком* противопоставлены суровости климата. Толпы людей спуют по галереям и заглядывают в лавки, чем несколько обогревают внутренность постройки.

Другое любопытное сооружение — живорыбные садки, устроенные на больших судах, стоящих на якоре по каналам. Здесь даже в самые лютые морозы можно найти свежую рыбу.

Жозеф де Местр, 1809, публицист, философ и политик, посланник сардинского короля в России. «Les soirées de Saint-Petersbourg».

Солнце, которое в наших широтах устремляется к западу, оставляя за собой лишь мимолетные сумерки, в этих краях подолгу льнет к земле, будто оттягивая минуту расставания. Похожий на объятый пламенем зверя, шар в красноватой дымке катится по кромке темного леса на горизонте, и его лучи, отраженные стеклами дворцов, напоминают зрителю всесветный пожар. [...] По мере удаления нашей шлюпки песни лодочников и невнятные городские шум-стихали. Солнце опустилось за горизонт; напоенные солнцем, облака излучали мягкий свет, золотистые сумерки, неподвластные кисти живописца и доселе мною невиданные. Казалось, свет и сумерки сошлись и породили тончайшую вуаль, затянувшую всю округу.

Жермена де Сталь, 1812. «Dix Annees d'exil».

Природа окрестностей Петербурга схожа с неприятелем, готовым медля отвоевать свое, стоит человеку на минуту перевести дыхание.

Жак Ансело, 1826, секретарь французской делегации, прибывшей на коронацию Николая I. «Из письма другу». Six Mois en Russie».

Должен признать, мой друг, что трудно избежать потрясения, смешанного с восторгом, при виде этих необозримых улиц и площадей, этих набережных, широких каналов, обилия дворцов и прочих зданий, возникших едва ли сотню лет назад будто по волшебству на топкой почве, хранимой гнилыми болотами от всякого человеческого вторжения.

*Вероятно, речь идет о самоварах, их в те времена лудили оловом.

Удивление подъезжающего к Петербургу сушей тем более живо, что оказываешься в городе неожиданно. Над городом не высится ни единого холма, который позволил бы предугадать его расположение, и жалкие деревянные хижины, тут и там рассеянные вдоль дороги, не в состоянии предвосхитить близость большого города.

Астольф де Кюстин, 1839. «La Russie en 1839».

Для наблюдателя со стороны Невы парапеты набережных внушительны и великолепны; но стоит ступить на берег, выясняется, что те же набережные вымощены дрянным булыжником, неудобным, неровным, неприятным для глаза, утомительным для ног, губительным для колясок. Здесь любят прежде всего то, что блестит, и вы видите золоченые шпильки, тощие, как громоотводы; дворцы с фундаментами, почти утопающими в воде; античные статуи, черты, стиль и наряды которых в раздоре с этой природой, красками неба, с климатом, равно как и лицами, одеждой и обычаями местных жителей, а потому они кажутся захваченными в плен; здания, сорванные с родной почвы, храмы, упавшие с вершин Греции в болота Лапландии и оказавшиеся приземистыми здесь, куда они бессмысленно были перенесены: все это сразу поразило меня. [...] Прошу вас, объясните, с какой целью люди в здравом уме загромодили пилястрами, аркадами и колоннадами город, где можно жить лишь за двойными оконными рамами, наглухо закрытыми по девяти месяцев в году. В Петербурге следовало бы гулять под прикрытием крепостных стен, а не воздушных перистилей. [...] Я не могу любоваться живописью в России. В такой близости от Северного полюса освещение неблагоприятно для живописи, и наслаждаться нюансами ее колорита ценитель не в силах, ибо зрение его ослаблено сиянием снега и назойливым светом низкого солнца.

[...] В этой стране то, что оставлено без внимания, вскоре разрушается, ибо здесь даже камни продолжают существовать только если о них заботятся. [...]

Смольный собор принадлежит конгрегации, это некий женский капитул, основанный императрицей Анной. Для размещения дам отведены огромные здания. Когда обходишь пределы этого благородного пристанища, этого монастыря величинной с город, архитектура которого скорее подходит военному учрежде-

нию, чем конгрегации, не понимаешь, куда ты попал; это ни дворец, ни монастырь, но, скорее, женская казарма. [...]

В России церкви, дворцы и многие общественные места, равно как и частные дома, находятся под охраной инвалидов войны. У несчастных не было бы иного средства обеспечить старость, когда по выходе в отставку они не превращались бы в портье. Новую службу они несут все в том же длинном военном рединготе; это грязно-тусклая шинель грубой шерсти. Они неизменно встречаются вас при входе в дома и общественные места; такие призраки в военной форме напоминают о дисциплине, которой вы подчинены. Петербург похож на военный лагерь, преобразованный в город. [...] Ветеран, служивший при императорской хижине, показал мне спальню Петра I; в наши дни даже плотник не поместил бы в нее своего подмастерья. Эта прославленная суровость рисует не только личность государя, но также народ и эпоху; тогда в России все посвящалось будущему, и строители дворцов, не испытывая тяги к роскоши, довольствовались ролью основоположников цивилизации [...]. Есть несомненное величие души в заботе, которую государь и его народ проявляют о мощи и даже о тщеславии потомков. [...] Со времен возведения Иерусалимского храма вера народа в свое предназначение не создавала ничего столь дивного, как Санкт-Петербург. [...] Пророчество Петра I, высеченное в гранитных глыбах среди болот, исполнилось век назад на глазах у всего мира. Когда думаешь, что эти слова, весьма выпренные, являются здесь всего лишь точным выражением истины, уважительно говоришь: с ними Бог! [...]

Анри Мериме, 1840, внучатый племянник писателя. «Une année en Russie».

Стоит западному ветру задуть посильней, как тотчас, будто по сигналу машиниста, все эти театральные чудеса уйдут под воду.

Ксавье Мармье, 1842, заядлый путешественник и книголюб, профессор литературы Реннского университета. «Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne».

Мелкие чиновники здесь узколобы и являют странную смесь униженности и чванства. В их природе есть что-то от раба, а что-то — от вольноотпущенного. Они понимают предписание буквально, подчиняясь ему,

как казаки атаману, подбостранно гнут спину перед начальством и мигмом распрямляются перед просителем. Чиновники высокого ранга, как правило, весьма любезны, свободно владеют несколькими языками и вежливы с иностранцами. [...] Что до полиции, не знаю, удастся ли мне живописать ее приятность. Это само очарование и учтивость. Она кокетлива, как молодая девица, и медоточива, как сожитель мадригалов. Носит зеленую форму (цвет надежды!) с воротничком небесной голубизны. Мне все хотелось под золотым шитьем, под муаровыми лентами разглядеть какой-нибудь спрятанный коготь, острие алебарды, но с какой бы стороны я ни заглядывал, я встречал лишь нежный взгляд и ласковую улыбку. Есть, к примеру, в канцелярии графа N генерал, в обязанности коего входит прием иностранцев, и говорит он как по писаному, источая потоки славословия в адрес приезжего. Распрошавшись с посетителем, он направляет одного-двух полицейских вслед за французом (видеть которого он так счастлив), и те позабываются, чтобы гостиничная прислуга и сам хозяин гостиницы наблюдали за занятиями гостя, последили за его поступками; такая ежедневная слежка ведется тихо и неприметно. Пружинной полиции подобно часовому механизму, скрытому под изящным циферблатом [...], но в один прекрасный день господин, которого вы видели раз двадцать то беззаботно гуляющим по Невскому, то погруженным в чтение газеты у Вольфа и Беранже, подходит к вам и очень вежливо просит вас благоволить покинуть город в двадцать четыре часа или же, если дело касается российского подданного, сесть в кибитку, которая препроводит его за Урал, в Сибирь, где, по слухам, очень красиво. [...]

Невский проспект — это Итальянский бульвар, Риджент-стрит Северной столицы. Здесь особо проявляется космополитический характер города, более европейского, чем русского: пестрые вывески с надписями на всех языках, французские, немецкие и английские книжные лавки, пять церквей пяти разных конфессий, особняки знати и роскошные магазины парижских модных товаров; рядом с тульским галантерейщиком немецкий портной; напротив астраханского медника севрский фарфор вперемешку с русским; дорогой английский базар с годовой арендой в пятьдесят тысяч рублей по соседству с русским пирожником. По всей длине проспект прекрасно

вымощен деревом, и тротуары его весьма широки. Близ Гостиного Двора, этого города лавок, наибольшее оживление, сюда устремляются бездельники всех мастей. Здесь можно встретить денди, выбритого, напомаженного, стянутаго кашемировым жилетом, и мужика, в широком кафтане, с длинной бородой. Мусульманин бесстрастно минует церковь, у которой русский остановится и трижды осенит себя крестом; армянин задевает плечом католика; тяжелая повозка финского крестьянина плетется вслед за польской кибиткой. Фельдгегерь в сером плаще, с белым султаном на шляпе, галопом скачет Бог знает в какой дальний уезд. [...] Гарнизон Петербурга насчитывает шестьдесят тысяч человек. Против населения в пятьсот тысяч, можно сказать, что каждый шестой или седьмой человек на улице — военный. Добавьте сюда мундиры всевозможных чинов, с зеленой, синей или красной отделкой, ибо здесь каждый должен носить униформу, будь то большой начальник или чиновник низшего ранга, профессор или студент. Непременно нацеплены на грудь знаки отличия и награды.

Теофиль Готье, 1858. «Voyage en Russie».

Золотые буквы изощренно расциспаны по лазурному, черному или красному полю вывесок, вылеплены, оттиснуты, льнут к стеклам витрин, множатся на каждой двери, огибают углы, круглятся над арками, тянутся вдоль карнизов, бегут по маркизам подъездов, спускаются вдоль лестниц в подвалы, изыскивают все способы привлечь взгляд прохожего. Но, может, вам не знаком русский язык и начертание этих букв для вас не более чем вышивка или орнамент? Тогда вам понятна та же надпись, переведенная на французский или немецкий язык. Вы все еще в недоумении? Вывеска великодушно прощает вам незнание трех языков, и даже полную неграмотность, и представляет товар наглядно. Гроздь винограда указывает на винную лавку; окорока, колбасы и телячьи языки зазывают к мяснику; сапоги, ботинки и галоши бесхитростно приглашают всех без разбора: «Войдите и обуйтесь»; скрепленные перчатки говорят на наречии, доступном всякому. [...] Лессинг, автор «Натана Мудрого», полюбил бы Невский, поскольку идеи веротерпимости обрели здесь плоть и кровь; трудно вообразить конфессию, не представленную на этой улице храмом. Вот слева голландская церковь, вот лю-

теранский храм Святого Петра, вот католическая церковь Святой Екатерины, за ней — армянская, не считая того, что на смежных улицах можно найти финскую и другие реформатские церкви. Справа русский собор Казанской Божьей Матери, еще одна греческая церковь и часовня раскольников.

[...] За последние несколько дней заметно похолодало; утрами выпала изморозь, и северо-восточный ветер сметал последние рыжие листья на площади у Адмиралтейства. Поздняя в этом году для местного климата зима тронулась в путь из полярных земель, и ее приближение ощущалось по трепету, объявшему природу. Люди нервного склада испытывали смутное недомогание, какое обычно причиняет пронизанный снежной пылью воздух натурам с тонкой организацией, и извозчики, нервами не обремененные, зато, подобно животному, наделенные безупречным атмосферным инстинктом, задирали нос к небу, затянутому бескрайней изжелта-серой тучей, и весело ладили сани. Однако снегопад мешкал, и по поводу температуры воздуха отпускались критические замечания, совсем не похожие на метеорологические банальности, какими обмениваются обитатели других краев. В Санкт-Петербурге жалуются на недостаточность суровый мороз и, наблюдая за столбиком ртути, ворчат: «Ну вот! Только три градуса ниже нуля. Определенно, климат испортился». А старики вспоминают свои лучшие годы, когда они с октября по май наслаждались тридцатиградусным морозом.

Но однажды утром, раздернув шторы, мы увидели сквозь запотевшие ночью двойные стекла крышу ослепительной белизны на фоне бледно-голубого неба с редкими розоватыми облачками и белыми клубами дыма, позолоченными восходящим солнцем; архитектурные детали дворца напротив нашего дома были обведены серебром, как рисунок на цветной бумаге, подчеркнутый мазками белой гуаши, и на земле ватной подкладкой стелился густой слой девственного снега, на котором успели оттиснуться только звездчатые лапки голубей, столь же многочисленных в Санкт-Петербурге, как в Константинополе или Венеции. [...] Казанский собор преобразился и много выиграл, увенчав итальянский купол русской снежной шапкой, очертив белым карнизом и коринфские капители, оправив террасу полукруглой колоннады богатым окладом чистого серебра, по-

добного тому, что украшает его иконостас; тонкий и воздушный горностаевый ковер, наброшенный на ступени, ведущие к portalу, был под стать золоченой туфельке самой царицы.

Александр Дюма (отец), 1858. «Voyage en Russie».

Итак, я останавливаюсь на мосту и смотрю на крепость. Лучше всего сейчас видны строительные леса, одевающие колокольню Петропавловского собора, который находится на реставрации. Леса эти стоят уже год, и простоят еще год, два, может, и три. В России это называется *издержками*. *Издержки* — это злоупотребления. В русском языке нет выражения, соответствующего нашему *arrêter les frais*. * В России издержки не прекращаются никогда; они возобновляются либо продолжают. [...]

Екатерина II ненавидела свечи. Она запретила под каким бы то ни было предлогом их жечь, даже в дворницкой. Два года спустя, просматривая годовые отчеты, она читает запись: «Свечи, 1500 рублей». Сумма составляла 6000 франков на наши деньги. Государыня пожелала узнать, кто и по какому поводу осмелился воспротивиться ее указу, и велела провести расследование дела. Выяснилось, что великий князь Павел, воротясь с охоты, спросил себе свечку, чтобы смазать салом ссадину на ляжке. Ему принесли грошовую свечку. Из гроша выросла сумма в 1500 рублей. Это и называется *издержками*.

[...] Вообразите жемчужно-серый воздух с опаловым отливом, не зарю, не сумерки; бледный, но никак не болезненный свет освещает предметы разом со всех сторон. Нигде ни одной тени. Прозрачные сумерки, не ночь, а лишь отсутствие дня; сумерки, сквозь которые различаешь все на милую кругом; солнечное затмение, но без тревоги и напряженности, какие обычное затмение сообщает природе; просветление души, успокоение сердца; безмолвие, в котором вот-вот услышишь пение ангелов или Божий глас! Любить в такую ночь — любить вдвойне. [...]

Первую из этих ночей я всю провел на балконе дачи Безбородко. Бескрайняя Нева катила у наших ног потоки серебра. [...] Вдруг слева, над темной монотонной зеленью леса выплыл золотой шар, вспарывая перламутровое небо своим мощным силуэтом. Ослепительный щит медлен-

*Приостановить издержки.

но взошел, ничего не добавив к ясности ночи, только шлейф жидкого золота протянулся по реке, обозначая течение и отбрасывая огненные блики на пересекавшие его лодки и корабли, которые, покинув его пределы, тотчас лишились жизни. Затем величественно и гордо, с достоинством богини, луна удалилась за купола Смольного, и они отчетливо рисовались на ее фоне все время, пока она спускалась от вершины креста к пропасти горизонта.

Олимпия Одуар, 1875, видная феминистка и путешественница. «Voyage au pays des boyards».

Необъятность — вот закон России. Четыреста пятьдесят улиц Петербурга, широких и прямых; Невский проспект и Морская достигают в ширину пятидесяти метров. На Исаакиевской площади может свободно проводить маневры стотысячное войско. [...] Набережные Невы легко отнести к числу грандиознейших сооружений нашего времени. Вода лилась сплошным потоком, не хватало твердой почвы. На месте Петра Великого любой другой растерялся бы. Но этот гениальный деспот пожертвовал жизнью сотен тысяч, чтобы подчинить водную стихию, и воде противопоставил гранит. [...] Русские совершили работу, достойную римлян.

*Подбор материалов и перевод
Елены Березиной*



Реймон РЕКУЛИ

Царь и Дума (1906)

12 мая

Мое первое посещение Думы, далекой Думы, сосланной на самую глухую окраину. Добраться туда — это целое путешествие, и никогда еще Петербург, город бесконечных улиц, не казался мне таким огромным.

Мне жаль наших милейших друзей из Будапешта, ведь это они могли по праву гордиться тем, что их Парламент — самый красивый в Европе, теперь же им придется расстаться со своим первым местом. Роскошный готический дворец, блистающий на берегу Данубы средневековой роскошью колоколов и сводчатых арок, не так прекрасен, как Таврический. Здесь все линии просты; залы подкупают гармонией пропорций, строгостью интерьеров и отменным вкусом. Дворец на самом деле выстроен отменно, новоизбранным депутатам жаловаться не придется. Большой зал заседаний такой изысканный и светлый, ярусы амфитеатра поднимаются вверх под небольшим наклоном, в огромные окна льются волны света, приглушаемого портьерами из белого шелка в кокетливых драпировках. За председательским креслом портрет царя кисти Репина, на котором Николай II стоит, возвышаясь над всей ассамблеей.

Акустика превосходна, и сегодня голос председателя Муромцева был совершенно отчетливо слышен в самых дальних концах зала. Величественный профессор Муромцев зачитывал нескончаемый список поздравлений, пришедших со всех концов необъятной России, из каждого *земства*, каждой корпорации, каждого города. И как депутаты его слушали, как ловили каждое слово своего председателя! Какое внимание! Сколько усердия! Нимало не похоже на то жалкое зрелище, которое так возмущает наших добрых провинциалов, когда они, впервые оказавшись в Бурбонском дворце, видят, что их представители слушают вполуха, строчат свои послания, болтают между собой или подремывают. Здесь же усердие образцовое, мне это напомнило времена в лицее, когда мы пришли после каникул в первый класс — класс, в котором ученики в первый раз встречаются со своими преподавателями.

Председательствующий, который уже почти час читал поздравитель-

ные телеграммы, предложил закончить чтение. Но депутаты ему не позволили: «Еще, продолжайте!» — кричали они. И чтение было продолжено. Ну в точности, рвение новоиспеченных школяров!

Но что делает на столе у председателя этот крохотный колокольчик, которым нужно трясти и даже размахивать изо всех сил, чтобы извлечь из него более чем скромные звуки; малейший беспорядок с легкостью заглушил бы его слабое звяканье. Наверное, тут и не готовятся к беспорядку — и даже к шуму: здешняя ассамблея кажется слишком серьезной и разумной для подобного поведения. Но, возможно, она изменится, и на этот случай хорошо бы заменить колокольчик. Послушайтесь моего совета, господин Муромцев, узнайте у месье Думэ¹ адрес его поставщика.

Справа от председательского места — два ряда кресел, где располагаются министры. В России министры сидят лицом к депутатам, а не поворачиваются к ним спиной, как у нас. Они смотрят на депутатов сверху вниз со своего возвышения, и как бы противопоставлены им. Когда на первом заседании премьер-министр Коковцев, человек с юмором, появился в зале, он сказал одному из служащих: «Проводите-ка меня на скамью подсудимых!»

Сквозь огромные окна видны высокие деревья, листья которых трепещут на ветру, пруд, лужайки — Дума кажется затерянной среди цветов, зелени и водных струй. Оформление у нее самое идилическое, и в голову приходит мысль о любившей роскошь императрице, которая построила этот дворец для самого прекрасного своего фаворита и наградила его столь великолепным подарком — залог любви по-царски.

Это здесь когда-то располагался зимний сад, который во всем дворце, построенном Екатериной, волновал современников больше всего. Один путешественник описывал его так:

«Глаз скользит в упоении по деревьям и кустарникам со всех концов света, потом останавливается в восхищении на античном бюсте... Комфортная температура, опьяняющий запах растений и чувственное безмолвие этого чарующего уголка погружают душу в состояние неж-

ной мечтательности и переносят воображение в рощи Италии... В глубине этих райских мест величественно возносится статуя Екатерины II из паросского мрамора».

Зимний сад стал теперь летним, статуя исчезла, но память о великой императрице осталась; она живет в этих огромных залах, в величественной лепнине. Когда проходишь по созданному ею дворцу, перед глазами сами собой встают образы императрицы и ее прославленного возлюбленного.

Все вместе: зал, амфитеатр и галереи — чистое и светлое, здесь еще никто не заседал. Это река у истоков — чистые прозрачные воды текут по усыпанному галькой руслу. Новорожденная Дума — любимица русских, и они возлагают на нее столько надежд! От нее ждут решения всех проблем. За ее первыми шагами следят с умилением и почтительностью. Потом, возможно, придут разочарования и огорчения, подобно тому, как вода из чистого источника замутняется между городскими набережными.

Увы, почему-то счастье одних всегда покупается ценой несчастья других!

Одно из крыльев Таврического дворца служило прибежищем почтенным особам — бывшим придворным дамам в летах да обедневшим вдовам крупных чиновников и офицеров. Они жили тут счастливо, вдали от городского шума, рядом с прекрасным садом. И вот теперь их выставляют из этого здания, с которым они так сроднились. Дума, народная избранница, выживает это мирное сообщество. Бедные придворные дамы, невинные жертвы зарождающейся парламентской системы!

ЖИЗНЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

20 мая

Я переехал из своей гостиницы, где мне совсем не нравилось, а плата была весьма высока; я снял квартиру. Здесь это сделать проще простого: одна светская дама, которая уезжает за границу, уступила мне за весьма умеренную плату половину своего жилища. Француз не отдал бы с такой легкостью свой дом, свою мебель кому-то, кого еще вчера не знал. Все потому, что для француза собственность значит больше, чем для всех остальных, француз больше других привязан к вещам, которые нажил он сам или его родители и среди ко-

торых он живет. У русского этой привязанности нет. Он с невероятной легкостью расстается со своим жилищем, продает его или сдает. Мне не раз приходилось видеть, как люди, с которыми я за несколько дней до того встречался в принадлежавших им квартирах, устраивались в гостинице. Обстановка отправлялась в аукционный зал. (Тут часто и с легкостью продают вещи с торгов; для этого не приходится, как у нас, добиваться разрешения суда, которое стоит немалых трудов, и платить огромные проценты оценщикам — этим чиновникам, важность которых может сравниться только с их же бесполезностью, наследникам древних институтов, которые у нас только якобы упразднены).

Русские редко подписывают контракт на длительный срок. Для них невыносимо связывать себя подобным образом. Многие квартиры, даже дорогие, оплачиваются помесячно.

Русских не слишком заботит вопрос жилья. Мне попадались люди, приезжавшие в большой город и не думавшие о том, где они будут ночевать. С наступлением ночи они отправлялись спать к приятелю, с которым познакомились в ресторане или кафе-концерте, — тот с удовольствием предоставлял им свой диван.

Кстати, русские и женятся, как выбирают жильё, — наудачу. Они решают жениться в мгновение ока, без малейших сомнений и колебаний, смело бросаются в неизвестность. Если потом предмет любви им разочаровывается, они разводятся. Я знавал совсем молодых женщин, которые уже трижды сменили мужей. В Порт-Артуре за восемь дней до начала войны шеф полиции женился на акробатке из цирка. После сражения под Ляояном шеф Главного штаба Куропаткин² сочетался браком с юной сестрой милосердия. Некий старый генерал, с которым я часто вижусь, как-то вечером оказался в одном салоне; там его познакомили с молодой учительницей-француженкой, очень красивой. Генерал (а дело было в начале войны, и он должен был через неделю отправляться на Дальний Восток) немедленно влюбляется в нашу соотечественницу и еще до окончания вечера делает ей предложение: «Соглашайтесь, — сказал генерал, — через восемь дней я уезжаю, и если я не вернусь, что весьма вероятно, вы унаследуете мое небольшое состояние и пенсию пятьдесят рублей в месяц!» Учительница ответила: «Согласна, но при условии, что вы дадите письменное обязательство погибнуть в Маньчжурии!»

И это было весьма предусмотрительно, потому что старый генерал вернулся.

Жила в Петербурге некая дама полусвета, изысканная и привлекательная, и в нее без памяти влюбился один крупный полицейский чин. Он долго преследовал эту даму, а она упрямо его избегала. Она была из еврейской семьи и, вероятно, по старой памяти, недолюбливала полицию. Отверженный воздыхатель от мольбы перешел к угрозам: однажды он явился к этой даме, которая им пренебрегла, и сказал: «Вы еврейка и потому не имеете никакого права здесь жить, раз вы не замужем. Даю вам два дня на размышления, выберите: либо вы станете моей, либо я устрою так, что вас вышлют!» — «Ладно, — ответила дама, — приходите послезавтра, и я сообщу вам свой ответ».

В назначенный день чиновник является, смакуя мысль о близком блаженстве и абсолютно уверенный, что предмет его обожания ему уступит. Его проводят в гостиную, где расположился очень старый полковник, а хозяйка дома поворачивается к полицейскому чину и, улыбаясь, говорит: «Позвольте представить вам, месье, полковника N..., моего мужа!»

Он стал ее мужем со вчерашнего дня. Некий срочно вызванный поп благословил этот союз.

Дама, которая рассказала мне эту абсолютно правдивую историю, добавила: «Ей это обошлось всего в две тысячи рублей — и она получила имя старого полковника. Добавь она еще тысячу — хватило бы на генерала. К ней бы тогда обращались “мадам генеральша”. Такой титул вызывает уважение, особенно в немецких курортных городах, в Бадене или в Висбадене — какой-нибудь толстяк-привратник в отеле, весь в галунах, окажет вам массу почестей!»

БЫТ И НРАВЫ

3 июня

Нет ничего более достойного упоминания, чем то почтение, которым здесь окружают пьяниц. Как-то вечером в саду Буфф я видел одного типа, который устроил форменный скандал в ресторане, где было полно народу, он задевал всех, кто попадался ему на дороге, орал, опрокидывал стаканы, и похоже было, что он вот-вот свалится на кого-то из сидевших поблизости посетителей. В любой другой стране такого пьянчугу просто вышвырнули бы вон. Здесь же хозя-

ин, управляющий и помощник управляющего оставили свои дела, чтобы им заняться. Они терпели его объятия и выслушивали пространные нелепицы, которые он извергал между приступами икоты. Этот пьяница продолжал безнаказанно нарушать порядок, пока не рухнул на стол, где и заснул под действием выпитого.

Если *городовой* (полицейский) видит на улице человека, еле стоящего на ногах, он останавливает *извозчика* (открытый экипаж) и распоряжается, чтобы пьяного бережно доставили домой, если у него есть дом, или в полицейский участок, если дома нет. Чаще всего такому человеку, пропившему все до копейки, нечем заплатить извозчику, но тот все равно его везет, причем с трогательной заботой, словно невесту; и время от времени оборачивается взглянуть на клюющего носом пьяницу, смотрит, крепко ли тот держится на сиденье, не упадет ли.

Опьянение, таким образом, рассматривается как привилегированное состояние, чуть ли не божественное, оно дает право на множество поблажек. Люди не видят ничего позорного в том, что некто напился. Я знал в Маньчжурии офицеров, которые появлялись перед своими солдатами, еле держась на ногах, и это несколько не мешало солдатам их уважать и даже любить. Однажды Степан Иванович, денщик генерала, который жил рядом с нами, сообщил о своем начальнике, как нечто совершенно естественное: «Его Превосходительство только что прибыл и абсолютно пьян».

4 июня

Ночная жизнь Петербурга — это что-то совершенно невероятное. Париж, который, между прочим, считается столицей разгула, сегодняшним Вавилоном, предлагает полуночникам, по сравнению со здешними возможностями, крайне небогатый выбор. В Париже полночь или час ночи — время ложиться спать; и только горсточка отважных иностранцев героически борется со сном у Максима или в каком-нибудь из кабае Монмартра — а это мрачнейшие заведения на свете. Здесь же в это время все только начинается; именно в этот час в концертах и садах³ царит наибольшее оживление. А сколько здесь концертных залов, сколько садов: Аквариум, Крестовский, Буфф, Фарс, Зоологический сад, Народный дом, Русская опера, Ливадия, Павловск! Имейте в виду, что самый ма-

ленький из этих концертных залов вмещает в пять-шесть раз больше людей, чем самые большие из наших. В каждом из них две-три сцены; и едва театральное представление заканчивается, как для посетителей ресторана уже разыгрывается новое: песенки, танцы, синематограф, цыгане; публика ни на минуту не остается предоставленной самой себе, она ведь может заскучать и разойтись. Ее привлекают различными увеселениями, останавливают на ходу; и люди садятся, пьют или едят (а часто и то, и другое вместе), глазуют, слушают и бодрствуют до утра.

И не подумайте, что так живут только богачи и бездельники. Тогда пришлось бы предположить, что все население Петербурга составляют одни бездельники и богачи, и если с первым утверждением, в крайнем случае, можно согласиться, то второе явно не соответствует истине.

Видя, насколько здешние жители, как из высших кругов, так и из самых низов, охочи до развлечений и насколько эти развлечения дороги, я всегда спрашивал себя: где они берут на все это деньги? И вот я уже довольно давно живу среди русских, но все еще не могу ответить на этот вопрос.

Кроме того, каким образом люди, которые всю ночь не спали, умудряются сохранить свежую голову, чтобы на следующий день нормально работать? Еще один вопрос без ответа.

Дума готовит реформы, касающиеся политики и экономики, — она собирается дать людям свободу и хлеб. Это, безусловно, очень хорошо, но этого недостаточно. Нужно еще принять суровый закон, который под угрозой серьезного штрафа обязывал бы людей ложиться спать!

Перевод Алины Поповой

ПРИМЕЧАНИЯ

¹*Думэ Поль* (1857—1932) — председатель Французской Национальной Ассамблеи с 10 января 1905 г. по 31 мая 1906 г. (*прим. перев.*).

²Сражение под Ляояном (1904 г., русско-японская война) было проиграно русскими под командованием генерала Куропаткина, несмотря на численный перевес и укрепленную позицию, и считается примером неудачной военной тактики (*прим. перев.*).

³У русских место увеселений называется «сад», это просторный парк, в котором обычно имеется крытый концертный зал, кроме того, одна или две летних сцены, кафе, ресторан и некоторое количество отдельных кабинетов, военный оркестр, играющий под открытым небом, и цыгане, которые выступают в помещении. Все это рассчитано на несколько сотен, а то и тысяч человек. (*прим. автора*).

Эдуар ЭРРИО

Из книги «Новая Россия» (1922)

Выставка французского искусства

В Петрограде несколько месяцев назад открыл свои двери Эрмитаж, который был закрыт во время революции. Он невредим; в витринах все на своих местах, все изумительные вазы Нукратиса из цветного стекла, все статуэтки Танагра. Вот он, луч греческого света, который ворвался некогда в скифскую ночь! А в Египетском зале глаз Осириса наводит на мысль об оке Москвы. Школьники ходят группами среди сокровищ, которые делают этот музей одним из самых богатых в мире. Внизу, у широкой лестницы, нас встречает бюст Вольтера работы Гудона; поджата верхняя губа, щеки, испещренные морщинами, подчеркнутая беспристрастность взгляда — все вносит ироническую, лукавую нотку в гармонию строгих форм собранных в музее великих шедевров.

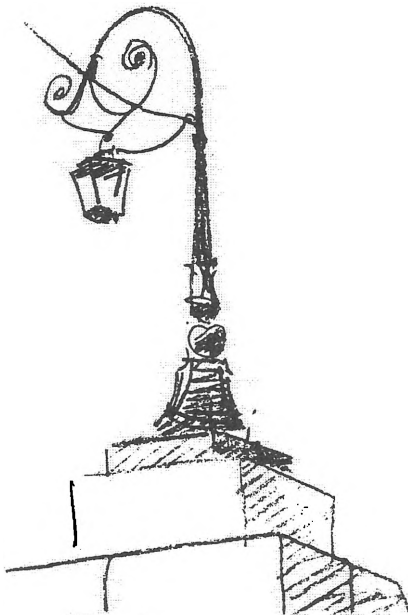
Я думаю, влияние Франции на Россию XVIII века лучше всего можно оценить именно здесь. Рядом с Вольтером — Бюффон и Дидро. Но вот что самое поразительное. В этой стране, которая сегодня совершенно отрезана от нашей, организуется выставка французского искусства: она должна открыться через несколько дней. Хранители музея любезно принимают меня, оказывая мне почести и окружая трогательным вниманием. Под выставку отведена целая анфилада комнат в старом здании Зимнего дворца, начиная с Французской галереи, которая не подверглась разграблению и полностью сохранена, до огромного Александровского зала. Выйдя из коридора, где собраны великолепные гобелены, сразу же оказываешься перед «Тайной вечерей» Пуссена, временно перемещенной сюда из библиотеки; далее — целый зал, посвященный Ватто, и, в частности, «Святое семейство», написанное им в цветовой гамме Рубенса; работы Ланкре; бронзовый Людовик XIV; затем Лемуан и колоссальные полотна Натуара; картина Греза, взятая для экспозиции в одном из дворцов на набережной Невы; и, на-

конец, зал, в котором великолепно представлено творчество Юбера Робера. Эту замечательную выставку готовили долгие месяцы. Меня с ней знакомит элегантный человек с изысканными манерами; стоя под огромной розово-черной уральской вазой, изваянной из мрамора, который называют «орлиный камень», он глубоко сожалеет, что не может показать французам, до какой степени здесь живы воспоминания об их стране.

А Вольтер все насмешливо улыбается. Кажется, он хочет поведать нам одну из своих философских сказок: «Однажды смелые, решительные люди пожелали изменить лицо мира. Были они пылки и наивные одновременно. И собирались, как они говорили, разрушить все, что носило имя их властелина, уничтожить все следы былого рабства, отменить смертную казнь, снести тюрьмы. Прошло время, и остался один-единственный властелин — Государство. Но поскольку у него не было лица, люди его не замечали; они называли себя счастливыми. Однако каждый день приносил с собой частичку прошлого. Смертная казнь заменялась лишением жизни... Тюрьма становилась Храмом Принудительной Дружбы...»

Мой дорогой Вольтер, вы всего лишь старый французский буржуа!

Перевод Анны Александровой



Анри БЕРО

Петербург, умирающий город (1925)

— Заложить бы динамиту под Петроград и взорвать бы все.

— А вам не жаль бы было Петрограда, товарищ Воронцов? — спросил я, любясь удалством этого пролетария.

— Чего жалеть?

Лев Троцкий. Ленин. С. 188.

У него не осталось даже имени: Ленинград, Петроград? Россия еще говорит «Питер». На самом деле, именно Петербург, величавое прошлое, умирает в согбенном и растерянном настоящем. Будем же говорить: «Петербург», с грустью и благоговением...

Повсюду молчание и разруха. Голос, прозвучавший последним на широчайших проспектах в мире, был голосом взрывчатки. Вот уже восемь лет груды камней и обломков не перестают напоминать об ужасных днях. Кое-где пробивается чахлая травка. С высоты своей скалы скачущий во весь опор Петр Великий смотрит на Неву, по которой у него на глазах, на глазах старого Питера плыли матросы Балтийского флота, чтобы с песнями разрушить имперские набережные.

Это запустение и эта роскошь неопишуты. Один за другим дворцы рушатся на мостовую. Черные цепи между столбами оград разбиты. Морские ветра врываюся под портики, их дуновения разносятся по дворам почти человеческими стопами. Камень за камнем осыпаются фасады Адмиралтейства. Прохожий, в молчании блуждающий среди этой великой агонии, идет прочь, окруженный отзвуками собственных шагов.

Петербурга больше нет.

Невольно думаешь о руинах, которые в других местах оставили века и войны. Здесь хватило единственного дня гнева и восьми лет безысходности.

Я долго бродил по этим проспектам и набережным. День уже клонился к вечеру. Дворцы погружали во мрак подножия своих колонн, а последние лучи летнего вечера озарили обветшалые капители, ослепшие окна и проломленные крыши во

всей их нищете. Единственное место в мире, где ощущаешь подобное уныние. Другое дело — города после бомбежек: исковерканные, истолченные, смятые, ободранные железной рукою; но то война.

Опустошение, каким бы оно ни было, не так сжимает сердце, как этот медленный износ, разъедающий то, что прежде было Петербургом. Москва — зрелище новой, удалой, напористой страны, которая, набычавшись, готовится к борьбе. В Петербурге видишь Россию при последнем издыхании.

Дворцов больше нет, как нет и знати, когда-то — восемь лет назад — обитавшей в них; одни повержены громами, другие приговорены к смерти еще более жестокой, смерти в забвении людей, под смех людишек. Повторяю: людишек. В этом нельзя обвинять русский пролетариат, который так жаждет любить, понимать, беречь то, что достойно его заботы...

Однако народ не здесь. Он на заводах и в клубах. Между его взором и высокомерной смертью Синода, Сената, Архивов все время натянута полотнище плотной ткани, исписанное словами и совсем не пропускающее свет.

Приговорившие Петербург наверняка убеждены, что его разрушение принесет пользу грядущему человечеству. Всем революциям свойственны подобные заблуждения; вот наша — разве не хотела она превратить Лион, «освобожденный город», в унылую пустошь? Но Колло Д'Эрбуа с наивностью тех старинных времен думал, что большой город можно прикончить одной лопатой. Разрушителям Петербурга мы обязаны знанием, что для этого довольно времени, и что работу свою оно делает быстро...

Восемь лет: за это время даже ребенок не успевает повзрослеть! Голые и насуспенные мальчишки, что плещутся в Неве, могли видеть фронтоны этих дворцов во всем их горделивом величии... А ведь если только захотеть, беду эту еще можно

поправить: в стране Труда немало безработных; и рук хватило бы, и доброй воли. Во имя чего творится все это? Никак не пойму. Спросить товарища Зиновьева духу не хватает. Я почти боюсь его ответа.

Невдалеке от этих набережных, на расстоянии ружейного выстрела *Европейская гостиница** возносит в вечернее небо свои террасы, где под цветочными сводами и электрическими гирляндами раздаются звуки музыки. Похоже, там, наверху нашла себе приют беспечность всей России. Белокурые любительницы хорошо поужинать изнемогают в томлении чардашей. То здесь, то там джазбанд пронзает сборище разрядами западных флюидов... Люди пляшут, истерически хохоча. Впервые вижу и слышу, как здесь смеются.

Официанты — где их набрали? — смуглолицые татары, и они как тени скользят по ночному пиршеству, ко-

*Hôtel Europe (прим. автора).

сясь на световые прогалины трусливыми взглядами палачей. Одиноким человеком за столиком под перголой поет. А рубли так и скачут!..

Отыщите-ка здесь, товарищи, суровое лицо плебея-победителя, каким нам его кажут на митингах Левалуа-Перре. Я вижу только девок да барышников, чей разгул символически властвует над городом, без остатка провалившимся в тяжелый сон. Лишь на горизонте алеют думы Путиловского — там, в конце улицы Стачек, где в девятнадцатом были баррикады.

Это ли зовется возрождением? При желании — это. Но какой далекой предстает здесь гробница Ленина, и каким слабым — отзвук его слов: «Товарищи, капиталисты создают господство нескольких богатеев, делят земной шар между собой и подчиняют себе сотни миллионов индивидумов, завладев лучшим куском пирога...»

Речи покойника...

Петербургское празднество, пляска смерти. Короткая русская ночь

подходит к концу, я размышляю о тщете учений, о ничтожестве политического абсолюта. Автомобильные маклеры из Франции, Германии, Италии сбывают своих паровых коней выскочком эгалитарного режима. Утро занимается над этим базаром, прекрасное утро цвета поблекшей фиалки. Под террасами все спит. Стонет скрипка. Мелодия влагает в каждый взор иступление обретенного прошлого. Женщины запрокидывают голову и бледнеют. Утро понемногу рассеивает сияние переливчатых жирандолей. Теперь это неверное, подозрительное освещение лупанария, в котором сладострастно выгибаются цветы. Скрипка рыдает над развалинами. Петербург умирает под музыку, в зените стоит полумесяц, как символ Востока с его жаждой льстивых благовоний, наживы и трупов, а в лучах восходящего дня бледнеет алая звезда, надежда бедняков, последний огонь путеводный людских упований.

Перевод Антона Демина

Жорж ДЮАМЕЛЬ

Надежды и испытания (1926)

...Борис Пильняк, чудесный спутник, о котором я потом больше никогда не слышал, устроил для нас одно из тех душевных празднеств, на которые так щедр русские. Мы побывали на совершенно восхитительном представлении «Бориса Годунова». А потом поехали в Ленинград.

Ехали ночью, в удобных спальнях вагонах. Нас разместили в Доме ученых, который тогда располагался в бывшем дворце великого князя Владимира Александровича. Окна нашей комнаты выходили на застывшую Неву, по другую сторону которой видна была Петропавловская крепость, знаменитая тюрьма. Ленинград, развенчанная столица, выглядел как прекрасный город, задуманный архитекторами с грандиозным размахом, теперь предоставлен нищете. Всюду заметны были следы войны. Нас принимали в интеллектуальных кругах с изумительным, бьющим через край радушием.

Размышления, которым я предавался впоследствии, ни в чем не изменили моего отношения к той экзальтированной молодежи, которая получила доступ к культуре, к творчеству, к большим надеждам. То и дело нам представляли молодых людей, которые еще не говорили по-французски, которые и потом, я уверен, его не выучили, и которых называли «деклассированными», имея в виду, что они сменили свою классовую принадлежность. Но были ли еще классы, и была ли интеллектуальная прослойка чем-то напоминающим класс?

В Москве нам показали Институт физики и биофизики под руководством профессора Лазарева. В Ленинграде мы побывали в знаменитом Институте Павлова. Старый ученый, как нам сказали, был нездоров. Возможно, он немного сердился на власти, как, с бесконечными оговорками, намекали нам некоторые.

И конечно, мы посетили Эрмитаж. Что касается Петропавловской крепости, то нас водил туда человек, который сам много раз сидел в тюрьме, — он не отходил ни на шаг, пока мы были в Ленинграде, и не по предписанию, а из дружеских чувств; я знал его как писателя и талантом его восхищался. Речь идет о Кибальчиче, авторе работ, опубликованных им на французском языке под именем Виктора Сержа.

Кибальчич родился в Бельгии и был воспитан на образцах французской культуры; он оказался замешанным, — возможно, из бравады, но при этом не имел никаких других интересов, кроме политических, — в известном процессе анархиста Бонно. Во Франции он даже сидел за это в тюрьме. После освобождения, в восторге от русской революции, он отправился в Россию. Семья его, если мне не изменяет память, была родом из южных областей — с Кавказа, из Грузии, не могу точно сказать. И вот, в Ленинграде я встретил Виктора Сержа. Он вызвал у меня самую живую симпатию. Лицо у него было правильное, с белой матовой кожей, волосы темные. Все в этом лице было благородно и внушало уважение. Он был женат, и мне помнится, что я видел ребенка, игравшего на полу в квартире из двух хороших, довольно просторных комнат в большом ленинградском доме, все квартиры

в котором, как и во всей России, оказались перераспределены после революции. Не слишком надежное пристанище. Впоследствии это жилье жестоко оспаривали у тогдашнего временного владельца. Эту абсурдную драму рассказал Панаит Истра-ти, другой путешественник, побывавший в советском мире через полгода после нас и написавший о своей поездке отчет, в котором много горькой критики в адрес властей.

Если я и сохранил, несмотря ни на что, светлое воспоминание о Ленинграде, то только благодаря Виктору Сержу. Несколько лет спустя я написал: «Виктор Серж оказал советской России немаловажную услугу: по крайней мере, с моей точки зрения, он являлся ее благоразумным, достойным уважения лицом».

Не знаю, будет ли у меня возможность еще раз вернуться к этим записям и Виктору Сержу. Лучше сразу же закончить краткий исторический портрет, на который у него есть право. Серж примкнул к троцкистской оппозиции. Он этого не скрывал и говорил со мной об этом во время моего пребывания в Ленинграде честно и с убедительной аргументацией. Разгром троцкистов и последовавшие за этим репрессии болезненно отозвались на жизни писателя. У него не только отобрали квартиру, не только от всего отстригли; его, в конце концов, арестовали, потому что именно так заканчивается в России все, что отклоняется от рабского послушания и безграничной покорности. В 1933 году его выслали в Оренбург, на Урал, без суда, по решению ГПУ. До своего ареста Виктор Серж посылал мне письма, в которых говорил о литературе и иногда скупом упоминал о трудностях своей повседневной жизни. Потом наступило полное молчание. В мае 1933 года я поместил в «Оеичге» статью под заголовком «Цена человека», где требовал от советского правительства свободы для Виктора Сержа, франкоязычного писателя. Поскольку этот призыв остался без ответа, я написал в июле того же года новую статью, озаглавленную «Дело Виктора Сержа». С этого момента я протестовал уже не один. Жан Жироду, Люк Дюртен, Леон Верт, Жан Геенно и другие обратились с настойчивыми требованиями к послу Советов во Франции. Профсоюзы также выразили готовность вмешаться. Оставят ли агенты Советов, которые годами собирали подписи в поддержку движений, удобных для своей политики, гнить в тюрьме или в изгнании человека, честность ко-

торого была одним из лучших доводов в пользу новой России?

В сентябре 1933 года соответствующее агентство сообщило, что Виктор Серж будет помилован, но поселится под наблюдением в Вятке, на севере Нижегородской области. Тогда я написал новую статью «Молчание Советов», где попытался объяснить властям России, что их поведение по отношению к Сержу лишает их уважения в глазах многих французских интеллигентов. Вспомнив к тому же, что Серж родился в Бельгии, я обратился к Вандервельде и к бельгийским социалистам. Такие усилия, в конце концов, не пропали даром. К этому времени Страна Советов уже не испытывала радости побед. Виктор Серж смог выехать из России. Известно, что он стал искать убежища в Мексике, как раньше это сделал Лев Давыдович Троцкий. Он умер в изгнании, но перед этим опубликовал книгу о жизни каторжников в Советском Союзе. В статье, написанной в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, я сравнил эту книгу со странным названием «Полночь века» с «Записками из Мертвого дома»; «Полночь века» позволяет поставить ее автора в первый ряд писателей этого проклятого времени.

Нужно еще добавить, что в 1933 году Виктор Серж послал троим из своих парижских друзей письмо — я не был среди адресатов, так как был слишком далек от политических схваток и клановых секретов, но я получил его копию, — в котором он сурово осуждает внутреннюю политику России и где он, в частности, пишет: «Социализм унаследовал множество привычек от древней Руси и продолжает традиции, восходящие к Ивану Грозному... Такое же притеснение человека, та же смертельная нетерпимость, та же неспособность двигаться вперед, тот же страх перед свободой, тот же правительственный и бюрократический фанатизм, то же самодурство на всех ступенях иерархии, то же беспощадное и непонятное принуждение...»

Перевод Лины Белозеровой

ЛЕНИНГРАД, ПАДШАЯ СТОЛИЦА

Странная судьба у этого города, искусственного и прекрасного, вспыхнувшего внезапно в воображении одного человека и возведенного по его воле, а затем, спустя два столетия, лишенного титула и привилегий, обреченного на упадок волей другого человека: Петроград, город Петра, чей каприз вдохнул в него жизнь и славу; Ленинград, город Ленина, который преднамеренно развенчал его. Вся блестящая и трагическая история бывшей столицы стоит между этими именами.

Сразу ли заметен упадок? В отеле «Европа», самом большом и роскошном в России, полупустой ресторанный зал во всей красе сияет столовым серебром, цветами, хрусталем; звуки неумолкающего оркестра возносятся к мраморным сводам, растекаются по пустым лестницам. Правда, в номерах только крысам и осталось танцевать свою сарабанду, на дверях не хватает задвижек, а в ваннх комнатах — кранов, зато большие мертвые салоны полны старинной мебели и картин.

Из окон видны центральные улицы, теснящиеся вокруг прекрасной невоспещенной перспективы, — оживленные, заполненные трамваями и автомобилями; здесь много элегантных магазинов, обустроенных с большим вкусом и изяществом, не жели в Москве. И нигде нет горячей, бестолково-светливой атмосферы новой столицы. Вожди далеко. Суровый Зиновьев, в первые годы сдавший Петроград железной диктатурой, ушел с поста и уехал отсюда. Город дышит, тягивается, неуверенно улыбается.

А поздней осенью, по вечерам, вас приглашают рестораны, выставляющие деликатесные колбасы, копченую рыбу, целые горы раков и всевозможные, соблазнительно украшенные закуски; зовут театры и кино, сверкающие разноцветными огнями, репродукторы разносят над гуляющей толпой оперные арии, новости, мелодии из оперетт, — и во всем этом сквозит какая-то удивительная легкая грация, как будто отсвет прежних дней.

Возобновляется активность и в рабочих кварталах, на фабриках, окружающих город; им не вернуться, конечно, к былому процветанию, которым они были обязаны в основном военной промышленности, однако Путиловский за-

Андре ВЮЛЛИ

Одна в России (1927)

вод, к примеру, увеличил объем продукции примерно на шестьдесят процентов за последние два или три года.

* * *

Но если по четко спланированным улицам, по мостам, переброшенным через каналы, которые расчерчивают синими линиями эту Северную Венецию, мы придем туда, где до революции располагались правительство и двор, какое нас там ожидает небывалое зрелище грандиозного величия и одинокой заброшенности!

Такое волнует сильнее, чем вид руин. Уже два или три года продолжается восстановление квартала. Обломки вывезены, дворцы отреставрированы, и на наших глазах рабочие мостили набережную и чинили парапеты. Ленинграда, безусловно, не коснулась проблема нехватки жилья. Но если частные особняки и загородные дачи на Островах уже превратили в прекрасные санатории, в дома отдыха, то здания, в недавнем прошлом отведенные под общественные институты, воскресить еще не успели. Они стоят нетронутые, похожие на мумии, которые покинула душа.

Меж плит широких мостовых растет трава. В чудесных, но запущенных садах, где когда-то встречались кавалеры, дамы, открытые экипажи, вся эта избранная гуляющая публика, цвет и роскошь самой великолепной в мире аристократии, теперь можно увидеть только группы обычных ребятишек в сопровождении учителей. Вдоль набережных вытянулись в гордом и стройном порядке немые фасады опустевших дворцов, где правили министры и могущественная имперская бюрократия.

А над отлогой площадкой, которую завершают две внушительные мраморные лестницы, спускающиеся к Неве, возвышается огромная и стремительная фигура Петра Великого. Ведь Советы считают своим предшественником *саардамского* плотника, мастеровитого, сносив-

шего головы праздных и мятежных дворян и открывшего для России путь экономического прогресса. Но сидящий на великолепном вздыбившемся коне — четкий профиль, властный жест — указывает лишь на реку, чьи величавые и сумрачные воды уже несут корабли, о которых мечтал великий император.

О бывшей площади Александра II, ставшей теперь Красной, можно сказать только, что это огромное пустынное пространство. Лишь изредка здесь проедет велосипед с дребезжащим звонком или прогремат старые дрожки. В центре стоит колонна Александра I, на которой по праздникам триумфально развеваются советские флаги. С одной стороны — большое полукруглое здание Главного штаба, отреставрированное и заново выкрашенное. А с другой — массивная, тяжелая, мрачного цвета запекшейся крови громада Зимнего дворца, бывшей царской резиденции. К нему еще не приступали: облупившийся фасад со следами от снарядов, покосившиеся водостоки, рассыпающиеся ржавые балконы, — он как будто смотрит своими окнами, заколоченными, словно на них наложены повязки, на маленькую, стоящую внизу деревянную трибуну кроваво-красного цвета, с которой еще в самом начале выступали вожди большевиков, и откуда началась Октябрьская революция 1917 года. Впрочем, — о, ирония, так любимая правителями! — разве не превратили царскую цитадель в Музей революции?..

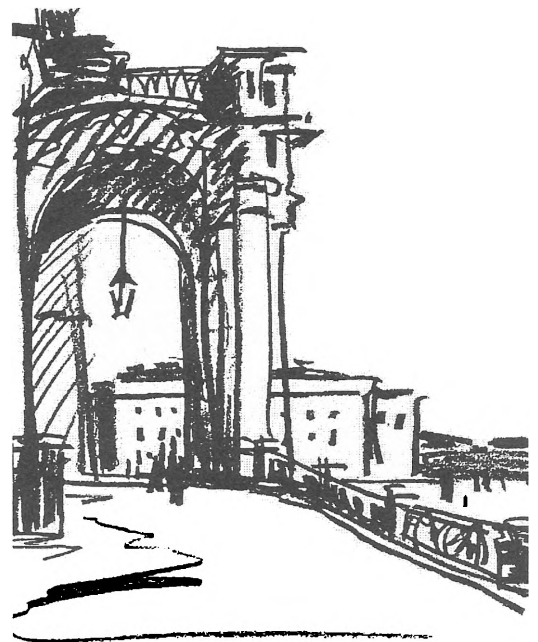
Музеи? В Ленинграде их предостаточно.

Одного Эрмитажа будет довольно, чтобы всегда привлекать паломников от искусства со всего света. Он не только не потерял ни одного украшения из своей короны, он чудесным образом разбогател, и прежние хранители с помощью целой плеяды молодых

энтузиастов берегут его сокровища. Здесь можно увидеть прекраснейшие полотна Рембрандта, восхитительного Рубенса, наши шедевры XVIII века и пейзажистов из Фонтенбло; и наконец, ревниво оберегаемые, в бронированных комнатах хранятся сокровища Керчи и другие уникальные коллекции скифского и сибирского искусства, еще малоизвестного, одни из самых древних и драгоценных в мире. Огромные суммы выделяются на новые приобретения, на командировки и раскопки. Здесь жизнь, кажется, нашла себе убежище в прошлом и сосредоточилась на нем.

Еще одно воспоминание: в полужасе езды от Ленинграда находится Царское Село, русский Версаль. Роскошные дворцы как будто погружены в сонную меланхолию посреди красной парковой ливы. В самом простом из них жил Николай II с семьей, и именно оттуда они отправились навстречу своей судьбе. Там ничего не изменилось с того дня, 31 июля 1917 года, — это число так и осталось на пожелтевшем календаре на царском бюро.

Жилые комнаты, современная мебель, выбранная без особого чувства стиля и вкуса, посредственные картины, наивные безделушки, нужные лишь затем, чтобы напоминать о счастливых днях, — все ждет, кажется, возвращения мирных обывателей, уехавших на отдых. Везде свидетельство милой частной жизни. Вышивки, начатая и аккуратно сложенная на столике для рукоделия, набросок акварели, оставленный на мольбер-



те. Книги сами готовы раскрыться. Я обращаю внимание на одну из них: это «История Коммуны» Максима де Кампа.

Не предстает ли страшная трагедия еще более непостижимой и дикой в этой будничной, несколько даже мещанской обстановке?

Старый служитель, сопровождающий нас, показывает в одной из комнат большой гобелен, на котором изображена Мария Антуанетта, а напротив него — портрет царицы, тоже в полный рост.

«Она сама выбрала гобелен в Париже, — сказал он. — Она часто смотрела на него...»

Она все еще на него смотрит, — и в надвигающихся сумерках этот тет-а-тет двух властительниц, с такой до ужаса похожей судьбой, холодным обручем сжимает сердце.

В зале-ротонде с открытой застекленной дверью, выходящей на золотые своды аллей, старик торжественно сообщает:

«Через эту дверь Александр Первый вошел во дворец, через эту же самую дверь из него вышел Николай...»

Затем комнаты детей: у девушек над белыми кроватями детские картинки, пасхальные яйца с шелковыми кисточками, маленькие тамбурины, посеребренные звезды с рождественских елок; в комнате царевича деревянная машинка, самокат, большой плюшевый медведь с истрепанной мордой, раскрывший объятия пустоте, — все эти трогательные свидетельства невинного и лелеемого детства... Нет, это слишком мучительно, не могу больше, нужно выйти, подышать...

Там, на улице, в парках, прекрасные виллы отданы под реабилитационные центры, там школы на открытом воздухе, там живые глаза и розовые щеки, и ватаги мальчишек, и резвящиеся девчонки. Потому что Царское Село зовется теперь Детским Селом, и они, дети, тысячами будут приезжать сюда, чтобы найти здесь здоровье и радость. Это прекрасно.

Но почему нужно было, чтобы сквозь их смех и радостные крики слышались крики страдания и ужаса тех, других детей, виноватых только в том, что родились на свет, и истребленных так бессмысленно и жестоко?

Перевод Марии Толстой

Люк ДЮРТЕН

Балтика (1928)

[...] Точно так же и Петербург был решительно и быстро расчерчен по линейке, властно навязан болотам. Возведение города из камня унесло больше человеческого жизней, чем земляные работы в Версале или прокладка Панамского канала.

Через шестнадцать дней после изгнания шведов, на протяжении века тщетно пытавшихся там закрепить-ся, Петр закладывает основание своей крепости. Затем сразу же — Адмиралтейство, от которого лучами разбегаются необъятные проспекты, образуя звезду, как в Версале; Адмиралтейство с золотой стрелой, чей высокий взлет заставляет забыть желто-сине-розовую пестроту фасадов, и видеть лишь громады зданий, их глубокие анфилады. Неутоленный размах дворцов, раскинувших крылья на набережной, шахматные клетки дворов, сеть улиц, гибкие каналы, чьи прихотливые извивы порой напоминают кривые линии, к которым охотно прибегает ныне за океанский урбанизм в иных кварталах новых городов.

И ничего от того восточного налета, что повсюду заметен в Москве. Петербург — город западный, и он к этому стремится с непреклонной решимостью и властью, которые выходят за рамки европейской умеренности; это роднит его, как и Версаль, с великими импровизациями Америки.

Однако, когда вы бродите по Ленинграду, оставьте ненадолго величественные проспекты, уйдите от центра, например, в тот квартал, где высится мрачное шестизэтажное здание, в котором, как говорят, Достоевский отыскал жуткие прототипы своих Карамазовых, так мало напоминающих европейцев. А что это за нагромождение теснящихся друг к другу лавчонок с живописными и жалкими товарами — мишурой? тряпьем? — копошение толпы и толкотня, вынуждающие вас замедлить шаг? Неподвижные группы, ленивые человеческие архипелаги, которые вам приходится обходить и лавиро-

вать, как во время азиатских прогулок, даже на прямых и широких тротуарах; запустение, пыль и грязь [...] Да, вы уже видели все это, если бывали в Константинополе или Дамаске. Это базар [...]

Смешение Америки и Азии? Так вот, такое смешение и есть сама Европа!

Не стоит предаваться словесным изыскам по поводу географических названий, изначально исполненных произвольного смысла. Все-таки тут дело не в словах: слишком очевидной стала реальность с тех пор, как мощное потрясение войной не только сместило ось мира, но и эволюцию заставило перепрыгнуть через полвека. Встряска, которая разрушила множество устоев, сложившихся на изъеденных червями традициях, выявила и разбила столько ложных представлений!

[...] Претензии Европы быть чем-то средним между двумя тяжелыми громадами — Америкой и Азией, кажутся жалкими. Кончилась эра ее превосходства? От нее ускользает даже роль арбитра? Пусть так! Но работа по всемирному объединению, к которой никогда еще не обращалось человечество, остается доступной для нашего континента. Многогранность его истории, рас и горизонтов дает ему такую возможность. Лучистые звезды из камня — Петербург и Версаль, сквозь дыры на шелке старого знамени, прикрепленного к Уральскому хребту, все еще показывают, на какие новации способен дух Европы. И это — знак Соединенным Штатам или Австралии, которые слишком быстро решили, что уже приобщились к созвездиям.

Перевод Лины Белозеровой

Люк ДЮРТЕН

Другая Европа (1928)

Множество замков и дворцов, всюду разбросанных в нищей стране, — вот одна из самых раздражающих черт полуфеодалной России, которая упрямо старается выжить в современном мире. Города, особенно Петербург — наполовину жалкий рабочий поселок, где скучено полтора миллиона человек, а остальное — великолепный архитектурный ансамбль, предназначенный для нескольких сотен привилегированных, — являет контраст, повторяющийся в каждом населенном пункте.

[...] В Ленинграде мы побывали на государственной студии «Госкино». Работа повсюду так и кипит, словно в улье. Восемь-девять постановок одновременно — одни начинаются, другие в самом разгаре — в нескольких пропыленных залах. Русское воображение, овладев юпитерами, экранами, объективами, чудесно развивается в своей привычной стихии — стихии декораций, фантазий, теней...

В самом городе царизм — объект музейный, а здесь это набор аксессуаров. Мы прошли через вереницу битком набитых комнат: стены, полы, потолки — все топорщилось удивительными реликвиями. Мебель, люстры, оружие, часы, картины, шляпы, костюмы придворных. Целый угол тростей. Награжденные цветочных ваз. Море икон. Все — *настоящее*. Трофеи с поля брани. И на всем — многолетняя разъедающая пыль.

Мы осмотрели одну витрину из двадцати. За стеклом аккуратно развешены мундиры сенаторов империи. На каждом костюме — семь-восемь кило позолоты: словно панцири, оставленные призраками... В семнадцатом году, накануне революции, сенатор Соколов явился на заседание в Сенат в простой визитке, и был выставлен за дверь собственными коллегами.

Высокий призрак с тщательно расчесанной и разделенной надвое белой бородой подошел к нам:

«Бывший камергер Его Величе-

ства. Теперь представляю типажей в кино.

Человек улыбался. Он улыбался — в этом вся Россия!»

Многие произведения русских режиссеров: «Мать», «Броненосец «Потемкин»» — входят в число самых насыщенных и цельных картин. Так же, как и театральные пьесы, большинство фильмов, хотя в них угадывается пропаганда, достигают тем не менее беспристрастности искусства.

Арабеск всегда высок и натянут, как струна; перспектива в каждом кадре словно высверлена новым, острым инструментом; алгебра жестов строго выверена, и в завершение всех усилий — простота и естественность игры. А за всем этим — факты и чувства, затрагивающие сердце. Человечность, которой на сцене и на экране подчиняются и воображение, и техника.

[...] Пришвартованный прочными, но слабо натянутыми цепями, корабль России еще не совсем нашел свое место у набережных Мира. Он еще может дрейфовать. Перенесемся в город, само имя которого — сначала немецкое Петербург, потом славянское Ленинград, отмеченное сначала самодержавием, а затем революцией, — кажется, способно, подобно носу корабля, направлять его движение...

Теперь, когда я думаю о бывшей столице, ко мне всегда приходит одно щемящее воспоминание — заход солнца на Неве. Ленинградская Цекубу* размещает сейчас своих гостей в бывшем дворце великого князя Владимира.

Наша комната выходит на Неву. Никакого шума не доносится от множества закованных в лед каналов, пустынных улиц. Тишина почти осязаемая. Водопад тишины падает с неба, проникает сквозь стекла.

Сумерки. Широкое замерзшее устье окрашено фиолетовым цветом.

*Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

Напротив — мрачная Петропавловская крепость, арсенал и тюрьма. Как последний призыв несчастных, которых царизм держал там веками, возносится высокая стрела собора, на позолоте которой поблескивает заходящее солнце. На западе — необъятное красное небо, откуда солнце будет медленно уходить еще целый час; над гранитными лестницами — Ростральные колонны, как часовые у Биржи: они четко выделяются на фоне низко стелющихся дымков отдаленных рабочих кварталов.

Это та же картина, которую в двухстах шагах отсюда, из окон Зимнего дворца мог каждый день видеть царь. У этого человека слева была Биржа, а справа — крепость; прямо напротив него — тюрьма, откуда каждое утро, к завтраку, ему доставляли подробный доклад о жизни его пленников. Он смаковал эти страницы за чаем... Некоторые метафизики видят в существовании мира акт воли Создателя, проявляемой в каждое мгновение вечности. Точно так же можно представить, как этот человек каждое утро на протяжении двадцати или тридцати лет заново принимал одно решение — сохранить эту тюрьму, все тюрьмы и Сибирь. Решение мрачное и пагубное.

Конечно, конец Романовых — екатеринбургская бойня, в которой не пощадили даже детей, — вызывает ужас и жалость. Но там, у этого окна, из которого спокойно наслаждался открывающимся видом угнетатель, мне вспомнились тысячи других трагических судеб. И тогда, на мгновение, при мысли о последнем кровавом звене этой длинной цепи, я обнаружил в душе только молчание, подобное тому, что в сумерки, словно ореол, окружает темницы Петропавловской крепости.

* * *

Город Петра Великого уже не тот умирающий город, унылый набросок которого оставил когда-то Боро. В то время он лишился двух третей населения, а сейчас столько же народа, сколько было до войны. На Невском проспекте — сейчас он называется «Проспект 25 Октября» — больше прохожих, чем у нас на Больших бульварах. Конечно, его многоцветные фасады могли бы выглядеть и понаряднее! Давно уже на гипс и штукатурку не ложилась свежая оранжевая, желтая, лазурная или жемчужно-серая краска, которая прежде обновлялась каждый год. Кое-где уже и кирпичи проглядывают. Но

радостные, бодрые люди оживляют теперь этот великолепный город, сравнимый с Москвой только размерами, и он отражает в могучей реке цельную и величественную архитектуру. Ни одна из европейских столиц не являет более устремленно и ярко свою принадлежность именно к Европе.

Город стоит на костях: на болоте, в котором царь Петр похоронил сто пятьдесят тысяч рабочих. Эти призраки взяли реванш... Власти, сменяющие друг друга в России, мыслят широко и не слишком заботятся о человеческой жизни.

Помимо скорбного молчания Зимнего дворца и Петропавловской крепости во мне живет и другое воспоминание о Ленинграде — это память об откровениях одной старой разочарованной революционерки.

«Вы видели, — говорила она, — огни на Неве и на каналах? Конечно, летом они красивее, потому что отражаются в воде. Огни на Неве! Сколько раз, до революции, возвращаясь по вечерам с тайных собраний, я любовалась ими, словно со звездами. Хоровод танцующих и поющих звезд — вот новый небосвод, который создает себе Россия... Как мы были увлечены! Некоторые из моих подруг, скажу вам, покончили с собой, они думали, что не смогут помочь наступлению священного дня, и заранее считали себя недостойными его... А ныне, что принесли все эти жертвы? Какие жалкие мелочи!.. Звезды никогда не танцевали, — это у меня дрожали веки, и пели они только в мечтах... Завоевания революции, спросите вы, это мелочь? Да, они мелкие и незавершенные, как и все на свете, по сравнению с вечностью. И все-таки жертвы, принесенные ради них, облагородили перспективы».

Мы замолчали и поднесли к губам чашки из тонкого фарфора, помеченные вензелем великого князя Владимира. Ни единой посудинки, на которой не было бы щербин, трещин, та — без ручки, эта — без крышки. Вокруг нас, по всему дворцу — рваные обои на стенах, хромя и разошедшаяся мебель, протертые до основы ковры. Заменять всю эту уродливую роскошь на новую? Не стоит даже и думать об этом. Зачем? Не лучше ли пересмотреть идеи, которые связывают величие цивилизации с материальным процветанием? Разве расцвет империи всегда связан с богатством? Можно ли представить высокообразованную цивилизацию, при которой сидят на соломенных стульях?..

Цивилизации могут умирать... Я вспоминаю ионические колонны Юсуповского дворца, перед которым окровавленный труп Распутина был сброшен в канал... Я вспоминаю место, где стояли пулеметы, направленные против Юденича, перед знаменитой Библиотекой, третьей в мире по значимости. Случись сражение, и разразилась бы катастрофа, где пострадала бы и наша французская литература... Я вспоминаю полотно в одном музее, к которому с горькой улыбкой подвел меня писатель Кибальчич — анархист, ставший после 1918 года активным коммунистом. Сама картина посредственная, но сюжет мучительный, взятый из жизни, после той первой зимы без отопления в Ленинграде, когда от мороза лопнули все трубы. На первом плане — мешанка продает какие-то жалкие вещи, на заднем — общественная уборная и огромная очередь к ней. Какую же помощь оказала наша западная цивилизация этому несчастному городу, страдавшему от голода и от холеры? Бомбы, сброшенные с английских самолетов.

И, наконец, вспоминаю любопытный случай, когда я невольно коснулся уязвимой точки этого города. На лекции я в нескольких словах напомнил аудитории о том, как европейски выглядит Ленинград по сравнению с Москвой, и тут же увидел в зале движение, лица оживились. Одни приветствовали такое утверждение, другие возмущались — их город в этом не нуждается.

Надменная белая раса! Безусловно, элита человечества в области искусства, науки и власти. А не обладает ли желтая раса качествами, которые превосходят наши и отличают ее действия и мышление? Разве принижает славянский народ то, что он принадлежит Азии частью своей территории и частицей своей души?

Можно проглядеть до дыр карту России. Эта страна начинается в Европе и углубляется в огромный смежный с ней континент Уралом и Кавказом одновременно, а также другими пронизывающими ее, хоть и невидимыми, корнями. Благодаря этим связям Россия сохранила ту первородную гибкость, которую утрачивают более устоявшиеся нации. Она так и осталась в том «первородном состоянии», при котором в химии, например, телам приписываются невероятные возможности.

Знание родственных связей, иногда очевидных, иногда скрытых далеко в прошлом, могло бы показать, что в каждом русском есть капля желтой крови. Возможно, именно этой капле славянская раса обязана глубиной и неизведанностью страстей, неутоленным величием замыслов. Славянская раса — единственная белая раса добавление желтой закваски в которую позволило получить абсолютную человечность...

* * *

Считается, что Ленин дважды покушался на шедевр царя Петра: при жизни — переместил столицу в Москву, а после смерти с упорством, характерным для призраков, присвоил себе покровительство над городом на Неве.

Однако разве не направлены усилия этих владык России одинаково к современному миру? Оба деспоты, оба революционеры. Один искал сближения с Европой и материальных благ западной цивилизации; другого интересовали ее научные достижения. Один — открыл окно в Европу, другой — распахнул дверь в Азию. Действия этих создателей могут показаться противоречивыми. Но придет день, когда станет ясно, что их планы совпадали.

Перевод Лины Белозеровой



Пьер ЭРБАР

В СССР (1936)

(Воспоминания секретаря Андре Жида)

Наше дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рассветай.

Русская поговорка.

Приплыл в Ленинград в час дня. Восхитительно ясно. Гулял по кораблю, первый различимый признак города — столбы дыма, белые-белые, как перья на шляпе, в чистой небесной синеве.

На причале неприятный визит в таможеню.

Х. уже меня ждет.

«Ну что, — ухмыляется он, — новых людей изучать приехали?»

Ленинград.

Белые ночи. Два часа, — едем гулять на Острова. Легкая дымка стелется над листвой. На обратном пути наше авто спорит в быстроте с мостами, которые разводятся, пропуская буксиры. Опоздали. Заперты на острове до четырех часов. И тут же чувствуем: похолодало. Гийу призывает искать какую-нибудь забегаловку, где подают кофе со сливками. Еще чего.

Отхожу в сторонку — полюбоваться набережными, дворцами на них и золотой стрелой Петропавловки. Нева катит свои мутные воды в предрассветной прохладе. Время остановилось. От ясности, застывшей над городскими куполами, негде укрыться. Будто в стеклянном доме, немного не по себе. Как ни проснись, выйду на улицу и диву даюсь — безлюдно.

Увезти бы с собой что-нибудь из этого города, который мне нравится больше всех. Может, — видение площади перед Зимним, совершенно пустынной и несравненно величавой в бездвижных сумерках белых ночей.

Как дика Москва перед подобной стройностью, безмолвием и красотой.

Бабель рассказывал, как Жид вел себя на похоронах Горького: «Ве-

ликий человек. Плачет, но без последствий — для себя, разумеется».

Каждый день перед гостиницей меня поджидает мальчонка, желающий быть моим чичероне, и не только не требует, но и не ждет ничего взамен.

Он такой славный, что я заскучал бы, не найдя его на посту. Зовут Володя, мне он сказал: «Вова». Лет девять-десять. Светловолосый, круглолицый, синеглазый, раскосый немножко, и веселый такой — сердце радуется. Носит убогонькую рубашонку из черного полотна да какие-то жуткие дырявые штанишки, но на вид вполне упитанный. Я понял, что его мать работает на почте. Получает, как он мне сказал, двести рублей в месяц... Вчера я его попросил отвести меня в какое-нибудь учреждение общественной помывки. Он говорит без умолку, не желая признавать, что я его не всегда понимаю. И вот мы на набережной. Он семенит рядом, показывая мне на том берегу Невы рядом с Петропавловской крепостью «пляж», где мы сейчас будем купаться. И вдруг останавливается. Восхищенно замирает, уставясь на ткань моего пиджака, который он только что разглядел. Любовно щупает ее, тихонько поглаживает рукав. А тем временем подвергает подробному осмотру весь мой туалет: галстук, рубашку, ремень, — и все ему нравится.

«Красиво!» — повторяет он. Хочет, чтобы я вместе с ним порадовался, и расхваливает все части моего костюма по очереди. Становится красноречивым, важным, сведущим и даже слегка ироничным. Наконец в упоении — ибо действительно пьян от восторга — целует полу пиджака. И видит мои туфли. Сначала теряет дар речи от неожиданности. Упав на колени, смахивает пыль с ботинок бурыми ладошками и, чтобы выразить свое волнение, прикладывает щекою к коже. Потом встает и показывает мне свои собствен-

ные, вконец разбитые, бедные обутки. И ни тени печали во взгляде, ни зависти. Одно лишь отвращение и презрение к своим противным башмачкам.

«Ну, после твоих-то!» — восклицает он и, разувшись в мгновение ока, раскручивает свои обутки над головой и швыряет в реку.*

Вечером рассказываю об этом происшествии Даби, он восхищается и завидует:

«Вот за чем я приехал, — говорит. — А на дворцы мне плевать...»

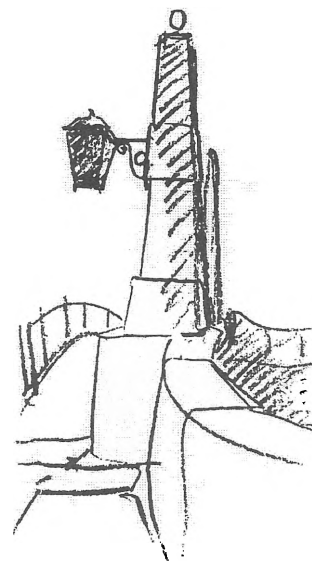
Превосходный обед в ленинградской гостинице «Астория». Слышу, как Жид хвалит хозяев за прекрасную кухню и безусловно составленное меню.

«А самое-то замечательное, товарищ Жид, — отвечает наш главный амфитрион, — что весь наш народ отныне так питается».

После кофе я занимаюсь подсчетом приблизительной стоимости блюд: рублей по двести с носа — месячная зарплата рабочего.

Перевод Антона Демина

*Спустя несколько дней, перед отъездом, я решил подарить Вове желтые туфли, как у меня. Повел его в Мосторг. Даби и Гийу тоже пошли... С ужасом заплатили шестьдесят рублей за пару детских туфель весьма среднего качества. А Вова, красный и онемевший от волнения, завертывающий ногу в клочок бумаги, чтобы не замарать новые башмачки, все еще стоит у меня перед глазами



Мишель ГОРДЕЙ

Виза в Москву (1951)

(Серия репортажей корреспондента газеты «Франс Суар».
Фрагмент из главы «Ленинградское чудо»)

В Ленинград я приехал один, без guida, и отклонил предложение местного отделения «Интуриста» предоставить мне сопровождающего. Здесь, как и в Москве, меня снова окружило безмолвие и плотная стена недоверия, сквозь которую я никак не мог пробиться.

Я захотел получить некоторые статистические данные о разрушениях и восстановительных работах в городе и попросил «Интурист» организовать для меня встречу с кем-нибудь из Горсовета, но получил отказ.

— Для официальной встречи, — сказали мне, — вам нужно получить визу Министерства иностранных дел в Москве. Однако ваше разрешение на пребывание в Ленинграде действительно только в течение пяти дней. За это время мы не успеем связаться с министерством.

— А нельзя обойтись без официальной встречи, просто пойти в Горсовет и поговорить с компетентным служащим?

— Нет. Чтобы попасть в Горсовет, вам нужен пропуск. Его вам выпишут только в том случае, если встреча будет организована министерством.

Такой же ответ я получаю и во время экскурсии по городу на машине (на ней энергично настаивали в «Интуристе»), и я в конце концов согласился, потому что было бы хорошо все время отказываться от их предложений, когда я прошу сопровождающую показать мне большую и старинную библиотеку Ленинграда. Перед этим она объяснила мне, что это одна из богатейших библиотек в мире: *третья*, — уточнила она. Мое желание посетить это внушительное здание приводит ее в замешательство, но ненадолго. Она излагает свой отказ в тех же словах, что и ее коллега. Таким образом, я узнаю, что пресловутый «запрет для иностранцев» распространяется даже на публичные библиотеки. (Потом, в Москве, мне подтвердили, что это действительно так.)

В Ленинграде, как и в столице, мои ежедневные попытки завязать обыкновенный разговор с прохожими или с пассажирами троллейбуса, с людьми в театре или в ресторане неизменно терпели поражение. Достаточно быстрого взгляда на покрой моего костюма — и вот уже меня награждают, в зависимости от ситуации, вежливым или ледяным молчанием. Однако так же, как и в Москве, никто не преследовал меня во время моих долгих одиноких прогулок.

Таким образом, с людьми я общался мало, и оставалось достаточно времени для посещения театров и музеев. Театры — в особенности балетные и оперные спектакли — были замечательны. Ленинград, в прошлом столица русской хореографии и драматического искусства, в полной мере сохранил свои славные традиции. Класс актерской игры и великолепие постановок не уступали тому, что я видел в Москве. <...>

В музее Пушкина — все тот же культ прошлого. Здесь в мельчайших деталях восстановлена квартира, в которой великий русский поэт поселился в 1836 году. Эта квартира с окнами на набережную Мойки находится в нижнем этаже особняка, построенного в эпоху романтизма. Шесть жилых комнат обставлены относительно скромно. Пушкин прожил здесь несколько месяцев и умер еще молодым от пулевого ранения после трагической дуэли, которую сам и спровоцировал, чтобы защитить честь своей красавицы-жены, ставшей жертвой дворцовых интриг.

В этом музее с удивительной заботой воссозданы и собраны самые незначительные памятные вещи и мельчайшие детали, касающиеся жизни великого поэта, — вот результат того преклонения перед культурным наследием прошлого, которое значительным образом способствует восстановлению разрушенного войной Ленинграда. К тому же после 1917 года произведения Пушкина

были выпущены тиражом, превышающим 35 миллионов экземпляров, и были переведены на 75 языков. Повышенное внимание к «певцу свободы» навязывается советским режимом: сам Сталин назвал Пушкина в числе пяти или шести писателей, кто составляет литературную славу России. Экскурсоводы, показывая экспонаты и документы музея, рассказывают о подавлении свободы слова при царском режиме и о материальных трудностях, которые преследовали поэта всю жизнь.

Среди экспонатов пушкинского музея мне попался на глаза один достаточно любопытный документ. Это донесение жандармерии, датированное 1831 годом. В этом донесении, написанном каллиграфическим почерком, глава московских жандармов уведомляет своего коллегу в Санкт-Петербурге о том, что «господин Александр Сергеевич Пушкин и его законная супруга получили разрешение на выезд (из Москвы) в столицу, от ... числа. Разрешение было получено ими при условии, что они не должны делать остановок в пути. Им дано только право менять лошадей на почтовых станциях, но при этом не разрешается надолго останавливаться в промежуточных пунктах. Господин и госпожа Пушкины рассчитывают покинуть Москву ... числа и прибыть в Санкт-Петербург ... 1831 года. Сие сообщается вам с тем, чтобы вы могли возобновить секретное наблюдение, которое было поручено московской жандармерии во время пребывания в нашем городе Пушкина».

Это донесение, под грифом «Совершенно секретно и срочно», безусловно, было изъято из архивов жандармерии после революции 1917 года. Оно является частью экспозиции музея и призвано показать, каким преследованиям подверглось в царское время свободомыслие. Но этот же документ доказывает, что методы регистрации и наблюдения за путешественниками в этой стране восходят к давней традиции, хотя и не такой слабой, как императорские балеты.

Перевод Нины Ивановой

Рисунки Филиппа Кондратенко

ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ

Итальянские поэты в России XVIII века

Стефано ГАРДЗОНИО

С 1730-х годов начинается расцвет русской официальной панегиристики и музыкального театра. С течением времени именно на их основе возникает специфический культурный феномен: в России рождается оригинальная итальянская поэзия.

Одновременно с музыкантами, композиторами, актерами, художниками и т.д., которым поручалась организация придворной театральной жизни, ко двору русских императриц XVIII века (Анне Иоанновне, Елизавете Петровне и Екатерине Великой) приглашались также литераторы — не только авторы либретто и балетных сценариев, но и придворные поэты-панегиристы. Часто они исполняли обе роли: либреттиста и придворного одописца. Это положение сохранялось долго, по крайней мере до начала XIX века, и хотя чаще всего в России работали второстепенные итальянские литераторы и стихотворцы, однако были и некоторые очень интересные исключения, которые безусловно оставили след в истории итальянской поэзии. Имеется в виду прежде всего пребывание и работа в России знаменитого лирического поэта-саатирика Джан Баттиста Касти, но не только, о чем и будет рассказано ниже.

Первым заметным представителем «итальянского Парнаса» в России стал Джузеппе Аволио (Giuseppe Avoglio или Avolio, Davolio), комедиант, постановщик и поэт. Он прибыл в Москву в 1731 году вместе с женой, примадонной Кристиной Марией Аволио (урожд. Грауманн), в группе певцов и музыкантов, приехавших из Германии. В России он поставил около 36 итальянских комедий и интермедий, а также две русские пьесы: «Комедию об Иосифе» (1734) и «Комедию о двух персонах философских» (1735). Он участвовал также и в постановке оперы Ф.Арайи «Сила любви и ненависти» (1736).

Одновременно с театральной деятельностью Аволио занимался литературой. В частности, он написал стихи по случаю дня рождения импе-

ратрицы Анны Иоанновны: «Solennizzandosi il felice giorno natalitio della sempre Augusta Anna Giovannide Imperatrice di tutte le Russie» («Прославляя высокий день рождения всегда августейшая Анна Иоанновны... в знак всеобщей радости и всепокорнейшего поздравления приносит Иосиф Аволио, Санкт-Петербург, 1736»). Текст был напечатан в оригинале и в немецком и русском переводах.

Некоторое время спустя после отъезда из России Дж.Аволио (1736), а именно в 1742 году, в составе новой труппы, набранной Ф.Арайей, на русскую придворную службу поступил Джузеппе Бонекки. Он стал первым «штатным» стихотворцем в Итальянской придворной оперной труппе (за ним последовали А.Денци, Л.Ладзарони, М.Кольтеллини, Ф.Моретти и др.) и прожил в России при дворе Елизаветы Петровны около 10 лет.

Флорентиец Джузеппе Бонекки (или Бонекки, Boneschi [Bonechi], 1715 — после 1785), поэт и либреттист, был безусловно человеком незаурядным, и его полная приключений биография вполне вписывается в традиции космополитизма XVIII столетия. Его деятельность при русском дворе отнюдь не второстепенный вклад в историю русской культуры XVIII века. В самом деле, он приехал в Россию в годы, когда дальнейшая судьба русской литературы определялась новациями Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова, однако русский театр, в том числе и музыкальный, еще не встал на национальную основу.

В Санкт-Петербурге Бонекки написал несколько либретто опер-серии: «Selueco» («Селевк», 1744), «Scipione» («Сципион», 1745), «Mitridate» («Митридат», 1747), «Eudossa incoronata, o sia Teodosio II» («Евдоксия венчанная», 1751), «Bellerofonte» («Беллерофонт», 1753), стихи для праздничных театрализованных представлений: «L'Union de l'amour et du mariage» («Союз любви и брака», 1745), «L'Asilo della pace» («Прибежище мира», 1748) и текст серенады Арайи «La Corona d'Alessand-

ro Magno» («Корона Александра Великого», 1750).

Бонекки был отпущен со службы в 1752 году с обязательством присылать ежегодно по два оперных либретто. Данного условия он не выполнил. Вскоре, не без содействия Пьетро Метастазियो, Бонекки стал поэтом при португальском дворе (1755—1764). В дальнейшем он служил в родной Флоренции, а позже стал посланником Тосканского герцогства при неаполитанском дворе. В 1776 году он участвовал в заговоре против неаполитанского министра Бернардо Тануччи. Презираемый за угодливость, но внушающий опасение как интриган и сплетник, он провел последние годы жизни в Неаполе, где, по-видимому, и умер после 1785 года.

Склонность Бонекки к интригам и низкопоклонству проявилась еще во время его пребывания в Санкт-Петербурге. Несмотря на скромность своего литературного дарования, он пользовался большим авторитетом при российском дворе и у самой Елизаветы Петровны.

Особое отношение Бонекки к императрице и его роль в культурной жизни двора давно привлекали внимание исследователей. В частности, указывалось на неприязненное отношение к Бонекки Михаила Ломоносова, который презирал его как поэта и как человека. Годы пребывания Бонекки в России (1742—1752) совпали со временем становления новой русской литературы. По мнению маститого специалиста, историка русского классицизма Ильи Захаровича Сермана, именно либретто Бонекки «...могут не только помочь понять критический пафос "Риторики" (1747) Ломоносова. Внимательное изучение стиля стихотворных партий в этих переводах может помочь исследователю в решении некоторых самых спорных вопросов ломоносовского творчества — его позиции в борьбе за и против классицизма».¹

Вместе с композитором Арайей и художником Валериани Бонекки, по словам А.Гозенпуда, «совместными усилиями создали парадный и торжественный облик оперы-серии, дол-

женствовавшей отразить блеск и величие Российской империи».²

Именно «парадный» облик оперы-серия больше всего волновал Бонекки, носившего официальный титул «Стихотворец Ее Императорского Величества». Свои либретто он выстраивал как торжественные воспеания Елизаветы Петровны. И. Серман прекрасно описывает и определяет жанрово-тематические черты бонеккиевского пьеса:

«Ведь Бонекки, либреттист Арайи, был не просто частным лицом, литератором, за определенное вознаграждение более или менее ловко подбирившим сюжеты для пышных и разнообразных зрелищ, какими были оперы-серия. Бонекки не скрывал «придворности» своих либретто, наоборот, он подробно объяснял зрителям, что оперу следовало воспринимать как апофеоз Елизаветы Петровны».³

Если прочесть сами предуведомления Бонекки к своим либретто или описание его спектаклей в прессе, данная характеристика выглядит еще отчетливее. Вот как, например, сам либреттист объясняет содержание оперы «Селевк»:

«Печаль, которою Артениса себя сокрушала как по должности к ее отцу, так и по горячности к своему любовнику; неукротимая ярость Селевка, который, не имея надежды учинить победителю своему отмщения, сам себя наибесчеловечнейшим образом жизни лишает; верность Исмения, которая как своего брата, так и любовника от сетей Селевковых и от измены Гиркановой освобождает; великодушные Вологезов в прощении своего неприятеля и по возвращении Димитрию завоеванного им престола; и героичная храбрость Димитриева, который напоследок над несправедливостью и изменою торжествует, *подает материю сея оперы, которая учинена для вящего прославления высочайшего дня коронации нашей всемилостивейшей монархини, восстановившей дарованием подданным своим славного и полезного мира совершенное спокойство в своей империи* (курсив мой. — С.Г.)».

Аналогично поступает Бонекки и с другими либретто: в «Беллерофонте» он создает «образ Ее Императорского Величества, которая, преславно низвергнув в той же день вся препятствия, которые неправда и зависть сооружали, вступила на престол стеческий». В «Евдокия венчанной», прославляя «бессмертную ее славу, геройские и трон украшающие добродетели... имеет он на ус-

тах Евдоксию, а в сердце Елизавету».

Лучше всего творческий пафос Бонекки иллюстрирует его собственное свидетельство, в котором итальянский либреттист описывает свой художественный метод и идеологический подход к созданию стихотворного текста упомянутой выше серенады «Корона Александра Великого»:

«Я сочиняю ныне в похвалу Ее Императорского Величества серенаду нового манера таким образом, что можно ее представить на большом и на меньшем театре или только пением в дворцовых покоях. Имя ее имеет быть *Корона Александра Великого*... История взята из Квинта Курция из четвертой главы описания жития Александра: а по моему сочинению описую таким образом, как мне казалось наиприличнее с воспринятым моим намерением в том, что я в описании Александра показываю истинный образ Ее Императорского Величества, которая своим великодушием, общим согласием от всех за такое без сомнения признанным, возбуждает сердца всех народов к удивлению и к глубочайшему почтению...»⁴

Сам факт, что большинство сочинений Бонекки издавались одновременно на итальянском и на русском языках (часто и в немецком переводе), свидетельствует о возможном их «вмешательстве» в современную русскую литературу. Правда, большинство русских переводов из Бонекки относятся к прозе. «Опыт Исторического словаря о российских писателях» (СПб., 1772) Н.И.Новикова называет переводчиком либретто Бонекки А.Олсуфьева, но существует указание Я.Штелина, где переводчиком «Селевка» назван Сумароков. Именно в переводе «Селевка» есть стихотворные переложения арий, что и позволило Серману, на основе тщательного стилистического сравнительного анализа стихов и принимая во внимание тот факт, что переводчик превосходно владеет тонической системой стихосложения, согласиться с мнением Штелина и приписать перевод Сумарокову. Данное обстоятельство является веским материалом, помогающим объяснить причины резких выпадов Ломоносова в своей «Риторике» против писателей, которые «последуя вкусу нынешнего времени» не соблюдают определенную меру в употреблении фигур и тропов и пишут слишком витиевато. Учитывая тот факт, что в рукописи «Риторики» есть (зачеркнутое) указание на итальянских пи-

сателей, можно согласиться с Серманом в том, что Ломоносов имел в виду именно Бонекки и поэзию придворных стихотворцев, когда выступал против моды «писать всегда витиевато и не пропустить ни единой строки без острой мысли...».

Вот, например, характерный для Бонекки оксюморон:

Какие виды мне пред глазами
предстоят
И темным пламенем смущенный
взор палят?

Или сложное сравнение:

Как путь свой потеряв младенец
в темной ночи
Преходит во слезах блюда густые
рощи,
Боишься водных струй, шумящих дров
трепещет
И беспорядочно повсюду очи мешет,
Кричит, бросается, не знает,
что зачати,
Сокрывается где ему, бежать
или стояти.
Подобно и во мне так сердце
возмущенно
И вечно своего спокойствия лишено.

Не исключено, конечно, что Ломоносов вообще выступал против барочной поэзии и в частности итальянского маринизма. Поэзия же Бонекки, до известной степени, была наследницей этой традиции. Кроме того, на позицию Ломоносова могла влиять его неприязнь к Сумарокову, если допустить, что именно Сумароков перевел «Селевка» Бонекки (этим, возможно, объясняется призыв не следовать примеру итальянских писателей), или, скорее всего, его ревнивые чувства к Бонекки из-за искреннего расположения к нему императрицы.

В 1755 году, после отъезда Бонекки, в Санкт-Петербург приехал венецианец Антонио Денци. Певец, композитор, либреттист и директор театра, до России Денци работал в Венеции, Праге и в разных немецких городах, где занимался оперой, пантомимой и балетом.

В России Денци принимал участие в интермедиях, ставившихся в Ораниенбаумском театре Петра Федоровича, и как придворный поэт («poeta di sua Maestà Imperiale») сочинил тексты для следующих спектаклей: кантаты «Urania vaticinante» («Пророчествующая Урания», 1757) и интермедии «Il marito geloso» («Ревнивый муж», 1758). К кантате «Пророчествующая Урания» (существует ее русский прозаический перевод) приложены два сонета, посвященные Петру III. Принадлежат ли

они самому Денци или другим авторам, пока не установлено, но они свидетельствуют об интенсивной деятельности итальянских придворных поэтов.

Далее стоит упомянуть стихотворное творчество известного антрепренера и либреттиста Джованни Баттиста Локателли (1713, Милан — ок. 1790, СПб.), который открыл первый общедоступный оперно-балетный театр в России и познакомил русскую публику с оперой-буфф. Театр просуществовал с декабря 1757 года по ноябрь 1761 года. В России Локателли некоторое время служил при дворе и сочинил драматическое действие «Il ritiro degli dèi» («Убежище богов», 1757), пастораль «La principessa creduta pastorella», написанную по случаю юбилея коронации Елизаветы Петровны 25 апреля 1760 года, и, годы спустя, в 1777 году, кантату «Il contrasto riconciliato fra Pallade e Apollo», написанную по случаю рождения великого князя Александра Павловича (существует французский перевод).⁵

Кроме того ему принадлежат либретто оперы «La governante astuta, ed il tutor sciocco e geloso» («Хитрая надзирательница, или Глупый и ревнивый опекун», 1767) и кантата «I sette» («Евфай», 1783). Эти последние тексты и действия «Убежища богов» были переведены на русский язык. Все переводы прозаические, кроме некоторых арий и хоров «Убежища богов».

Вместе с Локателли в Россию прибыл театральный машинист и сценарист Джузеппе Бригонци (?—1789, СПб.), который в качестве либреттиста написал по-французски пантомиму «Le Père rival de son fils, ou la Tabatiere enchantée» («Отец — соловобник сыну своему, или Завороженная табакерка», 1758) и текст театрального зрелища «Храм общия радости» (СПб., 1780). Перевод последнего, приписываемый З.А.Крыжановскому, сделан в прозе, но два хора переданы в стихах. Вот один пример:

Внося всеобщий глас,
Громчайший лик составим;
Прославившую нас
До самых звезд прославим.
О Мать своим странам,
Коль ты любезна нам.

Бригонци написал также по-итальянски оду и сонет по случаю мира, заключенного с Оттоманской Портой: «Alla Sacra Imperial Maestà di Caterina II... per la gloriosa pace conclusa dall'armi russe in mezzo a trionfi con la Porta Ottomana» («Ее Святей-

шему Императорскому Величеству Екатерине II в честь славного мира с Оттоманской Портой, триумфально заключенного русским оружием») (Москва, 1775).

В 1758 году в Россию прибыл венецианец Лудовико Ладзарони, поэт и либреттист. Он приехал в Санкт-Петербург, вероятно к антрепренеру Локателли, который в том же году поставил его пьесы «Il Giudizio di Aminta» («Суд Аминты»). В 1760 году Ладзарони стал придворным поэтом. Кроме драмы «La pace degli eroi» («Мир героев», 1762) Ладзарони написал для русского двора либретто оперы-серии «Carlo Magno» («Карл Великий», СПб., 1763), и кантаты «Le Rivali» («Соперницы», СПб., 1765) и «La Virtù liberata» («Освобожденная Добродетель», СПб., 1765).

Русские переводы сочинений Ладзарони отличаются безусловным мастерством. Это относится к ариям и хорам кантаты «Соперницы» и к «Миру героев». Очень вероятно, что «драму на музыку» «La pace degli eroi» Ладзарони перевел знаменитый поэт-порнограф Иван Барков.

Итальянским языком Иван Барков владел достаточно хорошо, если верить Новикову, который в своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» сообщает:

«Сей был человек острый и отважный, искусный совершенно в латинском и российском языке, и несколько в итальянском. Он перевел в стихи Горациевы сатиры, Федровы басни с латинского, драму «Мир героев» и другие некоторые с итальянского, кои все напечатаны в Санкт-Петербурге в разных годах».⁶

Та же информация приведена в «Биографическом очерке», включенном в издание «Сочинения и переводы И.С.Баркова» (СПб., 1872): «К этому времени (1762—1763 гг. — С.Г.) относятся его переводы с латинского и итальянского и несколько оригинальных статей».⁷

Правда, существует и мнение, что Барков перевел драму Ладзарони не с итальянского языка, а с немецкого перевода Я.Я.Штелина «Der Friede der Helden» (St. Peterburg, 1762),⁸ однако точных данных об этом нет и пока нечем опровергнуть авторитетное утверждение Новикова.

Какие другие итальянские тексты, кроме «Мира героев», могли быть переведены Барковым, пока не выяснено. Аллегорическая пьеса Ладзарони на музыку Винченцо Манфредини была исполнена 3 июля 1762 года при дворе во время великопраздничного праздника по случаю за-

ключения мира между Петром III и Фридрихом Прусским (мир был подписан 24 апреля 1762 года). Как нам сообщает Моозер, партитура Манфредини утрачена, и о самом исполнении музыкальной драмы известно немного.⁹ Итальянский текст был издан вместе с русским переводом. Кроме того, для немецких гостей был приготовлен уже упомянутый немецкий перевод Штелина «Der Friede der Helden» (СПб. 1762).

Как вспоминает сам Штелин: «...итальянский текст драмы и перевод ее ж в стихах на немецкий язык были отпечатаны размером в четверть листа и розданы за столом».¹⁰

Исполнение драмы Ладзарони — Манфредини венчает успех политики Петра III. Само задание перевести текст для дворцового торжества свидетельствует об особенной благосклонности царя к Ивану Баркову как к переводчику. Как известно, незадолго до этого, 13 февраля 1762 года, указом А.Г.Разумовского Баркова произвели в академические переводчики. В том же году Барков издал «Сатиры» Кантемира и, главное, сочинил оду «На день рождения Петра III». В те же годы начали делать набор текста «Несторовой летописи», подготовленного Барковым. Этот период стал особо благоприятным в трудной и противоречивой писательской карьере Баркова. Таким образом, данный перевод интересен вдвойне: во-первых, как перевод текста, важного в историко-политическом смысле, во-вторых, как произведение автора, в те годы имевшего авторитет и недолгий успех.

Русский поэт старается передать итальянские стихи русскими функциональными эквивалентами в духе высоких торжественных жанров русского классицизма, в духе поэзии Ломоносова. Это наглядно проявляется на метрическом и грамматическом уровнях, в лексике и в мелодическом строе. Порой переводчик осложняет синтаксическую организацию стиха, например:

Се златый нам возвращаешь,
Тишина любезна, век...

А в оригинале:

Là vezzosa età dell'oro,
bella pace, tu ritorni...

Барков часто утяжеляет поэтические образы Ладзарони и его стихотворный ритм, передавая краткие итальянские стихи речитатива (семисложники, пятисложники с редкими одиннадцатисложниками) сплошным шестистопным ямбом. Показательно, например, как легкая ария,

написанная семисложниками, пре-
вращается в громоздкое стихотворе-
ние с парной рифмовкой:

Non teme della sorte
Chi nel valor confida,
Chi ha la virtù per guida
E' sempre vincitor.

L'aspetto della morte
Non teme un'alma forte,
Che vive per l'amor.

Возможно ль статья, чтоб того
какая сила
Победы, жестоко противясь, лишила,
Кто добродетелью и мужеством
своим
Искусно на войнах бывает
предводим?
Тот бедства всякие без страха
презирает,
Кто в мужестве свою надежду
полагает,
И добродетель где показывает след,
Туда свой правит путь с надеждою
побед.
Чью душу Мужество и Честность
подкрепляет,
На самой смерти вид нетрепетно
взирает,
Возможно ль статья....

Размеры, употребляемые Барко-
вым, закономерно вписываются в
традиции его времени и соответст-
вуют жанровым чертам оригинала.

Перевод Баркова не сыграл за-
метной роли в истории русской му-
зыкальной поэзии; но он является за-
мечательным примером стремления
русских поэтов, даже при исполне-
нии казенных задач, обогатить на-
циональную поэзию.

Кроме того, любопытно отме-
тить, как именно с данным перево-
дом связана некоторая известность
Баркова в XVIII — начале XIX века
за рубежом. Одно из первых упоми-
наний об Иване Баркове в Италии
не связано с пресловутой «барков-
щиной», а именно с его переводами
с итальянского. Плодовитый исто-
рик и литератор Джузеппе Компань-
они в своей «Storia dell'Impero Rus-
so» («История Русской Империи»,
1829), написанной на основе «Исто-
рии России» Леклерка и «Словаря»
Новикова, перечисляя писателей
русского классицизма, упоминает
Баркова лишь как переводчика
итальянского театра.

Ладзарони остался в России до
1772 года, когда его сменил новый
придворный либреттист Марко
Кольтеллини (1719, Ливорно — 1777,
СПб.). Кольтеллини, оставив мона-
шеский сан, женился и стал литера-

тором; в 1762 году он купил типо-
графию в Ливорно, где печатал про-
светительскую литературу (Альга-
ротти, Верри и др.). Там же в 1764 го-
ду им впервые была опубликована
знаменитая книга Чезаре Беккариа
«Dei delitti e delle pene» («О преступ-
лениях и наказаниях»).¹¹ В 1764 году
П. Метастазियो уступает Кольтеллини
должность венского придворного
поэта. На либретто Кольтеллини на-
писаны оперы К.В.Глюка, Т.Траэт-
ты, А.Сальери и др. В 1772 году Коль-
теллини, по рекомендации Траэтты,
был приглашен на придворную рос-
сийскую службу. В Петербурге, где
уже знали его либретто «Ifigenia in
Tauride» («Ифигения в Тавриде»,
1763, Вена), положенное на музыку
Б.Галуппи в 1768-м, поэт создал либ-
ретто «Antigona» («Антигона», 1772,
СПб, музыка Траэтты, русский пере-
вод И.А.Дмитревского), «Amore e
Psiche» («Амур и Психея», 1773, СПб,
музыка Траэтты), «Lucinda e Armi-
doro» («Лючинда и Армидор», 1777,
СПб, музыка Дж.Паизиелло). Осо-
бый интерес представляет либрет-
то «Антигона», к которому приложе-
на ода в честь Екатерины II: «Alla Sacra
Maestà Caterina Seconda di tutte le Rus-
sie pia, augusta, felice, Ode». Ода была
переведена прозой на французский и
русский язык: «Ода Ее Император-
скому Величеству Екатерине II Са-
модержице Всероссийской». Перевод
«Антигоны» принадлежит Ивану
Дмитревскому. В русском переводе
есть интересный пример тонического
стиха, напоминающий тактовик:

Праведные боги! Ах! возвратите
Престол законному наследнику.
Боги Фивеян! Ах! помогите
Отечества защитнику.
Вы судите действия царей;
И вы не делаете защиты...

Вероятнее всего, и прозаический
перевод оды также принадлежит ему.

В апреле 1774 года Итальянская
придворная оперная труппа пред-
ставила оперу Сальери «Armida» («Арми-
да», 1771, Вена), написанную на либ-
ретто Кольтеллини (издано в 1774,
С-Пб., перевод Дмитревского). На
это же либретто была позднее на-
писана опера Дж. Сартти («Armida e
Rinaldo», 1780, СПб). Живя в Санкт-
Петербурге, Кольтеллини продол-
жал писать либретто для компози-
торов, работавших в разных горо-
дах Европы, — И.Гайдна, Ф.В.Ру-
ста, П.Анфосси.

И в Вене и в Санкт-Петербурге не-
уживчивый и вздорный Кольтелли-
ни, случалось, конфликтовал с при-
дворными (например, со скульпто-

ром Э.-М.Фальконе) и даже с самой
императрицей. Однако предположе-
ние, что по приказу Екатерины II его
отравили за то, что он написал на
нее сатиру,¹² не подтверждается фак-
тическими данными.

Либретто Кольтеллини являются
важным этапом в развитии музы-
кальной драматургии. Учтя приме-
ры П.Метастазियो и Р.Кальцабид-
жи, Кольтеллини стремился к клас-
сической простоте и экспрессивному
единству музыки и поэзии в русле
современной ему реформы драмы.
Свою концепцию музыкальной поэ-
зии Кольтеллини изложил в письме
Фридриху Великому.

Любопытна история публикации
од поэтессы Марии Маддалены Мо-
релли (1727, Пистойя—1800, Фло-
ренция, аркадский псевдоним Cori-
la Olimpica) Алексеем Орлову и Ека-
терине II: «A sua eccellenza il Signor
Conte Alessio Orlow, plenipotenziario
e general Comandante di tutte le
Russie nei mari del Levante и Alla
Sacra Imperial Maestà di Caterina II
imperatrice e autocratrice di tutte le
Russie».

Обе оды были опубликованы в
Санкт-Петербурге в 1773 году. Од-
новременно вышли их русские про-
заические переводы.¹³ Известную
импровизаторшу и певицу, члена Об-
щества Аркадов (она была учени-
цей знаменитого скрипача Пьетро
Нардини), пригласил в Россию
сам Алексей Орлов, но Корилла
Олимпика в Россию приехать не ре-
шилась, а написала две торжест-
венные оды. Этот жанр был давно
испробован ею, так как в течение
десяти лет она служила придвор-
ной поэтессой при тосканском дво-
ре. Две оды довольно вялые и сте-
реотипные. В Орлове воспевается
доблесть и благородство, военное
мастерство и гуманность:

Affabile, gentil, cortese, umano
Sempre si mostra, e sempre equal
con tutti,
D'ambizion nemico, e fasto insano...

(«Сердечным, тонким, любезным,
гуманным / Всегда показывается,
и всегда равным всем другим, / Про-
тивник честолюбия и бессмыслен-
ного великолепия...»)

В Екатерине — красота, величие,
милость и любовь к Музам и науке.
В России снова расцветают:

Le scienze illustri, e le bell'arti
Ch'ebbero in Grecia dolce asilo
un giorno...

(«Прославленные науки и изящ-
ные искусства / Которые в старину
имели приют в Греции...»)

Через два года, в 1775 году, Мария Морелли была официально увенчана лаврами на Капитолии, как до нее Петрарка и Тассо. Пусть не Петраркой и Тассо, однако Екатерина и Алексей Орлов были воспеты их «наследницей». Правда, Мария Морелли была женщиной распутной, у нее были многочисленные любовники, и римское общество осудило ее увенчание. Не случайно на стенах Ватикана появились двустигшие на латыни:

Sacra fronde vilis frontem
meretricula cingit.
Quis vatium tua nunc praemia,
Phaebae, velit?¹⁴

(«Ничтожная шлюха венчает свое чело священной ветвью. / Кто же из певцов после этого захочет принять твой дар, о Феб?»)»

Среди итальянских поэтов, прибывших в Россию, особое место занимает Джанбаттиста Касти (1724—1803). Он приехал в Санкт-Петербург в 1778 году вместе с представителем Австрийской империи в России графом Й.Кауницем.¹⁵ Неизвестно, получил ли Касти официальный пост поэта и либреттиста при дворе Екатерины. Однако известно, что он — автор либретто «Lo sposo burlato» («Осмеянный жених», 1779) и, возможно, «La falsa amante» («Мнимая любовница»). Оба положены на музыку Дж.Паизиелло. Кроме того, Касти — автор двух торжественных од.

В России он опубликовал торжественные песни «A Caterina II Imperatrice di tutte le Russie» («Екатерине II, Императрице Всея Руси») и «Per la felice nascita di Alessandro, principe di tutte le Russie» («На счастливое рождение Александра, Самодержца Всея Руси») (1778).

В них Касти, придерживаясь обычных поэтических оборотов панегиристики, восхваляет Екатерину за ее успехи и военные триумфы, в которых она превосходит самого Петра:

In qualunque del Ciel beato giro
Viva l'alma immortal del
MAGNO PIERO
Fra Licurgo, Solon, Romolo e Ciro,
Se il guardo mai converse,
Com'io credo, all'Impero,
Che un di de' nobil suoi sudori asperse,
Oh come lieta compiacer dorassi
Che Tu i suoi gran disegni empì,
e sorpassi.

(«Во всех небесных блаженных сферах / Да здравствует бессмертная душа Петра Великого / В обществе Ликурга, Солона, Ромула и Кира. / Я верю, иногда / Он обращал взор на

свою империю, / Которую некогда полил своим благородным потом, / И тогда как должна была радоваться его душа тому, / Что ты его замыслы исполняешь и превосходишь».)

Поэт прославляет Чесменскую победу, мироносную сущность екатерининской политики, покровительство, которое она оказывает наукам и искусствам.

В другой оде Касти восхваляет наследника Александра Павловича:

Nacque di regal pianta il gran
Germoglio,
La sospirata Prole,
Speme del Russo Impero,
Che destinato è a riempir quel Soglio,
Ove assiso il GRAN PIERO,
Cui l'universo ognor venera, e cole,
Qual disceso dal Cielo propizio nume,
Di popoli cangiò genio, e costume.

(«Родился от царского растения великий Росток / Тот долгожданный Наследник, / Надежда Российской Империи, / Который предназначен занимать Престол, / Где сидел Петр Великий, / Которого вселенная чтит и уважает, / Как с Неба спустившегося благого бога, / Чей гений преобразовал нрав народов».)

Город Петра он называет «del Settentrione Città Reina» («Севера Столица-Царица»). Сразу приходят на ум знаменитые строки из пушкинского «Медного всадника»: «И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфиросная вдова».

Несколько лет спустя, находясь в Испании (1780—1781), Касти задумал целую поэму, посвященную России, но с противоположной идейной ориентацией. Так рождается «Il Poeta Tartaro» («Татарская поэма»), законченная в 1783 году, но изданная лишь пятнадцать лет спустя (в 1796 г. в Милане) анонимно.

Поэма, состоящая из 12 песен, полемически сопоставляет Россию с Монгольским ханством XII века. В ней в резких выражениях дается описание свирепого восточного деспотизма и сатирически разоблачаются дикие и жестокие нравы екатерининского времени. Все действующие лица выступают в «монгольских масках». Под личиной Чингисхана нетрудно узнать Петра Первого, Екатерина легко узнается в образе Каттуне (т. е. Торогана-катун), Павел — в Гуюкхане и т. д. Предполагают, что сюжет поэмы основан на известной книге де Гиня (de Guigne) «Histoire générale des Huns», а также на донесениях Джованни Пиан де Карпини.

Выбор «татарских масок» для описания екатерининской России, с

одной стороны, восходит к традиционному отождествлению России с Востоком, и в частности с «Regno di Tartaria», с другой же — звучит как пародийное травестирование «татарской темы» в сочинениях самой Екатерины («Сказка о царевиче Хлоре», послужившая образной основой державинской «Оды к Фелице»).

Касти стремится перевернуть все обиходные представления о послепетровской России, которые существовали в просветительских кругах. В сатирических тонах, не чуждаясь издевки, он описывает псевдолиберальные законодательные мероприятия Екатерины, ее «Наказ», мнимое покровительство искусствам и наукам, осмеивает восторг перед Екатериной со стороны «philosophes».

Несомненно, личные впечатления поэта дали большой материал для сюжета, описаний и характеристик персонажей. Забавно выглядят картины хорошо известной Касти придворной жизни с ее интригами, заговорами, изменами. Живо нарисованы фавориты императрицы: Орлов (в поэме — Cuslucco) назван «большим и толстым волком с глупым, бессмысленным взглядом», не более лестной является и характеристика Потемкина.

Особенно живописно переданы в поэме события пугачевского бунта. Поэт дает волю своему перу, рисуя жуткие картины жестокостей, насилий, репрессий:

Dissotterraro ogni padrone ucciso,
E in luogo suo lo schiavo ancor vivente
Poservi, e sopra lui di marcia intriso
Distesero il cadavere fetente,
Piede a piè, ventre a ventre e viso a viso,
E li risepelliron nuovamente,
Perché il padron o vivo o morto ancora
Star dee disopra, e il servo sotto ognora

(«Выкопали каждого убитого помещика из могилы, а на его место положили его раба живьем, а на него положили сверху пропитанный гнилью, смедящий труп — нога к ноге, чрево к чреву, лицо к лицу — и похоронили заново, так чтобы хозяин, живой или хотя бы мертвый, всегда был сверху, а раб — всегда снизу».)

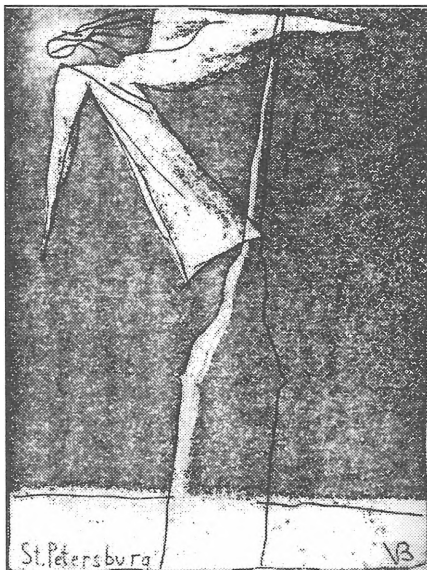
Девятую песнь своей поэмы Касти переделал в драму «Cublai, gran Khan de' Tartari» («Кублай, великий татарский Хан»). Использовал поэму Касти и Байрон, когда описывал приключения Дон Жуана в Петербурге.

Последним официальным придворным поэтом стал Фердинандо Моретти (Moretti) (?), Милан — 1807, СПб.), итальянский либреттист, кото-

рый у себя на родине был известен как автор многих оперных либретто. Он приехал в Санкт-Петербург в 1784 году и, вероятно благодаря протекции композитора Дж.Сарти, с которым еще до приезда в Россию написал несколько опер для миланского театра Ла Скала, был приглашен на придворную службу. В России Моретти написал немало оперных либретто, кантат и торжественных стихов для композиторов, работавших при русском дворе. Среди них опера-сериа «Idalide» («Идалида», музыка Сарти, С-Пб, 1785, 1-я постановка — 1783, Милан), позднее на это же либретто написана опера Д.Чимарозы «La Vergine del Sole» («Дева солнца», 1788), «Castore e Pollice» («Кастор и Поллукс», музыка Дж.Сарти, 1785, С-Пб), опера-сериа «Cleopatra» («Клеопатра», музыка Д.Чимарозы, 1789), «Andromeda» («Андромеда», музыка Дж.Сарти, С-Пб), «Enea nel Lazio» («Эней в Лациуме», музыка Дж.Сарти, 1799, С-Пб), «Alessandro» («Александр», музыка Ф.Г.Химмеля, С-Пб), а также множество кантат: «La Scelta d'Amore» («Выбор любви», музыка Дж.Сарти, 1786, С-Пб), «La Felicità inaspettata» и «Atene edificata» («Нежданное счастье» и «Воздвижение Афин», музыка Д.Чимарозы, С-Пб), «La Deità benefica» («Благодетельное божество», музыка В.Мартин-и-Солера, 1790), «Il Tributo» («Дань», музыка В.Мартин-и-Солера, 1796), «Il Genio della Russia» («Гений России», кантата на коронацию Павла I, музыка Дж.Сарти, 1797), «La Gloria d'Imeneo» («Слава Гименею», кантата в честь бракосочетания великой княжны Александры Павловны, музыка Дж.Сарти, 1799). Все свои стихотворные сочинения Моретти опубликовал в Санкт-Петербурге в 1794 году. Данный четырехтомник является первым собранием музыкальной поэзии, изданным в России.

Особое место в ряду его либретто занимает «Клеопатра». Есть основания предполагать, что эта опера могла оказать влияние на творчество Ивана Крылова, в частности на его утраченную одноименную пьесу.¹⁶ С другой стороны, это — не первый случай, когда в России тема Клеопатры оказывается связанной с итальянской поэзией. Эта тема уже встречалась в либретто Пьетро Метастазо «L'impresario delle Canarie», которое в 1735 году было переведено Третиаковским под названием «Подряточник оперы. Востровы Канарийские».¹⁷ Разумеется, самый знаменитый случай — пушкинский импровизатор из «Египетских ночей».

На этом панорама итальянских стихотворцев в России XVIII века завершается. Однако история итальянского поэтического творчества на Руси этим, конечно, не заканчивается. Оно продолжалось и в последующие века. Стоит, например, вспомнить импровизаторов или поэтов итальянских общин южной России, особенно одесских. Однако именно в XVIII веке это творчество было особенно оригинальным и имело безусловное влияние на развитие русской национальной поэзии. Надеемся, что дальнейшие разыскания расширят представленную здесь картину. Мы ограничились творчеством поэтов-профессионалов, но можно было бы привести и более разнородные материалы. Например, обратиться к литературному наследию художников, композиторов и многих других итальянских интеллектуалов, оказавшихся на русской земле. Стоит упомянуть о влиянии Г.Р.Державина на творчество художника Сальваторе Тончи (1756—1844), не столько в связи с деятельностью Тончи-живописца, сколько в связи с его поэтическим творчеством в России. Стихотворное наследие Тончи до сих пор полностью не опубликовано. Среди опубликованных стихов стоит упомянуть сборник 1831 года «Poesie italiane d'un Russo, dedicate all'Italia, sua cara antica Patria» («Итальянские стихи Русского, посвященные Италии, его старой, любимой Родине»). Безусловно, отсюда стоило бы отправиться на дальнейшие поиски.



Санкт-Петербург.
Художник В.Бабанов. 1997 г. Офорт.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Серман И.З. Ломоносов и придворные итальянские стихотворцы 1740-х годов // В кн. Международные связи русской литературы, М.—Л., 1963. С. 118.

²Гозенмуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959. С. 59—60.

³Серман И.З. Ломоносов и придворные итальянские стихотворцы 1740-х годов. С. 117.

⁴Музыкальный Петербург. Энциклопедический словарь. XVIII век. Кн. 1. Стефан Гардзонио. «Бонекки». СПб., 1996. С. 145.

⁵Впоследствии Локателли работал трактирщиком в царском «Красном Кабаке» в Екатеринбург. Тут его встретил Казанова в 1765 году см.: R.-A. Mooser. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII^e siècle. I. P. 275.

⁶Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772. С. 15.

⁷Сочинения и переводы И.С.Баркова. СПб., 1872. С. 3.

⁸Степанов В.П. Барков Иван Семенович // В кн. Словарь русских писателей XVIII века. Выпуск 1. Л., 1988. С. 58. Ту же информацию, очевидно из статьи В.П.Степанова, приводит Н.Сапов в своем биографическом очерке «Иван Барков» в кн. Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова. М., 1992. С. 30.

⁹Mooser R.-A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII^e siècle, T. I. P. 352.

¹⁰Штетлин Я.Я. Музыка и балет в России XVIII века. Л., 1935. С. 123.

¹¹Loreto Tozzi A.M. Coltellini Marco, in Dizionario Biografico degli italiani. Roma. 1982. T. 27. P. 489—492.

¹²Bonaventura A. Musicisti livornesi, Livorno. 1930. P. 37.

¹³«Его сиятельству графу Алексею Григорьевичу Орлову, полномочному и главнокомандующему генералу над войсками е.и.в.Самодержицы Всероссийской в Средиземном море, разных орденов кавалеру и проч.» и «Священнейшему Имп. Величеству Екатерине...» (СПб., 1773).

¹⁴Mooser R.-A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII^e siècle. T. II. P. 214.

¹⁵Ibid. P. 254.

¹⁶О трагедии Крылова «Клеопатра» см.: Крылов И.А. Сочинения. Т. 2. Драматургия. М., 1946. С. 749.

¹⁷Ария Клеопатры в опере Метастазо-Гассе была, наверно, заимствована из оперы-сериа «Клеопатра» Д.Кастровиллари. См.: Гозенмуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. С. 33.

Сочинение для органа князя В.Ф.Одоевского — *Andante grazioso* памяти Й. Гайдна (1847)

Юрий СЕМЕНОВ

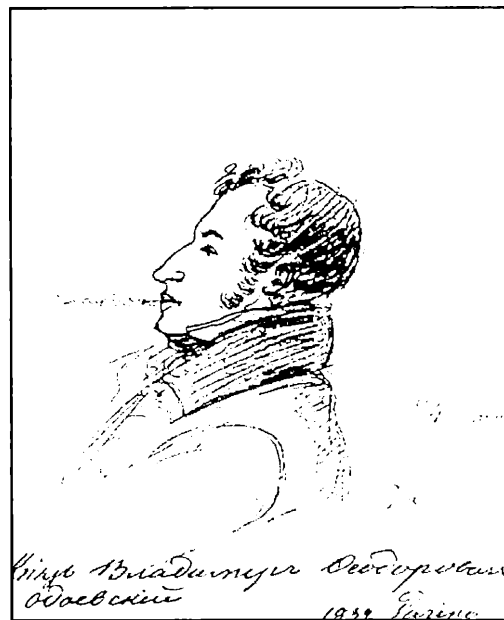
В конце 1840-х годов В.Ф.Одоевский, большой поклонник И.С.Баха, крупнейший знаток и ценитель его гения, заказал для себя специальный домашний орган, названный им в честь великого немецкого композитора «Себастьяном». Инструмент был установлен в казенной квартире, которую занимал князь в Румянцевском музее на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Известно, что Одоевский исполнял на этом органе *собственные органные сочинения*. Их принято считать первыми русскими сочинениями для органа, положившими начало отечественной органной музыке. Однако возможно, что датой рождения русской музыки для органа стало лето 1847 года.

Летом князь уезжал в Ронгас, свое приморское имение близ Выборга. «Мой кусочек камня посреди водичи», — говаривал хозяин. Там, по воспоминаниям В.А.Инсарского, дни «мгновенно пролетали в прогулках по каменным глыбам, которые осыпали Ронгас; в поездках по морю, в купаньях, в рыбной ловле и наконец в роскошнейших трапезах, на которые князь такой великий мастер». Окрестности Выборга летом становились прибежищем для многих петербуржцев, среди них мелькали и знаменитости. Обитатели столицы стремились «вынырнуть из душного Петербурга и освежиться духом и телом в блаженной Чухландии». Помимо радостей загородной жизни, особую притягательность этих мест для Одоевского составляла близость Выборга — европейского средневекового города-крепости, что находился в 14 верстах от имения князя. Это обстоятельство сыграло немаловажную роль в музыкальных увлечениях Одоевского, как, впрочем, и в истории русской органной музыки.

Представим, в каком волнении проделывал Одоевский путь от Ронгаса до Выборга. Он проезжал в дорожной коляске по проселочным дорогам, затем по мощеным или вырубленным в камне городским улицам, оставлял коляску неподалеку от Ратушной площади и стучал в

тяжелую дверь. В сопровождении церковного сторожа и слуги Одоевский поднимался по узкой деревянной лестнице на хоры лютеранской немецкой церкви Св.Петра, восходил к органу (к небу!) — подобно тому как совершал этот путь великий кантор. Церковный 20-регистравый орган с двумя клавиатурами для рук (князь их называл «мануаль» и «оберверк») и клавиатурой, предназначенной для игры ногами, был сработан немецкими мастерами из Ганновера и помещался здесь уже восемь лет. Князь устраивался за органом, слуга же отправлялся в небольшую круглую комнату с окном на площадь. В той комнате располагались мехи органа, которые слуга, по сигналу специального колокольчика, должен был начать раздувать. Одоевский разыгрывал свои фантазии, переходя от одной вариации к другой, временами прерывался и стремительно записывал только что отзвучавшее под сводами храма. Он тщательно фиксировал свои музыкальные идеи — отточенным гусиным пером на больших листах нотной бумаги, — не ленился делать пометы, на каком мануале и при каких включенных регистрах органа тот или иной фрагмент звучит особенно хорошо.

Мысль о том, что именно таким был процесс сочинения музыки у Баха, придавала князю столько сил и воодушевления в занятиях, что к концу лета 1847 года Одоевский вполне освоился в особенностях игры на мануалах и педали органа. Тому немало способствовали усердные упражнения по сборнику специальных пьес и экзерсисов для начинающих органистов, автором которых являлся ученик ученика Баха (Киттеля) Иоганн Кристиан Ринк, известный органист и камер-музикус великого герцога Людвига I, к тому же весьма авторитетный педагог. Сборник имел подходящее к случаю название: «Die drei ersten Monate auf die Orgel» («Три первых месяца за органом»). И главное, Одоевский начал сочи-



В.Ф.Одоевский. 1832 г. Рисунок.

нять собственные пьесы для органа с двумя мануалами и педалью.

Так, 43-летний литератор, автор известной новеллы о Себастьяне Бахе, в которой он призвал Баха в XIX век и спроецировал его творчество и личность на «век нынешний», получил уникальную возможность прочувствовать на собственном композиторском опыте *процесс творчества* церковного органиста.

«...Музыка, особенно Гайднова, производит на меня чувство отрадное, успокаивающее...»

Одоевский. «Последний квартет Бетховена»

После И.С.Баха Одоевский ценил выше других «вдохновенного старца» Йозефа Гайдна. Дважды он обращался к Гайдну в своей критической деятельности в связи с исполнением его ораторий «Времена года» и «Сотворение мира» в Петербурге. В рецензиях 1836 года Одоевский отмечает, что в музыке Гайдна его

привлекают и безграничная творческая фантазия композитора, и «строгое гайдновское единство». Оттого посвящение *Andante grazioso*, одного из первых органных сочинений князя, памяти Гайдна кажется естественным. Но странное дело: почему Одоевский отдает предпочтение не боготворимому им Баху, а Гайдну? И 1847 год не давал внешних поводов для мемориальных почестей Гайдну: он родился в 1732-м, умер в 1809 году.

Тому, кто знаком с автографом пьесы, возможно, показалось необычным странное многоязычие ее титульного листа, гласящее: «*Andante grazioso à mémoire de Joseph Haydn für Orgel*». В этом случае смешение трех языков в названии, нетипичное для Одоевского, воспринимается как некий условный сигнал автора, смысл которого предстоит расшифровать еще до того, как пьеса прозвучит. Автор предполагает найти в слушателе внимательного и заинтересованного соучастника предстоящего исполнения, так как оба они — и автор, и слушатель — являются лицами посвященными и обладают знанием неких тайных значений. Посмотрим, что сообщает Одоевский названием пьесы: а) *Andante* — умеренный темп в характере обычного шага; в XVIII веке обозначал движение грациозное и не очень медленное; в) в посвящении содержится ключевое слово — *HAYDN*, в котором сокрыта основная интрига сочинения; с) наконец, *für Orgel* вызывает цепочку ассоциаций, среди которых имя величайшего композитора и органиста Германии.

Перечитывая слова посвящения и размышляя над смыслом, заложенным в них, мы невольно вспоминаем и другое посвящение князя. На рукописи одной из ранних фуг Одоевского обращает на себя внимание надпись: «Посв. Тени Себастиана Баха. 1827. Июля 27-го».

В ТЕНИ БАХА

«Что в имени тебе моем?..»
Пушкин, 1830 г.

Ключ к разгадке тайны посвящения находим в известной новелле Одоевского о Бахе. Рассмотрим два ее фрагмента:

«...Себастьян... же словесным языком говорил мало, — он говорил только звуками органа. А вы не можете себе вообразить, как трудно с этого небесного, беспредельного языка переводить на наш сжатый, сме-

шанный с прахом жизни язык. Иногда мне на четыре ноты приходится писать целый том комментариев, и все-таки эти четыре ноты яснее моего тома говорят для того, кто умеет понимать их».

«Таков должен быть художник — таков был Бах; подписывая денежную сделку, он заметил, что буквы его имени составляют оригинальную, богатую мелодию, и написал на нее фугу; услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, к какого рода гамме принадлежали звуки, им слышанные...»



Первые звуки, образующие мелодический рисунок *Andante grazioso*, своим происхождением обязаны «Тени Себастиана Баха»: их прообраз обнаруживаем в баховской хоральной обработке «*Dies sind die heiligen zehen Gebot*» (BWV 678) для 2-мануального органа с педалью:



Здесь ноты *си-ля-соль-ре* читаем как *H - A - Y - D*.

Используя этот мотив-символ для темы *Andante*, Одоевский, очевидно, желал избежать прямолинейного цитирования. Одоевский старательно зашифровал источник при помощи следующих действий: 1) сменой размера (3/4 против 6/4 у Баха) он ловко выполнил «перевод» одного жанра (хорал) в другой (менуэт); 2) обозначение *Andante grazioso* автор, возможно, заимствовал из органных миниатюр Ринка; 3) сместил G-dur'ный мотив в тональность Es-dur. Впрочем, возвращая музыкальную тему Одоевского в тональность G-dur, мы находим и звуковую проекцию недостающей буквы «N»: она спрятана в графике рисунка *группетто*: символе ∞.



Здесь ноты *си-ля-соль-ре-си/ми-до-диез/ре-ми-ре-до-диез-ре* читаем как *H - A - Y / = G / - D - N / = ∞ /*.

«Музыкальное приношение» Й. Гайдну — первая серьезная композиция музыканта-любителя

В. Ф. Одоевского для большого органа. Сочинение открывается *vorspiel'em*, своего рода музыкально-психологическим портретом мэтра. Одоевский не без мягкого юмора рисует образ минувших дней, используя для этого выразительные особенности аккомпанемента и неожиданные гармонические «сюрпризы»: Гайдн, который величествен, трогателен и забавен, «появляется» по воле Одоевского (и звучащей монограммы) в сопровождении менуэта — галантного танца века мушек и пудренных париков. Следующее за форшилем простодушно-наивное *трио* написано в форме вариаций. *Трио* завершает троекратное проведение темы-монограммы на органном пункте, что звучит как воззвание к духу: «Явись!» После излюбленного Одоевским унисона начинается *финал*, построенный на многократном, с эффектом эха, повторении темы-монограммы. Тема — и с нею имя Гайдна — приобретает характер возвышенный и грандиозный.

ЗАГАДКИ АВТОГРАФА

Автограф сочинения князя Одоевского весьма необычен. Вместо привычной для органной музыки записи на трехнотных строках (нотных станках) Одоевский неожиданно использует новейшую для его времени четырехстрочную нотацию. Многострочную «партитурную» запись встречаем в органных сочинениях Ф. Мендельсона-Бартольди. Возможно, князь приглянулся прием игры «квартетом», когда 4 голоса исполняются музыкантом сильно перекрещенными руками на разных мануалах органа в сопровождении педали (т.е. соло — 1 голос, аккомпанемент — 2 голоса, педаль — 1).

Много хлопот, особенно при чтении с листа, исполнителю доставляет другое свойство текстов Одоевского: неизменный пропуск ключей, ключевых знаков, знаков альтерации. Это обстоятельство связано, по видимому, с поглощенностью князя процессом сочинения за органом. Он тщательно выписывал лишь то, что считал *главным*: смены и комбинации мануалов, включение новых регистров в финале пьесы. К тому добавляется еще одна странность: законченный текст вторгаются фрагменты неких эскизов, как будто вламывающихся сочинение изнутри. Но удивительно: вслед за этим сочинение течет как ни в чем не бывало.

«Странности» автографа *Andante grazioso* подвели исследователей к

выводу о том, что «подавляющее большинство опусов Одоевского, в том числе для органа (незавершенное *Andante grazioso* памяти Йозефа Гайдна, писавшееся в Выборге в 1847 году, и другие) — не более чем фрагменты записанных импровизаций» (М.Б.Шахин). Такого же мнения придерживался известный исследователь русской органной музыки Л.И.Ройзман. Однако при ближайшем рассмотрении этот вывод не нашел подтверждения.

Более 150 лет самобытный законченный органной опус Одоевского считался «фрагментом импровизации», казался малопонятным всем, кто имел возможность ознакомиться с ним. Причину такого положения дел, вероятно, следует искать в 1869 году. 27 февраля Одоевского не стало. Его жена Ольга Степановна 23 марта 1869 года обратилась с письмом на имя председателя дирекции Московского отделения Русского Музыкального Общества Н.П.Трубецкого, в котором, в частности, писала о желании «почтить память супруга на почве научно-музыкальной его деятельности пожертвованием в полную собственность консерватории того отдела его библиотеки, в котором хранятся творения заветных его представителей музыкального мира». И далее: «С этой целью я поручила лицу мне близкому составить подробную опись как этим собраниям нот и книг, так равно и разным музыкальным и аку-

стическим его инструментам, присланных мною в дар консерватории совокупно с поименованною коллекцией нот и книг». Во время проведения описи — в том числе и сочинений самого князя — отдельные разрозненные листы, на которых было записано *Andante grazioso*, получили номера, что при составлении акта передачи означало: данный манускрипт состоит из такого-то количества листов. В дальнейшем, уже при брошюровании, случилось беспрецедентное: учетные номера листов были восприняты как пагинация их. В результате этого происшествия пьеса Одоевского оказалась вторично надежно зашифрованной, а за автором надолго закрепилось нелестное определение «дилетант».

Сегодня, когда авторский текст Одоевского восстановлен, мы не можем не удивляться поразительной энергии и талантливости этого человека: за несколько летних месяцев 1847 года он освоил сложный музыкальный инструмент и создал для него собственные оригинальные композиции: «*Andante grazioso à la mémoir de Joseph Haydn, Andante G-dur*», а также эскиз к грандиозному сочинению (именно его наброски разрывают текст *Andante*), которое завершит следующим летом, — «*Sarabande à 4 mais pour l'Orgue à deux Claviers et Pedal*».

Органное сочинение В.Ф.Одоевского по праву можно считать вы-

дающимся памятником русской музыкальной культуры. Князь Одоевский оказал огромное влияние — как музыкант и как критик — на формирование отечественной музыкальной профессиональной традиции в лице Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Серова. Обладая энциклопедическими знаниями в различных областях, Одоевский действовал не только добрым советом, но и собственным музыкальным творчеством. Композиции Одоевского (в том числе и органное) заслужили уважительные отзывы таких авторитетных музыкантов, как Рубинштейн, Балакирев, Чайковский.

Возвратившись осенью 1847 года в Петербург, Одоевский, переполненный впечатлениями от музицирования на органе Майера в выборгской церкви Св.Петра, почувствовал, что не сможет не продолжить органных занятий и в зимней столице. Князь, всегда денежно стесненный, решает завести у себя в казенной квартире на Английской набережной кабинетный орган, будущий знаменитый «Себастьянон». На этом органе впоследствии любил играть Глинка. По примеру Одоевского домашние органы вскоре завели у себя В.В.Стасов, В.П.Энгельгардт, близкий приятель Глинки, и великий князь Константин Николаевич, установивший инструмент в Мраморном дворце.

Приключения органа с музыкальными часами англичанина Уильяма Уинроу*

Юрий СЕМЕНОВ

Среди пассажиров английского торгового судна, вошедшего в Неву осенью 1745 года и бросившего якорь неподалеку от пересечения Большой и Малой Невы, находился некий господин Уильям Уинроу. На вопрос таможенного чиновника о содержимом ящиков г-на Уинроу тот отвечал, что он-де мастер Уинроу и «прибыл в Санкт-Петербург с собственным своим музыкальным машином, которая играет целые органские кон-

церты презрительнейшим и приятным образом». Среди вещей Уинроу находилась «також другая инструмента, то есть орган с клавиатурой (с клавиатурой. — Ю.С.), которая играть можно обе вдруг или особо поособно».

Без большого труда он получил разрешение выставить означенные инструменты в доме, стоявшем неподалеку от старого Летнего дворца. Спустя несколько недель инструменты были готовы к показу.

Часы-орган, изобретенные и изготовленные мастером Уинроу из Лондона, внешне были похожи на предназначенный для украшения зала

или комнаты английский cabinet из красного дерева, с легкими золочеными планками и резьбой; он имел 10 футов в высоту, в нижней половине — 7–8 футов, а в верхней — 5 футов ширины. На переднем плане, под зеркальным стеклом, помещался огромный циферблат с обозначением часов, минут и секунд. Кроме него здесь же было изображено движение солнца и вечный календарь, над которым у фронтона cabinet'a вращался большой шар, представлявший точные фазы луны. Открывая замаскированный карниз подставки, в которой помещался большой орган — так же, как в верхней части

*Уинроу (Винроу, Винрове) Уильям — английский часовщик («машинный мастер»). Работал в Лондоне. В 1718—34 гг. являлся членом Часовой Гильдии.

часовой механизм и связанный с ним второй, малый, орган, — вы обнаруживали перед собой клавиатуру. У подставки для ног выдавалась наружу головка педали. Играть можно было на обоих органах одновременно или на одном из них, снабженном очень легкой, как на клавесине, механикой, и из 12 различных регистров извлекать все, что дает орган средней величины. Помимо этого инструмент самостоятельно исполнял каждый час одну арию, или один концерт, или — после того как он был для этого заведен, в течение многих часов — целые дюжины прекраснейших и труднейших концертов.

В веселые зимние месяцы — ноябрь, декабрь и январь — мастер Уинроу каждый день устраивал представления своих замечательных машин для всех желающих их видеть. Англичанин сообщал публичке, что он привез «в Питербурху для продажи органную и часовую машину» и что «она изобретенная машина еще первая в свете», после чего спектакль начинался. Часы тихонько вступали со своей музыкой, мастер Уинроу открывал стеклянную дверцу, переводил стрелку на верхнем правом малом циферблате, и мелодии сменяли одна другую 14 раз, и столько же раз мастер переключал рычажки регистров органа, так что новая пьеса звучала в присутщей только ей одной звучности. Публика в недоумении ахала, пыталась разглядеть сквозь чугунную литую решетку часов, украшенную масками и музыкальными инструментами, кто прячется внутри, не веря, что все делают сами собой пружины и шестеренки. Особо ретивые господа требовали открыть дверцы, надеясь, что смогут обнаружить спрятавшегося в глубине корпуса карлика или, быть может, мальчика. Затем на скрытом втором органе уже играл музыкант, который переключал рукоятки, расположенные слева и справа от клавиатуры, и, сменяя друг друга, залу наполняли то мощные, то нежные звуки. Начиналось состязание человека с машиной. Вот органист ловко играет одну за другой пьесы знаменитых сочинителей, но и автомат старается превзойти его в искусстве игры, а сам Уинроу в это время расхаживает по залу, говоря, что его часовая машина «играет презрительнейшим образом, гораздо превосходнее нежели музыканты руками». Сюрпризом в этом представлении было явление придельной к задней стенке часов фигурки, изображающей (и весьма похоже) знаменитого английского доктора музыки Генде-

ля. Он двигался и свитком нот в руке непрерывно и точнейшим образом отбивал такт в каждой пьесе. Успех был полный, и число желающих увидеть и услышать музыкальные представления машин Уинроу не уменьшалось. Так продолжалось 4 месяца.

Февраля 26 дня 1746 года за окнами послышался стук копыт и скрип полозьев. Через минуту в дверях залы показались гвардейцы, вошла императрица Елизавета Петровна и «всемилодившише смотреть и играние слушать... соизволила». Вскоре Уинроу был уведомен о том, «что Ее Императорскому Величеству... инструменты приятны и купить их намерены были». Барон и кавалер И.А. Черкасов запрашивал Уинроу, не желает ли тот «остаться в России для обучения росискаго народу?», на что иностранный умелец отвечал, что «понеже [он] усмотрел что [надобно] искоснаго человека здесь весьма потребна, для чищения, и починки богатых как стенных так и карманных с репетицією и протчих при дворе Вашего Императорского Величества часов которых здесь без посылки в Англию исправлять невозможно, [то он не откажет] ежели настоящий договор [с ним] учинен будет».

После этого разговора органист Фалбин приказ имел перенести инструменты в другие помещения, что находились поблизости, а именно, в галерею в Летнем доме. Окрыленный посещением «дщери Петровой», разговором с Черкасовым и сведениями о предполагаемой покупке машин Ее Императорским Величеством Уинроу уезжает на несколько дней в Кронштадт.

Вернувшись в Петербург, Уинроу тотчас отправился проведать, хорошо ли установлены его органы на новом месте. Однако дворцовая стража его не пропустила. Тогда мастер отправился к помянутому Фалбину домой и просил, чтобы тот провел его в галерею, где стоят органы, «и что[бы] двери органов были запечатаны его [Вильямовой] печатью». На что Фалбин отвечал мастеру Уинроу, «что имел он от Ея Императорского Величества чрез кабинет приказ: чтоб ему двери [инструментов] печатать и [мастера Уинроу] недопущать». Так «инструменты остались под смотрением его [Фалбина] в Летнем дворце Елизаветы Петровны.

Закончился 1746 год. Прошли еще два года. На новый, 1749 год двор Ее Императорского Величества, выехав из Петербурга 15 декабря, прибыл в Москву 18 декабря 1748 года. Вскоре туда же отправлен был

смотритель органов Фалбин, а Уинроу не на шутку обеспокоился.

26 февраля 1749 года Уинроу пишет письмо милорду Гиндфорду, в котором просит «милостиво заступити, дабы я знать мог желает ли Ее Императорское Величество оную машину иметь или нет? В случае же что та машина... негодна чтобы я получил Указ оную из Государства вывести; я здесь по четверта года с оной будучи, не могу никакого дела по моему мастерству найти». Письмо было перехвачено, о содержании должен «екстракт» Черкасову, который обращается за разъяснениями к барону Якову Вольфу, английскому купцу и генеральному консулу. Вольф оправдывает действия мастера: хотя Уинроу и было сообщено, «что органная и часовая машины... Ее Императорскому Величеству негодны», однако, как сообщает Вольф, лекарь Френар обнадежил Уинроу, дав ему адрес графини Шереметевой и обещав ходатайствовать перед ней. Вольф сообщает (правда, ошибочно) об имеющемся разрешении на вывоз инструментов и заканчивает письмо словами: «покорно прошу ево безсчастному... ево машину безпошлинно из государства отпустить». Впервые в бумагах упоминается пошлина в качестве причины задержки машин в Петербурге. Раз уж Уинроу утверждал, что его детище, музыкальная машина, «еще первая в Свете», ни коммерц-коллегия, ни кабинет императрицы не знали, какую взять пошлину за ввоз и вывоз из России такой уникальной вещи. Готовится императорский указ (апрель 1749), но в силу так и не вступает. Судя по многочисленным исправлениям, текст указа несет следы явных сомнений, а итоговое содержание документа неясно.

25 июля 1750 года Уинроу составляет челобитную императрице, которую с его слов записывает на гербовой бумаге Адмиралтейского ведения магазин-вахтер Иван Петров, где мастер обращается к государыне со словами: «понеже я здесь жил в сомнении будут ли инструменты Вашему Императорскому Величеству угодны или нет, отчего трагую времени и буден в чужем Государстве ни у каких дел претерпевал немалые убытия». Уинроу просит разрешить его дело. Будучи уверенным, что теперь все справедливо и быстро разрешится, Уинроу дает объявление об отъезде в «Санкт-Петербургских ведомостях» (№ 77, 25 сентября 1750 года):

«Английской машинной и часовой мастер Вилиамъ Винрове едетъ

отсюда; и ежели имеются на нем чьи долги, или какие дела до него касаются, то сыскать его можно на Адмиралтейской стороне близ галерного двора в доме Его Сиятельства графа Мартына Карловича Скавронского». Из этого объявления мы наконец узнаем имя одного из покровителей английского мастера, давшего ему приют осенью 1750 года. Но челобитная Уинроу, судя по всему, не дошла до императрицы.

В 1752 году в судьбе Уинроу по-прежнему не было никаких перемен. В декабре двор вновь начал собираться в Москву. Уинроу смог передать через канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина свое прошение к Ее Императорскому Величеству.

Весной 1753 года Уинроу сам добрался до Москвы и вновь встретился с Бестужевым-Рюминым. 3 августа 1753 года Бестужев-Рюмин сообщает некоему высокопоставленному сановнику (в письмах канцлер называет его «превосходительный барон»), что «бедный часовой мастер англичанин Винрова... от нестерпимой крайности сам сюда [в Москву] приехал», и обращается с просьбой «решительное с ним окончание сделать». С прошением мастер передал и записку, содержащую оценку стоимости машин: «большому органу фунт стерлингов 2 600, а малый орган 200». За все вместе мастер запросил 2 900 фунтов стерлингов (или 15 000 рублей).

Наконец 22 января 1754 года И.А.Черкасов получает сообщение о том, что «Ее Императорское Величество все милостивейшая государыня Указать соизволила привезенную из Англии малую часовую органную машину осмотрев принять от англичанина Уинроу в целости за которую ему Уинроу выдать тысячу рублей: да сверх того из монаршего своего милосердия по его иностранству внаграждение пятьсот рублей а большую часовую машину выпустить за море безошлинно... а ему Уинроу оной высочайший Указ объявлен».

Начинается следующий этап переписки и согласований между различными ведомствами. Генерал-лейтенант В.В.Фермор получает предписание: разыскать англичанина в Москве и доставить его в Санкт-Петербург, что он и выполняет. В Петербурге Фермор и колокольной иг-

ральной музыки мастер И.Я.Ферстер, определенный Канцелярией от строений для приема малой часовой машины, предлагают Уинроу отремонтировать, но почему-то «большую органную машину». Ошибки быть не могло: Ферстер принимает от Уинроу с починкой инструмент, который «состоят такмо органы с клавицын такмо в которыя играет руками, а не машиною а кроме того при тех

рыни путем подлога, т. к. машина, которая «мастером Ферстером принята и состоит в ней токмо органы с клавицинбалом, в которые играют руками а не машиною».

Однако кто кого обманывал?

Новым указом от 15 июля 1754 года Елизавета Петровна приказывала: считать большую органную машину «малой часовой органной машиной», «взять оные органы с клавицинбалом ест кой она виде»; мастеру же заплатить за нее... цену малой часовой машины.

Вот он счастливый финал: мастер «прощен» и, вероятно, освобожден из-под стражи, а императрица сэкономила на покупке, заплатив англичанину вместо 15 000 рублей лишь 1500. Какая интрига, каков режиссер! Как уже догадывается читатель, часы на самом деле куда из дворца не исчезли. Лишь на какое-то время, пока Уинроу находился в особых покоях, они, конечно, были перенесены в соседнюю комнату и вскоре возвращены на свое прежнее место. Как забавно было присутствовавшим наблюдать растерянность англичанина. Ах, «любила очень веселиться веселая императрица Елисавет!»

Эта история породила невероятные слухи вокруг Уинроу и его судьбы. Но Уинроу, скорее всего, благополучно вернулся в Лондон, где и значился среди часовых мастеров 1760 года. С машинами Уинроу и после его отъезда долгое время была путаница. Еще в 1757 году кабинет императрицы, вероятно сбитый с толку высочайшими указами, справлялся в коммерц-коллегии, «была ли органная и часовая машина англичанина Кинова с ним или с кем другим из Петербурга выпущена».

Итак, оба органа Уинроу, находясь в Летнем дворце Елизаветы Петровны с 1746 года, то вместе, то порознь участвуют в развлечениях двора. Об этом свидетельствуют, в частности, поломка в большом органе, устраненная Уинроу в 1754 году, и встречающееся в документах упоминание о том, что инструменты переносились из одних помещений в другие.

Что касается музыкальных забав при дворе Елизаветы, уместно вспомнить опыт с некими органными часами, которые находились в Петербурге в середине XVIII века. Здесь



Органная и часовая машины англичанина Уинроу, выставленные во дворце Меншикова. Рядом — автор статьи Юрий Семенов, качающий мехи органа.

арганах как часов так и других никаких машинных штук не имеца». Уинроу получает в качестве аванса 190 рублей от Соляного комиссарства (10 рублей вычли за проезд из Москвы в Петербург). С него взята расписка о выдаче денег, а в кабинет императрицы направлен «Покорнейший Репорт». 19 мая 1754 года двор вернулся в Петербург, но Уинроу все еще не выплатили основную сумму, означенную в императорском указе. 13 июля 1754 года был составлен доклад, авторами которого выступали Фермор и, по-видимому, Ферстер. Они предупреждали императрицу о вопиющей попытке обмана госуда-

жил тогда некий Иоганн Вильде, родом из Баварии, изобретатель необычных музыкальных инструментов, мастер фокусов и забав. Он освоил игру на многих инструментах, в том числе и собственного изобретения. Среди них оказался редкий китайский губной орган — шен, с довольно большим звукорядом в 16—18 звуков, на котором Вильде играл арии и маленькие пьесы, причем в полной гармонизации. Звучание медных язычков, манера исполнения Вильде, сопровождавшаяся немислимыми ужимками и гримасами, имели успех при дворе. Чтобы вызвать еще больший интерес, Вильде, как гласит предание, разобрал шен и установил его бамбуковые трубочки на место флейт в часах с механическим органом. Расчет Вильде оправдался: новый «фокус» привел в восторг не только придворных, но заинтересовал и серьезных музыкантов...

Наступил 1791 год. В апреле Петербург жил ожиданиями небывалого праздника, приготовления к которому шло полным ходом в только что отстроенном Конногвардейском дворце. Много удивительных вещей, поразивших затем гостей праздника, приобреталось в те дни князем Г.А.Потемкиным. Среди них оказались и органы английского мастера Уинроу. Их для князя Потемкина покупает в апреле 1791 года модный петербургский инструментальный мастер Габран, о чем свидетельствует его записка: «По приказанию вашей Светлости мною куплен Орган за 3 000 рублей». Где и у кого — остается неясным. (Известно, что в это же самое время Потемкиным был куплен еще один, «большой зеркальный орган» из вещей герцогини Кингстон.) Габран же готовит оба инструмента Уинроу к празднику — чинит их и настраивает. Между прочим, Габран также несколько «осовременивает» орган, удаляя короткую октаву в басу; дверцы органа мастер украшает накладками из золоченой бронзы по образцу мебели Д.Рентгена. Место органу определили затейливое — хоры Ротонды, или так называемого Купольного зала, куда орган можно было поднять только на специальных блоках; поэтому оплату установил Габран оговаривает специально.

Вот как описывает органы Потемкина, звучавшие на знаменитом празднике в Конногвардейском дворце, поэт Г.Р.Державин: «...наверху вокруг висящие хоры с перилами, которые обставлены драгоценными китайскими сосудами, с двумя раззолоченными великими органами разде-

ляют внимание и восторг усугубляют». Державин, впрочем, ошибался: согласно официальному описанию Конногвардейского дворца, сделанному в 1792 году, орган, «красным деревом покрытый», был только один и стоял на северных хорах Ротонды. Вот что записал очевидец: «в вершине куполу окружала сей зал галерея, на которой стояли часы с органами, кои попеременно играли музыку славнейших сочинителей, и, быв неприметны, в каждом входящем возбуждали приятные ощущения». Как явствует из того же документа, «на полуденном же (то есть на южных хорах. — Ю.С.) фигура сделана (то есть обманка. — Ю.С.) в симметрию органу красною краскою выкрашенная и вызолоченная, имея по сторонам куклы китаица и китаинку представляющия...» Прибывавшие на праздник гости проходили сквозь Ротонду, слыша таинственно льющиеся сверху, из-под купола, звуки музыки — то играла невидимая, находившаяся за спинами вошедших «малая часовая органная машина» английского мастера, — и разглядывали нарисованную «краскою» имитацию органов Уинроу. Куклы китайцев в это время раскланивались с входящими. Когда же гости покидали праздник, то видели настоящий орган.

В разгар праздника Потемкин и Екатерина уединяются. Между ними происходит объяснение: ведь тайной причиной, подтолкнувшей князя к грандиозному предприятию, было желание в последний раз попытаться вернуть расположение Екатерины. Поскольку никто не мог предугадать, чем закончится разговор императрицы и ее бывшего фаворита, то, согласно преданию, музыкальный распорядитель праздника Козловский, следуя указанию Потемкина, разумил с певчими 2 кантаты — радостную и печальную. В урочный час светлейший должен был подать Козловскому условный знак. Наступил второй час ночи. Певчие, поднявшиеся на северные хоры Ротонды, плотным кольцом окружили органы Уинроу, держа в руках наготове две партии. С огромной высоты Козловский напряженно всматривался сквозь гирлянды роз вниз, туда, где из-под двоянных колонн должна была появиться императрица.

Екатерина и Потемкин вошли в Ротонду. Потемкин пал на колени и — с хоров полились звуки lamentаций. Под аккомпанемент органа, за которым находился, вероятно, сам Козловский, бывший органист, певчие исполняли итальянскую кантату со

словами благодарности, обращенными к императрице...

По смерти Потемкина судьба органов Уинроу была вплетена в историю мальтийского рыцарства императора Павла I. Инструменты спускают с хоров Конногвардейского дворца и переносят в так называемую Мальтийскую капеллу, построенную рядом с Воронцовским дворцом архитектором Джакомо Кваренги. Там органы Уинроу вновь размещают на хорах, правых от входа. Вероятно, тогда же, из-за нелепой случайности при спуске, была серьезно повреждена передняя часть видлады (воздушного ящика) в позитиве. На хорах церкви, освященной 17 июня 1800 года, органы провели XIX век. В 1877 году, судя по сохранившимся фрагментам петербургских газет, наклеенных внутри корпуса инструментов, органы подверглись частичному ремонту. На том же месте инструменты Уинроу встретили XX столетие. «На хорах справа поставлен хороший орган, перенесенный из прежнего Таврического дворца», — сообщает Д.М. Левшин в 1902 году. В 1909 году капелла приобретает новый 15-регистральный орган фирмы Walcker (opus 1489) из Людвигсбурга. В связи с этим было решено старый орган продать. Органы мастера Уинроу выставили на аукцион, где они были приобретены Эрмиштажем за 1 000 рублей как «Часы Таврические» («с фисгармонией», — гласит карандашная помета, сделанная при покупке). Часы эти были установлены и долгое время находились на площадке 2-го этажа Театральной лестницы.

В 1985—1987 годах в Специальных научно-производственных реставрационных мастерских Государственного Эрмитажа был отреставрирован «большой орган» и корпуса обоих инструментов.

В 1987 году органы Уинроу были установлены в Большом зале Меншиковского дворца. Желавшие услышать звучание старого петербургского органа, изготовленного еще в 1734—1745 годах английским часовым и машинным мастером Уильямом Уинроу, приходят обычно в бывший дворец князя А.Д.Меншикова по воскресеньям. И звуки старинного органа напоминают им о минувших временах, славных событиях, соединяя невидимой нитью наше прошлое и настоящее.

Золотые звездочки на фасаде театра

Елена АЛЕКСЕЕВА

Союз европейских театров — явление по-своему уникальное. Театральный люд по природе своей глубоко эгоистичен. Сбиваться в стаи артисты, режиссеры и художники не склонны. Особенно в новейшие времена. И вдруг несколько солидных и творчески активных европейских театров решили учредить неформальное объединение. Было это тринадцать лет назад, когда о единой Европе еще всерьез не говорили, а про «евро» даже и не мечтали. Союз учреждался поверх границ. Но художники, его придумавшие, с чутьем, им свойственным, двигались параллельно с Европейским Союзом, возникшим много раньше, и развивались в одном направлении.

СНЕГ ОТ СТРЕЛЕРА

Есть несколько имен в истории европейского театра XX века, которые для всех деятелей театра священны. Мы зачитывались статьями и книгами Питера Брука, Джорджо Стрелера, Роже Планшона. Но до поры до времени они казались нам небожителями, классиками, маячившими на историческом горизонте где-то рядом со Станиславским и Крзгом. Первым, кто прошел сквозь «железный занавес», был Стрелер. Его спектакль «Кампьелло» в Петербурге (тогда, конечно, еще Ленинграде) был показан в ДК Первой пятилетки в конце 1970-х годов. Это, действительно, были дни, которые потрясли питерский театральный мир. Впечатление от спектакля было чрезвычайно велико. Редкий режиссер избежал влияния Стрелера. Прямые и косвенные цитаты до сих пор падают в спектаклях больших и не самых выдающихся постановщиков... Можно сказать, что Стрелер повлиял на советский театр конца XX века так же, как в свое время мейнингенцы повлияли на К.С.Станиславского.

Но у учеников Аркадия Кацмана и Льва Додина связь со спектак-

лем Стрелера была особой. В дни, когда проходили гастроли миланского «Пикколо», студенты на сцене Учебного театра заканчивали репетиции «Братьев и сестер». И для полной картины не хватало самой малости — не из чего было сделать снег. Нашелся он, как всегда, неожиданно: кто-то из педагогов посмотрел «Кампьелло», где сцену щедро засыпает столь диковинный для Италии снег. «Эврика!» — сказал педагог.

В последний день гастролей на спектакль в «Первую пятилетку» отправился десант. Студенты получили удовольствие от спектакля, а по окончании его, опередив уборщиц, сгребли со сцены два ведра бумажного снега, оказавшегося похожим на конфетти. Так один легендарный спектакль сослужил добрую службу для другого, тоже ставшего со временем легендой.

Много лет спустя, во время второго фестиваля Союза европейских театров, в гости к ученикам учеников Додина пришел Стрелер. Профессор Валерий Галендеев напомнил великому режиссеру о приезде «Кампьелло» в Питер.

— О, вы помните! Будете моим свидетелем! А то все говорят, что снег придумал Додин! У меня-то снег был раньше, правда?

Эта дружеская пикировка с Додиним сопутствовала всем публичным встречам режиссеров. На том же фестивале, проходившем в Будапеште в 1993 году, был день, когда встречи Джорджо Стрелера и Льва Додина со студентами Театральной академии проходили в соседних аудиториях чуть ли не параллельно. Что не могло не вдохновить итальянца на продолжение полемики:

— Вот все тут только и говорят: «Додин-Додин!» А что в нем особенного? Чехова он поставил так же, как я. Только наоборот. У меня все было белое, а у него — черное.

Но на самом деле именно Джорджо Стрелер был инициатором как создания Союза европейских театров, так и приглашения в это избранное общество Малого драматического театра из Петербурга.

СОЮЗ РАЗНЫХ

Союз театров Европы был создан в 1990 году и поначалу объединял всего несколько трупп. Отцами-учредителями его были: Королевский Шекспировский театр (Стратфорд-на-Эйвоне), Немецкий драматический театр (Дюссельдорф), Театро Льюре (Барселона), парижский «Одеон», шведский «Драматен», будапештский Театр Йозефа Катоны и, конечно, «Пикколо театро ди Милано». Возглавил объединение Джорджо Стрелер. Тогда же были сформулированы задачи, которые ставил перед собою Союз. За тринадцать лет они, в общем-то, не изменились.

Нынешний директор Эли Малка так определяет принципы работы: «Наша цель — навести “мосты братства” между разными народами Европы, чтобы, научившись уважать языки, культуру и традиции наших стран, учиться друг у друга и вместе работать в духовном пространстве театра. Члены Союза со всего континента сотрудничают между собой. Обмениваются программами, осуществляют совместные постановки, устраивают мастер-классы для молодых профессионалов, организуют международные семинары и выставки, делают переводы и публикации».

Отношения между театрами, вошедшими в Союз, строились не на сходстве эстетических принципов. Скорее, наоборот, — на различии. Сейчас, когда Союз объединяет двадцать коллективов из тринадцати стран Европы, это особенно заметно. Фестивали, проводимые с 1992 года, представляют собой «пестрый котел», в котором на равных сосуществуют и реалисты, и авангардисты, и абсурд, и постмодернизм. Тем-то и привлекают эти форумы публику и профессионалов, что представляют собой всю палитру современного театрального искусства.

За десять лет фестиваль Союза театров Европы завоевал себе репутацию одного из самых ярких и интересных, несмотря на то, что ему пришлось всю палитру современного театрального искусства.

праздниками театра, такими, как «БИТЕФ» или Эдинбургский фестиваль.

Можно сказать, что Союзу за эти годы удалось покорить Европу. Первый фестиваль прошел в Дюссельдорфе, затем были Будапешт, Милан, Бухарест, Тессалоники, Стокгольм, Страсбург, Палермо... А в этом году сбылась мечта Льва Додина, которому давно хотелось пригласить коллег в Петербург. Организация фестиваля — дорогое удовольствие, и, пожалуй, только благодаря 300-летию нашего города петербуржцам удалось раздобыть средства на достойный прием гостей.

НА ГОЛУБОМ ДУНАЕ

Петербургский фестиваль стал уже двенадцатым. А значит, смог учесть опыт всех предыдущих. Скажем, того же Будапештского, который проводился в Венгрии тоже не в самые экономически благоприятные времена. Вот что рассказывал мне тогда Габор Жамбеки — главный режиссер Театра Йозефа Катоны (после смерти Джорджо Стрелера именно он возглавляет Союз театров Европы, что свидетельствует об авторитете венгерского режиссера в европейском содружестве):

Г.Ж.: Конечно, проведение фестиваля потребовало больших финансовых жертв от Венгрии. Но наш театр как ветеран Союза не мог отказать себе в удовольствии принять друзей, представляющих лучшие труппы Европы. Впрочем, не только мы — ни один фестиваль мира не смог бы заплатить театральным звездам, которые съезжаются из Милана, Парижа, Лондона, настоящие гонорары. И они выступают за меньшую плату, чем на обычных гастролях. Благодаря чему мы и смогли принять в Будапеште так много знаменитых и «дорогих» артистов. Соответственно, нам нет нужды завышать цены на билеты.

Е.А.: Что позволяет на практике воплотить любимую мысль Стрелера о том, что театр существует для людей. Тем не менее, в прессе, насколько я знаю, звучат упреки в том, что вы тратите непозволительно много средств на фестиваль, в то время как положение венгерской культуры нельзя назвать блестящим.

Г.Ж.: Я не знаю такого фестиваля, который не упрекали бы в немотстве. Многие благодарны, но немало и недовольных. Но ведь все относительно. Мы потратили на фестиваль сумму, равную годовому бюд-

жету Театра Йозефа Катоны. Но и первый, Дюссельдорфский, стоил столько же. Однако сумма эта равна четвертой части бюджета немецкого театра, которым руководит Фолькер Канарис.

Е.Ж.: Как вы считаете, повлияет ли фестиваль, который на две недели «оккупировал» лучшие сцены венгерской столицы, на театральную ситуацию Будапешта?



Артисты МДТ в гостях у М.Барышникова.
Фото А.Огибиной.

Г.Ж.: Непременно повлияет! Но, думаю, не прямо и не сразу. К тому же мнения о привезенных спектаклях неоднозначны. Только один «Гаудеамус» Льва Додина принят всеми без исключения. Но я бы не хотел, чтобы все принялись ему слепо подражать. Однако додинский метод, его умение перерабатывать тривиальность жизни в поэтические метафоры могут существенно повлиять на многих художников.

Е.А.: Когда-нибудь и в Петербурге состоится фестиваль театров Европы. Каковы ваши рекомендации будущим организаторам форума?

Г.Ж.: Мой опыт таков. Нельзя, чтобы траты на фестиваль затронули интересы хотя бы одного из национальных театров. Это недопустимо. Надо искать спонсоров. У нашего госбюджета, по счастью, нашлись средства. Сама идея провести этот праздник в Будапеште была встречена обществом с энтузиазмом.

Для театров таких стран, как Венгрия, Румыния, Россия, в начале

1990-х годов вступление в Союз театров Европы было особенно важным событием. В художественном отношении они ничуть не уступали собратьям из Франции, Испании или Швеции, но испытывали определенные комплексы в общении с коллегами. В их компании они были неofiтами, только что вышедшими из-за «железного занавеса».

Малый драматический театр вошел в это содружество стремительно. Безоговорочному успеху «Гаудеамуса» предшествовала настоящая сенсация: в 1992 году на первом фестивале в Дюссельдорфе «Братья и сестры» произвели настоящий фурор.

БОЛЬШОЙ МАСТЕР-КЛАСС

Впечатление от спектакля из жизни советских крестьян — жителей северной деревни — было поистине неизгладимым. Четыре раза на фестивале Союза театров Европы — в Будапешт, Милан, Тессалоники и вновь в Милан — приглашали именно «Братьев и сестер». В 2000 году, когда Лев Додин был назван лучшим режиссером Европы и удостоен высшей театральной награды «Европа — Театру» (вслед за другими выдающимися режиссерами континента, такими как Ариана Мнушкина, Питер Брук, Лука Ронкони, Роберт Уилсон), в Таормине был показан еще один легендарный спектакль — «Дом». Международную театральную общественность поразил и сам спектакль, являющийся полноправной частью абрамовской трилогии, и то, в какой изумительной форме он находится спустя 20 лет после премьеры.

Там же, на Сицилии, где когда-то получила литературную премию Анна Ахматова, состоялся единственный в своем роде семинар, посвященный Малой драме и Льву Додину. Режиссеры, историки театра и критики не только из Европы, но и из США, Канады, Австралии, в течение двух дней разбирали феномен МДТ по косточкам, пытались понять, откуда взялся этот необыкновенный и непостижимый Театр Додина.

Понятно, что корни таятся где-то глубоко, в недрах Художественного общедоступного театра. Ведь глубоко чтимым учителем Додина был Борис Зон, верный ученик К.С. Станиславского. Но у Зона было много талантливых учеников, он воспитал целую плеяду актеров и режиссеров. В творчестве же Додина уроки ма-

стера переплавились в совершенно самостоятельный чудесный сплав.

Здесь все начинается с репетиций непохожих на стандартный процесс работы над спектаклем. Об этом методе в Европе были только слышаны, пока не начались мастер-классы Додина, пока театр не открыл свою творческую лабораторию для молодых актеров и режиссеров. Как раз в 2000 году Лев Додин провел такой международный мастер-класс на базе МДТ. И молодые люди, приехавшие в Петербург со всех концов Европы, смогли лично убедиться в плодотворности подобных репетиций.

Они увидели, что актеры могут не знать текста роли, но, готовясь к началу проб (именно этот термин чаще всего использует Додин), они перечитывают горы литературы. Знают весь роман (если идет работа над «Бесами» или «Чевенгуром») или всю пьесу, а не только свою роль, как это бывает в обычных труппах.

У артиста вообще на первом этапе репетиций нет «своей роли». В жизнь героев вживаются все вместе, а каждый поодиночке — в жизнь всего спектакля. На одну и ту же роль пробуются несколько актеров. Они импровизируют, стараясь как можно больше и как можно интереснее рассказать о герое в контексте общего замысла. Если идет перенос литературного произведения на сцену, то отсутствует инсценировка. В работу берется весь роман, а уже потом отсекается лишнее. Случается, что первый черновой прогон спектакля длится по двенадцать часов.

Процесс работы над спектаклем продолжается и после премьеры. Уточняются отношения между персонажами, меняются мизансцены. Собственно, именно в этом и состоит «секрет» Театра Додина: это живой организм, постоянно находящийся в развитии. Бывает, что из спектакля безжалостно выбрасываются талантливые находки, метафоры, целые куски текста. Совершенству нет предела, но именно стремлением к совершенству отличается живой театр от мертвого.

Все эти достоинства Театра Додина, обнаруженные стажерами Союза театров Европы, — это, к тому же, достоинства русского репертуарного театра, о котором в Европе знали только понаслышке. Семинары, гастролы, фестивали, организуе-

мые Союзом, помогают понять, что это такое. Однажды додинцы в течение нескольких месяцев гастролировали по Великобритании. Сверхзадачей этого турне было как раз знакомство с феноменом репертуарного театра.

На Западе забыли о том, что бывают подобные явления: театры с постоянной труппой, с большим репертуаром... Здесь самая ходовая мо-



М.Шестакова, Л.Додин и критик И.Соловьева после премьеры «Молли Суини». Фото А.Огибиной.

дель — антреприза. Даже государственные, национальные театры работают по антрепризной схеме: набирают актеров на один спектакль (или на один сезон) и играют из вечера в вечер, пока не иссякнет публика.

Конечно, вернуть европейскую сцену в лоно репертуарного театра МДТ не удалось, однако в преимуществах этой модели смогли убедиться все, кто видел спектакли додинцев за десять с лишним лет членства в Союзе театров Европы.

БЕЗ ГРАНИЦ И БЕЗ БЕРЕГОВ

Постоянное общение лучших представителей лучших театров Европы — процесс взаимовыгодный. Кто-то учится у русских артистов, кто-то — у французских (незабываемый мастер-класс дал однажды Мишель Пикколи, сыгравший в спектакле Люка Бонди «Иун Габриэль Боркман»), есть чему поучиться и у режиссеров (а среди персональных членов Союза такие мастера, как Деклан Доннелан, Анджей Вайда, Ингмар Бергман, Кристофер Маргаллер). Семинары проводятся для сценографов, драматургов, работников литературной части. Союз оказывает финансовую

поддержку в выпуске премьер, способствует обмену постановочными группами. Благодаря этому в репертуаре МДТ появилось несколько совместных проектов: «Зимняя сказка» в постановке Деклана Доннелана, «Роберто Зукко», премьера которого состоялась на сцене парижского «Одеона». О пьесе современного ирландского драматурга Брайана Фрилла «Молли Суини» Льву Додину рассказал Питер Брук. Постановка оказалась настолько удачной, что представляла (наряду с «Домом») творчество МДТ в Таормине.

За годы своего существования Союз вырос. Теперь в него входят не только самые знаменитые западные труппы, но и литовский «Мено Фортас» во главе с Эймунтасом Някрошюсом, «Школа драматического искусства», возглавляемая Анатолием Васильевым. Малый драматический театр принял участие в двенадцати фестивалях, показав, помимо уже названных спектаклей, «Клаустрофобию», «Звезды на утреннем небе», «Чевенгур», «Пьесу без названия», «Чайку». Трудно перечислить и все награды, которых удостоены эти постановки в Европе, — от премии Лоуренса Оливье до многочисленных призов критики различных стран и городов.

8 августа 1998 года Генеральная ассамблея театров Европы присвоила Малому драматическому статус Театра Европы, который до МДТ получили лишь парижской «Одеон» и «Пикколо театро ди Милано». С той поры фасад театра украшает синий флаг с золотыми звездочками по кругу. Особенно приятно видеть этот знак отличия тем, кто помнит МДТ скромной областной труппой, которая до поры до времени звезд с неба не хватала. Теперь со звездами здесь проблем нет: есть звездная труппа — одна из лучших в Европе, взращенная Львом Додиным и звездной же командой педагогов.

Театр, конечно, живет не от фестиваля до фестиваля. И все же, прошедший в Петербурге с 27 сентября по 31 октября Фестиваль театров Европы, который МДТ готовил и провел совместно с Балтийским международным фестивальным центром, — важная веха для театра Льва Додина. Главным событием встречи на берегах Невы стали работы МДТ: «Пьеса без названия», «Московский хор» и «Дядя Ваня».

КАНВА ИСТОРИИ

Немецкие крестьяне-колонисты под Петербургом

Лариса НАЙДИЧ

ПОЧЕМУ НЕМЕЦКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРИЕХАЛИ В РОССИЮ?

В настоящее время нам хорошо известен вклад русских немцев — архитекторов и врачей, педагогов и ученых, промышленников, кораблестроителей, ремесленников — в культурную и экономическую жизнь Санкт-Петербурга. Гораздо менее изучен другой аспект русско-немецких страниц истории города — жизнь немецких крестьян под Петербургом. Между тем до 1942 года в Ленинградской области существовало более 30 немецких деревень. И в XIX, и в первой половине XX века они играли существенную роль в экономике города, снабжая его сельскохозяйственными продуктами. Немецкие крестьяне сохраняли свою культуру и образ жизни, свои диалекты, представляя собой одно из автономных этнокультурных меньшинств вокруг Петербурга.

В 60-х годах XVIII века Екатерина II решила привлечь в Россию иностранцев. Этим она ставила две задачи: заселения обширных территорий на юге и юго-востоке империи и создания образцовых хозяйств, что соответствовало распространенной тогда политической теории, согласно которой решающее значение для укрепления государственности имеет численность населения в стране. Кроме того, немецкие колонии должны были стать своего рода щитом при набегах кочевых народов. Толчком для образования колоний в России послужили манифесты Екатерины «О дозволении иностранцам выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу» (1762) и «О дозволении всем иностранцам, в Россию выезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах» (1763). По этим указам, с одной стороны, эмигрантам, бежавшим при предшественниках Екатерины, предоставлялась возможность вернуться в Россию, с другой, все иностранцы,

кроме иудеев, могли приехать в Россию и получить не только гражданство, но и значительные привилегии. Была учреждена Канцелярия опекунства иностранных, которую возглавил фаворит Екатерины Григорий Орлов (назначение именно его на эту должность свидетельствует о том, какое большое значение императрица придавала этому учреждению).

Правительство оплачивало иностранцам дорогу, им давали беспроцентную ссуду (большинству сроком на 10 лет) для строительства домов, покупки скота и обустройства хозяйства; колонисты, селящиеся на землях, перечисленных в указе, освобождались от налогов на 30 лет, им давали большие земельные наделы. Все колонисты навсегда освобождались от военной службы и постоя; они могли исповедовать свою религию. В колониях предполагалось ввести самоуправление. Листовки с манифестом Екатерины от 1762 года переводились и распространялись в бесчисленных экземплярах на разных языках — не только на русском, французском и английском, но и на польском, чешском и даже на арабском; приглашения эмигрировать в Россию печатались и в европейских газетах. Немецким посланникам при иностранных дворах поручали всячески способствовать привлечению колонистов в Россию. Однако их деятельность встречала препятствия со стороны правительств многих стран. В Германии стали появляться статьи и специальные брошюры, направленные против эмиграции в Россию, — в них говорилось о якобы бедственном положении приехавших туда колонистов. Тогда посланники Мусин-Пушкин и Смолен предложили нанять агентов для вербовки колонистов, и был создан институт *вызывателей*, или *антрепренеров*, которые уговаривали иностранцев ехать в Россию, обещая им золотые горы. С этими людьми заключался договор, по которому, в числе прочего, им давалась ссуда на вызов колонистов. Кроме этих частных вызывателей

были и *казенные комиссары*, которые должны были следить за вербовкой и отправкой колонистов.

Поток колонистов шел в основном из Германии, так как в других странах эмиграция была запрещена. Причиной эмиграции с немецкой стороны были как нищета, вызванная Семилетней войной, так и малоземелье. Крестьяне юго-запада Германии страдали от постоев немецких и французских войск и от тяжелого бремени налогов, увеличившихся во время войны. Дополнительные бедствия были связаны с повинностями в пользу армии — с поставкой полковых фур. В ноябре 1762 года все собранные по приказу маршала Брولى лошади в фурах либо были убиты во время тяжелых боев, либо заразились ящуром. Крестьяне, поспешившие с оставшимся скотом обратно, принесли в свои деревни эпидемию этой страшной болезни. Начался падеж скота и голод. Неудивительно, что при таких условиях крестьяне соглашались на предлагавшуюся им эмиграцию.

Русские власти должны были позаботиться о перевозке всех желающих из Германии в Россию. Были созданы сборные пункты для будущих колонистов — один из крупнейших в Бюдингене, где действовал *агент* Иоганн Фацкус, высланный до этого из Франкфурта-на-Майне. Таким образом, будущие эмигранты с юго-запада Германии, в частности из Оденвальда, шли на Ганау, доходили до Бюдингена, где были *оформлены* как колонисты, а затем направлялись к Касселю и шли на Ганновер и Гамбург. Они проделывали путь примерно в 600 км пешком и на обозах. Затем их перевозили по морю, через Любек и Данциг, до Кронштадта. Канцелярия опекунства брала на себя заботу о приехавших на постоянное место жительства (как мы бы сказали сегодня, на ПМЖ). Эмигрантов размещали в квартирах в Петербурге, затем определялось, куда их отправляют, исходя из списка рекомендованных областей, но без особого принуждения. Для заселения Канцелярии и для размещения

колонистов был куплен дом Черкасова на Мойке. Но очень скоро место временного проживания колонистов пришлось сменить из-за огромного числа людей (с 1763 по 1772 годы прибыло 30 623 человека) и растущих беспорядков. Их стали оставлять в пригороде Петербурга Ораниенбауме, где они жили в казармах, предназначенных для гольштинских полков Петра III, и при построенной в 1762 году лютеранской церкви.

Путь колонистов в основном лежал на Волгу в район Саратова; небольшими группами их отправляли также в Воронежскую и Черниговскую губернии. Не зная ни географии, ни природных условий России, колонисты, которым обещали благодатные земли, охотно соглашались. Но зрел и другой проект — создание колоний на северо-западе Российской империи. Лифляндский пастор Эйзен, поборник отмены крепостного права в России, приехав в Петербург, предложил императрице план создания поселений свободных крестьян в Петербургской губернии. Сначала иностранных колонистов предполагали поселить на постоянное жительство вблизи Ораниенбаума; их хозяйство должно было стать образцовым и для русских крестьян. План этот не был осуществлен, как и другой — создание колоний на землях графа Орлова (Ропша, Кипень, Шунгурово), где часть русских крестьян предполагалось освободить из крепостных и превратить в свободных арендаторов. Тем не менее, осенью 1765 года произошло событие, положившее начало северо-западным немецким колониям в России: Екатерина II разрешила колонистам — из тех, кто был временно размещен в Ораниенбауме, — остаться вблизи Петербурга. Возможно, что в принятии этого решения сыграли роль неосуществленные проекты Эйсена и Орлова: и в эти годы, и далее, в XIX веке, вблизи столицы Российской империи создаются немецкие деревни. Не исключено, что колонисты, находившиеся в Ораниенбауме, сами не хотели ехать на Волгу, уже получив известия о том разочаровании, которое ожидало прибывавших туда немец, — предназначенные для них места были совсем не похожи на обещанный им земной рай.

Итак, в Ораниенбауме колонистам было объявлено о возможности поселения вокруг Петербурга, для чего нужно было заключить договор с надворным советником Удоловым. 110 семей объявили о своей готовности остаться, и вскоре были осно-

ваны три первые немецкие колонии под Петербургом. В 15 верстах от Петербурга, на берегу Невы, напротив Рыбной слободы (село Рыбацкое), поселилось 60 семей; колония была названа Новосаратовка, или Саратовская колония (по-немецки *Neu-Saratowka*), так как основавшие ее первые колонисты должны были, по первоначальным планам, ехать в Саратов. Среди колонистов она вплоть до 1942 года называлась *die Sechziger-Kolonie* (Колония шестидесяти) по количеству первых поселившихся здесь семей. Вторая колония находилась по дороге из Петербурга в Царское Село, в 12 верстах от города, и называлась Средняя Рогатка (по названию места — *Rogatka* в данном случае означает *граница, преграда, барьер*). Поскольку здесь поселились двадцать две семьи, ее называли *die Zweiundzwanziger-Kolonie*. Третья колония была основана в 14 верстах от Петербурга на правом берегу реки Ижоры, за Колпином, и называлась Ижорская, или Колпинская колония, Колпино, а сами колонисты часто называли ее *die Achtundzwanziger-Kolonie*, так как в ней первоначально жили 28 семей. К старейшим немецким колониям Петербургской губернии относятся также три поселения вблизи Ямбурга, основанные в 1767 году, — Луцк, Порхов и Франкфурт. Здесь проживало 67 семей католического вероисповедания, из которых 45 уехали в 1794 году в Екатеринославскую губернию, основав там колонию Ямбург. Впоследствии, в 1909 году часть поселенцев из Ямбурга близ Екатеринослава переселилась в Алтайский край. В Ямбург Петербургской губернии переехали колонисты-протестанты из других колоний. Центральной колонией под Петербургом и в духовном, и в административном отношении была Новосаратовка.

В ходе второй волны эмиграции, при Александре I, возникли новые колонии на берегу Финского залива. В 1808 году Александр объявил о своем согласии выделить на его собственных землях участок между Ораниенбаумом и Красной Горкой для поселения там немецких семей, пострадавших в ходе военных действий. По рекомендации государственного советника Анштетта было привезено 16 немецких семей, временно находившихся в Польше, недалеко от Варшавы. Затем, в августе 1809 года, в указанное место прибыло 18 семей (67 человек). По указанию Канкринна им были выделены земли слева от дороги, ведущей из Ораниенбаума к Красной Горке.

Так возникла Кронштадская колония; иногда в старых источниках ее называли также Ключинская (по фамилии семьи, владевшей этими землями до 1808 года), а впоследствии было принято название Кронколония — она действительно находится напротив Кронштадта.

В 1810 году была попытка создать колонию в Изварском Обрезе, недалеко от Царского Села, на что правительство выделило большие средства. Но выяснилось, что почвы на этом участке мало пригодны для земледелия, поэтому через два года колонистам было разрешено переселиться в другое место. Из неудавшейся колонии Извара возникли три новые: Стрельна, Ораниенбаумская колония и Кипень. Еще в 1810 году сюда, на берег реки Стрелки, на землю, принадлежавшую великому князю Константину Павловичу, переселилось 8 семей из Новосаратовки, а затем, в 1812 году, к ним присоединились еще 20 семей из бывшей Изварской колонии (т.е. те, которые приехали в Россию в XIX веке через Польшу), и в Стрельнинской слободе возникла большая немецкая колония. В том же, 1812 году в пяти верстах от Ораниенбаума семь семей основали Ораниенбаумскую колонию, а между Петергофом и Ораниенбаумом была создана маленькая Петергофская колония, где первоначально было всего лишь два дома, в которых жили четыре семьи. В те же годы на почтовом тракте, ведущем из Петербурга в Нарву, недалеко от почтовой станции, основали колонию с русским именем Кипень (по названию существовавшей там деревни, что означает *источник воды, ключ*). Уже в 1810 году она состояла из 10 дворов. Были и другие колонии, созданные по распоряжению царской фамилии и нередко находившиеся вблизи резиденций императорской семьи. Так, около Павловска была основана маленькая колония Этюп (Этюд) по названию дворца в Вюртемберге, откуда происходила императрица Мария Феодоровна. Есть данные о том, что эту колонию создали две вюртембергские семьи, приглашенные императрицей, — Дромметеры (Drommeter) и Горникелы (Hornickel). Вскоре последние переехали в Новосаратовку, а свою землю продали семье Риттер. Недалеко от Царского Села находилась Фриденвальская колония, основанная переселенцами из герцогства Берг. В ней жили ткачи, ткавшие орденские ленты. Впоследствии эта колония исчезла, ее жители продали свои земли и переехали в город.

Следующий этап в истории колоний, начавшийся еще во время второй волны эмиграции, — образование выселков из старых поселений (так называемых дочерних колоний). В 1830-х годах колонисты из трех первых колоний под Петербургом стали покупать земли иногда вблизи своих деревень, иногда в более отдаленных местах. Так возникла колония Овцыно, недалеко от Новосаратовки, выше по течению Невы (раньше там была финская деревня Валиттула). Колония Гражданка была построена далеко от материнской колонии, на землях князя Воронцова у деревни Мурино (по-фински Муурина) в 10 верстах от Петербурга. Колонисты покупали там земли с 1830-х годов. Возникают и другие дочерние колонии, например: Новоалександровская (Обухово; 1872 год), Новопарголовская (1868 год), Янино (1853 год), Приютино (1857 год). Дочерние колонии были созданы и в Новгородской губернии.

В истории образования немецких колоний под Петербургом много белых пятен. Так, еще в 1920-х годах В.М.Жирмунский и его ученики пытались найти архив Новосаратовки, из которого мы бы многое узнали о первых колонистах, но эти поиски не увенчались успехом. Тем более интересны нам находки, связанные с ранней историей колоний.

КОЛОНИИ ДО И ПОСЛЕ РЕФОРМЫ

К началу XIX века в Новосаратовской колонии проживало 411 человек (60 домов), в Средней Рогатке — 136 человек (26 домов), в Колпинской колонии 191 человек (29 домов). Уже в 1838 году в Петербургской губернии было 11 колоний. Кроме занятий сельским хозяйством колонисты строили заводы местного значения: в XIX веке около Петергофской колонии был кирпичный завод, около Новосаратовской и Франкфуртской — лесопильный, около Средней Рогатки — конебойный. Колонии должны были служить образцом ведения хозяйства для всех крестьян губернии. Однако во время ревизии северорусских колоний 1797 года ревизор, государственный советник Хитрово, отметил низкий уровень хозяйства в колониях, вследствие слишком высоких налогов с колонистов после окончания периода благоприятствования. Сразу же были приняты меры к тому, чтобы колонии Петербургской гу-

бернии, расположенные вблизи столицы, стали бы образцовыми. По указу от 20 июня 1797 года они были подчинены непосредственно Экспедиции государственного хозяйства и сельского домоводства. Впоследствии Александр I назначил инспектором немецких колоний С.-Петербургской губернии одного из своих самых талантливых придворных Егора Францевича Канкрин. Все это свидетельствует о том, что колониям вблизи Петербурга придавалось особое значение.

Реформы Александра II, сами по себе, как известно, чрезвычайно прогрессивные, приведшие к отмене крепостного права и введению земства, внесли значительные изменения в жизнь колонистов. Их интеграция в новую государственно-правовую систему проходила болезненно, во многих случаях с полным основанием воспринималась ими как предательство, отказ правительства от данных им обещаний. Летом 1871 года было отменено особое управление колониями, колонисты должны были отныне именоваться поселянами (в народе их продолжали называть по-прежнему), по сути дела, они перестали быть особым сословием. Была введена также всеобщая воинская повинность, тяжело ударившая по колонистам, которые, по сложившейся традиции, были пацифистски настроены. Несмотря на все это, а также на националистическую политику, особенно при Александре III, колонисты Петербургской губернии оставались лояльными российскому правительству, были верными подданными, преданными России. Во время войны 1914 года, поставившей их в тяжелое положение, они всячески демонстрировали единство с русским народом. В 20-х числа июля 1914 года в протестантских церквях в Новосаратовке и других колониях служили молебны за победу русской армии, благословляли уходящих на фронт. Тем не менее, отношение к российским немцам было настороженным. Не только преподавать на немецком языке, но говорить по-немецки в общественных местах было запрещено.

Несмотря на все это, состояние колоний под Петербургом перед 1917 годом было хорошим. Немецкие крестьяне достигли высокого уровня сельского хозяйства. Реформы русского правительства позволили им выкупать свои земли и покупать новые. Немцы под Петербургом сформировались в особую этническую и культурную группу, сохраняя свой образ жизни и обычаи

и, в то же время, хорошо интегрируясь в русское общество. Они осваивали русский язык и жили в мире и согласии с русскими и финскими соседями.

ЗАНЯТИЯ, БЫТ, ОБРАЗ ЖИЗНИ, ФОЛЬКЛОР

Как ни странно, сохранилось довольно мало материалов о повседневной жизни, быте и культуре колонистов под Петербургом. Гораздо лучше изучены волжские и украинские колонии. Объясняется это, по-видимому, тем, что этнографы стремились зафиксировать *экзотический* материал и часто не обращали внимания на то, что находилось рядом и казалось обычным. Поэтому сведения о петербургских колонистах приходится собирать, основываясь на немногочисленных архивных данных, отдельных замечаниях в исторической и художественной литературе, а в отношении новейшей истории — на воспоминаниях, в том числе устных. Попробуем представить себе жизнь немецких колоний под Петербургом.

Основным занятием колонистов было сельское хозяйство, а основной сельскохозяйственной культурой — картофель, затем следовал овес, иногда рожь, а в огородах разнообразных овощей. Плодовых деревьев почти не было, из ягод росла только смородина. Колонисты продавали также сено. Как известно, почвы вблизи Петербурга малоплодородны; поэтому все, что было сделано, достигалось огромным трудом нескольких поколений. Особенно тяжело пришлось первому поколению колонистов, привыкавшему и к суровому климату, и к сельскохозяйственному труду (многие из них в прошлом были ремесленниками). Помимо работы в поле колонисты занимались вывозом из города нечистот, которые они затем использовали для удобрения почв. Русские мальчишки дразнили немецких: *колонисты-говночи-сты*.

В колониях, как вспоминают их жители, *все вертелось вокруг картошки*: картофель сажали, окучивали, убирали, ехали продавать в город. Вечером за ужином в каждом доме наблюдалась одна и та же картина: картофель в мундире высыпали на холщовую скатерть, покрывающую большой стол в *чистой кухне*; каждый брал на вилку картофелину и макал ее в стоявшую посередине сковородку со свиными шкварками. Уборка картофеля была особым событием. Хотя обычно обо-

дилься без наемного труда, в это время нанимали помощников, иногда крестьян из соседних областей, например, из Новгородской. Поскольку для помощи приезжали также женщины из Копорья, работниц называли *копорками* (это русское слово употреблялось и в немецкой речи). В последний день уборки урожая устраивали праздник, называвшийся *откопка*. Оставшийся урожай собирали все вместе, соседи помогали друг другу. Домой с поля шли с флагами, затем умывались и садились за праздничный стол. Новосаратовку в шутку называли *Картофельбург*. Крестьяне в колониях под Петербургом не были зажиточными, но не были и бедными. Перед Первой мировой войной у них было в среднем 2 лошади и 4 коровы на семью, в конце 20-х годов 1—2 коровы и столько же лошадей.

Несмотря на раскулачивание и коллективизацию, крестьяне-колонисты не были полностью разорены. Немецкие колхозы и совхозы Ленинградской области были образцовыми, например: совхоз Тельмана — Колпино, «Красный механизатор» — Новосаратовка, им. Карла Либкнехта — Новопарголовская колония. Находившаяся на возвышенности (Поклонная гора) и в несколько лучших с точки зрения почв условиях Новопарголовская колония отличалась высоким уровнем земледелия, достигнутым благодаря трудолюбию крестьян и умелому ведению хозяйства — особые заслуги принадлежали Владимиру Федоровичу Валлизеру, председателю колхоза, который впоследствии был репрессирован, сослан в Сибирь. Старожилы еще помнят необычные для ленинградского климата поля помидоров, огромные кочаны капусты и даже арбузы, выращившиеся перед войной в этой колонии. Большую роль играло подсобное хозяйство — огороды находились за домами, а перед домом были палисадники, где росли цветы.

Колония представляла собой одну длинную улицу, на которой стояли дома, с одной или с двух сторон. Если не хватало места, то впоследствии колонии могли расширить, построив параллельные и перпендикулярные улицы. Обычно колония делилась на верхнюю и нижнюю деревни. В середине могла находиться церковь. Колонии строились в живописных и удобных местах — часто на берегах реки: Новосаратовка и Овцыно — на Неве, Колпино — на Ижоре, Стрельна — на Стрелке, или на почтовых трактах, как, например, Ки-

пень. Улица в первых колониях была широкой и состояла из мощеной и немощеной части: в Новосаратовке 4,5 м каменная мостовая, 3,5 немощеная улица, а по краю, ближе к домам, покрытая деревянными мостками канава, образующая своего рода тротуар. Такая форма улицы не характерна для русских деревень, она была только в колониях. Каждый колонист следил за состоянием мостков около своего дома — надев белый передник, подметал свой участок улицы.

Дома в колониях строились по специальным проектам. Первоначально за это строительство отвечали надворный советник Удолов и архитектор Мельников. По преданию, два дома в Новосаратовке были построены по рисункам самой императрицы Екатерины. Их затем подарили самым прилежным колонистам, и эти дома простояли вплоть до пожара 1913 года, во время которого они сгорели вместе с семью другими, о чем писали в журнале «Огонек». Для выбора типового проекта домов была создана комиссия, в которой участвовали сами колонисты. Дома строились из высококачественного дерева, на их постройку в первых колониях ушло три года. В первых домах (постройка 1766 года) было по четыре комнаты и по кухне на верхнем и нижнем этаже, наверху был сеновал, а со стороны двора — двухэтажная галерея. Впоследствии, в 1830-е годы, планировка домов изменилась, так как из-за нехватки места пришлось их перегораживать и делить на две семьи. В 1860-е годы после пожаров были построены новые дома, обычно с мезонинами.

К началу XX века многие дома пришлось перестраивать, делить. Колонии, особенно новые, *дочерние*, стали выглядеть хуже, беднее. Хозяйственные постройки (хлев, сарай) могли находиться в разных местах, в зависимости от плана здания. Обычно они строились за домом, а в постройках 1914—1918 годов непосредственно примыкали к задней стене дома. Во дворе имелся ледник. Внутреннее убранство колонистского дома в XX веке скорее напоминало городскую квартиру, чем крестьянскую избу: комод, буфет, зеркальный шкаф, двуспальная кровать — все это часто из красного дерева или из дуба, бархатный диван-канapé, разнообразные украшения: статуэтки и безделушки, вязаные скатерти и салфетки, горшки с цветами. В доме было две кухни, одна из них называлась «чистой» (*reine Kich*), там

стоял большой стол, за которым семья собиралась на ужин, и скамьи. Кроме печей имелась и плита, называвшаяся заимствованным из русского языка словом *Plitt*, поскольку на немецкой родине колонистов такие плиты были неизвестны. Воду держали в большой деревянной бочке, а грели ее в котле, прикрепленном к печке. Бань во дворе не было, мылись в тазах и в ваннах, ходили в общественные бани, а руки мыли из рукомойника.

Ели в колониях четыре раза в день: помимо завтрака, обеда и ужина был еще полдник, называвшийся *Kaffeetrinke* «кофепитие». В 12 часов дня крестьяне приходили домой на обед. По традиции в Новосаратовке в это время подавали сигнал, возвещавший обеденный перерыв. Сначала это был звон колокола, а затем, когда пахотные площади были расширены и колонисты работали уже дальше от дома, стали поднимать флаги на длинных древках. Следы такого древка еще сохранялись в 30-е годы у одного из домов в Новосаратовке. Почти каждый день на обед ели мясо, чаще всего свинину. Гарниром служили картошка и кислая капуста. По праздникам, особенно на свадьбу, готовили кисло-сладкое мясо с черносливом. Кофе и закуски приносили в поле в 4 часа дня. Натуральный кофе позволяли себе пить только по праздникам, обычно же пили ржаной и ячменный кофе. В него добавляли цикорий, который выращивали, сушили и мололи сами. Каши (пшеничную и гречневую) в колониях ели реже, чем картошку, но все же не обходились и без них.

Колонистскую кухню нельзя себе представить без выпечки. Это были русские блины, оладьи, ватрушки либо характерные для Германии пышки и пироги. На праздники пекли высокие пироги — чем выше, тем лучше, — покрывавшиеся сверху затиркой — смесью сахара, муки и масла. По-колпински их называли *Kaffeekuche*, а по-новосаратовски *Zuckerkuche*. Хлеб стали покупать в магазине только в последние годы существования колоний, а до этого его пекли дома, в печке. В качестве дрожжей служила опара — перебродившие остатки старого теста, добавлявшиеся в новое, — называвшаяся по-немецки *Sauerteig*. Такая технология хорошо известна и в русской деревне, но слово *Sauerteig* (буквально *кислое тесто*) указывает на происхождение и слова, и самого предмета из немецкого быта XVIII века. Так, в гётевском «Вертере» герой жалуется любимой девушке буквально

следующим образом: «Кислое тесто, которое приводило в движение мою жизнь, отсутствует» (письмо Вертера от 20 января), что правильно было бы перевести примерно так: «Я потерял ту закваску, которая приводила в движение мою жизнь». Сегодня слово *Sauerteig* в «Вертере» непонятно, оно комментируется, а нам оно позволяет заглянуть на два с лишним века назад. Гастрономические привычки колонистов, таким образом, соответствовали как немецким, так и русским обычаям, причем некоторые из них отражали старый крестьянский быт юго-западной Германии. Например, кофе-суррогат, кисло-сладкое мясо, кислая капуста, различные виды домашней колбасы — все эти продукты характерны для немецкого крестьянского стола, что подтверждается данными немецкой этнографической литературы, в том числе этнографических атласов.

Колонистские праздники, обычаи, обряды, язык, фольклор во многом сохранились в том виде, в каком они были привезены из Германии, и поэтому представляют собой ценный материал для ученых. Например, празднование свадьбы проходило по строго определенным канонам, часто восходящим к старинным обрядам. К крестьянской свадьбе готовились около года, на нее приглашалось от 100 до 300 гостей. Приглашение на свадьбу осуществлялось специально выбранными двумя *приглашателями* (*Einlader*), со стороны жениха и со стороны невесты, которые приходили в дома и произносили стихотворное приглашение, текст которого мог варьироваться (эти тексты были записаны в Ленинградской области в начале 20-х годов В.М. Жирмунским и хранятся в его архиве). Атрибутами приглашателей были посох и красные ленточки. Ритуал приглашения, фигура приглашателя, его атрибуты, различные варианты стихотворных текстов — все это известно в Германии с XVII—XVIII веков. Целый ряд действий в свадебном обряде восходит к архаическим обычаям, например, к выкупу невесты. Так, по пути новобрачных из церкви односельчане преграждали им дорогу сделанными из зеленых веток воротами и требовали выкуп. Во время свадебного пиршества появлялась кухарка, говорила, что она прожгла себе передник или обожгла руку, ей давали деньги на покупку нового или на лечение. За столом, когда подавали последнее блюдо, у невесты крали туфельку, которую затем выставляли на аукцион, жених должен был ее выкупить. В полночь

на свадьбу приходили ряженые — сельская молодежь, из тех, кто не был приглашен. Все эти обряды хорошо известны этнографам и встречаются в тех частях Германии, из которых приехали колонисты. Имелись и традиции празднования календарных праздников — Рождества, Пасхи, Троицы. Кроме того, в каждом поселении были свои престольные праздники, пышно отмечавшиеся жителями всех колоний, съезжавшимися на торжество. В Колпине — день рождения Мартина Лютера, в Стрельне и Гражданке — Иванов день (день святого Иоанна), в Новосаратовке — Троица, в Ковалево и Овцыне — день Св. Петра и Павла, в Новопарголовской колонии — день Марии-Магдалины.

Колонистский фольклор в основном представлен в виде немецкой народной песни: старые немецкие песни, возникшие в XV—XVII веках, новые песни XVIII—XIX веков и песни, сочиненные уже в России, в колониях. Во время как первые были привезены из Германии благодаря их бытованию в крестьянской среде, источником вторых были песенники. В петербургских колониях перед войной пели и русские песни, особенно романсы. Колонисты отличались большой музыкальностью, многие не только пели, но и играли на разных музыкальных инструментах. Была и традиция собираться на спевки, когда пели то по-немецки, то по-русски. В немецких колониях были распространены старинные немецкие баллады, темами которых были любовь, верность, любовные испытания, коварство, измена и разлука. Например, пели про несчастную любовь двух королевских детей, которые жили на разных берегах реки, — баллада, восходящая к античному сюжету *Геро и Леандр*. Эти баллады были известны и в Германии, они широко бытовали в XVII веке. Некоторые из них записал Гете, когда он студентом жил в Эльзасе. В иноязычном окружении, на своего рода островках языка и культуры, народные песни сохранялись, передаваясь из поколения в поколение. Безусловно, тексты их вариативны: добавлялись отдельные куплеты, менялись некоторые строчки и слова, что соответствует закономерностям жизни фольклора. Иногда в песне запечатлевается какое-нибудь из ряда вон выходящее событие, обычно трагическое. Так, колонистов потрясла история двух влюбленных, Карла и Эмилии, местных Ромео и Джульетты, которые покончили с собой, потому что родители не разрешали

им пожениться. Одну из улиц в колонии Гражданка даже назвали проспектом Карла и Эмилии (там, где сейчас Госненская улица). Была сочинена песня, соответствовавшая канонам народной баллады, которая стала очень популярной в разнообразных вариантах, — «In dem dunklen Graschdanka Wald» («В темном Гражданском лесу»).

Колонисты первых поколений говорили только по-немецки, но в XX веке все жители немецких деревень вблизи Петербурга владели и русским языком. Некоторые колонии, например Гражданка, были сильно русифицированы. Немецкий язык в колониях был представлен в виде диалекта, который являлся долгое время родным языком колонистов — на нем они говорили дома, с друзьями, с соседями, во время работы в поле. В то же время источником литературного немецкого стали церковь и школа. Диалекты петербургских немецких колоний относятся к пфальцскому и к южнофранкскому типу. Во все время существования колоний сохранялись некоторые, правда не очень значительные, различия между говорами отдельных деревень, касающиеся фонетики и лексики. Всегда можно было определить: так говорят в Колпине; это по-новосаратовски и т.п. Во время свадеб, когда собирались знакомые и родственники со всей округи, звучала речь с разными диалектными нюансами. Существовали даже дразнилки, имитирующие эти языковые различия, и слова-шибболеты, по которым определяли, из какой колонии родом человек (притом что колонисты из разных деревень вблизи Петербурга породнились и часто носили одни и те же фамилии). Так, бочка для воды в Новосаратовке называлась *Wasserzuger*, в Колпине *Wasserpitt*, а в Янине *Wasserfass*. В Новосаратовке говорили *Pferd*, а в Колпине *Gaul* (лошадь). Таким образом, в XX веке колонисты под Петербургом владели тремя языковыми системами: своим родным диалектом, литературным немецким и русским. Немецкий литературный язык, который учили в школе, связывал колонистов с петербургскими немцами. В колониях были и немецкие книги. Так, каждый имел свой сборник песен-псалмов (*Gesangbuch*), который молодежи дарили на конфирмацию. Его брали с собой в церковь, хранили всю жизнь. Некоторым удалось взять его даже в трудовую и ссылку; под страхом дальнейших репрессий и наказаний его прятали от надзирателей, передавали друг другу для тайного чте-

ния и совместного тайного пения духовных песен.

Религия играла в жизни колонистов важную роль. За исключением немногочисленных католиков, живших вблизи Ямбурга, в Царском Селе и в Ораниенбауме, колонисты под Петербургом были протестантами — лютеранами. Так, по данным на 1848 год, в Санкт-Петербургской губернии (помимо самого города) на-

гнозным традициям. Поведение колонистов регламентировалось, кроме того, инструкцией, принятой с самого начала основания колоний, которая затрагивала как вопросы хозяйствования, так и правила морали и поведения. За порядком в каждом селе следили староста и два выборных. Староста решал мелкие дела в колонии, давал колонистам характеристики. С детства колонистам вну-

вался, прежде всего, фольклором — народной песней колонистов. Затем он занялся и «островными диалектами», т.е. говорами в иноязычном окружении. Безусловно, в этих исследованиях отразилась вынужденная необходимость перейти от занятий поэтикой, за которые ученых обвиняли в формализме, к исследованиям, основанным на большом количестве эмпирических данных. Тем не менее, изучение немецких колоний послужило началом нового направления творческой мысли ученого, по сути дела, проложило пути к его языковедческим студиям. В 1924 году Жирмунский создал семинар по сбору и изучению прежде всего фольклорного и этнографического материала в немецких колониях. Изучались колонии Ленинградской области и Украины. Планировалась публикация собранных народных песен.

Для ознакомления с методикой изучения немецких диалектов Жирмунский решил обратиться к сотрудникам Немецкого Лингвистического Атласа в Марбурге (Германия). В 1924 и 1925 годах он пишет письма директору Атласа Фердинанду Вреде, в которых просит о помощи и сотрудничестве в работе над «колониальными диалектами», подчеркивая, что он — литературовед, делающий первые шаги в диалектологии. Во второй половине 20-х годов Жирмунский несколько раз приезжал в Германию, он посетил практически все центры немецкой диалектологической и фольклористической работы, делал доклады, лично познакомился с многими учеными. Впоследствии был собран обширный материал в колониях на Украине. Изучение колонистских говоров Жирмунский считал методологически важным: изолированные среди иноязычного населения немецкие колонии, как считал ученый, являются как бы экспериментальной лингвистической лабораторией, которая позволяет проследить тенденции и процессы языкового развития. Диалекты Ленинградской области Виктор Максимович изучал совместно со своим учеником Альфредом Штремом, исследовавшим диалекты трех материнских колоний — Новосаратовки, Средней Рогатки и Колпина — в сравнении с говором дочерней колонии Янино, основанной выходцами из этих трех колоний. Штрем делал записи в разных семьях («из дома в дом»), у представителей разных поколений. В числе прочего было обнаружено, что при диалектных смешениях в Янино язык матери оказывается более стойким, чем язык



Дом колонистов в Ленинградской области.

считывалось 11 420 протестантов и 470 католиков. Самой старой церковью в колониях была Новосаратовская церковь Св.Екатерины; ее строительство завершилось в 1768 году, а в 1838 году старое здание было заменено на новое, каменное. В других колониях также были церкви и моленные дома. В конце 20-х годов в Ленинградской области действовали четыре лютеранских прихода: Новосаратовка, Гражданка, Стрельна, Петергоф. Священник являлся самым уважаемым человеком в колониях. Первым пастором в трех колониях был Георг Якоб Бобрик (служил с 1766 по 1773 год). Разгром церкви в 1920-х — 1930-х годах стал трагедией для колоний. Глубокое религиозное чувство, сохранившееся у колонистов старшего и среднего поколения в предвоенные годы, помогало им пережить всю тяжесть репрессий.

Набожность, трудолюбие, аккуратность, честность, уважение к старшим — все эти черты воспитывались в колонистах с раннего детства, в большой степени благодаря рели-

шали, что нужно молиться, быть вежливым и послушным. К родителям обычно обращались «на вы» — «ihr». В колониях царили чистота, порядок, культ труда.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДИАЛЕКТОВ, ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРА

Всем, кто интересуется филологией, известно имя академика Виктора Максимовича Жирмунского (1891—1971), крупнейшего специалиста по зарубежной литературе, по германским языкам, фольклору, поэтике, современной русской поэзии. Автор основополагающих работ по теории стиха, поэзии Ахматовой и Блока, по истории немецкого языка и немецкой диалектологии, истории и теории эпоса разных народов, Виктор Максимович посвятил в 20-е годы целый ряд работ языку и фольклору немецких колоний. В это время Жирмунский, хотя и молодой, но уже маститый ученый, живо заинтересо-

отца. (К сожалению, целиком эти материалы не были опубликованы.) Работа Жирмунского сначала пользовалась официальной поддержкой. В связи с созданием в 1924 году Автономной Социалистической Республики немцев Поволжья, а также немецких районов ставилась задача подготовки учителей, работников культуры, редакторов газет и журналов и т.п. Экспедиции под руко-

Тем не менее, несколько ценных научных статей было опубликовано в советских и немецких журналах. Увидела свет и книга Жирмунского о немецких колониях Украины, куда он включил и сведения о немцах Ленинградской области. Некоторые материалы, хранящиеся в архиве Жирмунского в Академии наук и в Институте русской литературы в Петербурге, были недавно изучены и обра-

од 1936—1939 годов. Культурная автономия немецкого населения Советского Союза сворачивается, запрещается преподавание на немецком языке, ликвидируются немецкие районы. В эти годы многие жители немецких колоний, в том числе в Ленинградской области, были арестованы, сосланы или расстреляны. По моей просьбе Яков Георгиевич Эргарт составил список жителей только одной деревни — Колпинской колонии, арестованных в 1936—1938 годах (см. Приложение). Многие из этих людей погибли. Сам Я.Г.Эргарт был арестован, но затем, по счастливой случайности, освобожден.

С началом Великой Отечественной войны происходит полная ликвидация немецких колоний европейской части СССР и высылка немецкого населения в Сибирь и Казахстан. Эта акция советского правительства и КГБ началась в Крыму и на Украине уже в июле 1941 года, за этим последовала депортация немцев Поволжья, основывавшаяся на декрете Президиума Верховного Совета от 28 августа 1941 года, в котором утверждалось, что среди населения поволжских немцев были обнаружены тысячи шпионов. Вторая волна депортаций последовала в марте 1942 года — 17 марта 1942 года 26 000 немцев были отправлены в plombированных вагонах в Сибирь. Среди них были и жители Новосаратовки, Средней Рогатки, Колпина, Гражданки и других петербургских колоний. О том, как проходила депортация, можно судить по рассказам бывших колонистов. Было приказано собраться в 24 часа; разрешалось взять с собой не более 32 кг багажа. После долгого тяжелого пути их привезли в «телячьих вагонах» в Канск. Другие колонисты были также отправлены на Крайний Север: например, в районы Якутска, Тюмени, Красноярска. Не менее трагически сложилась судьба жителей колонии Колпино, оказавшихся в прямом смысле слова между двух огней — линия фронта проходила прямо по этому немецкому поселку. 29—30 августа 1941 года колония была сожжена нацистами. Ее жители либо ютились в оставшихся домах, либо бежали в находившийся рядом русский поселок Колпино. Они были депортированы 22 марта 1942 года. Некоторые колонии (Ораниенбаум, Петергоф, Луизино) оказались в зоне, оккупированной нацистскими войсками. Однако российские немцы были высланы из них еще до этого. В то же время немецкое население колоний Стрельна и Кипень



Яков Георгиевич Эргарт (1915—1995).

Родился в колонии Колпино, в 1937 году был арестован, в 1942 году выслан в Сибирь. Впоследствии жил в Колпино, работал на заводе.

водством ученого, в которых участвовали его ученики — ассистенты А.Штрем и Э.Иоганзен-Гегель, студенты Л.Р.Зиндер, Т.В.Сокольская, В.П.Погорельская, С.А.Акулянц, И.М.Смолянский, поощрялись Наркомпросом. Но затем работы по изучению российских немцев были прекращены из-за репрессий, которым подвергалось с 1930-х годов немецкое население Советского Союза. Не только сами колонисты, но и многие исследователи, изучавшие российских немцев, стали жертвами репрессий. А.Штрем, к тому времени уже профессор Одесского университета, был арестован и не вернулся из лагерей — по имеющимся данным, он погиб, сплавливая лес. Не вернулась и Эллинонр Иоганзен — ассистентка Жирмунского, знаток немецкого языка и музыки. Жирмунского трижды арестовывали как немецкого шпиона: в 1933, 1935 и 1941 годах. Каждый раз, благодаря колоссальным усилиям семьи и коллег, удавалось добиться его освобождения. Многие научные материалы были утеряны, конфискованы во время обысков.

ботаны группой ученых под руководством профессора Н.Д.Светозаровой. Есть надежда, что скоро они увидят свет.

СУДЬБА НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

Короткий период между февралем и октябрём 1917 года породил у российских немцев много надежд. 21 марта 1917 года Временным правительством было провозглашено равенство всех народов и всех вероисповеданий в России. Октябрьская революция, провозгласившая право наций на самоопределение, казалось бы, продолжала эти демократические тенденции. В 1918 году были созданы Автономная область немцев Поволжья, которая в 1924 году получила статус автономной республики, и многочисленные немецкие районы.

Репрессии против российских немцев начались уже в 20-х годах и достигли больших масштабов в пери-

оставалось на оккупированной территории. В правительственных кругах нацистской Германии не было единого мнения о будущем российских немцев. Предполагалось либо оставить их на территории России для заселения «восточных районов рейха», либо использовать на разного рода работах в Германии. В отношении колонистов Ленинградской области проводилась политика иного рода. До начала января 1942 года командованием армии и СС была проведена перепись немецкого населения Ленинградской области, согласно которой число *фольксдойче* составило 1644 человека: 353 мужчины, 680 женщин и 611 детей до 15 лет. 15 января 1942 года началась отправка российских немцев из Ленинградской области в Германию. Многие из них попали в Конниц (Пруссия), затем были посланы на работы в разные области Восточной Пруссии, считаясь, безусловно, людьми второго сорта. После 1945 года большинство из них были репатриированы в Советский Союз и сразу же отправлены в Сибирь и Казахстан. Так закончилась история созданных по указам Екатерины II немецких колоний под Петербургом. Но история бывших колонистских семей на этом не кончается.

ВОЛЯ И ТРУД ЧЕЛОВЕКА

История немецких колоний при советской власти — еще одна трагедия России, одна в числе прочих, когда было разрушено то, что создавалось десятилетиями во благо русского государства и было примером самоотверженного труда, верности и порядочности. Как и многие национальные меньшинства, российские немцы, а в особенности жители бывших колоний под Петербургом, были лояльны по отношению к российским, а потом к советским властям. Я слышала рассказы о том, как женщины бежали из колоний во время войны, чтобы не попасться немцам, как страшна была отправка колонистов из Кипени в Германию. Воспитанные в христианских традициях и в культуре труда, российские немцы старались хорошо работать и в лагерях (в так называемой Трудармии). Тяжким испытанием стала разлука с семьями, воссоединение которых было разрешено лишь в 1946 году. Но и после этого российским немцам запрещалось выезжать из мест ссылки (по указу от 26 ноября 1948 года). После того как этот указ был отменен (1955), возврат в бывшие места проживания,

особенно в Ленинградскую область, стал невозможен, а ограничения мест проживания были сняты лишь в 1972 году.

Немцы Ленинградской области представляли собой культурно-этническое меньшинство, в котором объединялись немецкие, русские, российско-немецкие традиции. Кроме того, к 30-м годам XX века они уже во многом переняли образ жизни и тип поведения жителей пригородов Ленинграда. Многие из них, как сказал один из бывших колонистов, были *интеллигентными крестьянами*, хорошо освоившими и навыки высокопроизводительного крестьянского труда, и законы нравственности, и правила вежливости.

По велению Екатерины II колонисты принадлежали в России к отдельному сословию. В отличие от русских крестьян, они были *вольными людьми* — при желании они могли пойти на военную службу, могли переехать в город, перейти в другое сословие, вступить в гильдии, торговать, вывозить свои товары и уехать за границу. Но большинство из них осталось или стало крестьянами свободными, в отличие от русских крестьян. Свобода и поощрение их труда со стороны властей позволили им создать производительные хозяйства, способствовать экономическому развитию Северной столицы и внести своеобразную краску в палитру разнородных петербургских культур.

Колонии славилась чистотой и порядком. Недаром в XIX веке местами создания новых колоний, по указанию императора, были области вблизи резиденций, парков, иногда на землях, принадлежащих царской фамилии. Немецкие хозяйства оставались производительными даже после раскулачивания и насильственной коллективизации, после высылки многих крестьян в 1930-е годы. И в Сибири и Казахстане российским немцам удавалось создавать зеленые островки богатых урожаев, красивых домов, аккуратных плодоносящих садов. Вспоминаются любимые с детства некрасовские слова: «Воля и труд человека дивные дивы творят!». Воспитанная советской школой в духе культа силы воли, я воспринимала эти строки, посвященные декабристам в Сибири, именно в таком ключе и лишь потом поняла глубокое значение слова *воля* в этом контексте. Для российских немцев предоставленная им Екатериной *воля* сменилась при советской власти крайним проявлением неволи — концлагерями, статусом спецпересе-

ленцев и т.п. Но их внутренняя сила сформировалась благодаря тому, что на протяжении многих десятилетий они были вольными людьми и их деятельность сохраняла черты, присущие свободному труду.

Выражаю глубокую благодарность людям, на устных рассказах которых во многом основывается мое исследование. Это бывшие жители колоний под Петербургом: Яков Георгиевич Эргарт, Елизавета Яковлевна Ладе, Ирма Адольфовна Ладе, Регина Карловна Герлеманн, Тереза Христиановна Шмидт, Екатерина Христиановна Иванова, Елизавета Христиановна Быкова, Софья Федоровна Флейшман, Ирма Яковлевна Аман, Елизавета Адольфовна Дмитриева, Мария Богдановна Киль, Николай Адамович Штерн, Елизавета Николаевна Аман, Иван Мартинович Риттер, Елизавета Мартиновна Риттер, Маргарита Леонтьевна Аман, Елизавета Севастьяновна Бер, Николай Иванович Дич, Изабелла Васильевна Прошутинская, Вадим Владимирович Князев.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список репрессированных в 1937—1938 гг. жителей немецкой Колпинской колонии, составленный Я.Г.Эргартом. (Список неполный, в скобках дан примерный возраст.)

Гевейлер Мартин Яковлевич (65), Плетцер Андрей Георгиевич (24), Штрес Андрей Адамович (30), Плетцер Яков Петрович (50), Эйкстер Мартин Иванович (47), Шмидт Иван Егорович (75), Шмидт Иоганн Иоганнович (50), Шмидт Георгий Иоганнович (23), Флейшман Филипп (65), Флейшман Эдуард Филиппович (35), Эргарт Мартин Яковлевич (65), Флейшман Карл (48), Флейшман Мартин (46), Мусс Иоганн Михайлович (43), Гетц Иоганн Готфридович (38), Гер Георгий Георгиевич (68), Бендер Август (47), Эргарт Иоганн Георгиевич (68), Эргарт Георгий Иоганнович (38), Эргарт Фридрих Иоганнович (28), Риттер Мартин Авраамович (58), Риттер Георгий Мартинович (24), Риттер Иоганн Мартинович (22), Бендер Вольдемар Карлович (67), Бендер Борис Вольдемарович (33), Эргарт Георгий Яковлевич (44), Эргарт Яков Георгиевич (22), Гер Яков Яковлевич (56), Гер Александр Яковлевич (50), Гевейлер Яков Яковлевич (33), Гевейлер Иоганн Яковлевич (36), Гевейлер Вильгельм Яковлевич (26), Гевейлер Георгий Иоганнович (36), Плетцер Мартын Адамович (40), Мусс Иван Георгиевич (58), Мусс Яков Георгиевич (40), Мусс Георгий Георгиевич (38), Штро Мартын (46), Штро Себастьян (45), Эргарт Яков Яковлевич (66), Эргарт Мартин Яковлевич (28), Крафт Александр Богданович (35), Шмидт Константин (35), Эйдемиллер Георг (21), Ульрих Георг (24).

Самый финский город России

Ярмо НИРОНЕН

По легенде питерских финнов, ска- зочный великан основал Петербург, опустив на ладони целый город в болото. Так повествует Наум Синда- ловский в своей книге «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», однако на деле, для того чтобы основать го- род, царю Петру I пришлось разру- шить шведскую крепость Ниеншанц в дельте реки Охты. При этом под властью русских оказался город Ни- ен и жившие в нем шведы, финны, немцы и русские. В дельте Невы, со- гласно книге Сауло Кепсу «Петер- бург прежде Петербурга», существо- вали не только финские деревни, но и русские дворы. Одной из самых больших финских деревень была «деревня десяти дымов» Хирвисаари на Васильевском острове. Реки, кана- лы и острова города имели фин- ские названия. Строительство Петер- бурга на болоте, точнее, на песчаном грунте, можно считать нелогичным. Город, спланированный большей ча- стью иностранными архитектора- ми, быстро рос каторжным трудом русских крепостных и шведских и финских военнопленных. Победа Петра I над королем Швеции Кар- лом XII под Полтавой в 1709 году определила судьбу Петербурга, а заодно и Финляндии, как предполья России. Петербург продолжал угро- жать Финляндии, а Финляндия — Петербургу. История России и Фин- ляндии — это история войн и тор- говли.

Петербург принято называть ок- ном России в Европу. Соглашаясь с этим высказыванием, нужно тем не менее сказать, что Петербург — это не Европа.

Где пролегает граница между Ев- ропой и Россией, между российским и европейским образом жизни? Граница между Финляндией и Россией перемещалась много раз. В самом Петербурге европейцы занимали вид- ное положение в науке, искусстве, архитектуре и торговле, не следует забывать и о военном ведомстве, политике. В Петербурге граница евро- пейзации многомерна. По про- фессору Матти Клинге, к границе русского и финского принадлежат

государственные, правительствен- ные, гражданские, религиозные и языковые плоскости. Граница про- водится как в реальности, в созна- нии людей, так и в созданных исто- рией мифах, которые часто стано- вятся реальностью. Каждый легко даст им подходящую интерпрета- цию. Говорят, что Петербург — са- мый европейский город России, но можно ли сказать, что он — самый русский город Европы?

Петербург занимал и продолжает занимать видное место в истории Финляндии, как и Финляндия — в истории Петербурга. Осип Мандел- штам писал в «Шуме времени», что весь дореволюционный Петербург дышал воздухом Финляндии, про- пускал сквозь пальцы финский пе- сок, растирал лоб гранита пушистым финским снегом и слушал в горяче- ном бреду звон бубенцов приземи- стых финских лошадей. Он считал, что Финляндия для петербуржцев играет какую-то особую роль.

Следует помнить, что гражданин Финляндии и финн — не одно и то же, поскольку в Финляндии прожи- вают и шведы, и немцы, и люди ино- го происхождения. Также и в Рос- сии, особенно в Петербурге, общест- во многонационально. Далее мы по- знакомимся с гражданами Финля- ндии, которые имели отношение к Петербургу.

По Абоскому (Турку) мирному договору 1743 года западная грани- ца России передвинулась на запад к Кюмиюокам, и окрестности Выборга оказались под влиянием Петербурга благодаря российским войскам и последовавшим за ними торговцам, маркитантам. Купцы с Карельско- го перешейка быстро освоили Пе- тербургский рынок. Уже в 1700-х го- дах в Петербург прибыли первые финские ученые. Сын бедного ней- шлотского лавочника Ерик Лакс- манн стал исследователем Сибири и российским академиком. Родившийся в Турку и получивший образова- ние в Упсале математик Андерс Йохан Лекселл был избран преемни- ком Леонарда Эйлера, стал акаде- миком, но умер прежде, чем успел

принять должность. Дипломатом и посланником в Европе при трех пра- вителях — Екатерине II, Павле I и Александре I — был сын настоятеля Выборгского собора Максимилиан Алопеус. Его брат Давид был по- сланником России в Стокгольме во время вспыхнувшей Финской войны в 1808 году.

По Тильзитскому мирному дого- вору император Александр I присо- единился к объявленной Наполеоном торговой блокаде Англии. Посколь- ку король Швеции Густав IV Адольф, непримиримый соперник Наполео- на, не дал согласия на блокаду, на- чалась Финская война, еще не закон- чив которую, император Александр I созвал финляндский сейм в Порво весной 1809 года. Поскольку аристо- кратии, духовенству и военным Фин- ляндии было обещано, что законы времен господства Швеции останут- ся в силе и лютеранская религия бу- дет сохранена как государственная, а данные сословия не утратят своих старых привилегий, финны прине- ли присягу на верность императору. Главным образом военные и чинов- ники увидели возможность делать карьеру на императорской службе. Рядовые люди относились к русским настороженно, что, видимо, объясня- лось испытаниями, перенесенными во время частых прежних войн. Фин- ская война закончилась в 1809 году Фридрихсгамским (Хамина) миром, в переговорах со стороны России участвовал, в числе прочих, уже упо- мянутый Давид Алопеус.

Швед Г.М.Спренгтпортен, кото- рый перешел на службу Екатерине II и дослужился до генерал-лейтенанта, был советником главнокомандую- щего Буксгевдена. Именно Спренгт- портен наметил основные черты бу- дущего правительства Великого Кня- жества. Усилиями другого шведско- финского переселенца, фаворита короля Швеции Густава III, Густава Маури Армфельта, будущего пред- седателя Комитета по делам Фин- ляндии, в 1812 году к Великому Кня- жеству Финляндскому была присое- единена так называемая Старая Фин- ляндия, утраченная ранее по Абоско-

му мирному договору. Финляндия была Великим Княжеством, отдельным организмом, у которого в конце 1800-х годов существовали свои законы, сейм, деньги, армия, таможенная граница, язык и религия. Финляндия была самым спокойным приграничным районом России до 1890-х годов, когда на Финляндию начали распространять российские законы. Финны и противившиеся власти императора русские нашли друг друга. Этапные пути русских революционеров часто проходили через Финляндию, и оппозиционеры, скрываясь от властей, нашли защиту в этой стране. Даже Дума России собиралась в Выборгском Бельведер-отеле, поскольку не могла собраться в 1906 году в Таврическом дворце.

Императора в Финляндии представлял генерал-губернатор, финнов в России — статс-секретарь Великого Княжества. Генерал-губернаторы были разных национальностей. Поименный список выявляет по крайней мере двух шведов Спренгтпортена и Адлерберга, шотландца Баркляя де Толли, голландца Хейдена, балтийских немцев Стейнхейла и Берга, немцев Герхарда и Сейна, а также русских Закревского, Оболенского, Меншикова и Бобрикова. Статс-секретарями всегда были финны или финские шведы, вплоть до фон Плева, вся канцелярия прочно удерживалась в руках финских чиновников, несмотря на попытку в начале 1900-х годов русифицировать канцелярию.

В фундаментальных работах Макса Энгмана, ведущего финского исследователя Петербурга, можно обнаружить, что финнов в Петербурге с 1703 по 1917 год жило множество. Наибольшее количество финнов приходилось на 1880-е годы, когда в Петербурге их проживало более 24 000, и, таким образом, Петербург был вторым по величине финским городом. Только в Хельсинки финнов проживало больше, чем в Петербурге. Из финского дворянства и офицерства сформировалось финское высшее общество Петербурга, а обычные работники имели возможность получить средства существования на заводах, а также в качестве слуг и матросов. В судоходстве по каналам Петербурга в конце 1800-х годов господствовало Легкое Финляндское пароходство, владеющее почти ста судами. Более трети петербургских трубочистов были финны. Финны составляли и значительную часть ювелиров. Из них нужно упомянуть Хискиаса Пендина, начальника мастерской отца Карла Фаберже Густава,

у которого Карл научился ювелирному искусству. Не следует забывать и об авторах множества императорских пасхальных яиц: Хенрике Вигстрёме, Альберте Хольмстрёме и Альме Пихл. Альма Пихл, делавшая по заказу Нобеля ювелирные украшения «Ледяной цветок», умерла в Финляндии неизвестным учителем рисования, о ее работах у Фаберже не было известно. Поставщиком императорского двора был Александр Тилландер, последний магазин которого располагался в здании Финляндского банка, на Невском пр., 26.

У многих предприятий, известных в Финляндии в сфере бизнеса — от кондитера Карла Фазера до владельца пивных заводов Николая Синебрюхоффа и от поставщика финского гранита до мелких торговцев, — существовала деловая связь с Петербургом и Россией.

Петербург, кроме того, был важным научным центром. Некоторые финны сделали карьеру в Российской Академии наук. Сын крестьян академик Андреас Йохан Шёгрэн провёл фундаментальные исследования наследия ингерманландцев и финно-угров и стал директором Этнографического музея. Его работу продолжил Магнус Кастрен. В 1890 году стал академиком разработчик оружия для российской артиллерии генерал Аксель Вильгельм Гадолин.

Многим офицерам хорошо известно о петербургском периоде службы в императорской армии будущего маршала Финляндии и президента К.Г. Маннергейма. Он не был единственным: губернатор Аляски морской офицер Арвид Этолен, губернатор Восточной Сибири адмирал Йохан Гампус Фурухьелм, заместитель морского министра России и председатель Российского Красного Креста Оскар вон Крэмер, а также военный министр России в 1905—1909 годах, воспитанник кадетской школы Хамины Александр вон Рэдигер, немец по происхождению. Список могут дополнить военный губернатор Кронштадта адмирал Роберт Вирен и создатель полевой артиллерии независимой Финляндии генерал Вилхо-Петтер Ненонен, воспитанник бывшей Михайловской академии, который проводил артиллерийские стрельбы в Перкьярви, бывшем и нынешнем Михайловском, после получения Финляндией независимости. Он был одним из немногих финских офицеров, кто получил образование в России, который сохранил свое положение в середине 1920-х годов, когда получившие образование

в Германии егерские офицеры заняли ведущие позиции в армии Финляндии.

Многие финские художники также получили образование в России, хотя традиционно считалась более творческой духовная атмосфера Парижа. Художник Альберт Эдельфельт, писавший портреты императора Николая II, был академиком Петербургской Академии искусств. Сергей Дягилев и общество «Мир искусства» с 1898 по 1904 год организовывали ежегодные финско-русские выставки в залах Училища технического рисования барона Штиглица. На них были представлены работы известнейших финских художников. Возможно, единственным петербуржцем можно считать Хуго Бакманссона, который известен не только работами на темы Марокко, но и портретами членов шведско-финского общества Петербурга. Николай II назначил его руководителем художников камуфляжа весной 1917 года, перед своим отречением. Уже после революции в апреле 1917 года в салоне Н.Е. Добушиной на Марсовом поле, 7, была устроена выставка 273 картин 32 финских художников.

Из представительниц прекрасного пола свою страничку в совместную историю Финляндии и России написала Аврора Шэрнвалл, ставшая в 1830-х годах фрейлиной императрицы и с благословения и при содействии императорской пары вышедшая замуж за старого богатого фабриканта, придворного егермейстера Павла Демидова. В качестве свадебного подарка Аврора получила седьмой по величине в мире бриллиант Le Sansu. После смерти Павла богатая красавица вышла замуж за сына историка Николая Карамзина Андрея. Андрей умер в 1854 году на Дунае во время Крымской войны против турок. Аврора поставила церковь на могиле Андрея на кладбище Новодевичьего монастыря, под сенью которой надеялась сама быть похоронена. Умерла Аврора Карамзина в Хельсинки в 1902 году.

Здесь уместно вспомнить почитаемого в Финляндии писателя Маййу Лассила, который в 1902—1904 годах жил в Петербурге, куда переселился на рубеже веков для торговли древесиной. Из финско-шведских женщин-поэтов наиболее известна Эдит Сёдергран, жившая на Карельском перешейке, где в конце XIX века сформировался крупный русско-финский дачный поселок (ныне — Рошино). На Карельском перешейке жил также и знаменитый русский

художник Илья Репин, умерший в 1930 году на финской территории.

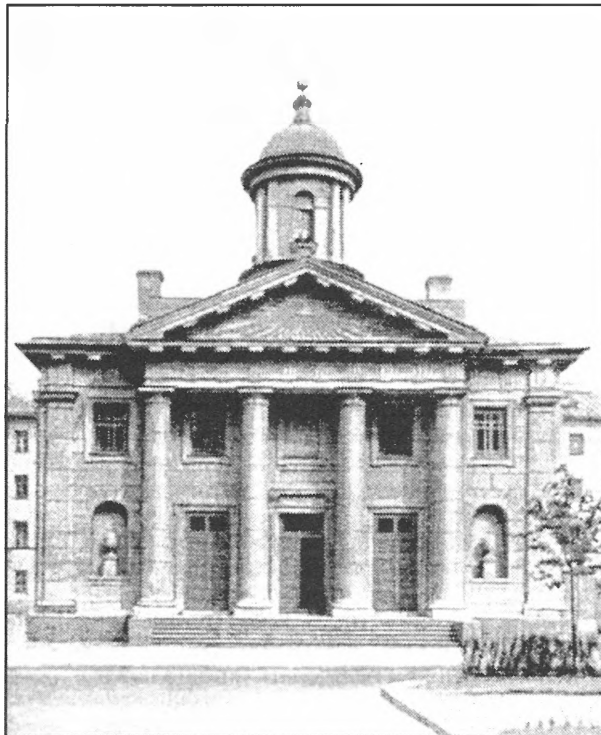
Многие известные в Финляндии люди родились в Петербурге: композитор Э.Пингод (Pinguod), композитор и капельмейстер Д. де Годзинский, иллюстратор детских сказок и автор рождественских открыток Рудольф Койву. Не стоит забывать известную и на сценах Петербурга актрису Иду Аалберг, воплотившую образ финской женщины, которая была замужем за статским советником Государственного Совета и умерла в январе 1915 года в Петербурге. Когда ее гроб везли поездом в Финляндию, вдоль железной дороги собирались ее скорбящие поклонники.

Сайменский канал, строительство которого было завершено в 1856 году, и железная дорога, достроенная в 1870 году, соединили еще крепче Финляндию и Россию. В некоторых финских кругах на самом деле ратовали за европейские узкоколейные железные дороги, но обещанная императором экономическая поддержка ширококолейных дорог решила дело. Так ширина колеи в России и Финляндии стала одинаковой. Дорога Хельсинки — Петербург полностью принадлежала Финляндии. Во владении Финляндии также находился купленный для нужд дровяного склада участок Куликова поля недалеко от Финляндского вокзала в Петербурге. Дорога стала для Финляндии экономически выгодной, соединила ее с сетью железных дорог России в 1914 году, когда было завершено строительство на средства Финляндии железнодорожного моста через Неву. Квартиры финских железнодорожников располагались в доме 35 по Симбирской улице, у них было даже свое спортивное общество, из рядов которого вышел один из первых финских победителей олимпиад Эмиль Вяре, одержавший победу в борьбе в Играх 1912 и 1920 годов.

В Выборгском районе города, согласно исследованиям Макса Энгмана, финнов было более 10 процентов населения. Многие из них работали не только на железной дороге, но и на заводах Нобеля, Лесснера и Парвайнена. У финских рабочих была репутация трудолюбивых и честных тружеников.

Такой же славой пользовались и финские горничные и слуги, например, в рассказе Н.В.Гоголя «Записки сумасшедшего» главный герой го-

ворит своей служанке Мавре, что «эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны». Часто в русской литературе финн — простой деревенский мужик, но этот честный и трудолюбивый финский труженик активно употребляет водку. Гоголь в новелле «Невский проспект» столкнулся на Мещанской улице и с финскими нимфами. Согласно статистическим данным полиции конца



Финская церковь

1800-х годов, 3—5 процентов тружениц самой древней профессии в Петербурге составляли финки. Замусоленного финского извозчика видели на Финляндском вокзале в ожидании ездока, слышали звон его бубенцов на гуляньях на льду Невы. Финская деревенская баба ходила с бидоном молока и узелком провизии в руках среди выстроенных из финского гранита домов и вдоль набережных Петербурга. Финские сельскохозяйственные продукты, ягоды и дичь, а также рыба появились на столах петербуржцев.

После 1917 года финны в Петербурге стали другими. Весной 1918 года потерпевшие поражение в Освободительной войне красные переместились из Финляндии в Петербург, а старые финны-петербуржцы вместе с русскими беженцами — в Финляндию. По словам Мстислава Добужинского, «в 1917 году вместе с революцией Петербург прекратил

свое существование. Он стал Ленинградом, в котором жили совершенно другие люди, которые вели совершенно другую жизнь». Коммунистическая партия Финляндии была образована в 1918 году в Москве. Она активно действовала из Петербурга, поставив себе целью сделать Финляндию коммунистической. Руководителями партии стали доверенное лицо Ленина Эйно Рахья и достигший самой высокой ступени советской иерархии финн, будущий член и секретарь Президиума ЦК КПСС Отто Вилле Куусинен. Финские рядовые коммунисты были недовольны руководством и спланировали их убийство в финском кружке на улице Красных Зорь (Каменноостровский пр.), 26—28. Руководителей не было на месте, когда группа начала стрельбу в помещении кружка. Об этом событии еще и сейчас напоминает надгробная плита на мемориале Марсова поля. Там выгравированы имена убитых, дата: 31 августа 1920 года и лживый текст: убиты финскими белогвардейцами.

В 1930 годах ингерманландцы и финны стали жертвами сталинских гонений и репрессий. Во время сталинского нападения на Финляндию в 1939 году именно создание Терийокского правительства под руководством О.В.Куусинена стало одним из факторов, сплотивших Финляндию в единую нацию. Несмотря на то, что история отношений России и Финляндии —

это история войн и торговли, можно, тем не менее, сказать, что Финляндия и Россия никогда не воевали. Воевали Швеция и Россия, а Финляндия воевала с Советским Союзом. По окончании военных действий между Финляндией и Советским Союзом в августе-сентябре 1944 года «финны Петербурга» играли важную роль в ведении мирных переговоров:

— президентом стал генерал-лейтенант императорской армии К.Г.Маннергейм;

— премьер-министром — юрист Статс-секретариата Великого Княжества Финляндского Антти Хакцель, он был руководителем делегации на переговорах о перемирии в Москве осенью 1944 года, где у него случился инсульт, от которого впоследствии он скончался;

— после Хакцеля руководителем делегации был назначен министр иностранных дел Карл Энкелл, бывший офицер Измайловского полка

и последний статс-секретарь Финляндии;

— военным министром был Рудольф Вальден, также офицер Измайловского полка и основатель одного из крупнейших финских бумагоделательных предприятий, концерна «Юхтюнеет Паперитехтаат». Вальден много лет участвовал в коммерческой жизни императорского Петербурга.

В Финляндии достаточно хорошо знали Россию, когда список пополнили Ю.К. Паасикиви, владевший русским языком и ставший президентом после Маннергейма в 1946 году, и его доверенное лицо, второй министр иностранных дел Рейнголд Свенто, сын начальника Финляндского вокзала в Петербурге. После Парижского мира в собственность Советского Союза перешли здание Статс-секретариата на ул. Римского-Корсакова (бывший Екатерининский проспект), 39, и здание Финляндского банка, в котором в 1923—1938 годах располагалось Генеральное консульство Финляндии.

Рядом с Марсовым полем расположены старые казармы Павловского полка и Инженерный замок, в котором погиб император Павел. Существует по крайней мере две легенды, финская и русская, повествующие о том, что император был сыном финки. А когда мы смотрим на памятник Суворову у Марсова поля, невольно вспоминается, что его предки, Наум и Сувор, пришли в Россию в 1622 году из Финляндии. В книге Кауко Рекола «Суворов — генералиссимус, гений» говорится о том, что сам Суворов называл своих предков Сювяваара — фамилия совершенно финская. Вспомним и самого богатого человека Финляндии Хьялмара Линдера, который весной 1918 года продал свою собственность и перебрался в Швецию. В воспоминаниях княгини Палей, супруги великого князя Павла Александровича, упоминается, что барон Линдер отправил с графом Шуваловым из Стокгольма в Петербург четыре миллиона шведских крон для спасения четырех великих князей, заключенных в Петропавловскую крепость. Граф опоздал, и великие князья были казнены в январе 1919 года. По другим, неподтвержденным сведениям, Хьялмар Линдер купил в Швеции замок, чтобы укрыть в нем самого императора Николая II и его семью.

Недалеко от Марсова поля находится еще один финский центр. Финский церковный двор расположен на Большой Конюшенной улице в домах 4—8. После того как шведы ос-

новали свою церковную общину и построили церковь Святой Екатерины, финны построили церковь Святой Марии, которая была завершена в 1804 году. Здесь расположился финский центр духовной и религиозной деятельности. Первой финноязычной газетой, появившейся за пределами Финляндии, стали изданные в начале 1870 года в Петербурге в церковном дворе Йоханом Аугустом Хагманом «Петербургские новости» (Pietarin Sanomat). В здании действовала финская церковная школа, а позднее финский лицей. Создатель и отец системы народных школ Финляндии Уно Сигнеус был руководителем прихода Святой Марии и церковной школы с 1847 года. Сигнеус прибыл в Петербург с Аляски, где был пастором лютеранского прихода. Последним пастором перед революцией был Юхо Сааринен, отец известного финского архитектора Элиеля Сааринена. Многие финны принимали участие в деятельности как финского, так и шведского приходов. Следы шведского, а также шведскоязычного финского населения на берегах Невы исследовал Бенгт Янгфельд (см.: журнал «Всемирное соло» № 15, 2002).

Общая с Петербургом жизнь прекратилась после революции. Писательница Катри Велтгейм в своей книге «На дорогах перешейка» «останавливает свою машину осенним вечером на самой высокой точке Полвиселкя и видит на юго-востоке, позади Финского залива, отсвет зарева — огни Ленинграда. Где-то там, вне времени, вне досягаемости, находится прежний Петербург, метрополия, который, прежде чем состариться, посещали все (финны), о котором они все могут многое рассказать, с которым связан такой бесконечный поток ностальгических воспоминаний».

Европа ли Петербург или нет — об этом, возможно, размышлял писатель Мартти Меренмаа в своей книге «Утро в императорском городе», когда он стоял у Каменноостровского проспекта на построенном французской фирмой «Бастигнол» Троицком мосту, направляясь к строящейся мечети. Он пишет, «что именно этот мост является тем связующим звеном, которое соединяет Восток с Западом. Связующее звено? Отчего нет цепей, от которых невозможно освободиться».

Ищущий границу между Востоком и Западом найдет ее в линии, нарисованной на воде, все зависит от интерпретации: связующее звено или неразрывная цепь.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Кристина
ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС

В ГОРОДЕ ПЕТРА И
КАМНЯ

ОТЪЕЗД

Деревья нежны и лазурны.
Земля рифмуется с солнцем.
Щепотка сухого воздуха
придает словам
тот слегка горьковатый
привкус,
к которому предрасположены
те, кто отправляется в
путешествие,
долгое и непременно
романтическое.
Белое золото
увозимых воспоминаний.
Черное золото
прощальных взглядов.
Желтое золото —
пожелтевшее золото —
времени.

УРБАНИЗМ

Город меня пересекает,
покрывает мои веки асфальтом.
Веки распахиваются,
как ставни,
прямо на серый обрывок неба.
Кожа становится шероховатой.
Но там, под штукатуркой,
еще гудит, еще дрожит сердце.

БЕСТИАРИЙ ВРЕМЕНИ

Вот они —
гранитные сфинксы,
бронзовые грифоны,
которые в ожидании
невозвратимого
дрессируют город,
поставив его
на все четыре сотни
лап-мостов:
гимнастическая
вольтижировка,
бестиарий мертвого времени.

Перевод с французского
Михаила Яснова

Английский язык в Петербурге

Нина ДЪЯКОНОВА

Английский язык, теперь неотъемлемый от русской культуры, стал звучать в России сравнительно поздно. Хотя имена и произведения Шекспира, Байрона, Диккенса были вряд ли здесь менее известны, чем в Англии, их герои повели за собой вереницы русских последователей, но до второй половины XIX века читали великих английских писателей преимущественно в переводе на русский или французский язык. Даже Пушкин стал читать английских авторов в подлиннике лишь в последнее десятилетие своей жизни.

В светском обществе был принят французский язык: все помнят, что по-французски звучат первые фразы едва ли не самого знаменитого русского романа XIX века («Война и мир»). В дворянских семьях — а потом и в состоятельных купеческих и разночинных — детей воспитывали гувернантки, чаще всего французки, но нередко и немки. В гимназиях, почти до конца XIX века, преподавали немецкий и французский язык — к английскому обращались лишь в редких случаях.

Только в середине XIX века в аристократических домах появляются английские учителя. Английский оборот «не в моем вкусе» («not in my like») звучит в устах Вронского, английский роман читает в поезде по дороге из Москвы в Петербург Анна Каренина. Английские нянечки так хорошо обучили языку единственную дочь императора Александра II Марию, что она блистала в лондонском свете, когда стала супругой герцога Эдинбургского Альфреда, второго сына королевы Виктории.

Бракосочетание Марии и Альфреда состоялось в Петербурге в 1874 году (ровно через двадцать лет, в 1894 году, внучка Виктории вышла замуж за последнего императора России Николая II!). По свидетельству королевы, Мария удивительно хорошо владела английским. В последние десятилетия XIX века она уже не была исключением: в восьмидесятые годы, в детстве, моя учительница, княжна Ольга Владимировна Урусова, говорила по-английски лишь чуть хуже, чем по-французски;

у меня сохранились подаренные ею английские детские книги и антологии.

Начали изучать английский язык и в столичных гимназиях (например, в одной из первых в Петербурге женских гимназий — гимназии Субботиной). Изучали английский и в Смольном институте благородных девиц — впрочем, без большого успеха; моя первая учительница Наталья Ивановна Кузьмина, «смолянка», учила меня и сестру говорить на странном наречии, согласно которому английские слова романского происхождения произносились на французский лад, а слова германского происхождения — на немецкий. Господствующим в обучении английскому языку в России оставался, по выражению известного филолога Л.В.Щербы, «гувернантский метод».

К началу XX века английский получает в Петербурге заметное распространение. Другая моя учительница, Вера Игнатьевна Балинская, воспитанная английской гувернанткой в начале 1900-х годов и окончившая дни монахиней в монастыре в Пюхтицах в 1970-е годы, уже стала одним из признанных мастеров преподавания английского, родоначальницей целой школы.

Своей главной наставницей Вера Игнатьевна считала Евгению Агафоновну Штейн. Ее детство и юность прошли в «английской колонии» (ее выражение!) в Гамбурге, и незадолго до Первой мировой войны она переехала в Петербург, скоро ставший Петроградом, и тут положила начало Курсам иностранных языков, энергично функционировавшим в течение более двадцати лет, до конца 1930-х годов, с перерывом только на трудные годы Гражданской войны и голода.

На трех отделениях — французском, немецком, английском — этих курсов (с четырехлетним сроком обучения) учились сотни и тысячи человек (в советское время они назывались Высшими государственными курсами иностранных языков). Я до сих пор с любовью храню скромный, но хорошенький диплом, давший мне в 1933 году звание перевод-

чика и преподавателя английского языка. Преподавали на этих курсах замечательные люди, частично иностранцы, частично — выходцы из русской, преимущественно дворянской, интеллигенции, либо прожившие долгие годы за границей, либо обучавшиеся по «гувернантскому методу». Одним из организаторов английского отделения был родоначальник английской фонетики в России профессор Семен Карлович Боянус, швед по происхождению, но учившийся в Англии. (Вместе с профессором Владимиром Карловичем Мюллером он был автором первых советского времени англо-русского и русско-английского словарей.)

Вспоминаю с вечной благодарностью Анну Васильевну Сиверс, Ольгу Валерьевну Галанину, Евгению Митрофановну Аничкову, Юрия Юльевича Вилистера, Николая Михайловича Архангельского. Первые три погибли во время блокады (как и Евгения Агафоновна Штейн), последние два стали жертвами сталинских репрессий.

На курсах царил культ знания, искреннее увлечение языком. Говорили между собой и преподаватели и слушатели только по-английски. Это настолько вошло в привычку, что, встретившись во время войны с одним из своих бывших соучеников, я, в переполненном вагоне поезда, никак не могла, несмотря на подозрительные взгляды соседей, перейти на русский язык.

В двадцатые годы открылся английский цикл в Педагогическом институте имени А.И.Герцена, а в начале тридцатых — на лингвистическом факультете Ленинградского историко-лингвистического института (ЛИЛИ — таково было ветреное именование бывшего филологического факультета Университета. В те годы господствовала тенденция к обособлению и отделению).

Я стала студенткой осенью 1932 года, одновременно заканчивая Курсы иностранных языков. Время было трудное, голодное. Студенты были оборваны, но всегда хорошо умыты. Прием был без экзаменов, по классовому признаку. Преобладали уче-

ники школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и рабочих факультетов, малограмотные и в родном языке, не говоря уже об иностранных. Меня приняли только потому, что Сталин в тот год приравнял научных работников (и их детей) к пролетариям.

В трудности английской фонетики новичков посвящал С.К.Боянус — и сразу приказал мне шесть часов в неделю заниматься со слабыми студентами. Не всех их сумела я, шестнадцатилетняя девица, вытащить. Между тем в ходе яростной классовой борьбы истреблялись и вытеснялись невежественные партийные кадры,* и на факультете стали появляться «старые специалисты» — Владимир Федорович Шишмарев, Виктор Максимович Жирмунский, Михаил Павлович Алексеев, Лев Владимирович Щерба. Среди преподавателей английского языка особенно запомнились Изабелла Романовна Гербач (дочь великого хирурга Вредена), Наталья Федоровна Анненкова, Маргарита Федоровна Мурашкинская.

Английский язык в группах английского цикла занимал центральное место в учебной программе, и большинство из нас видели себя — и действительно стали — преподавателями. Из моих соучениц в скором будущем завоевала особое уважение Наталья Николаевна Амосова, блестящий лектор, ученый и переводчик, увы, рано ушедшая в лучший мир.

В 1937 году наш Институт вернулся в лоно Университета и составил три его факультета — философский, исторический, филологический. Последний (уже с середины 1930-х годов) перестал быть единственным «языковым» центром: расширил свою деятельность Педагогический институт имени А.И.Герцена, появился Педагогический институт имени М.Н.Покровского и два Института иностранных языков: первый — около Смольного, в помещении бывшего Института благородных девиц (Ефим Григорьевич Эткинд называл его «Институтом неблагодарных девиц!»), где деканом был видный лингвист Борис Александрович Ильиш, и второй — на Мойке, напротив Новой Голландии.

Под руководством декана английского факультета Веры Игнатьевны Балинской преподаватели, ста-

рые и молодые, работали с полной самоотдачей. На их собраниях внимательно обсуждали успехи студентов, и декан Балинская, посещавшая занятия во всех группах английского факультета, давала советы, как помогать ученикам преодолевать неизбежные трудности.

Постепенное расширение интереса к английскому включило, естест-

Педагогический институт тогда вообще прекратил свое существование (до конца 1940-х годов).

Энергичнее всего англистика подерживалась в Университете, выведенном в Саратов, героическим ректором Александром Алексеевичем Вознесенским (впоследствии расстрелянным по «Ленинградскому делу», после того, как ценой нечеловече-



Дворец Разумовского
(Главный корпус Педагогического института имени А.И.Герцена).
Набережная Мойки, 48.

венно, и изучение английской литературы, истории языка, истории страны. Во всех названных институтах читались многочисленные теоретические курсы, составлялись краткие, часто машинописные, конспекты и пособия. С печатанием иностранных книг в тридцатые годы было еще трудно: появлялись редкие издания классиков — Диккенса, Теккерея, Фильдинга, Дефо, Свифта — и небольшие по объему хрестоматии и антологии, вроде знаменитой в эти годы книги М.Кузнец и А.Якобсон.

Появились первые аспиранты, будущие ученые в области английской филологии, готовые посвятить себя изучению выбранной страны и ее культуры. Все это было грубо остановлено войной. Бесчисленны были жертвы блокады и боевых действий; обучение фактически прекратилось и лишь потихонечку восстанавливалось, когда весной 1942 года Педагогические институты и Университет были эвакуированы. Второй

ских усилий восстановил Университет в послеблокадном городе).

Педагогический институт имени А.И.Герцена был сначала эвакуирован на Кавказ, откуда ранней осенью 1942 года был переведен на Урал, в крошечный город Кыштым Челябинской области (где мне выпала честь защищать диссертацию в декабре 1943 года!).

Англистика процветала во вновь возвращенном к жизни Университете даже в последние мрачные годы сталинизма, даже в период борьбы с «космополитизмом». Расправа с «космополитами» мало коснулась кафедры английской филологии, но с кафедрой западно-европейских литератур вынужден был, на беду ее, расстаться В.М.Жирмунский.

Однако после смерти «отца народов» восстановление прежних порядков было быстрым. С середины пятидесятых годов под руководством М.П.Алексеева стали выходить в университетском издательстве сбор-

*Директор института Горловский, историк нового времени, объяснял нам, что выражение «Богат, как Крез» происходит от фирмы «Шнейдер и Крез»!

ники исследований, посвященных насущным проблемам истории иностранных литератур, в том числе и английской литературы; обильны были и исследования лингвистические, активно росли новые аспиранты, литературоведы и языковеды.

Интенсивными были также научная жизнь и изучение английского языка в Педагогических институтах имени А.И.Герцена и М.Н.Покров-

дах. Таковые действительно были открыты, но многие из них не оправдали себя из-за отсутствия квалифицированных преподавателей.

На филологическом факультете Университета и на факультете иностранных языков в Институте имени А.И.Герцена оказалось небывалое число студентов-англистов. Для их обучения не всегда хватало преподавателей, все работали со значительной перегрузкой. На филологическом факультете Университета, например, на каждом курсе училось 50 англистов, не считая вечернего отделения, куда набирали человек 15. Их всех ориентировали не только на практическую, преподавательскую работу, но и на теоретическую, историко-литературную и лингвистическую. Прозвевали научные кружки для способных и любознательных; лучшие студенческие работы публиковались; научные работы профессоров, преподавателей, аспирантов объединялись в бесчисленных «Ученых записках». С Университетом энергично соперничал Институт имени А.И.Герцена.

Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы отмечены также бурным ростом публикации книг, как научных, так и художественных. В области англистики появляются и учебники, и исследовательские труды, и сложнейшие лингвистические изыскания (отметим, например, книги по стилистике английского языка профессора Института имени А.И.Герцена Ирины Владимировны Арнольд), и антологии, и монографические книги о выдающихся английских писателях, прошлых и современных. Издательства «Просвещение» (в Ленинграде и Москве) и «Прогресс» и «Радуга» (в Москве) неутомимо издавали книги на английском языке, книги учебные, научные и художественные.

Одним из центров английского общения стал, еще с середины 1940-х годов, Ленинградский Дом ученых. Расположенный на Дворцовой набережной, прямо напротив Петропавловской крепости, он оказался местом встречи англистов, собиравшихся слушать лекции и беседы опытных преподавателей города — и даже отмечать юбилейные даты

великих английских писателей. Эти лекции привлекали десятки (а то и сотни!) слушателей.

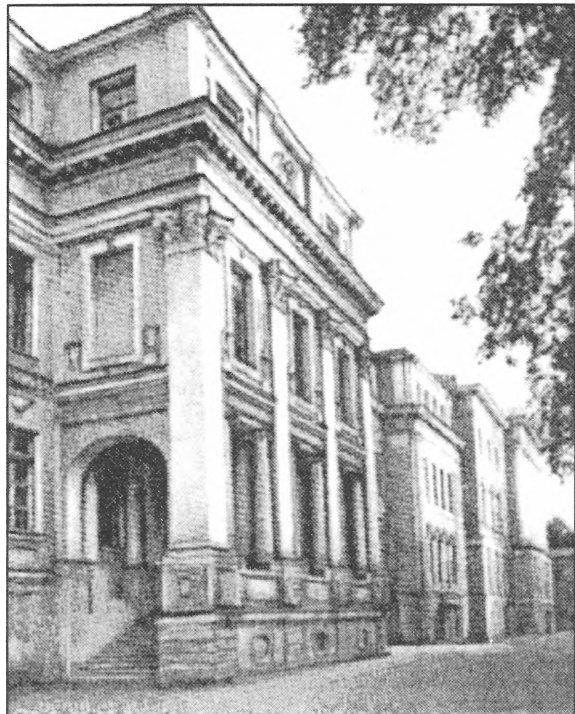
Подобную роль играл и Дом дружбы, где систематически встречались для слушания лекций и участия в общекультурных программах любители английского языка. Дружеская и свободная атмосфера Дома дружбы — даже звучание на его собраниях знаменитой песенки о Чижике-Пыжике — способствовала приобщению русской аудитории к английскому языку.

Постепенно становился легче выезд за пределы СССР; те, кто отдавал всю жизнь изучению английского языка, получали, правда, с огромным трудом и хлопотами, возможность увидеть белые берега Альбиона, услышать живую речь его обитателей. Завязывались знакомства, переписка, обмен книгами; в Ленинград приезжали преподаватели-иностранцы, и с их участием расширялись границы наших языковых возможностей.

Все эти процессы получают новый и мощный стимул после 1985 года — в период так называемой «перестройки» и последовавших за нею радикальных политических, экономических и идеологических перемен. Интенсивнее стало общение специалистов-англистов с зарубежными коллегами; правилом стали выезды «наших» на международные конференции, где, решаясь сказать, им не приходилось краснеть за отечественную систему обучения и за свои знания; преподаватели-англичане на наших — уже петербургских — английских отделениях стали появляться чаще; молодые преподаватели получили возможность один за другим выезжать в Англию и США для пополнения своего языкового багажа и совершенствования разговорных навыков.

В городе кроме традиционно действующих учебных заведений появились платные институты иностранных языков, в которых английский наиболее популярен; возникли многочисленные факультеты второго образования, с высокими требованиями к знанию английского языка. Более отчетливо, чем прежде, подчеркивается его первостепенное значение, политическое и культурное. Иностранные отделения открылись и в институтах (университетах), казалось бы, очень далеких от вопросов филологии, — например, в Финансово-экономическом и Политехническом (Техническом) университетах.

По-новому развернулась деятель-



Дом Штегельмана.
(Учебный корпус Педагогического института имени А.И.Герцена). *Набережная Мойки, 50.*

ского и в Первом педагогическом институте иностранных языков. Второй педагогический после войны уже не имел прежнего статуса, хотя языковые занятия и обучение студентов профессиональным преподавательским навыкам сохраняли высокий уровень.

Тем неожиданней и необъяснимей был приказ Хрущева в 1956 году: ликвидировать Педагогический институт имени М.Н.Покровского, а также Первый и Второй педагогические институты иностранных языков как отдельные самостоятельные единицы и слить Институт имени М.Н.Покровского и Второй институт с Институтом имени А.И.Герцена, а Первый институт иностранных языков — с филологическим факультетом Университета. Хрущев мотивировал это избыточностью языковых вузов в Ленинграде и необходимостью открыть новые на периферии, в провинциальных горо-

ность кафедры иностранных языков Академии наук. Не ограничиваясь своей главной обязанностью — организацией преподавания для аспирантов и научных сотрудников в институтах, объединяемых Академией наук, кафедра (заведующий — профессор Юрий Петрович Третьяков) устраивает каждый год научные конференции, где основная тема — связи русской и зарубежных культур. В последние годы эти конференции стали международными, привлекающими деятельных участников из-за пределов России. Материалы конференций публикуются под названием «Russian-British Links» и содержат разнообразнейшие сооставлений русских и английских художественных текстов до очерков отношений между монархами России и Великобритании и, соответственно, между русской и британской придворной аристократией. Большая часть докладов звучала на английском языке.

Аналогичную, все возрастающую роль играют ежегодные встречи преподавателей-англистов (организатор и вдохновитель — профессор Московского педагогического университета Нина Павловна Михальская). В этих встречах-конференциях петербуржцы принимают деятельное участие. Теперь эти конференции тоже приобрели интернациональный масштаб, привлекая английских и американских коллег и тоже усердно публикуя тезисы прочитанных докладов. Отметим помощь участникам конференций со стороны преподавателя Оксфордского университета Карен Хьюит. Число конференций, посвященных лингвистическим и историко-литературным проблемам, быстро растет.

Множатся развивавшиеся с пятидесятых годов «английские» школы с углубленным изучением английского языка, где предпринимаются попытки преподавать по-английски ряд предметов. Нередко такими предметами оказываются литература и история.

Невозможно перечислить возросшие разнообразные, чаще всего частные, но и государственные курсы иностранных языков, платные, где работают высококвалифицированные преподаватели, в том числе выходцы из Англии и Америки.

Скромная по своему назначению Библиотека имени В.В. Маяковского превратилась в важнейший центр, обеспечивающий новейшей английской литературой, художественной, методической, учебной. Здесь прово-

дятся разнообразные консультации для преподавателей и здесь же Британским Советом (British Council) организованы экзамены по стандартам Кембриджского университета для всех желающих работать или учиться за границей.

Можно смело сказать, что современная петербургская молодежь вооружена солидными знаниями, что позволяет ей успешно проявлять се-

программы и приобрели новые гражданские специальности (маркетинг, менеджмент, деловое администрирование, работа с компьютером). Усиленно работают туристические фирмы. За один год Англию посетил более ста тысяч россиян. «Всемирный клуб петербуржцев» провёл в Лондоне фестиваль «Виват, Петербург!».

Понемногу английский язык по-



Главное здание Академии наук.
Университетская наб., 5.

бя в зарубежных учебных заведениях.

Этому немало способствует небывалое разнообразие книг на английском языке и еще больше — переводных изданий. Не только классику, как бывало, но и современных романистов и драматургов мгновенно отмечают способные молодые переводчики, превосходно переводят, и они становятся частью общеобразовательного запаса молодой интеллигенции Петербурга и России. Отметим, в частности, важную роль издательства «Азбука», выпускающего сравнительно дешевые книги выдающихся мастеров английского слова.

Повысилась на рубеже тысячелетий и активность британского консульства. Генеральный консул Британии в Петербурге Барбара Хэй немало способствует общению русских и англичан, сближению двух наций.

Отражая эту тенденцию, в Петербурге конца прошлого и начала нынешнего века появился ряд совместных деловых, информационных, экономических и научных русско-британских предприятий и фирм, вовлекающих все новых членов, преимущественно из молодежи. Около трехсот наших молодых офицеров прошли переподготовку в рамках совместной российско-британской

лучает в Петербурге распространение, подобное тому, какое в XVIII—XIX веках имел язык французский, и становится частью нашей культуры.

Англо-русские контакты растут, отражая потребность современного мира в сглаживании национальных различий и в установлении надежных связей между мыслящими людьми всех стран.

P.S.

«Русская Пастушка» — первый французский роман о России

Уникальный экземпляр
из петербургской коллекции «Россика»

Арлен БЛЮМ

Книги, как и люди, склонны к миграции, а иногда, когда условия жизни в стране их происхождения становятся невыносимыми, и к эмиграции. Стечение ряда обстоятельств порою приводит и к тому, что единственным сохранившимся экземпляром книги обладает зарубежная библиотека... В качестве примера можно указать на единственный известный экземпляр первого русского «Букваря», напечатанного Иваном Федоровым во Львове в 1574 году, оказавшийся в библиотеке Гарвардского университета в США (он случайно в 20-е годы был обнаружен и куплен у букиниста Сергеем Дягилевым, жившим тогда в эмиграции). С другой стороны, в Российской национальной библиотеке хранится замечательная по полноте и подбору библиотека Вольтера, приобретенная Екатериной II: в ней имеется немало уникальных французских изданий.

О судьбе одной редчайшей французской книги, хранящейся в отделе «Россика» Российской национальной библиотеки, и пойдет речь в нашей статье.

В свое время автор этих строк, занимаясь изучением литературной жизни российской провинции XVIII века, просматривал труд уральского историка Дмитрия Дмитриевича Смышляева (1828—1893) «Источники и пособия для изучения Пермского края» (Пермь, 1876). Почти в самом конце этого почтенного труда неожиданно под № 1381 мелькнула запись по-французски, оставленная без перевода:

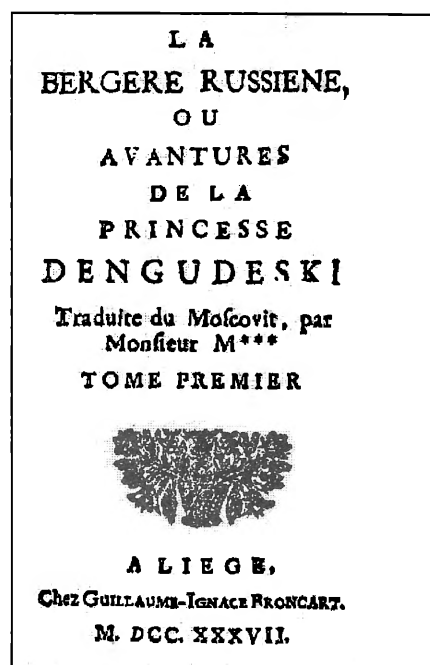
«La Bergere Rusienne (sic!) ou aventures de la princesse Dengudeski. Traduite du Moskovit (sic!) par Monsieur M***. A Liege, chez Guillaume-Ignace Broncart. MDCCXXXVII».

В переводе она звучит так: «Русская Пастушка, или Приключения принцессы Дангудеской. Переведено с московитского господином M***. Льеж, у Гийома-Иньяса Бронкара, 1737». Дважды встречающаяся латинская вставка (sic! — так!), озна-

чающая в данном случае удивление или недоумение, принадлежит самому Смышляеву. Многие его записи сопровождаются комментариями, перерастающими подчас в небольшие библиографические этюды. Вот что пишет он дальше об этой книге:

«Псевдопереводы, хранящиеся в Императорской Публичной Библиотеке в Петербурге. Место действия этого романа в «Permaveliki, Capitale de la Province Permski» (Перми Великой, столице Пермской провинции.). Этот курьез составляет величайшую библиографическую редкость и представляет пример того, как литературные аферисты прошлого столетия морочили читающую публику выдумками о России, выдавая произведения собственной фантазии за переводы с русского. Можно себе представить, какие интересные подробности о «Permaveliki, Capitale de la Province Permski» заключаются в названном сочинении».

Что ж, уральский библиограф имел все резоны предполагать, что сочинение «Monsieur M***» — типичная «развесистая клюква»,¹ тем более что примеров такого рода (во французской литературе в особенности) предостаточно. В.О.Ключевский обратил однажды внимание на то, что «...до самого XVIII века западноевропейское общество оставалось почти в совершенном неведении о положениях и судьбах России; вследствие этого неведения в нем распространились и укоренились странные представления об этой стране».² Однако же, судя по обороту речи («можно себе представить»), сам Д.Д.Смышляев не видел этой книги, не обращался к ней, как говорят библиографы, «de visu», то есть воочию, а почерпнул сведения о ней из какого-либо источника. Скорее всего, им мог быть двухтомный «Catalog de la section Russica», изданный Академией наук в Петербурге за три года до появления труда Смышляева, в 1873 году. Но вот что странно: в этом каталоге роман «Русская Пастушка» хотя и зарегистрирован (под № 814), но не содержит никаких пояснений. Возможно, о фран-



«Русская Пастушка». Титульный лист первого издания. 1737 г. Из собрания «Россика» Российской национальной библиотеки.

цузском романе сообщил Смышляеву кто-либо из его петербургских знакомых: заглянув в него, он сразу, на первой же странице, обнаружил колоритную деталь — действие происходит в «Московии, около Перми Великой», что, конечно же, уральского библиографа должно было заинтриговать.

Что же представляет собой этот французский роман о «Московии»? К счастью, он сохранился в отделе «Россика» — уникальном собрании Российской национальной библиотеки, насчитывающем свыше 150 тысяч иностранных сочинений, посвященных России. Авторы одной из работ специально отмечают особенность «Россики»: «Гораздо менее известно литературоведам... любопытное собрание: коллекция иностранных романов, повестей, пьес и стихотворений на сюжеты из русской жизни. Хотя художественные достоинства этих произведений зачастую невысоки, многие из этих

книг представляют и ныне историко-литературный интерес».³

«Русская Пастушка» — прелестно изданная миниатюрная книжка, украшенная рисованными буквицами и другими ухищрениями тогдашнего типографского искусства. Естественно, сразу же возник вопрос: кто же был автором этого сочинения, скрывшимся под псевдонимом «господин М***»? В подобных случаях исследователи обращаются за помощью к Антуану Огюсту Барбье, создателю капитальнейшего «Словаря анонимных и псевдонимных сочинений», вышедшего в Париже в начале XIX века и затем переиздававшегося и дополнявшегося. Псевдонимов французских авторов, подписывавших свои сочинения одной, двумя, тремя и даже четырьмя звездочками, раскрыто Барбье довольно много, но ни один из них не был автором «Русской Пастушки». Просмотрены были мною и другие авторитетные библиографические источники — знаменитый указатель Ж.М.Керара «Литературная Франция» в 12 томах (Париж, 1827—1864), многотомный печатный каталог Национальной библиотеки в Париже и т.д., но в них опять-таки наш роман не фигурирует.

Как это не покажется странным, первое упоминание о нем встретилось не во французских, а в американских источниках. Впервые о «Русской Пастушке» говорит Д.Мореншельд, опубликовавший в 1936 году в Нью-Йорке монографию «Россия в интеллектуальной жизни Франции XVIII века». На с. 282 он сообщает о первых французских романах на русскую тему, в частности о «Русской Пастушке», изданной в Льеже в 1737 году. Но Мореншельд, насколько можно понять, опять-таки (как и Смышляев) сам эту книгу явно не видел, а узнал о ней из упоминавшегося выше петербургского каталога отдела «Россика» Публичной библиотеки. Об этом свидетельствует, в частности, такая курьезная оплошность: он принял первое слово заглавия книги («La Bergère» — пастушка) за фамилию ее автора! Таким образом, появился какой-то неведомый французский писатель со странной для француза фамилией Пастушка. Впрочем, не такой уж и странной, если вспомнить главного героя романа Анатоля Франса «Господин де Бержере в Париже» (1901). Но это уже другая история... Такие

казусы встречаются, когда исследователи черпают материал из вторых рук, не обращаясь к первоисточникам. Однако в 1939 году эта ошибка была исправлена другим американцем — С.П.Джонсом, опубликовавшим в Нью-Йорке «Список французских прозаических произведений с 1700 по 1750 год». Ему наконец удалось раскрыть псевдоним автора «Русской Пастушки». Им оказался



Пастушеская сцена. Художник Ф.Буше (1703—1770).

Иньяк Винсан Гийо де ла Шассань. Правда, Джонс указывает более позднее — очевидно, второе — издание романа (1745); о первом же издании 1737 года, хранящемся в Петербурге, он, очевидно, не подозревал. Обратившись к знаменитому 8-му тому многотомного справочника Ж.-Ф.Мишо «Универсальная библиография старых и современных авторов», вышедшего в Париже в 1813 году, мне удалось выяснить, что наш автор родился в Безансоне, в семье профессора медицины тамошнего университета, затем молодым человеком уехал в Париж и занялся литературной работой. Он «...написал несколько забытых романов, хотя (как не без ехидства добавляет биограф. — А.Б.) они не ниже большинства тех, которые встречаются в настоящее время». Краткая справка о Гийо де ла Шассане нашлась и в крупнейшей французской энциклопедии («Большом Ларуссе»): «Ла Шассань (1705—1750) — французский романист, родился в Безансоне, затем уехал в Париж, опубликовал романы, которые тогда были в моде; они мало блещут воображением, но весьма чисто написаны».

Для нас в данном случае инте-

ресно вот что: ни Мишо, ни другие библиографы не упоминают о существовании льежского издания «Русской Пастушки» 1737 года. Более того: не только многотомные печатные каталоги Библиотеки Британского музея, Библиотеки Конгресса США, но даже каталог Французской национальной библиотеки в Париже не зарегистрировали это издание. Таким образом, Д.Д.Смышляев был совершенно прав, отметив, что книга представляет «величайшую библиографическую редкость».

Вернемся, однако же, к содержанию «Русской Пастушки» и посмотрим, во-первых, насколько был прав Смышляев в своих предположениях (напомним, что книгу он не читал) насчет ее художественных достоинств и фактической точности, а во-вторых, — в какой мере присутствуют в ней российская тематика и колорит. Героиня романа, от лица которой и ведется весь рассказ, — юная особа по имени Дариска (может быть, автор где-то слышал русское имя Дарья?). «Я родилась в Московии, в замке вблизи Перми Великой, столицы Пермской провинции» — так начинает она свою историю. Собственно говоря, этот

«замок» (chateau) представлял собой небольшую усадьбу мелкопоместного и крайне обедневшего русского дворянина. Родители вынуждены отправить Дариску в расположенную неподалеку деревню к ее крестной матери; она становится простой деревенской пастушкой, любит гулять по лугам и лесам, любясь горами, водными просторами и прочими прелестями окружающей ее дивной природы. В ней постепенно обнаруживаются необыкновенные таланты: Дариска прекрасно поет и танцует. Вдруг в деревню приезжает некий таинственный молодой незнакомец, которого зовут Давлеский (вообще, замечу, почти все фамилии героев романа «полонизированы»: очевидно, автор о Польше знал гораздо больше, чем о России). Он искусно притворяется простым пастухом, между молодыми людьми завязывается дружба: они вместе пасут стадо, режутся, поют, танцуют и т.д. В общем, типичная пастораль...

Но дальше события разворачиваются неожиданно. Во время прогулки по лесу Дариска встречает двух незнакомых мужчин, которые, как можно понять, усыпляют ее и похищают. Она просыпается через

несколько часов в карете, мчащей ее неведомо куда, и видит сидящих напротив незнакомую прекрасную даму и своего друга, который странным образом преобразился. Изменились его манеры, речь, одежда, из простого «пейзана» (peysan) он превратился в аристократа «самой высшей пробы». Спутники называют друг друга «принц» и «принцесса»; более того, к самой Дариске они обращаются как к «принцессе Дангудеской». Всего лишь через сутки (автор явно имел смутное представление о российских просторах) они приезжают в какой-то огромный город, — судя по всему, в Петербург. Далее следует описание великолепного дворца, роскошного сада, украшенного скульптурами и другими произведениями искусства. На бал съезжаются гости — представители «лучших» аристократических семей России — исключительно «графы, бароны и принцы». Бывшая пастушка, которая никак не может понять причины своей неожиданной метаморфозы, пользуется огромным успехом. Правда, она никак не может остаться наедине со своим «принцем-пастухом» Давлеским: тот увлечен какой-то «прекрасной русской дамой». Дариску ни на минуту не отпускает от себя князь Куракин («Prince Kurakin») — галантный, остроумный кавалер, блестящий собеседник и партнер по танцам, «чей отец, — добавляет автор, — был послом в Голландии при Петре I». Эта реалья, в отличие от многих других, точна: князь Борис Иванович Куракин (1676—1727) — видный дипломат петровской эпохи, был послом в Риме, Лондоне, Нидерландах, а с 1617 года — во Франции. Возможно, Гийом де ла Шассань, живший в это время в Париже, встречался с ним или, во всяком случае, хорошо знал имя русского посла.

На следующий день Дариска получает письмо от своей крестной матери из пермской деревни. Та сообщает, что, удрученный горем, ее отец тотчас же после исчезновения Дариски скончался. Впрочем, она счастлива за судьбу своей воспитанницы, тем более что она вскоре получила от неизвестного лица «15 тысяч дукатов». Нужно сказать, что и сама Дариска, находясь еще в роли деревенской пастушки, не раз получала от каких-то таинственных незнакомцев дорогие подарки — драгоценности, меха и прочее. Почему-то в самом конце послания крестной помещена приписка, сделанная неизвестной рукой. В ней сообщается, что князь Куракин был на балу «по-

ражен в самое сердце», Дариска — «та, которая ему нужна, и он может думать только о ней».

На этом роман заканчивается, но нужно иметь в виду, что на титуле «Русской Пастушки» указано — «Том первый». По-видимому, автор собирался продолжить историю «принцессы Дангудеской» и раскрыть тайну ее происхождения. Но смог ли он это сделать — сказать трудно: ни в каталоге «Россика», ни в других известных нам источниках о втором томе нет ни звука.

Таково вкратце содержание романа. Д.Д.Смышляев, надо сказать, слишком уж сурово отнесся к автору, посчитав его «литературным аферистом прошлого столетия, морочившим читающую публику выдумками о России», выдавая их за «перевод с московитского», — снова напомним, что библиограф самой книги не видел и, естественно, не читал. Роман «Русская Пастушка», конечно же, вовсе не является шедевром французской прозы. Это весьма типичный образец буколической литературы, имеющей давнюю традицию, восходящую еще к античности, начало которой положено Лонгом в его пасторальном романе «Дафнис и Хлоя». В духе своего времени наш автор, потворствуя вкусам читающей публики, окружает героев флером загадочности и таинственности. С этой же целью, стремясь создать занимательный и развлекательный роман, он применяет в общем-то весьма обычный литературный прием — переносит действие в «экзотическую» страну, которой в глазах иностранцев была Россия того времени (да и сейчас порою). В то же время роман Ла Шассаня «весьма чисто написан», как сообщает о нем «Большой Ларусс», то есть в нем нет фривольности и «пикантных подробностей», которыми любили уснащать свои произведения французские авторы XVIII века. Не найдем мы в романе и особой «развесистой клюквы». Автор, конечно, располагал весьма смутными представлениями о России и «Перми Великой». Но тут можно сделать скидку: роман Ла Шассаня — один из первых, скажем мы осторожно (а может быть, и вообще первый), и редчайших случаев проникновения русской темы во французскую литературу. Позднее, уже во второй половине XVIII века, появится во Франции довольно много романов, повестей и драм «из русской жизни», наполненных самыми фантастическими и курьезными вымыслами. Смышляев, очевидно хорошо осведомленный об этом, по-

считал и «Русскую Пастушку» одним из подобных образцов.

О «Пермской провинции» французский писатель мало что знал — вероятней всего, ничего, кроме названия этой отдаленной местности, расположенной, как он думал, на восточной окраине «Московитии». В качестве забавного курьеза приведем сообщение автора о том, что пастушке Дариске в ее деревню доставлял вина некий «винодел из Перми». Можно представить, какие «вина» он мог ей присылать... В описании Петербурга мы также не найдем каких-либо конкретных деталей; с таким же успехом автор мог изобразить любой европейский город того времени.

Так или иначе, «Русская Пастушка» — первое, насколько можно судить, художественное произведение иностранного писателя, в котором, хотя и не без оттенка мифологии, затронута российская тема, а экземпляр льежского издания 1737 года, которым располагает петербургский отдел «Россика», представляет собой уникальную редкость.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Устная традиция приписывает это выражение Александру Дюма-отцу, совершившему в 1858 г. путешествие по России и написавшему несколько книг о ней. Однако, как отмечают Н.С. и М.Г. Ашукины в известном справочнике «Крылатые слова» (М., 1956. С. 570), это несправедливо. В некоторых источниках сообщается, что это выражение пошло от описания России, в котором один французский автор пишет, что он сидел «под тенью величественной клюквы» («sous l'ombre d'un kliukva majestueux»). Однако французский источник этого выражения не установлен.

²Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1866. С. 1.

³Гольдберг А.Л., Яковлева И.Г. Коллекция «Россика» Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина — важный памятник культуры // Сборник методических статей по библиотечковедению и библиографии. Л., 1964. С. 234.

Незнакомец из Ленинграда

(Отрывок из романа*)

Жерар Де-ВИЛЬЕ

По обе стороны прямолинейного ухабистого шоссе, ведущего в направлении центра Ленинграда и переходящего в Московский проспект, расстилась, насколько хватало глаз, плоская унылая местность, кое-где виднелись серые коробки социалистических хибар. Тащились со скоростью улитки тряские позвякивающие трамваи, которые, похоже, не разваливались только благодаря краске. Серое небо, скверно одетые люди — можно было подумать, что идет война. Безрадостное однообразие автомобилей — только советские марки: «Волги», «Москвичи», грузовики, скопированные со старых GMC. Бесконечные очереди, растянувшиеся на троллейбусных остановках. Крохотный автомобильчик, куда втиснулись Малко, еще один американец и гид из «Интуриста», которая с трудом связывала три слова по-английски, притормозил перед огромной площадью, украшенной бронзовыми фигурами, — площадью Победы.

— Монумент героическим защитникам Ленинграда, — торжественно объявила гид.

Единственная фраза, которую она могла произнести по-английски без запинки. Малко не собирался выставлять напоказ свое знание русского.

Перелет Хельсинки — Ленинград на древнем, распадавшемся по кускам «аэрофлотовском» ИЛе с чисто символическим обслуживанием был для него нелегким испытанием.

Ленинградский аэропорт походил на аэропорт какого-нибудь американского городка на Среднем Западе — квадратное здание с потолком как в соборе, и к нему, чтобы увеличить площадь, пристроены деревянные лачужки.

Протянув паспорт солдату-пограничнику с зелеными погонями КГБ, Малко, несмотря на весь свой опыт, почувствовал, как сердце у него забилося сильнее. Но пограничник торопливо пролистал паспорт, изготовленный в ЦРУ, и безразлично проштамповал визу.

Таможня тоже не зверствовала... Они явно получили распоряжение не цепляться к туристам.

— Московский проспект, — объявила гид.

Длинный проспект окаймляли старые почерневшие и неухоженные дома из крупного камня, кое-где они перемежались кошмарными современными зданиями — их украшали фрески, где в традициях соцреализма воспевались рабочие и крестьяне Советского Союза. Всюду трамваи, троллейбусы и очереди, вытянувшиеся перед любым ничтожным магазинчиком. Витрины навели бы скуку на самого безденежного крестьянина. И куда хватает глаз — ничего красивого, ничего радостного. Через каждые сто метров — телефонная cabina,

выкрашенная красной краской и обычно с выбитыми стеклами. На домах — огромные номера, как в скандинавских странах.

Маленький «Москвич» катил дальше. Ленинград — громадный город, который вермахту так и не удалось взять, несмотря на 900-дневную осаду. Плоский как ладонь, с величественными зданиями, которые в жизни не ремонтировались. И сотни зеленоватых трамваев. «Москвич» переехал по мосту один из каналов, которые делали Ленинград печальной карикатурой на Венецию. Они проехали несколько сот метров по Невскому проспекту, миновали музей Эрмитаж — пастельные тона, архитектура рококо — и оказались на берегу Невы. Дома прошлого века — охристые, зеленые, желтые — хоть немного оживляли картину. Все прочее было строго и уныло. Прогулочные суденышки бороздили Неву, по берегам которой раскинулись величавые дворцы; в те времена, когда Ленинград еще назывался Санкт-Петербургом, он был, надо полагать, одним из красивейших городов мира — грандиозные проспекты, площади и эта величественная река, перехваченная огромными мостами.

Малко начинал нервничать. Айя прилетает «Финнэйром» через два часа. Поскольку в России все распланировано, он знал, что она остановится в гостинице «Советская», чуть поскромнее «Ленинграда», где будет жить он. Однако между гостиницами несколько километров, а полагаться на здешний транспорт, судя по всему, не стоило.

— «Ленинград», — объявила гид, — лучшая гостиница в городе.

Она подвела Малко к стойке администратора, где ему вручили ключ от номера и предоставили самому тащить туда свою дорожную сумку от Луи Виттона. Здесь не имели никакого представления об обслуживании... Холл кишел иностранцами, больше всего было американцев. Его номер напоминал больничную палату. В окно он увидел «Аврору» — трехтрубный крейсер, призрак Великой революции 1917 года, стоящий на якоре в одном из рукавов Невы, — по нему, как муравьи, сновали туристы... Перед гостиницей кадеты из офицерского училища подметали тротуар березовыми метлами. Все это отдавало XIX веком. Казалось, жизнь здесь остановилась в прошлом столетии. Он взглянул на часы. У него оставался час, чтобы встретить Айю.

Представительство «Интуриста» располагалось на втором этаже. Небольшие столики и приветливые служащие, заваленные работой. Малко зашел в бюро перевозок.

— Мне нужно такси, — сказал он.

— Нет ничего проще, — ответила служащая на безукоризненном английском, придвигая к себе блокнот.

— Когда?

— Сейчас.

Ее вторучка застыла в воздухе, и служащая произнесла голосом полным упрека:

*Жерар Де-Вилье — автор множества детективных романов. Некоторые из них: «Операция "Апокалипсис"», «Пантера из Голливуда», «Невыполнимая миссия в Сомали», «Заход в Паго-Паго», «Три вдовы из Гонконга», «Смерть в Бейруте» и др. переведены на русский язык. В публикуемом отрывке из романа «Незнакомец из Ленинграда» рассказывается о неудавшейся попытке предотвратить теракт в самолете. — (Прим. переводчика).

— Сейчас это невозможно. Завтра.

— Почему?

Она возвела глаза к потолку.

— Вы там на Западе привыкли, что все просто! Нужно предупредить шофера, связаться с центральным бюро «Интуриста». Завтра утром в девять вас устроит? Куда вам нужно ехать?

— Благодарю, — сказал Малко.

Хорошенькое начало. Он спустился по огромной лестнице в холл. ЦРУ не предусмотрело проблем такого рода. Ведь эти ребята здесь в жизни не были. Стротуара он разглядывал машины, припаркованные перед «Ленинградом». Много автобусов и несколько такси, которые можно было узнать по значку на крыше. Он подошел к первому попавшемуся и спросил:

— Airport?

Водитель, погруженный в чтение «Правды», даже не ответил... Малко атаковал следующего, но он ответил отрицательным жестом. Третьему он показал несколько десятирублевых купюр, огромные деньги. Тот искоса окинул его взглядом и произнес на скверном английском с гримасой отвращения:

— I don't want roubles...

— Dollars?

— Доллары? Да, да, хорошо.

Малко решил не показывать, что знает русский. Слишком рискованно. Шоферы точно сплошь стукачи. Он вытащил пятидолларовую купюру, которую шофер чуть ли не выхватил у него из рук. И даже вышел, чтобы открыть перед ним дверь.

— Airport? — спросил Малко.

Шофер помотал головой.

— Нет, товарищ. Нет документов.

Ладно. Аэропорт придется пропустить. Только бы Аийя там ни с кем не встретилась.

— Hotel Sovietskaya?

— Да, хорошо.

Через полминуты они ехали по выщербленному асфальту Литейного моста.

Огромный холл «Советской» выглядел не жизнерадостней крематория. Сотни чемоданов, выставленные рядами посреди зала, ждали своих владельцев. Пахло капустой и грязью. Не лучше смотрелся и облупившийся сероватый фасад гостиницы. Два ветерана, увешанных наградами за то, что остановили вермахт под Ленинградом, охраняли дверь, не пуская внутрь «хулиганов» и женщин, в которых видели возможных проституток. Малко попробовал развлечься, глядя на ужасающую витрину «Березки» — там за бешеные деньги продавались деревянные куклы, которые вкладывались одна в другую. Очевидно, Советы, перед тем как уничтожить капиталистов, вознамерились выжать их, как лимоны...

Он оглядывал вновь прибывших. Много русских. Стахановцы с Урала и из Сибири¹ приехали насладиться Эрмитажем и крейсером «Аврора»... Одеты как бродяги, с картонными чемоданчиками, и тетки в платках и многослойных юбках.

Наконец появилось создание, совершенно не вязавшееся с этой кошмарной обстановкой. Аийя Санблад была в голубом платье и туфлях-лодочках, светлые воло-

сы, длинная шея — она выглядела гостьей с другой планеты. Сердце у Малко забилося сильнее. В обеих руках она волокла по сумке, одна из них была из рыжеватой кожи. Значит, она ни с кем не встречалась в аэропорту. С ней, вроде бы, никого не было. Гид из «Интуриста» вручила ей ключ, и она направилась к лифтам. Малко минуту подождал, потом подошел к девушке, выдававшей ключи, и спросил по-английски:

— Miss Sunblad, what room?

Служащая, не задумываясь, заглянула в свой список.

— 1634, господин.

Малко уже стоял в лифте. Старорежимная гостиница была огромных размеров, на каждом этаже — не меньше пятидесяти комнат. Он вышел на семнадцатом и наткнулся на бабку — толстуху в платке и фартуке, которая следила за порядком и принимала ключи. Он вежливо ей улыбнулся и пошел по коридору. До 1634-го было всего несколько метров. Рассмотрев все, что мог, он поспешил вернуться к лифту. Слишком рискованно. Ему оставалось только ждать. Чтобы убить время, он спустился и осмотрел площадку перед гостиницей. Там скопилось несколько машин-такси — государственных и частных. Слово «доллары» притягивало их, как котов валерьянка... Значит, проблем с транспортом не будет. Несколько девиц фланировало перед входом, их отгоняли орденосные церберы. Пока он ждал, ему предлагали гашиш, девочек и, само собой, кланчили доллары...

Это было волшебное слово.

У него уже начинало сосать под ложечкой, когда появилась Аийя Санблад. Одна. Она направилась к группе, сбившейся перед одним из автобусов, и вошла внутрь. Малко заметил сопровождающего.

— Куда идет этот автобус?

Служащий взглянул на него подозрительно.

— На балет. У вас есть билет?

— Нет, — ответил Малко, удаляясь.

Аийя Санблад отправлялась на балет, одно из многих развлечений в Ленинграде. Ни ночных ресторанов, ни дискотек, ни кафе. Только цирк и балет. Служащий догнал Малко и зашептал ему на ухо:

— Если у вас есть доллары, можно все устроить.

Малко гордо удалился.

Два с лишним часа ему никто не помешает. Аийя Санблад приехала в Ленинград не ради одного «Лебединого озера». На семнадцатом этаже бабки видно не было. Напротив ее комнатухи, перед помятым самоваром, в котором в любое время грелся чай, лежали ключи от номеров. Он оглянулся и, убедившись, что в коридоре никого нет, схватил ключ от 1634 номера и бросился к двери.

Клик-кляк. Он оказался в крошечной комнатенке. Две кровати валетом, стул и кресло, за которые на блошином рынке не дали бы и десяти франков, огромный телевизор, низенький столик и ванная — не больше кладовки для метелок — с серыми полотенцами и подтекающим душем...

Ни о каких звездочках тут говорить не приходилось. Эта гостиница могла попасть разве что в разряд «три таракана». На столе стояли две сумки. Из одной, открытой, выглядывали всякие женские причудалы, другая была закрыта — та самая, из рыжеватой кожи. Малко взял ее в руки и тут же обнаружил замок. Взломать не удастся. Пришлось бы разрезать сумку. Сквозь кожу он прощупал содержимое сумки, там были продолговатые твердые предметы. Очевидно, пачки купюр... Он быстро обыскал вторую сумку, ничего не обнаружил и приоткрыл дверь.

И тут же закрыл.

¹Вообще говоря, в оригинале упомянуты «стахановцы с Урала и из Силезии», но автор, надо думать, имел в виду Сибирь.

Бабка вернулась и сидела в пяти метрах от него. Выйти из комнаты незаметно не было никакой возможности.

Он быстро запер дверь. Пока он мог спокойно оставаться в номере, но если так продлится еще долго, это станет рискованно... Через четверть часа он сделал еще одну попытку. Все по-прежнему. Он обследовал окно. Этим путем выбраться невозможно... Деваться было некуда. Он ждал, изнывая от нетерпения. Наконец, спустя час, в коридоре послышался звучный хrap: бабка заснула на посту! Малко на цыпочках вышел из 1634-го, не решившись повернуть ключ в замке, и прокрался мимо бабки. О том, чтобы положить ключ на поднос, нечего было и думать. Проснется, это уж точно.

Сердцебиение у него успокоилось только в лифте. Внизу он положил ключ на стойку и сказал «доброй ночи». Девица даже не взглянула на него.

Три водителя такси сражались за право его отвезти. За пачку «Мальборо» и один доллар он сторговался с молодым светловолосым русским с огромными глазами, в наряде рокера 50-х годов. В «Ленинграде» все спали. Малко достал будильник. Аийя могла выйти рано. Он рассчитывал, что утром найти такси будет проще.

На этот раз он прикоснется к разгадке тайны.

Глава VIII

Блондин в джинсах и кожаной куртке с необычными выцветшими голубыми глазами наслаждался чесночной колбасой с черным хлебом, он растянулся на сиденье своей старой «Волги», свесив ноги в приоткрытую дверь и включив на полную громкость радио. К нему прицепился милиционер, но парень послал его подальше. И подмигнул Малко, когда тот проходил мимо.

Днем серый фасад «Советской» из одряхлевшего бетона выглядел еще ужаснее. Малко бродил перед рядами автобусов, приготовленных для туристских групп. Сами туристы один за другим появлялись в дверях гостиницы и бросались к своим гидам. Половина девятого. Он был здесь с семи утра, и благодаря долларам его даже поджидало такси, на котором он добирался от «Ленинграда», — машина с водителем-блондином, причем он уже успел на полученные от Малко доллары купить себе кассеты с рок-музыкой и бутылку коньяка «Гастон де Лагранж».

По ступенькам спускались толпы колхозников, но Аийя не появлялась. В гостинице, между тем, был только один выход. Автобусы один за другим отъезжали. Наконец в дверях появилась светловолосая девушка с длинной шеей, ее галантно сопровождал милиционер в фуражке с красным околышем. Малко почувствовал в груди легкий толчок: Аийя Санблад несла в руке сумку из рыжеватой кожи... Маловероятно, чтобы она собиралась положить деньги в советский банк, значит, она их кому-то передаст. Она направилась к одному из двух оставшихся автобусов и вошла в него. Малко тоже подошел, и его сразу перехватил гид из «Интуриста».

— Ruski Museum?

— Нет, спасибо — ответил Малко.

Он знал, что ему делать. Когда он плюхнулся на продавленное сиденье «Волги», шофер запивал чесночную колбасу внушительным стаканом коньяка.

— Ruski Museum, — сказал Малко.

Парень обернулся со счастливой улыбкой:

— Хорошо!

Он предвкушал безбедную жизнь на те доллары, что

он огребет. Они пронеслись по Загородному проспекту и вскоре въехали на маленькую площадь, где в глубине сквера находился Музей русского искусства. К счастью, машин было немного... Улицы походили одна на другую, и единственное, чем они отличались, была длина очередей, вытянувшихся перед немногочисленными магазинами.

На скамейках в сквере перед музеем любезничали парочки. Малко оставил своего шофера наедине с колбасой и занял пост неподалеку от входа. Через десять минут автобус, в котором была Аийя Санблад, остановился на Инженерной площади, и девушка вышла из него вместе с другими туристами, которые по виду почти все были из Союза.

Малко подождал, пока она пройдет вперед. По непонятной причине главный вход был закрыт, и в музей нужно было входить через боковую дверь в правой части здания, а потом возвращаться по длинному коридору через подвал, прежде чем попадешь на первый этаж. Толкотня была такая, что Малко нисколько не боялся попасться Аийе на глаза. Как и остальные туристы, она начала с залов живописи на первом этаже, вроде бы никуда не торопясь. Малко следил за ней, оглябая группы, застывшие перед каждой более-менее революционной картиной и с важным видом внимавшие объяснениям гидов.

В какой-то момент его оттеснила многочисленная группа, а Аийя Санблад прошла вперед. Тут он был вынужден совершить первую неосторожность: пересечь два почти пустых зала с иконами. Увы, третий зал оказался ротондой, дальше прохода не было! Малко появился в дверях как раз в тот момент, когда финка обошла зал и двигалась ему навстречу.

Он резко шагнул в сторону и скрылся из ее поля зрения, толкнув по пути древнюю бабку на раскладном стульчике, которая теоретически должна была следить за порядком. Та огрызнулась, даже не взглянув на него. За свои сто рублей в месяц она ограничивалась тем, что отсиживала положенное время в углу... Малко застыл спиной к залу, погруженный в созерцание редчайшей иконы XVII века. Когда он обернулся, Аийя Санблад уже не было. В следующем зале никого. Он кинулся на площадку, выходящую к величественной лестнице на второй этаж. По лестнице двигались десятки посетителей. Он окинул взглядом каждую группу.

Никакого намека на Аийю.

Малко обследовал два зала у лестницы, посвященных живописи 1900 годов, и вернулся на прежнее место. Теперь он должен был сделать выбор: либо броситься на поиски девушки и, возможно, столкнуться с нею нос к носу, либо потерять ее окончательно.

Он стоял у величественной лестницы, которая вела на второй этаж, и не мог решиться. Вероятность ошибки — пятьдесят процентов. Наконец он решил и пошел наверх. В залах второго этажа висели огромные картины, изображавшие войну, их охраняли сонные бабки, которые лишь время от времени приоткрывали один глаз. Он пересек по прямой несколько залов, нервничая все больше и больше. Наконец он заметил светлые волосы Аийи Санблад среди россыпи кепок блаженствующих стахановцев, увлеченных картиной, на которой рабочие и крестьяне поднимались на борьбу с контрреволюцией.

Он пристроился в хвосте группы. Ему полегчало.

Аийа на минуту отделилась от группы, и у Малко перехватило дыхание: каштановая сумка исчезла. Он машинально прошел несколько метров вслед за девушкой, потом вернулся назад. Куда она дела сумку? Он изучил всех посетителей, но похожей сумки ни у кого не было. Внезапно он сообразил: человек, которому она передала сумку, где бы он ни был, все равно должен выйти из музея!

Пробиваясь сквозь встречный поток людей, он рванулся к выходу по коридору подвального этажа. Запыхавшись, вылетел в сквер и огляделся вокруг. Приток адреналина. Из ворот сквера выходили трое мужчин. Тот, что в центре, широкоплечий, в облегающей кожаной куртке, помахивал сумкой из рыжеватой кожи.

Малко помчался, как Бен Джонсон, накачанный анаболиками, возбуждая любопытство парочек на скамейках. Пока он добежал до ворот, трое незнакомцев исчезли! Завелась и поехала какая-то серая «Волга», и Малко заметил внутри нескольких пассажиров, но лиц разглядеть не мог. Он понесся разыскивать свое такси. Увы, машина была зажата между тремя автобусами. «Волги» уже и след простыл. Взбешенный и разочарованный, он оглянулся. Новый удар: по центральной аллее в его сторону шла Аийя Санблад! Он тут же развернулся и пошел прочь, но их взгляды встретились, и он был почти уверен, что девушка его заметила. Узнала или нет?

В скверном настроении он сел в такси и вернулся в «Ленинград». Теперь следить за Аийей было ни к чему. Она передала свою ношу под самым носом у Малко. Теперь он понимал, что ее маневр с ускользанием не был случайным... Похоже, у нее большой опыт в тайных операциях. Кто мог ожидать такого от журналистки? Он дал шоферу еще пять долларов и пошел в гостиницу.

Больше ему нечего было делать в Ленинграде.

Перевод с французского Алины Поповой

От редакции

В нашем журнале (№ 15, 2002 г.) по вине редакции в статье Абрама Блоха «Несостоявшиеся Нобелевские премии в русской литературе» допущены досадные неточности.

Следует читать:

стр. 9. «Любопытную историю, вполне созвучную натуре Дмитрия Сергеевича, поведал в своих воспоминаниях писатель Андрей Седых. <...> Последний рассказал ему, «что как-то явился к нему Дмитрий Сергеевич и предложил странную сделку»;

стр. 10. «Как, незадолго до смерти в марте 2000 года, поведал автору Даниил Данин, в 1951 году Леонов рассказал ему об услышанном. Он отнесся к слухам скептически, заведомо не веря в благоприятный исход».

Приносим наши извинения автору и читателям.

Сергей ПЕТРОВ

МОЙКА

Нынче день какой-то полоротый,
мой, чужой и все-таки ничей.
Вижу я на Мойке повороты
разогретых каменных плечей,

чаек над водой лениво-скользкой
и колонны княжеских хором,
где на лестнице мужик тобольский
пал от пуль, как бык под топором.

Воздух грязен — как белье для стирки,
и в корыте каменном река.
И кирпично-красный призрак Кирки
из бывшего смотрит свысока.

ГЛАВНЫЙ ШТАБ

Как желтым неводом, всю площадь загребая,
громадина идет на каменный простор.
А осень под боком, уже чуть-чуть рябая,
разводит золотой из зелени костер.

А в воздухе гремят чугунным скоком кони,
а окна на заре, как ячен, сквозят,
и сети тяжело от этой вечной тони,
когда такой улов ее захватом взят.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР

На чухонском камне и трясине
бесновался царственный топор.
По монаршей дарственной Трезиний
прямо к небу выводил собор.

В Гаге, Копенгаге и в Стеколье
бомбардиру дикому Петру
тихо откликнулись колокольни,
стоя на предутреннем ветру.

И на грани ветхого рассвета
прямо в космос на какой-то съезд
ангел улетает, как ракета,
ставя на земном пространстве крест.

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕДАКЦИИ:**РИМ,
Lettera Internazionale**

Гл. редакторы
ФЕДЕРИКО КОЭН,
АНТОНИН ЛИМ
*c/o Lelio Basso Foundation, Via della Dogana
Vecchia 5, 00186 Roma,
tel.: 0039-6-68300644*

**МАДРИД,
Letra Internacional**

Гл. редакторы
САЛЬВАДОР КЛОТАС,
АНТОНИН ЛИМ
*Monte Esquinza 30, 2º dcha.
28010 Madrid, tel.: 0034-1-3104696*

**БЕРЛИН,
Lettre International**

Гл. редакторы
ФРАНК БЕРБЕРИХ,
АНТОНИН ЛИМ
*Rosenthaler Str. 13, 10119 Berlin,
tel.: 0049-30-30870441*

**БЕЛГРАД,
Lettre Internationale**

Гл. редакторы
ЙОВАН ХРИСТИЧ,
АНТОНИН ЛИМ
Cika Liubina 1/V, 11000 Belgrad,

**БУДАПЕШТ,
Magyar Lettre Internationale**

Гл. редакторы
ЕВА КАРАДИ,
АНТОНИН ЛИМ
*Nagyened u. 11/a; 1123 Budapest,
tel.: 361-2021089*

**ЗАГРЕБ,
Lettre Internationale**

Гл. редакторы
СЛОБОДАН П. НОВАК,
АНТОНИН ЛИМ
*Trg. Bana J. Jelacica 7, 4100 Zagreb
tel.: 041-416792*

**БУХАРЕСТ,
Lettre Internationale**

Гл. редакторы
В. ЭЛВИН,
АНТОНИН ЛИМ
*Aleea Alexandru 38, sectorul 1, 71273
Bukaresti*

**СОФИЯ,
Lettre Internationale**

Гл. редакторы
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВА
АНТОНИН ЛИМ
*Open Society Fund, Serdika Str. 1, 1000,
Sofia, tel.: 003592-9888632*

**СКОПЬЕ
Lettre International**

Гл. редакторы
НИКОЛА КОСТЕСКИ
АНТОНИН ЛИМ
*Bui. «Sv. Kliment Ohridski», 15, Knizevno-
likoven salon «Gurga», 91000 Skopje, Republic
of Macedonia, tel.: 389 (0) 91228076*

АВТОРЫ:

Константин Азадовский — историк литературы, переводчик.
Елена Алексеева — журналист, театровед.
Андрей Арьев — литературный критик, литературовед.
Арлен Блюм — историк.
Стефано Гардзонно — славист, культуролог. Живет во Флоренции.
Галина Глушанок — историк литературы. Живет в Нью-Йорке.
Дени Даббади — исследователь русской литературы. Живет в Париже.
Жерар Де-Вилье — писатель. Живет в Париже.
Нина Дьяконова — историк английской литературы, переводчик.
Борис Егоров — историк русской литературы.
Мария Каменкович — эссеист, поэт, переводчик. Живет в Германии.
Александр Кустарев — писатель, публицист. Живет в Лондоне.
Адель Линденмейр — славистка, историк культуры. Живет в США.
Феликс Лурье — историк, литератор.
Лариса Найдич — германист, автор работ, посвященных немецким колонистам в России. Живет в Израиле.
Ярмо Ниронен — славист, историк культуры. Живет в Финляндии.
Александр Раппапорт — историк архитектуры, эссеист.
Юрий Семенов — органист, научный сотрудник Эрмитажа.
Галина Усова — литератор, переводчик.
Борис Фрезинский — историк русской литературы XX века.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

Константин Азадовский
Анна Александрова
Лина Белозерова
Елена Березина
Антон Демян
Нина Иванова
Наталья Маслова
Людмила Павлова
Альона Попова
Полина Смутьская
Мария Толстая
Михаил Яснов

ПОЭТЫ:

Кристина Зейтунян-Белоус
Луиз Дюмюр
Сергей Петров

ISSN 0869-3560

Подписано в печать 29.12.2003 г. Формат 60x90 1/8.
Объем 18 п.л. Зак. 4330. Лицензия № 1600 от 27.02.91 г.
Отпечатано в типографии ОАО «Иван Федоров».
191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 11.

Константин Азадовский ■ Елена Алексеева ■ Андрей Арьев ■ Арлен Блюм ■ Стефано Гардзонно ■ Галина Глушанок ■ Жерар Де-Вилье ■ Нина Дьяконова ■ Борис Егоров ■ Валентин Зубов ■ Мария Каменкович ■ Александр Кустарев ■ Адель Линденмейр ■ Феликс Лурье ■ Лариса Найдич ■ Ярмо Ниронен ■ Александр Раппапорт ■ Юрий Семенов ■ Галина Усова ■ Борис Фрезинский

К 300-летию С.-Петербурга редакция журнала «Всемирное слово» совместно с петербургским ПЕН-клубом осуществляет новый проект — тематическую серию журналов, посвященных истории развития культурных связей России с европейскими странами. Вышли в свет: № 12 — Россия и Германия (1999 г.); № 13 — Россия и Франция (2000 г.); № 14 — Россия и Англия (2001 г.); № 15 — Россия и Швеция (2002 г.); № 16 — С.-Петербург и Европа.

